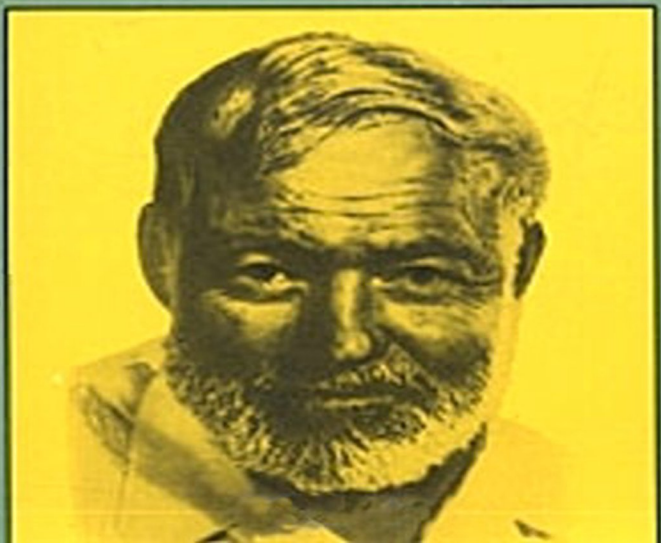
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ

Старый газетчик пишет...

Мэр—болельщик. Вот он какой, Париж!
Лев мисс Мэри.
Фашистский диктатор
Испанская земля. На голубой воде.



Старый газетчик пишет…
Эрнест Миллер Хемингуэй

Аннотация
Эрнест Хемингуэй. Старый газетчик пишет
Публицистика Эрнеста Хемингуэя
Молодые годы (1920–1921)
Как прослыть ветераном войны, не понюхав пороха
Мэр-болельщик
Дикий Запад перебрался в Чикаго
Европейский корреспондент (1922–1923)
Американская богема в Париже. Чудной народ
Вот он какой, Париж!
Получившая премию книга — в центре нападок
Революция и контрреволюция
Судьба разоружения
Ветеран приезжает на места былых боев…
Безмолвная процессия
Беженцы из Фракии
Фашистский диктатор
Памплона в июле
Из книги «Праздник, который всегда с тобой»
Тридцатые годы (1932–1936)

Из книги «Смерть после полудня»
Старый газетчик
В защиту Кинтанильи
Заметки о будущей войне. Письмо на злободневную тему
Из книги «Зеленые холмы Африки»
Кто убил ветеранов войны во Флориде?
Маэстро задает вопросы. Письмо с бурного моря
Письмо И. Кашкину
Крылья над Африкой. (Кое-что из области орнитологии)
На голубой воде. Гольфстримское письмо
Гражданская война в Испании (1936–1939)
Писатель и война
Испанский репортаж
Март — май, 1937. Валенсия
Гвадалахарский фронт
Мадрид
Мадрид
Сентябрь — декабрь, 1937. Арагонский фронт
Теруэльский фронт
Мадрид
Штаб республиканцев, Теруэльский фронт
Штаб республиканцев, теруэльский фронт
Апрель, 1938. Барселона

Барселона
Сентябрь — ноябрь 1938. Таррагона
Тортоса
В дельте Эбро
Лерида
Мадрид
Испанская земля
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
Часть пятая
Часть шестая
Жара и холод. Послесловие к дикторскому тексту «Испанской земли»
Американский боец
Обращение Хемингуэя к немецкому народу
Испанский народ победит!
Мадридские шоферы
Все храбрые
По поводу одной информации
Письмо И. Кашкину
Последний командир
Американцам, павшим за Испанию
Вторая мировая война (1941–1945)
Телеграмма в Москву 27 июня 1941 года

Приветствие Советской Армии в день ее 24-летия
Из предисловия к антологии «Люди на войне»
Новогоднее поздравление советскому народу
Рейс к победе
Лондон воюет с роботами
Битва за Париж
Как мы пришли в Париж
Солдаты и генерал
Война на «Линии Зигфрида»
После войны (1946–1960)
Предисловие к антологии «Сокровище свободного мира»
Письмо К. Симонову
Из письма Хемингуэя Милтону Вольфу
Предисловие к роману «Прощай, оружие!» (1948 г.)
Письмо молодому писателю
Интервью Дж. Плимптону
Речь при получении Нобелевской премии
Беседа Хемингуэя с молодежью в Хейли
Интервью о революции на Кубе парижскому еженедельнику «Ар»
Лев мисс Мари. (из африканского дневника)
Часть первая
Часть вторая

Часть третья
Комментарии
Иллюстрации

Аннотация

Избранная публицистика Эрнеста Хемингуэя призвана восполнить знания читателя о Хемингуэе-публицисте, газетчике, чутко и оперативно откликавшемся на важнейшие события своего времени.

В однотомник включены репортажи, статьи, очерки, корреспонденции писателя, вошедшие в его сборники «От собственного корреспондента Эрнеста Хемингуэя», «Бурные годы» и другие.

Ряд произведений публикуется впервые.

Эрнест Хемингуэй
Старый газетчик пишет

Публицистика Эрнеста Хемингуэя

Волею судьбы, а, может, правильнее сказать, в силу своего писательского и гражданского темперамента, своей активной жизненной позиции, Хемингуэй оказался подлинным ровесником XX века. И не только потому, что он родился в 1899 году — на рубеже века, а главным образом потому, что жизнь его сложилась так, вернее, он сам сложил ее так, что оказался причастен ко многим крупнейшим историческим событиям: достаточно вспомнить, что он был участником первой мировой войны, непосредственным свидетелем греко-турецкой войны 1919–1922 гг., участником национально-революционной войны в Испании и второй мировой войны. Хемингуэй был не просто ровесником века, он был истинным сыном этого стремительного и бурного века, насыщенного войнами и революциями, невиданными доселе социальными катаклизмами. Его биография и творчество — а публицистика Хемингуэя составляет существенную часть его творчества — неотделимы от истории XX века.

Как всякий большой и честный художник Хемингуэй в своей публицистике, как и во всем своем творчестве, чутко прислушивался к пульсу времени, остро воспринимая проблемы века, и стремился найти свои ответы на многие мучительные вопросы современности. Боль за страдания и муки обездоленных людей, будь то крестьяне-беженцы из Фракии, ветераны первой мировой войны, преступно брошенные на погибель во время урагана во Флориде, итальянские солдаты, отдававшие свои жизни в Абиссинии ради империалистических притязаний Муссолини, испанские женщины, старики и дети, ставшие жертвами варварских бомбардировок фашистской авиации, набатом звучит со многих страниц этой книги, взывает к совести человечества.

Словари производят понятие публицистики от латинского слова publicus и определяют его как род произведений, посвященных актуальным проблемам и явлениям жизни общества. Если в своих художественных произведениях писатель, как правило, отражает действительность опосредствованно — через созданных его воображением героев, сквозь призму вымышленных сюжетных ситуаций, — то в публицистике он непосредственно имеет дело с самой жизнью,

откликается на самые острые проблемы современного ему мира, вмешивается в события, даже в какой-то мере влияет на жизнь общества, ибо, если это писатель достаточно талантливый и известный, сумевший завоевать сердца и мысли читателей, то его слово неминуемо оказывает влияние на людей, заставляет их задумываться, сопереживать, действовать. Не случайно публицистику обычно приравнивают к боевому оружию. При этом, конечно, главное — цель, которой служит это оружие. Если писатель своей публицистикой сражается за правое дело — за мир, против империалистических войн, за свободу и демократию, против фашизма, за право человека на счастье, — его статьи, очерки, письма надолго сохраняют свою значимость и актуальность. А если к тому же писатель, подобно Хемингуэю, оказывается участником или свидетелем событий, которые потрясли, как тектонические сдвиги, жизнь общества, его публицистика, собранная воедино, предстает перед нами как пусть порой пестрая, пусть даже неполная, всегда в чем-то субъективная, но все же картина века. И в этом ее непреходящая ценность, ее значение для современников и для новых поколений.

Одна из главных тем публицистики Хемингуэя — гневный, всей его жизнью, личным опытом выстраданный протест против империалистической войны как самой страшной опасности, угрожающей человечеству. Вновь и вновь возвращается Хемингуэй к первой мировой войне, которую называет «величайшей, безжалостнейшей и бездарнейшей бойней в истории». В 30-е годы он настойчиво предупреждает об угрозе новой мировой войны, которую намерены развязать в Европе фашистские государства — Германия и Италия. Его многочисленные репортажи и очерки из республиканской Испании читаются как обвинительный приговор фашизму. В конце 40-х годов в разгар «холодной войны» Хемингуэй смело и бескомпромиссно выступает против поджигателей новой войны, разоблачает и клеймит их, напоминает об угрозе возрождения фашизма, на этот раз в Соединенных Штатах. С полным правом он однажды сказал о себе: «Я сражался с фашизмом всюду, где можно было реально воевать с ним».

Тревога за судьбу мира в публицистике Хемингуэя неразрывно связана с непрестанно возникающей острой темой ответственности писателя перед человечеством, перед собственной

совестью и своим талантом. Этой актуальной и сегодня проблеме посвящены многие страницы предлагаемого читателю сборника. Подробнее об этом будет сказано в дальнейшем.

Своеобразной и весьма привлекательной чертой публицистики Хемингуэя — не всегда, конечно, но как правило — является присутствие в ней яркой личности автора. Он разговаривает с читателем напрямую, без посредничества персонажей своих произведений. А интерес к личности большого писателя живет всегда. Как писал в свое время великолепный мастер биографического жанра Андре Моруа: «Мы знаем, что творчество писателя нельзя объяснять только его жизнью; мы знаем, что самые знаменательные события в жизни творца — это его произведения. Но жизненный путь великого человека и сам по себе представляет огромный интерес». Применительно к Хемингуэю эта мысль Моруа особенно справедлива. Известный американский поэт и критик Арчибалд Мак-Лиш, близко знавший Хемингуэя и друживший с ним, с полным основанием утверждал: «Писателей обычно судят по их творчеству, но жизнь Хемингуэя с такой угрожающей силой врывается в его творчество, что многие критики никак не могут сойтись в

своих мнениях».

Публицистика Хемингуэя откровенно автобиографична, в любом очерке, в любой корреспонденции автор обращается к читателю от первого лица, мысли о важнейших событиях современности сплошь и рядом перемежаются фактами его личной жизни. В результате складывается живой облик Хемингуэя — человека со своими раздумьями, симпатиями и антипатиями, заблуждениями и прозрениями, возникает картина его жизни.

Публицистика Хемингуэя характерна и интересна еще и тем, что в ней автор то и дело обращается к проблемам литературным, выстраивает свою литературную генеалогию, называя мастеров слова разных, стран, у которых он учился, формулирует свои творческие принципы.

Сборник неслучайно назван по одной из корреспонденции Хемингуэя для журнала «Эсквайр» — «Старый газетчик пишет». Писатель не раз называл себя старым газетчиком. Действительно, на протяжении всей своей жизни, с известными, конечно, перерывами, Хемингуэй активно выступал как журналист и публицист.

Как и многие известные американские писатели того времени, Хемингуэй начал свою литературную деятельность с газеты. Сразу по-

сле окончания школы 17-летний Эрнест, горя желанием начать самостоятельную жизнь и вырваться из душного мирка провинциального Оук-Парка, где он родился и вырос, из тяготившего его плена семьи, уезжает в Канзас-Сити, где поступает на работу в местную газету «Канзас-Сити стар» в качестве репортера.

В канзасской «Стар» Хемингуэй прослужил недолго — всего полгода. Но эта первая журналистская работа оказалась для него весьма полезной. Прежде всего это была хорошая школа, о которой писатель потом вспоминал с благодарностью. От него требовали четкости и ясности. Вспоминая об этой поре своего ученичества, Хемингуэй говорил, что научился тогда рассказывать «просто о простых вещах».

Работа в канзасской «Стар» прервалась в связи с тем, что Хемингуэй, мечтавший попасть на войну, добился своего и в апреле 1918 года, завербовавшись добровольцем в автомобильную часть американского Красного Креста, уехал в Италию на итало-австрийский фронт. Уже в январе 1919 г. он вернулся домой после тяжелого ранения и нескольких месяцев лечения в миланском госпитале. Надо было определять свою жизнь, что было непросто. Тогда он устанавливает контакт с

канадской газетой «Торонто стар уикли».

Некоторые из его репортажей тех лет включены в данный сборник и дают читателю известное представление о становлении молодого журналиста. Одна из самых первых заметок Хемингуэя была связана с минувшей войной. По Торонто слонялись тысячи бывших солдат — участников кровопролитных боев на полях Франции, озлобленных, не находивших себе применения в мирной жизни, обиженных, что страна так быстро забыла о них и ничего для них не сделала. Их судьбы были близки Хемингуэю. А рядом процветали те, кто, укрываясь от призыва в армию, перебрался в Соединенные Штаты и зарабатывал там большие деньги на военных заводах. О них Хемингуэй и написал исполненную ядовитого сарказма статью «Как прослыть ветераном войны, не понюхав пороха».

А рядом, в том же номере «Стар уикли», была напечатана сатирическая зарисовка Хемингуэя, высмеивающая мэра Торонто Томми Черча как типичного представителя того племени политиканов, которые не брезгуют ничем в погоне за голосами избирателей.

В конце 1921 г. происходит серьезный перелом в жизни Хемингуэя — газета «Дейли стар» посы-

лает его в Европу зарубежным корреспондентом со штаб-квартирой в Париже. Начался новый этап его журналистской деятельности. За два года — 1922 и 1923 — Хемингуэй, помимо Франции, побывал в Италии, Германии, Испании, Швейцарии, Болгарии, Турции, Греции.

Он пишет обо всем, что может интересовать канадских читателей. Для настоящего сборника мы выбрали из этого цикла прежде всего те материалы, которые представляют интерес с точки зрения формирования литературных вкусов и политических убеждений Хемингуэя, становления будущего большого писателя.

В этом плане заслуживают внимания очерк «Американская богема в Париже» и краткая рецензия на роман африканского писателя Рене Марана «Батуала», получившего Гонкуровскую премию. Они показывают исключительно серьезное отношение Хемингуэя к литературе как к делу, требующему от художника всей его жизни, всех нравственных и физических сил. Из рецензии на роман «Батуала» видно, что выше всего в литературе ценил начинающий писатель — высокую степень достоверности, умение художника видеть и чувствовать свой материал и передать эти ощущения читателю: «Прочитав ее,

вы сами ощутили себя Батуалой — вот почему это замечательный роман».

В марте 1922 г. редакция газеты командирует Хемингуэя на международную конференцию в Геную, и с этого начинается для него изучение курса политических наук.

Жгучий интерес вызывало присутствие в Генуе представителей Советской России — первый дипломатический контакт молодого социалистического государства с миром, который так долго отказывался признать Советскую Россию после того, как тщетно пытался уничтожить ее силой оружия. Корреспонденции Хемингуэя из Генуи обнаруживают незаурядную политическую прозорливость молодого журналиста. С явной симпатией пишет он о советских дипломатах, подчеркивает важность советского предложения о всеобщем разоружении. Вопреки существовавшему тогда среди американских и западноевропейских журналистов предвзятому мнению, что фашизм якобы спас Италию от «красной опасности», Хемингуэй сумел дать хотя и несколько поверхностный, но достаточно трезвый и непредубежденный анализ существа политической борьбы, кипевшей в то время в Италии, — он сразу же разглядел звериный

облик фашизма. С этого началось его открытое неприятие фашизма, а впоследствии и активная борьба с ним.

Важным рубежом в журналистской деятельности и вообще в биографии Хемингуэя оказалась греко-турецкая война. Писатель увидел отступление разгромленной греческой армии, трагический исход греческого населения из Фракии, немыслимые страдания мирных жителей, стал свидетелем трагических последствий войны для мирных жителей. Все это глубоко потрясло Хемингуэя. Спустя много лет он писал: «Я помню, как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить всю свою жизнь, пытаясь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И я решил, холодный, как змий, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу». Вот он — ключ к общественной и творческой позиции Хемингуэя, заповедь, которой он никогда не изменял.

Впечатления, вынесенные из этой журналистской командировки, послужили Хемингуэю материалом для лучших рассказов его первой книги «В наше время» и впоследствии помогли ему при создании романа «Прощай, оружие!».

Внимательный читатель данного сборника не раз еще сумеет убедиться, как публицистика Хемингуэя оплодотворяла его литературные произведения.

В том же 1922 году, в ноябре, Хемингуэй оказался в Лозанне, где происходила международная конференция, которой предстояло урегулировать греко-турецкий конфликт. Там, в Лозанне, он присутствовал на пресс-конференции Муссолини, который за полгода до этого захватил власть в Италии. Хемингуэй не пожалел сарказма для характеристики фашистского диктатора, назвав его «величайшим шарлатаном Европы».

Многообразная и пестрая палитра хемингуэевской публицистики тех лет была бы неполной без очерка «Памплона в июле», знаменовавшего собой первое знакомство писателя с боем быков, страстным любителем которого он оставался всю жизнь. Этот очерк примечателен еще и тем, что от него тянется прямая линия к испанским главам первого романа Хемингуэя «И восходит солнце» («Фиеста»), принесшего ему широкую известность.

Мы включили в раздел «Европейский корреспондент» некоторые отрывки из книги воспоминаний Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который

всегда с тобой», увидевшей свет уже после его смерти, поскольку они дают яркое представление о том, как работал в тот первый парижский период писатель, какие творческие задачи он перед собой ставил, какое огромное влияние на него оказали гиганты русской классической литературы — Толстой, Достоевский, Тургенев, рассказывают, как родился знаменитый термин «потерянное поколение», как складывались непростые отношения Хемингуэя со Скоттом Фицджеральдом.

В конце 1923 г. Хемингуэй вынужден был оставить работу в качестве штатного сотрудника торонтской «Стар»; после короткого пребывания в Канаде и США он вернулся в Париж, чтобы целиком посвятить себя литературе. Таким образом, его журналистская деятельность на некоторое время отошла на второй план.

В 1933 году Хемингуэй, уже будучи известным писателем, согласился периодически сотрудничать в американском журнале «Эсквайр». Однако открываем мы раздел «Тридцатые годы» не этими корреспонденциями, а несколькими отрывками из публицистической книги Хемингуэя «Смерть после полудня», которые очень важны для понимания характера творческих поисков писателя

в тот период, его отношения к классическому наследию, его политических позиций.

Последний вопрос — о политической позиции Хемингуэя в начале 30-х годов — требует особого разговора. Надо вспомнить, что в те годы капиталистический мир, и в первую очередь Соединенные Штаты, сотрясали мощнейшие социальные бури. Великий кризис затянулся на годы, вызвав лавину банкротств, массовую безработицу, разорение фермеров, «голодные марши», разгонявшиеся силой оружия, бурные забастовки, которые сплошь и рядом подавлялись правительственными войсками. Социальные вопросы оказались в центре внимания. Прогрессивная творческая интеллигенция Америки ясно осознала, что не имеет права уклоняться от художественного исследования этих проблем. В те годы были созданы многие значительные литературные произведения, в которых американские писатели вскрывали социальные противоречия своего времени, избирали в качестве героев рабочих, бедных фермеров, издольщиков.

Хемингуэй оказался в стороне от этого движения. Тому было много причин, главным образом чисто творческих. Хемингуэй умел писать только о том, что хорошо знал, пережил, прочувствовал

сам. И браться писать о том, чего он практически не знал, было противно его убеждениям.

Именно поэтому, завершая книгу о бое быков «Смерть после полудня», Хемингуэй так объяснял свою позицию: «Пусть те, кто хочет, спасают мир — если они видят его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она показана правдиво, будет отражен весь мир». Эти слова звучали косвенным признанием, что сам он в то время не видел мир «ясно и как единое целое». И тем более значительно звучат его слова из того же заключительного абзаца: «Самое главное — жить и работать на совесть; смотреть, слушать учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя».

Эта мысль об ответственности писателя, о его месте в общественной жизни, о его долге писать только о том, что он действительно знает, серьезно волновала Хемингуэя. В его публицистике возникает сложнейшая тема — писатель и революция.

Отношение Хемингуэя к революции совершенно недвусмысленно выражено в его статье «Старый газетчик пишет». «Непосредственно после войны мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали

ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды — потому что она была логическим выводом». Однако и в этой статье, и в статье «В защиту Кинтанильи» Хемингуэй отрицает право писать о революции тех сторонних наблюдателей, для которых это всего лишь модная спекулятивная тема: «Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями…» Этот знаменитый абзац, многократно цитировавшийся, преисполнен огромного уважения к людям, посвятившим себя революционной борьбе.

Однако в ту пору Хемингуэй находился в плену своей концепции о несовместимости творчества с непосредственной политической деятельностью. Вспомните его слова о том, как, вернувшись с греко-турецкой войны, он решал для себя вопрос, который по существу сводился к дилемме: посвятить себя революции или стать писателем. В те годы Хемингуэй не представлял себе возможность соединения творчества с политической деятельностью. Он был убежден, что писатель должен участвовать в борьбе за лучшее будущее человечества, но участвовать он должен только своим творчеством. Пройдет всего несколько лет, в Испании начнется национально-революцион-

ная война против фашизма, и Хемингуэй резко изменит свою позицию.

Впрочем, надо отдать должное, в своей публицистике первой половины 30-х годов Хемингуэй отнюдь не избегал политики. Именно публицистика оказалась тем мостом, который уже тогда в известной мере связал его с прогрессивным лагерем борцов против фашизма. В ряде своих статей, публиковавшихся в 1932–1936 годах в журнале «Эсквайр», Хемингуэй обращался к самой актуальной политической проблеме, волновавшей тогда мир. Этой главной проблемой была угроза новой войны, которую готовились развязать в Европе фашистские государства — Германия и Италия.

Хемингуэй отчетливо видел эту опасность и в полный голос предупреждал о ней человечество.

В 1935 г. Хемингуэй написал для журнала «Эсквайр» статью под названием «Заметки о будущей войне», в которой предсказывал, что в 1937 или 1938 году начнется вторая мировая война, которую развяжут гитлеровская Германия и Италия Муссолини, и напоминал людям, что такое мировая война. «Минувшую войну выиграли союзники, — писал он, — но в маршировавших на парадах полках были не те солдаты, что во-

евали. Те солдаты мертвы. Было убито более семи миллионов, и убить значительно больше, чем семь миллионов, сегодня мечтают бывший ефрейтор германской армии и бывший летчик и морфинист, сжигаемые личным и военным честолюбием в дурмане мрачного, кровавого, мистического патриотизма. Гитлеру не терпится развязать в Европе войну. Он бывший ефрейтор, и в этой войне он не будет воевать, только произносить речи. Ему самому нечего терять. Зато он может получить все».

Гневом и печалью проникнута написанная в январе 1936 г. статья «Крылья над Африкой», явившаяся прямым откликом писателя на агрессию фашистской Италии против Абиссинии. Гневом против тех, кто развязывает новую войну: «Любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда и нажиться они тоже сумели как никогда». И печалью — к тем простым парням, рабочим и крестьянам Италии, которых Муссолини послал умирать в Абиссинию. Хемингуэй желал им, чтобы они поняли, кто их враг и почему. Обращает на себя внимание в этой статье и точный политический анализ Хемингуэя. Он предсказывал, что Италия «постарается путем

тайного сговора с державами обеспечить себе свободу и добиться отмены санкций, ссылаясь на то, что ее военное поражение неминуемо приведет к победе «большевизма» в стране». Хемингуэй прекрасно знал механику этой игры. «Стоит такому диктатору, — писал он, — завопить о большевистской угрозе как о неизбежном следствии его поражения — и сочувствие немедленно окажется на его стороне. Ведь стал же Муссолини героем ротермировской прессы в Англии благодаря утвердившемуся там мифу, что он, Муссолини, спас Италию от опасности стать красной».

В эти годы для публицистики Хемингуэя характерен заметный поворот к остросоциальной теме. Об этом свидетельствует статья «Кто убил ветеранов войны во Флориде», опубликованная в 1935 г. в коммунистическом журнале «Нью мэссис». Нет нужды в предисловии подробно писать о ней. Важно только напомнить, что именно в это время Хемингуэй работал над остросоциальным романом «Иметь и не иметь».

Значительное место в публицистике Хемингуэя первой половины 30-х годов занимают его высказывания о литературе, мысли о писательском мастерстве, о положении писателя в буржуазном обществе, и в частности в Америке.

Этим проблемам в настоящем сборнике посвящены такие материалы, как отрывки из книги «Зеленые холмы Африки», очерк «Маэстро задает вопросы», письма советскому литературоведу И. А. Кашкину.

Каждый из этих материалов по-своему интересен и ценен для понимания творческих поисков Хемингуэя в те годы. В каждом из них высвечиваются какие-то новые грани личности писателя.

Включенные в настоящий сборник отрывки из книги «Зеленые холмы Африки» примечательны прежде всего тем, что в них Хемингуэй очень четко формулирует свои взгляды на литературу прошлого. С неприязнью отзываясь о тех, кто «был джентльменом или тщился быть джентльменом», он противопоставляет им демократическую традицию в американской литературе, которая, в его понимании, как, кстати сказать, и в понимании другого выдающегося американского писателя XX века Уильяма Фолкнера, олицетворяется Марком Твеном.

Заслуживают внимания и горькие раздумья Хемингуэя о судьбе писателя в буржуазном обществе, о том, как это общество растлевает его с помощью больших денег и в итоге губит его как художника. Хемингуэй противопоставляет этой

системе продажности свою ставшую широко известной формулу, что писателю «нужно иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже».

Советский читатель, по моему убеждению, не может без волнения читать в этих отрывках из «Зеленых холмов Африки» проникновенные строки Хемингуэя о Толстом и Тургеневе. Они еще раз свидетельствуют о том, кого Хемингуэй брал себе в учителя, на кого равнялся в своем творчестве. При этом нельзя не отметить, что слабое знакомство Хемингуэя с советской литературой иногда приводило его к поверхностным суждениям. В частности, он не мог правильно оценить все величие М. Горького.

Несколько особняком в разделе «Тридцатые годы» стоит очерк «На голубой воде». Поселившись в 1930 г. в поселке Ки-Уэст во Флориде, Хемингуэй увлекся морской охотой на большую рыбу и немало писал об этом интереснейшем занятии. Очерк «На голубой воде» является превосходным образцом воплощения этой темы и, кроме того, интересен еще и тем, что в нем кратко, в одном абзаце, изложен случай со старым рыбаком из Кабаньяса на Кубе, который через пятнадцать лет воплотился в сюжет повести «Старик и море».

Переломным моментом в жизни Хемингуэя стал 1936 год, когда в Испании разразился фашистский мятеж. Хемингуэй любил эту страну, и ее политическая судьба, судьба Республики, была близка его сердцу.

Корреспонденции и очерки Хемингуэя из Испании в годы национально-революционной войны испанского народа против фашизма не нуждаются в комментариях — позиция писателя-антифашиста в них ясна. Может быть, следует только выделить особо речь Хемингуэя на II конгрессе американских писателей в 1937 году. Эта речь свидетельствует о том, насколько кардинально изменились его взгляды на проблему участия писателя в политической борьбе. «Есть только одна политическая система, — говорил он, — которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. Потому что фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами».

Значительное и очень важное место в публицистике Хемингуэя в годы гражданской войны в Испании занимает тема интернационализма. Часто бывая в частях интернациональных бригад на различных фронтах, Хемингуэй был поражен мужеством этих людей, приехавших сюда из самых разных стран и готовых отдать

свои жизни за свободу чужого им народа во имя святого дела — борьбы с фашизмом. Естественно, что в первую очередь Хемингуэя интересовали его соотечественники — бойцы американского батальона имени Линкольна. О них он много раз писал в своих корреспонденциях, им он посвятил уже после окончания войны и гибели Республики надгробное слово-реквием «Американцам, павшим за Испанию».

После гражданской войны в Испании Хэмингуэй засел за роман «По ком звонит колокол», главным героем которого стал американец, добровольно отправившийся в Испанию сражаться против фашизма. Впоследствии в письме К. М. Симонову Хемингуэй объяснял: «После испанской войны я должен был писать немедленно, потому что я знал, что следующая война надвигается быстро, и чувствовал, что времени остается мало».

Способность Хемингуэя трезво анализировать действительность, зоркий глаз писателя опять не обманули его. 1 сентября 1939 г. разразилась вторая мировая война, а 22 июня 1941 года начался ее решающий этап — гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Хемингуэй понимал все значение происходящего для судеб человечества.

Характерно, что он, никак не откликнувшийся ранее даже на такие события, как военный разгром Франции, уже через несколько дней отправил в Москву телеграмму, в которой подчеркивал: «Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, сопротивляющиеся фашистскому порабощению».

И он последовательно, на протяжении всей Великой Отечественной войны, выражал свое восхищение героической борьбой советского народа. Об этом свидетельствует ряд телеграмм, помещенных в этом томе, а также очень важное письмо К. М. Симонову, написанное уже после войны.

После того как 7 декабря 1941 г. Япония напала на американский военно-морской флот в Пирл-Харборе и Соединенные Штаты вступили в войну, Хемингуэй рвался на фронт в качестве корреспондента, но американские военные власти отказывали ему в этом. В те годы он жил на Кубе и, стремясь внести свой вклад в войну с фашизмом, переоборудовал свой рыболовный катер для охоты за немецкими подводными лодками, оперировавшими в Карибском море. Таким образом он начал свою «личную» войну с нацистской Германией.

Однако Хемингуэй не забывал, что он прежде всего писатель, к голосу которого прислушиваются миллионы людей, и испытывал потребность высказать публично свое отношение к этой войне. Хемингуэй нашел такую возможность, когда ему предложили принять участие в составлении антологии произведений мировой литературы о войне «Люди на войне» и написать к ней предисловие.

Это предисловие заслуживает самого внимательного прочтения. Из него явствует, что Хемингуэй видел смысл разразившейся мировой войны именно в ее антифашистской направленности, но при этом он подчеркивал, что эти цели не должны прикрывать и оправдывать задним числом предательства буржуазных политиков, участвовавших в мюнхенском сговоре. Он помнил судьбы республиканской Испании, Чехословакии. Это убеждение в предисловии выражено абсолютно недвусмысленно. «Составитель этой антологии, — писал Хемингуэй, — ненавидит войну, а заодно и всех политиков, чья бездарность, легковерие, жадность, эгоизм и амбиции привели к этой войне и сделали ее неизбежной».

Хемингуэй прекрасно отдавал себе отчет в том, что за лозунгами антифашистской войны скры-

ваются порой корыстные, империалистические цели буржуазных правительств, думающих не об искоренении фашизма, а о расширении сфер влияния, о порабощении других стран и народов. Поэтому он настойчиво призывал не упускать из виду именно антифашистские цели войны. Более того, он прямо указывал на опасность утверждения фашизма в самих Соединенных Штатах. Он писал, что войну нужно выиграть, не забывая, «ради чего мы сражаемся, чтобы, воюя против фашизма, не скатиться к приятию его идей и идеалов».

Весной 1944 года Хемингуэю удалось наконец уехать в качестве военного корреспондента журнала «Колльерс» в Англию. 6 июня он уже был на борту военного транспорта, принимавшего участие в высадке союзных войск в Нормандии. Потом он летал на английском бомбардировщике, бомбившем военные объекты на территории Германии. Когда же начались активные операции по освобождению Франции, Хемингуэй оказался в самых передовых частях, возглавив отряд французских партизан, который успешно проводил разведывательные операции и помог освобождению Парижа. Потом он участвовал в кровопролитных боях на границе с Германи-

ей. Обо всех этих операциях читатель узнает из превосходных военных очерков Хемингуэя, включенных в этот сборник.

Кончилась война и, казалось бы, можно уже было забыть об этих тяжелых годах, вернуться к радостям мирной жизни, к писательскому труду. Но Хемингуэя не оставляла тревога за судьбы послевоенного мира. Это было время, когда реакционные круги Америки стали открыто провозглашать Советский Союз «врагом номер один», когда появились первые симптомы «холодной войны». И Хемингуэй смело поднял свой голос в защиту мира, в защиту разума, взаимопонимания между народами.

Уже в конце 1945 года Хемингуэй выступил с предисловием к антологии «Сокровище свободного мира». Трудно переоценить значимость и на сегодняшний день высказанных им мыслей. «Теперь, — писал он, — когда война окончена и мертвые мертвы… для нас настало время потруднее, когда мы должны уже не просто бороться, но обязаны осмыслить наш мир».

Он видел опасность для послевоенного мира прежде всего в империалистической направленности американской внешней политики и с тревогой писал, что Соединенные Штаты вышли

из войны самой сильной державой мира — «и хорошо бы нам не стать самой ненавистной». Хемингуэй намекал в этом своем предисловии, что для такой ненависти есть все основания. Имея в виду взрывы атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки, он напоминал, что американские вооруженные силы «уничтожили больше гражданского населения в чужих странах, чем успели погубить наши враги в своих чудовищных злодеяниях, которые мы так осуждаем». Он предостерегал от гонки атомных вооружений, предрекая, что атомная бомба — это та праща с камнем, которая может уничтожить всех гигантов, включая и Соединенные Штаты, и призывал правящие круги Америки уважать «права, привилегии и обязанности всех остальных стран и народов», а иначе, писал он с тревогой, «со всей нашей мощью мы станем такой же опасностью для мира, какой был фашизм». И словно обращаясь через три с лишним десятка лет вперед к нынешним руководителям США, Хемингуэй утверждал: «Агрессивная война — величайшее преступление против самих источников добра, которое еще есть в мире… И не надо думать, будто война, какой бы оправданной она ни была, может быть не преступной».

Тревога Хемингуэя в отношении опасности развязывания новой войны имела свои основания — в 1946 г. Черчилль произнес свою печально знаменитую речь в Фултоне, ознаменовавшую собой разжигание военной истерии, призыв, по существу, к подготовке войны против Советского Союза. Международная обстановка все более накалялась.

В этой ситуации Хемингуэй использовал первый же удобный повод для резкого выступления против поджигателей новой войны. Таким поводом послужило переиздание в 1948 г. его романа «Прощай, оружие!» с иллюстрациями. Хемингуэй написал к этому изданию предисловие и в нем четко объяснил, почему «писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся, наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война». С презрением поминал он Муссолини и гитлеровских главарей, развязавших последнюю мировую войну: «Умерло и много таких, кому следовало умереть: одни повисли кверху ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили, худо ли, хорошо ли, в разбомбленных немецких городах». Не был ли в этих словах скрыт намек на такую же участь,

которая может постичь поджигателей новой войны? Нет, это был не намек, Хемингуэй далее писал открытым текстом: «… те, кто затевает, разжигает и ведет войну, — свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий».

Полезное напоминание тем безответственным деятелям в США, которые без устали твердят о возможности новой, на этот раз атомной войны.

Озабоченность Хемингуэя положением дел в мире в те годы после окончания второй мировой войны проглядывает и в его письме последнему командиру батальона имени Линкольна, сражавшегося в составе Интернациональных бригад в Испании, Милтону Вольфу, в котором Хемингуэй предлагает провести расследование и разоблачить тех, кто в США оказывает финансовую поддержку фашистскому режиму Франко: «Как же, черт побери, можно позволить оставаться у власти человеку, сформировавшему дивизию для борьбы на Восточном фронте, вот чего я не понимаю!»

В этот последний период своей жизни Хемин-

гуэй вновь и вновь возвращается к проблемам собственно литературного творчества. О них он пишет в упоминавшемся ранее письме К. М. Симонову, в письме молодому писателю, в беседе с молодежью в Хейли, в речи, которую он подготовил для церемонии вручения ему Нобелевской премии, в известном интервью Д. Плимптону, в котором он довольно подробно рассказывал о своей творческой лаборатории.

И наконец, как завершение тома, в него включено интервью Хемингуэя парижскому еженедельнику «Ар» о революции на Кубе. Это интервью имеет особое значение, ибо уже после смерти Хемингуэя реакционные органы печати на Западе не раз распространяли грязные слухи о том, что Хемингуэй якобы не принял революцию на Кубе и из-за этого и уехал с острова Свободы. В действительности же Хемингуэй горячо приветствовал Кубинскую революцию. Вдова писателя, Мэри Хемингуэй, нашла впоследствии в его записях такие слова: «Кубинская революция была исторической необходимостью».

В настоящий сборник включены также отрывки из африканского дневника Хемингуэя, который он вел в 1953 году, под названием «Лев мисс Мэри». Опубликованный посмертно, днев-

ник дает читателю представление о той теме, которая на протяжении многих лет занимала Хемингуэя, страстного охотника и рыболова, — о его охоте в Африке. Вместе с тем «Лев мисс Мэри» открывает многие сокровенные стороны человеческой философии и жизненной программы писателя.

В завершение хочется еще раз подчеркнуть, что публицистика Хемингуэя, как и все его творчество, остается неотъемлемой частью истории нашего века. Она актуальна и сегодня, ибо все, что написал за свою жизнь Хемингуэй, живет и поныне, волнуя сердца и умы читателей во всем мире.

Б. Грибанов

Молодые годы (1920–1921)

Как прослыть ветераном войны, не понюхав пороха

Во время последней заварушки с Германией[1] некоторые торонтцы призывного возраста, желая принять участие в войне, в порыве патриотизма эмигрировали в Штаты, где трудились, не жалея сил своих, на военных заводах. Сколотив приличный капиталец, они мечтают теперь вернуться в Канаду, чтобы получать пятнадцать процентов с денег, заработанных в Штатах.

Горя желанием помочь этим нравственно мужественным душам, поддерживавшим материальную мощь войны, мы приготовили для них несколько советов о том, как прослыть ветераном войны, не нюхав пороха.

Разумнее было бы для возвращающегося патриота селиться на новом месте, а не там, где он жил прежде. Граждане его родного города могут неправильно истолковать мотивы, побудившие его подвергать себя такой опасности, как работа

---

[1] Примечания: 1

Канада как доминион Британской империи участвовала в первой мировой войне с самого ее начала. Канадский экспедиционный корпус принимал участие в боях на франко-германском фронте. США вступили в войну в апреле 1917 г.

на военном заводе.

Первая трудность, с которой придется встретиться, — отсутствие заграничного значка Канадского экспедиционного корпуса. Это, правда, легко уладить. Если кто-нибудь спросит тебя, почему ты не носишь медяшку, ответь высокомерно: «Не нуждаюсь в рекламе».

Такой ответ заставит человека, вышедшего из строя после Монса[2] и щеголяющего дешевой медяшкой, почувствовать себя неловко.

Если на танцах миловидная особа спросит тебя, случалось ли тебе во Франции встречаться с мистером Смитом, лейтенантом ВВС, или же столкнуться где-нибудь с майором Максуером, скажи холодным тоном «нет» — и ты сразу же поставишь ее на место, а кроме того, это единственно возможный ответ в подобной ситуации.

Неплохо было бы заглянуть в один из магазинчиков, торгующих подержанными армейскими товарами, и купить себе куртку. Куртка, хорошо потрепанная зимой в окопах, выглядит куда более убедительно, чем Военный крест. Если не удастся приобрести куртку, купи пару армейских ботинок. Ими ты сможешь доказать любому, что

---

[2] Примечания: 2

Монс — город в Бельгии, место кровопролитных боев во время первой мировой войны.

ты служил.

Куртка и армейские ботинки позволят тебе сразу же войти в братство фронтовиков. А братство фронтовиков — это единственное, что приобрели те, кто воевал.

Твое дальновидное решение отправиться в Штаты теперь уже можно считать оправданным. У тебя есть все преимущества побывавшего на войне и никаких ее мрачных последствий.

Очень неплохо было бы выучить мотивчики «Мадемуазель из Армантьера» и «Маделон». Насвистывай эти священные баллады на задней площадке трамвая, и в тебе каждый признает бывшего фронтовика. Но если не обладаешь крепкими нервами, то не пытайся выучить слова этих героических гимнов.

Купи или возьми почитать хорошую историю войны. Изучи ее тщательно, и тогда ты сможешь вести вразумительную беседу о событиях на любой части фронта. Более того, тебе придется не раз доказывать ветерану его ошибки, если даже не полное невежество. Солдат, как правило, обладает никудышной памятью на даты и названия. Воспользуйся этим. Некоторое время добросовестного изучения — и ты сможешь доказать

участнику первого и второго Ипра[3], что он там вовсе не был. Здесь тебе, конечно, поможет и то, что все дни в армии похожи один на другой. Как метко сказал сержант действительной службы: «Каждый день в армии точно воскресенье на ферме».

Теперь, когда ты прочно утвердил свое общественное положение бывалого солдата, а возможно, даже и героя, все остальное легко. Будь скромен и непритязателен, и у тебя не будет никаких недоразумений. Если кто-нибудь в конторе обратится к тебе «майор», отмахнись рукой, улыбнись протестующе и скажи: «Нет, не совсем майор».

После этого все в конторе будут называть тебя капитаном.

Теперь у тебя за плечами служба в действующей армии, доказанный патриотизм и прочный патент на офицерский чин. Остается совсем немного. Войди один как-нибудь ночью в свою комнату. Вынь сберкнижку из ящика стола и просмотри ее. Положи ее обратно в ящик.

Встань перед зеркалом, посмотри себе в глаза и запомни, что пятьдесят шесть тысяч канадцев

---

[3] Примечания: 3

Ипр — город в Бельгии, место кровопролитных боев во время первой мировой войны.

погибло во Франции и Фландрии. Потом выключи свет и ложись спать.

Мэр-болельщик

Мэр — ревностный болельщик на всех спортивных соревнованиях. Особенно он увлекается боксом, хоккеем и другими мужскими видами спорта. Любое спортивное событие, собирающее зрителей-избирателей, автоматически пользуется покровительством его милости. Если бы совершеннолетние граждане играли в чехарду и шарики, не сомневаюсь, мэр не замедлил бы посетить их соревнования.

Прошлым вечером мэр и я были на встрече по боксу в Массей-холле (Торонто). Нет, мы отправились туда каждый по отдельности, но оказались в одном зале.

Появление мэра было очень эффектным. Он долго не садился и все раскланивался с многочисленными знакомыми.

— Кто это такой? — спросил мой сосед.

— Это же мэр, — ответил я.

— Эй, там, впереди, сядь! — гаркнул сосед.

Мэр был явно в восторге от матча. Он так оживленно пожимал руки всем, кто был рядом, что даже не заметил, когда прозвучал гонг и кончился первый раунд.

В перерыве мэр встал и стал внимательно разглядывать толпу.

— Что это он делает? — спросил сосед. — Подсчитывает, сколько вмещает зал?

— Что вы! Он просто дает возможность любителям спорта лицезреть своего мэра-болельщика, — ответил я.

— Эй там, впереди, сядь! — сердито крикнул сосед.

Во время следующих двух раундов мэр наконец признал нескольких своих приятелей и долго махал им рукой. Он также пожал руки всем солдатам, причем некоторым на всякий случай он тряс руку дважды.

Скотти Лиснеру приходилось туго на ринге. Мэр не имел возможности следить за боем, но громко аплодировал вместе с толпой.

Однажды он даже повернулся к своему соседу справа и сказал:

— Лиснер всыплет ему, не правда ли? Сосед с сожалением посмотрел на него.

— Я всегда знал, что Лиснер прекрасно дерется, — довольно сказал мэр и снова стал вертеться по сторонам, отыскивая, кому бы еще пожать руку.

Бой кончился. Рефери посовещался с судьями и

поднял руку противника Лиснера. Мэр встал.

— Я рад, что Лиснер выиграл! — воскликнул он.

— Неужели это действительно мэр? — спросил мой сосед.

— Этот человек — его милость мэр-болельщик! — ответил я.

— Эй, впереди, да сядешь ты наконец! — завопил сосед хриплым голосом.

Последний бой произвел на мэра особенно сильное впечатление. Правда, он ничего не видел, зато отыскал еще несколько человек, которым не успел пожать руки. Зал неистово свистел и аплодировал. Время от времени и мэр свистел, когда все аплодировали, но сразу же исправлялся.

В конце матча мэр сбился с ритма и, произнеся: «Собрание закрыто», бросился к своей машине, очевидно полагая, что находится на заседании муниципального совета.

Хоккеем мэр интересуется ничуть не меньше, чем боксом. Случись избирателям увлечься блошиными боями, картами или австралийским бумерангом, и мэр тут же окажется в первых рядах. Потому что он любит все виды спорта.

Дикий Запад перебрался в Чикаго

В Канаде никогда не было своего Дикого Запада. В основном, возможно, потому, что стоило кому бы то ни было прибыть из-за границы и попробовать «дикозападничать», как канадская северо-западная конная полиция без лишнего шума отправляла его туда, где он никому не мог причинить никакого беспокойства.

Зато в Соединенных Штатах Дикий Запад процветал. Все было как мы привыкли видеть в кино. Были игорные притоны, города «открытого порока», самогон, профессиональные игроки в сюртуках, ковбои-бандиты, убийства с разбором и без разбора — в общем, жизнь била ключом.

Но все это в прошлом. Там, где когда-то ночной воздух сотрясали выстрелы, теперь тихой ночью вас не побеспокоит ничто, кроме телефонного звонка.

Где некогда бродили только сохатые, сегодня вместе с ними бродят масоны и прочие члены тайного братства. Иными словами, на смену старому порядку пришел новый.

Но Дикий Запад не исчез. Он только перебрался на новое место. В настоящее время он находится

на юго-западной части побережья озера Мичиган, а его бандиты хозяйничают в районе огромных закопченных каменных джунглей, именуемых Чикаго.

Ежегодно кто-либо из конгрессменов или сенаторов докладывает конгрессу США о том, что за минувший год в Мексике было убито двадцать семь, а то и целых тридцать два американских гражданина. Все конгрессмены дружно вздрагивают. И то понятно: Мексика — скверное место. Нужно принимать меры.

Зато в городе Чикаго с января по ноябрь этого года было убито всего сто пятьдесят человек. Сто пятьдесят убийств за девять месяцев, то есть по одному убийству каждые сорок часов.

Конечно же, это пустяки по сравнению с первыми приисковыми городами штата Невада, где, как гласит молва, каждое утро к завтраку было по одному убитому. Правда, в Неваде меню на завтрак разнообразилось также за счет шерифов и полицейских, расправлявшихся с бандитами, а сведения по Чикаго приводятся без учета деятельности полиции, хотя наверняка и здесь стражи порядка каждый день кого-нибудь убивают.

Чикаго считается сухим городом. Но всякий, кто в состоянии выложить двадцать долларов за

кварту виски, может приобрести все, что душе угодно.

Игорные дома после небольшого затишья вновь процветают. Конечно, некоторые виды азартных игр могут существовать в любом городе, несмотря на усилия полиции. Игры эти не требуют специального оборудования, и играть в них можно практически в любом месте. Например, игрокам в кости во время облавы достаточно не открывать дверь ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы сгрести все деньги в саквояж из оленьей кожи, стоящий наготове на бильярдном столе, выбросить кости за окно — и никаких доказательств.

Зато существование рулетки невозможно без покровительства полиции. Рулетку не спрячешь и не выбросишь в окно — она громоздкая, тяжелая и дорого стоит. Открывая игорный дом, его хозяева должны быть совершенно уверены, что будут заранее предупреждены о начале облавы, чтобы у них хватило времени припрятать оборудование.

Весь город говорит о расположенном в западной части Чикаго игорном доме с рулеткой, где ставки не уступают игорным домам Монте-Карло. Как видите, убийства, алкогольные напитки

и азартные игры чувствуют себя на новом Диком Западе ничуть не хуже, чем на старом.

Что до полиции, то размеры преступности в Чикаго лучше всего характеризуют ее деятельность. Но даже если вам удалось миновать гибели от рук злоумышленников, то в Чикаго у беззубой с косой припасено для вас немало других сюрпризов. Только в этом, еще не окончившемся году под колесами автомобилей здесь почило еще четыреста двадцать семь человек.

Европейский корреспондент (1922–1923)

Американская богема в Париже. Чудной народ

Париж

Пена нью-йоркского квартала Гринич-вилледж[4] была недавно снята большой шумовкой и перенесена в квартал Парижа, прилегающий к кафе «Ротонда». Конечно, на место старой пены там накипела уже новая, но старая пена, плотная пена, самая пенистая пена перехлестнула через океан и своими вечерними приливами сделала «Ротонду» самым притягательным для туристов пунктом Латинского квартала.

Странно выглядят и странно ведут себя те, что теснятся за столиками кафе «Ротонда». Все они так добиваются небрежной оригинальности костюма, что достигли своего рода единообразной эксцентричности. Заглянув впервые в высокий, продымленный под самый потолок, тесно заставленный столиками зал «Ротонды», ощущаешь примерно то же, что входя в птичий павильон зоологического сада. Оглушает потрясающий,

[4] Примечания: 4

Гринич-вилледж — район Нью-Йорка, где живут молодые писатели, художники.

зычный, многотембровый, пронзительный гомон, прорезаемый лакеями, которые порхают сквозь дым, как черно-белые сороки. За столиками полно — всегда полно: кого-нибудь оттеснят и вокруг него толпятся; что-нибудь смахнут со стола; в вертящуюся дверь прихлынет еще порция посетителей; еще один черно-белый лакей прошмыгнет между столами к внутренней двери, и, выкрикнув заказ в его исчезающую спину, вы оглядитесь и начнете различать лица. За один вечер надо ограничиться лицезрением определенного числа посетителей «Ротонды». Набрав достаточную квоту, вы чувствуете, что вам надо уходить. Есть совершенно определенный момент, когда сознаешь, что ты нагляделся на завсегдатаев «Ротонды» и должен уйти. А чтобы в точности определить этот момент, попытайтесь одолеть кружку прокисшей патоки. Одни поймут, что дальше не могут, уже с первого глотка. Другие будут упорствовать. Но для каждого нормального человека существует в этом предел. Потому что те, что теснятся вокруг столиков кафе «Ротонда», воздействуют совершенно определенным образом на средоточие всех чувств — на желудок.

В качестве первой дозы здешних индивидуальностей можно избрать низенькую, плотную,

свежевыкрашенную блондинку с челкой, подстриженной на староголландский манер, с лицом, похожим на окорок, покрытый розовой эмалью, и толстыми пальцами из-под длинных шелковых рукавов платья, напоминающего китайский халат. Она сидит, изогнувшись, за столиком, курит сигарету в двухфутовом мундштуке, и ее плоское лицо лишено какого бы то ни было выражения.

Она тупо взирает на свой шедевр, который висит напротив на побеленной стене кафе вместе с тремя приблизительно тысячами других шедевров, выставленных для обозрения посетителей «Ротонды». Ее шедевр — это нечто вроде розового расстегая, спускающегося по лестнице; и самовлюбленная, хотя и невыразительная, художница проводит обеденный и вечерние часы, сидя за этим столиком в благоговейном созерцании.

Окончив наблюдать художницу и ее творение, вы, слегка повернув голову, можете увидеть за столиком крупную пышноволосую женщину с тремя молодыми людьми. У крупной женщины живописная шляпа времен «Веселой вдовы», женщина шутит и истерически хохочет. Трое молодых людей каждый раз подхватывают ее хохот. Официант приносит счет, крупная женщина

платит, поправляет шляпу слегка дрожащими руками и уходит, сопровождаемая тремя молодыми людьми. В дверях она снова хохочет и исчезает. Три года назад она приехала с мужем в Париж из маленького городка в Коннектикуте, где они жили и где муж ее занимался живописью уже десять лет и со всевозрастающим успехом. В прошлом году муж вернулся в Америку один.

Это всего две из тысячи индивидуальностей, теснящихся в «Ротонде». Здесь, в «Ротонде», вы найдете все, что ищете, — кроме серьезных художников. Беда в том, что посетители Латинского квартала, придя в «Ротонду», считают, что перед ними собрание истинных художников Парижа. Я хочу во весь голос и с полной ответственностью внести поправку, потому что настоящие художники, создающие подлинные произведения искусства, не ходят сюда и презирают завсегдатаев «Ротонды».

Их, как и многих других туристов, привела сюда обменная ставка 12 франков за доллар, и, когда восстановится нормальный обмен, им всем надо будет возвращаться в Америку. Почти все они бездельники, и ту энергию, которую художник вкладывает в свой творческий труд, они тратят на разговоры о том, что они собираются делать, и

на осуждение того, что создали художники, получившие хоть какое-то признание. В разговорах об искусстве они находят такое же удовлетворение, какое подлинный художник получает в самом творчестве. Конечно, это приятное занятие, но они уверены, что именно они-то и есть настоящие художники.

С того доброго старого времени, когда Шарль Бодлер водил на цепочке пурпурного омара по улицам древнего Латинского квартала, немного написано хороших стихов за столиками здешних кафе. Даже и тогда, кажется мне, Бодлер сдавал своего омара там, на первом этаже, на попечение консьержки, отставлял закупоренную бутылку хлороформа на умывальник, а сам потел, обтачивая свои «Цветы зла», один на один со своими мыслями и листом бумаги, как это делали все художники и до, и после него. Но у банды, обосновавшейся на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай, нет на это времени, ведь они весь день проводят в «Ротонде».

Вот он какой, Париж!

Париж

После того как хлопнет третья бутылка шампанского и джаз-банд доведет американского галантерейщика до такой экзальтации, что у него закружится голова от всего этого великолепия, он, может быть, изречет тупо и глубокомысленно: «Так вот он какой — Париж!»

В его замечании будет доля правды. Да, это Париж. Париж, ограниченный гостиницей галантерейщика, ревю Фоли-Бержер и Олимпиа, прорезанный Большими бульварами, увенчанный Максимом и густо заляпанный ночными кабачками Монмартра. Это показной, лихорадочный Париж, собирающий большие доходы с развлекающегося галантерейщика и ему подобных, которые после соответствующей выпивки готовы платить за все любую цену.

Галантерейщик требует, чтобы Париж был сверх-Содомом и ультра-Гоморрой, и, как только алкоголь ослабит его врожденное скопидомство и цепкую хватку за бумажник, он готов платить за приобщение к своему идеалу. И это дорого ему обходится, потому что цены в парижских

злачных местах, которые открываются около полуночи, таковы, что только спекулянт военного времени, бразильский миллионер или загулявший американец может выдержать их.

Шампанское, которое повсюду можно купить днем по 18 франков за бутылку, после 10 часов автоматически повышается в цене до 85 и даже до 150 франков. И все цены соответственно. Вечер, проведенный в фешенебельном дансинге, может облегчить бумажник иностранца по крайней мере на 800 франков. А если искатель удовольствий захочет еще и поужинать, то хорошо, если он уложится в 1000 франков. И все это будет проделано так изящно, что после первой бутылки он будет считать это для себя великой честью, пока утром не обнаружит, какой урон нанесен его банковскому счету. Начиная с шофера, который, подцепив американца у подъезда какого-нибудь фешенебельного отеля, автоматически подкручивает пять франков на счетчике, до последнего официанта в последнем из посещаемых им ресторанов, у которого нет сдачи меньше пяти франков, обирание богатого иностранца, ищущего удовольствий, доведено до совершенства и может соперничать с искусством. Но беда в том, что турист, сколько бы ни заплатил, никогда не

видит того, что хотел бы увидеть.

Ему хотелось бы поглядеть на ночную жизнь Парижа, а ему преподносят специально подготовленное представление, исполняемое узким кругом скучающих, но хорошо оплачиваемых статистов, которое идет уже тысячи ночей и может быть названо «Околпачивание туриста». В то время как он покупает шампанское, слушает джаз-банд, где-то рядом живет своей жизнью «Баль Мюзет»[5], куда апаши, тот самый народ, который, как ему кажется, он видит, заходят со своими подружками, сидят на длинных скамьях небольшой продымленной комнаты и танцуют под музыку аккордеониста, который отбивает ритм, притопывая подошвами.

В праздничные вечера в «Баль Мюзет» приходит барабанщик, но в обычные дни аккордеонист, который, прицепив к лодыжкам бубенчики и притопывая, сидит на возвышении над танцевальной площадкой, раскачиваясь в ритме танца. Посетителям «Баль Мюзет» не надо искусственного возбуждения в виде джаз-банда, чтобы заставить их танцевать. Они танцуют потехи ради, а случается, что потехи ради и оберут

---

[5] Примечания: 5
«Баль Мюзет» — дешевый танцевальный зал.

кого-нибудь, так как это и легко, и забавно, и прибыльно. А потому, что они юные и озорные и любят жизнь, не уважая ее, они иногда наносят слишком сильный удар и стреляют слишком быстро, а тогда жизнь становится для них мрачной шуткой, ведущей к вертикальной машине, отбрасывающей тонкую тень и называемой гильотиной… Бывает, что туристу все же удается познать настоящую ночную жизнь. Спускаясь в винном угаре часа в два ночи с мирного холма по какому-нибудь пустынному переулку, он видит, как из-за угла появляются два отчаянных молодчика. Они вовсе не похожи на ту лощеную публику, которую он только что покинул. Те двое оглядывают улицу, нет ли поблизости полицейского, а потом они подходят ближе, и все, что он помнит, — это внезапный ошеломляющий удар.

Это его хватили по уху куском свинцовой трубы, завернутой в номер газеты «Матэн». И вот турист наконец «входит в соприкосновение» с настоящей ночной жизнью, на поиски которой он потратил столько денег.

— Двести франков? Экая свинья! — говорит Жан в темноте подвала при свете спички, которой Жорж чиркнул, чтобы обследовать содержимое бумажника.

— В «Мулен-Руж» его небось еще не так бы обчистили.

— Mais oui, mon vieux[6]. А голова у него утром все равно болела бы, — говорит Жан. — Пойдем потанцуем, что ли.

[6] Примечания: 6
Вот именно, дружище (фр.).

Получившая премию книга — в центре нападок

«Батуала» — роман Рене Марана[7], негра, лауреата пятитысячефранковой премии академии Гонкуров, присуждаемой молодым авторам за лучший роман года, — все еще находится в центре водоворота осуждения, возмущения и похвалы.

На днях Маран, родившийся на Мартинике и учившийся во Франции, подвергся резким нападкам в палате депутатов как неблагодарный очернитель Франции. Кое-кому из французов не понравилось обвинение, предъявленное писателем французскому империализму за его политику в отношении туземцев во французских колониях. Другие вступились за автора и просили политиканов рассматривать роман как произведение искусства, настоящего искусства, каковым он и является.

А тем временем Рене Маран ничего не ведает о той буре, которую вызвала его книга. Он нахо-

---

[7] Примечания: 7

Маран Рене (1887–1960) — африканский писатель, мартиниканец по происхождению. В 1921 году опубликовал антиколониальный роман «Батуала».

дится на французской государственной службе в Центральной Африке, в двух днях пути от озера Чад и в семидесяти днях езды от Парижа. В местечке этом нет телеграфа, и он не знает даже о том, что книга его получила знаменитую Гонкуровскую премию.

Во вступлении к роману рассказывается о том, как в центре Африки община из десяти тысяч черных жителей сократилась под французским господством до одной тысячи человек. Это горестная история, и факты в ней излагаются очевидцем просто и бесстрастно.

Вчитываясь в роман, читатель представляет себе картину жизни в африканской деревне, увиденную большими, с ярко-белыми белками глазами африканца и прочувствованную его розовыми ладонями и широкими плоскими голыми ступнями. Вы слышите запахи деревни, едите ее пищу и видите белого человека таким, каким видит его черный, и, пожив в этой деревне, вы в ней же и умираете. Вот и вся история, но, прочитав ее, вы сами ощутили себя Батуалой — вот почему это замечательный роман.

Роман начинается с того, как Батуала, вождь деревни, просыпается в своей хижине, разбуженный холодом раннего утра и шорохом осы-

пающегося под ним земляного пола, в котором муравьи прокладывают тоннель. Он раздувает потухший очаг, садится, сгорбившись, у огня и, согревая застывшее тело, размышляет, не лечь ли ему снова спать.

В конце романа Батуала — старик с упрямыми от возраста суставами, покалеченный леопардом, которого не настигло его копье, — по-прежнему лежит на земляном полу хижины. Деревенский колдун оставил его одного, в деревне появился вождь помоложе, и Батуала умирает, мучимый лихорадкой и жаждой, и шелудивый пес лижет его раны. И пока он лежит так, вы тоже чувствуете жажду, и жар, и шершавый, влажный язык пса.

Возможно, вскоре роман переведут на английский язык. Но чтобы хорошо перевести его, нужен еще один негр, проживший жизнь в местечке, находящемся в двух днях пути от озера Чад, и владеющий английским языком так, как владеет французским Рене Маран.

Революция и контрреволюция

Генуя

…Некоторые области Италии, особенно Тоскана и северные провинции, уже пережили в последние месяцы кровавую борьбу, убийства, репрессии и напряженные бои для подавления коммунистов. Итальянские власти поэтому боятся того воздействия на красную Геную, которое может оказать появление восьмидесяти представителей Советской России, их дружелюбный прием и проявленное к ним уважение.

Можно не сомневаться, что красные генуэзцы — а они составляют примерно треть населения — встретят красных русских слезами, приветствиями, объятиями, будут угощать их вином, ликером, плохими сигаретами, будут парадировать, кричать «ура» и на все лады выражать друг перед другом и перед всем светом свои симпатии, как это свойственно итальянцам. Они будут обниматься и целоваться, устраивать сборища в кафе, пить за здоровье Ленина, каждые две-три минуты три-четыре красных вожака будут пытаться сколотить демонстрацию, и будет поглощено неимоверное количество кьянти под

дружные крики: «Смерть фашистам!»… На этом все кончается, если, конечно, они не встретят фашистов. В этом случае дело принимает совсем другой оборот. Фашисты — это отродье зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевистской… Набраны они из молодых экс-ветеранов с целью защитить существующее правительство от всякого рода большевистских заговоров и агрессий. Короче говоря, это контрреволюционеры, и в 1920 году это они подавили красных бомбами, пулеметами, ножами; и щедрым применением керосиновых бидонов, чтобы поджигать места красных митингов; и тяжелыми, окованными железом дубинками, которыми они мозжили головы красных, когда те пытались выскочить.

Фашисты действовали с совершенно определенной целью и уничтожали все, что могло грозить революцией. Они пользовались если не активной поддержкой, то молчаливым одобрением правительства, и не подлежит никакому сомнению, что именно они сломили красных. Но они привыкли к безнаказанному беззаконию и убийству и считали себя вправе бесчинствовать, где и когда им вздумается.

…Фашисты не делают различия между социа-

листами, коммунистами, республиканцами или кооператорами. Для них все они — красные и опасные смутьяны.

Так вот, фашисты, прослышав про митинг красных, напяливают на голову свои длинные черные фески с кисточками, опоясываются окопными кинжалами, запасаются оружием, гранатами и боеприпасами и направляются прямо на место митинга красных, распевая фашистский гимн «Джовенецца». Фашисты — это по преимуществу молодежь, они энергичны, грубы, вспыльчивы, подчеркнуто патриотичны, по большей части красивы юношеской красотой южан и твердо убеждены в своей правоте. Они в избытке обладают доблестями и нетерпимостью молодости. Маршируя строем, фашисты наталкиваются на трех красных, малюющих мелом свои лозунги на одной из высоких стен узкой улочки. Четверо юнцов в черных фесках хватают красных, и в свалке одного из фашистов закалывают. Тогда остальные приканчивают своих пленных и, разбившись на тройки и четверки, начинают обшаривать весь квартал в поисках красных. Если красный подстреливает одного фашиста из окна верхнего этажа, тогда фашисты начисто сжигают весь дом. Каждые две-три недели в газете публи-

куются сводки. Обычно бывает от 10 до 15 убитых красных и от 20 до 50 раненых. А фашистов не более 2–3 убитых и раненых. Уже более года идет в Италии эта беспорядочная партизанская война. Очередная крупная схватка произошла несколько месяцев назад во Флоренции, но с тех пор были вспышки помельче.

Судьба разоружения

Генуя.

При открытии Генуэзской конференции имела место сенсация, которая превзошла вашингтонскую речь государственного секретаря Хьюза о нормировании морских вооружений. Но произошло это, когда все запланированные речи уже были отбарабанены и большинство газетчиков покинуло зал, чтобы передать на телеграф свои заранее подготовленные отчеты об открытии.

Внезапно надышанный толпой воздух зала, где в продолжении четырех часов не смолкали речи, прорезал словно электрический разряд. Глава советской делегации Чичерин только что вернулся на свое место за зеленым прямоугольником столов.

«Есть еще желающие выступить?» — спросил по-итальянски синьор Факта, председательствующий на конференции…

Возглавляющий французскую делегацию мосье Барту вскочил и разразился кипучим потоком слов. Барту ходит вразвалку, но говорит он со страстной силой и горячностью французского оратора.

Внезапно скучную, сонную атмосферу этого душного зала словно прорезала летняя молния. Корреспонденты, которые осовело сидели на галерее, вдруг бешено заработали карандашами. Делегаты, которые ждали, откинувшись в креслах, закрытия заседания, напряженно вытянулись, стараясь не упустить ни слова. Рука Чичерина на столе задрожала, а Ллойд Джордж начал что-то машинально чертить на листе бумаги.

Все газетные «умники» уже покинули зал сразу после речи Чичерина. Остались те немногие, которые считают, что видели игру, только если оставались до последнего судейского свистка.

Барту кончил говорить, и переводчик, который обслуживал все конференции начиная с первой сессии Лиги наций начал звонким голосом перевод на английский язык: «Если этот вопрос о разоружении будет поднят, Франция абсолютно, категорически и окончательно отказывается обсуждать его как на пленарных заседаниях, так и в любом комитете. От имени Франции я заявляю этот решительный протест».

Переводчик продолжал переводить речь. Вот и конец.

Чичерин встал, руки у него дрожали. Он загово-

рил по-французски своим странным свистящим выговором, последствием несчастного случая, стоившего ему половины зубов. Толмач звонким голосом переводил. В паузах не слышно было ни звука, кроме позвякивания массы орденов на груди какого-то итальянского генерала, когда тот переступал с ноги на ногу. Это не выдумки. Можно было различить металлический звяк орденов и медалей.

«Что касается разоружения, — переводил толмач, — то Россия понимает позицию Франции в свете речи мосье Бриана в Вашингтоне. В ней он заявил, что Франция должна остаться вооруженной из-за опасности, создаваемой большой армией России. Я от имени России хочу снять эту опасность.

По вопросу о преемственности конференций я только цитирую речь Ллойд Джорджа в Британском парламенте. Мосье Пуанкаре сказал, что цели Генуэзской конференции не были четко ограничены. Здесь поднято несколько вопросов для дискуссии, которых не было в повестке, выработанной в Каннах. Если коллективная воля конференции решит, что вопрос о разоружении не должен обсуждаться, я склонюсь перед волей конференции. Но разоружение — это капиталь-

ный вопрос для России».

Переводчик сел, поднялся Ллойд Джордж. Конференция была взбудоражена. Казалось, что французы могут в любой момент покинуть зал. Ллойд Джордж, величайший мастер компромисса, старался протянуть время. В своей вкрадчивой манере он убеждал Чичерина не перегружать корабль Генуи чрезмерным грузом дискуссионных вопросов. «Если Генуэзская конференция не приведет к разоружению — это будет ее неудачей, — сказал он. — Но надо подготовиться. Сначала надо решить другие вопросы. Пусть мистер Чичерин не беспокоится. Но приведем сначала наш корабль в гавань, прежде чем пускаться в новое путешествие. Я предлагаю пока не поднимать вопроса о всеобщей конференции», И так в ожидании перерыва он говорил долго, пытаясь этим спасти конференцию от срыва.

«Повестка Генуэзской конференции была выпущена на двух прекраснейших языках мира — английском и французском!» — сказал он по ходу своей клочковатой и примирительной речи, мастерски проливавшей бальзам на умы большинства делегатов. Но при этой обмолвке итальянцы нахмурились, и результат предыдущих изысканнейших комплиментов Ллойд

Джорджа по их адресу был в значительной мере подорван.

И вот наконец синьор Факта закрывает заседание, решительно прерывая Барту и Чичерина, которые попытались говорить.

«Кончено. Вы уже выступали. Надо кончать!» И конференция была спасена от того, чтобы быть сорванной в первый же ее день.

Ветеран приезжает на места былых боев…

Если у вас еще сохранились воспоминания о том, что произошло ночью в грязи Пашендаэле или во время наступления первого эшелона, штурмовавшего склон горы неподалеку от Веме, то для того, чтобы освежить их, не стоит возвращаться в эти места. Места былых боев изменились так же неузнаваемо, как и ваша голень, на которой остался лишь тонкий белый шрам, а когда-то вы корчились, пытаясь перетянуть ее жгутом, и кровь, просочившись сквозь повязку, стекала струйкой в ботинок, и, когда вам удавалось подняться, вы хромали до перевязочного пункта, хлюпая в собственной крови.

Если уж вам так хочется, отправляйтесь лучше туда, где воевал кто-нибудь другой. Воображение поможет вам представить все, что там произошло. Только не приезжайте на места ваших боев, потому что происшедшие перемены, необычайно мертвенное, навевающее тоску уныние и спокойная зелень полей, некогда изрытых воронками от снарядов и исполосованных окопами и

заграждениями из колючей проволоки, заставят вас поверить в то, что события, казавшиеся вам действительно великими, были не более чем ночным кошмаром и самообманом. Это все равно что войти в пустую темноту театра, когда в зале никого, кроме выметающих грязь уборщиц. Поверьте мне, ведь я сам недавно побывал там, где пришлось воевать.

Не только поля сражений изменились и приобрели щеголеватый зеленый лоск — засыпаны воронки и окопы, взорваны и сровнены с землей долговременные огневые сооружения, сняты и заброшены гнить на свалках заграждения из колючей проволоки. Не удивительно также, что поля сражений не вызывают больше прежних чувств, особенно теперь, когда освятившие их своей кровью солдаты вырыты из этой земли и захоронены на огромных, аккуратных кладбищах за много миль от тех мест, где они погибли. Этого следовало ожидать. Города, где стояла ваша часть, города, не сохранившие ни малейшего следа войн и неузнаваемо изменившиеся, — вот что больше всего заставляет ныть ваше сердце. Ибо есть немало маленьких городов, которые вы любите, да и на самом деле кому еще, кроме штабного офицера, может нравиться поле битвы.

Есть много разных городов со странными фламандскими названиями и узкими, мощенными булыжником улочками, сохранившими свое очарование. Возможно, и есть такие города. Но я только что вернулся из Скио. Это был самый очаровательный город из тех, что мне довелось повидать во время войны, и я бы ни за что не узнал его сегодня и дорого бы дал, чтобы не приезжать туда вовсе.

Скио — одно из прекраснейших мест на земле. Это маленьким городок в районе Трентино, расположившийся у подножия Альп. Городок, где вы всегда могли найти самый радушный прием, развлечение и отдых. Там стояла наша часть, и все мы были страшно довольны и частенько мечтали о том, как: это будет хорошо приехать пожить в Скио после войны. Я особенно отчетливо помню первоклассную гостиницу «Дуе Спади», где превосходно кормили, и фабрику, в которой помещались наши казармы и которую мы называли «Скио кантри клаб».

На этот раз почему-то Скио показался мне невзрачный. Я прошелся по его длинной главной улице, заглядывая в витрины магазинов с выставленными в них сорочками в горошек, дешевой фарфоровой посудой, почтовыми открытками

с десятком вариантов изображений молодого человека и девушки, преданно смотрящих в глаза друг другу, засиженными мухами пирожными и огромными круглыми буханками черствого хлеба. Сразу за улицей по-прежнему начинались горы, но без снежных шапок; съежившиеся от дождей, они больше походили на холмы. И все же я долго смотрел на горы и потом пошел вниз по другой стороне улицы к центральному бару. Начал накрапывать дождь, и владельцы магазинов опускали навесы над витринами.

«Город изменился после войны», — сказал я розовощекой черноволосой девушке, недовольно восседавшей с вязаньем на стуле за обитой оцинкованным железом стойкой бара.

«Да», — ответила она, не отрывая глаз от вязанья.

«Я был здесь во время войны», — робко продолжил я.

«Многие здесь были», — ехидно буркнула она.

«Grazie, Signor», — сказала она с заученной оскорбительной вежливостью, когда я заплатил за выпитое и вышел на улицу.

Так меня встретил Скио. «Дуе Спади» превратилась в крохотную посредственную забегаловку. Фабрика, где были наши казармы, гудела как

улей. Старые ее ворота заложили кирпичом, и отходы черным потоком стекали в ручей, в котором мы когда-то купались. Былое очарование навсегда оставило эти места. На следующий день после плохо проведенной ночи я ушел из гостиницы пораньше, несмотря на дождь.

Когда-то в Скио был сад, окруженный увитой глицинией стеной, за которой душными ночами мы пили пиво; и грузная, как бомба, луна висела над огромным платаном, и тени от его веток причудливо расползались по столу. Я бродил по городу до самого полудня, но так и не нашел этого сада. Может быть, его не существовало вовсе?

Возможно, и войны-то здесь никогда не было. Помню, я лежал на скрипучей кровати, пытаясь читать при свете лампы, подвешенной высоко в самом центре потолка, и потом, выключив свет, смотрел из окна на мостовую, едва освещенную тусклым, пробивающимся сквозь дождь светом уличного фонаря. Именно по этой мостовой в 1916 году проходили, поднимая белую пыль, батальоны. Это были «Бригата Анкона», «Бригата Комо», «Бригата Таскана» и еще десять батальонов, присланных, чтобы остановить наступление австрийцев, прорвавших горные укрепления Трентино и просочившихся в долину, откуда

открывался путь к равнинам Венеции и Ломбардии. Это были хорошие войска по тем временам, и они прошли здесь по белой пыли раннего лета, остановили наступление и полегли в горных лощинах и сосновых лесах на склонах Трентино, пытаясь найти укрытие в голых скалах и окопаться в первом рыхлом летнем снегу горы Пасубио.

Это была та самая мостовая, по пыли которой эти же бригады прошли еще раз в нюне 1918 года, когда их перебросили к берегам Пьяве, чтобы остановить новое наступление. Только лучшие из бойцов уже остались лежать в горах близ Гориции, на склонах горы Сан-Габриеле и в прочих местах, где умирали солдаты и о которых никто никогда не слышал. В 1918 году они уже не были такими бравыми, как в 1916-м. Солдаты вереницей тянулись друг за другом, и, когда поднятое бригадой облако пыли рассеивалось, вдоль обочины можно было увидеть потрепанных, едва переставлявших сбитые ноги, обливавшихся потом под тяжестью ранцев, винтовок и палящего итальянского солнца бедняг, бредущих за ушедшим вперед батальоном.

Итак, мы отправились в Местре, где когда-то была станция снабжения фронта. Мы ехали туда в вагоне первого класса, битком набитом про-

пахшими потом итальянскими спекулянтами, направлявшимися в отпуск в Венецию. В Местре мы наняли машину до Пьяве и, развалившись на заднем сиденье, изучали карту и окрестности вдоль дороги, проложенной через ядовито-зеленые болота, сковавшие по обеим сторонам побережье Венеции.

Недалеко от Порто-Гранде, в нижней части дельты Пьяве, где австрийцы и итальянцы, увязая по пояс в трясине, атаковали и контратаковали друг друга, наша машина сломалась, став посреди насыпной дороги, вклинившейся в зеленую болотистую пустыню. Водитель долго возился с забитой грязью коробкой передач, и моя жена также долго извлекала иголкой занозу из его пальца, и все это время мы жарились на жгучем солнце. Потом налетел ветерок, и в рассеявшейся дымке мы увидели Венецию, открывшуюся нам из-за болота и полоски моря, серую и желтую, как сказочный город.

Наконец водителю удалось вытереть последнюю грязь о свою пышную шевелюру, Коробка передач перестала упрямиться, и мы поехали дальше по топкой равнине. Фоссальта — конечная цель нашего путешествия — осталась в моей памяти разнесенным в клочья артиллерийским

огнем городком, в развалинах которого не могли жить даже крысы. В течение года австрийцы стояли на расстоянии минометного выстрела от юрода, и в перерывах между атаками они снесли все находившиеся в радиусе обстрела здания. В разгар войны это был первый плацдарм, захваченный австрийцами на венецианском берегу Пьяве, и последний пункт, откуда их выбили и загнали в болото; и огромное количество солдат погибло на мощенных булыжником, развороченных мостовых города, в развалинах его домов или было сожжено огнеметами в его подвалах во время уличных боев.

Мы остановили машину на одной из улиц и пошли пешком по Фоссальте, не сохранившей и следа от трагического величия разрушенного города. На месте старой Фоссальты толпились Новые, респектабельные, оштукатуренные дома, раскрашенные в ярко-голубые, красные и желтые цвета. Мне приходилось бывать в Фоссальте по крайней мере раз пятьдесят, но я ни за что не узнал бы этого города. Уродливее всего выглядела новая штукатуренная церковь. Все вокруг имело лощеный, преуспевающий вид.

Я поднялся по поросшему травой склону над заброшенной дорогой, где раньше находились

наши блиндажи, и вышел к берегу голубой реки. Пьяве настолько голубая, насколько бурый Дунай. На противоположном берегу, где проходили австрийские позиции, тоже стояло несколько новеньких домов.

Я попытался найти хоть какой-то след от окопов, чтобы показать их жене, но склон был безукоризненно гладкий и зеленый. В густых колючих придорожных зарослях мы нашли старый, ржавый осколок снаряда. Судя по чугунной ровной грани осколка, это был химический снаряд. Вот и все, что напоминало здесь о войне.

На обратном пути к машине мы говорили о том, как это замечательно, что Фоссальта отстроена заново и люди вновь Въехали в свои дома. Мы говорили и о том, какие молодцы итальянцы, без лишнего шума восстановившие разрушенные районы, тогда как другие страны использовали свои разрушенные города для рекламы и выкачивания контрибуций. Мы сказали все, что положено говорить в таких случаях, и замолчали. Больше говорить было не о чем. Потому что все это выглядело очень и очень грустно.

Людям никогда уже не вернуть себе свои старые дома, где они играли детьми, где, притушив лампы, любили друг друга, где грелись у очага;

не вернуть ни церкви, в которой они венчались, ни комнаты, где умер их ребенок, — ничего этого больше нет. У разрушенного войной городка есть своеобразное величие, как будто он погиб не напрасно, а стал частью одной огромной жертвы, принесенной во имя чего-то лучшего. Но здесь нам не открылось ничего, кроме отвратительной бессмысленности всего происшедшего.

Итак, мы возвращались по улице, на которой у меня на глазах убили моего друга, мы шли мимо безликих новых домов к нанятой нами машине, чей хозяин, если бы не война, никогда бы не приобрел ее, и все это казалось мне теперь очень печальным. Я хотел воссоздать для моей жены картины прошлого, но у меня ничего не получилось. Прошлое мертво, как разбитая граммофонная пластинка. Погоня за прошлым — неблагодарное занятие, и если вы хотите убедиться в этом, поезжайте на места ваших былых боев.

Безмолвная процессия

Адрианополь.

Нескончаемый, судорожный исход христианского населения Восточной Фракии запрудил все дороги к Македонии. Основная колонна, переправляющаяся через реку Марицу у Адрианополя, растянулась на двадцать миль. Двадцать миль повозок, запряженных коровами, волами, заляпанными грязью буйволами; измученные, ковыляющие мужчины, женщины и дети, накрывшись с головой одеялами, вслепую бредут под дождем вслед за своими жалкими пожитками. Этот главный поток набухает от притекающих из глубины страны пополнений. Никто из них не знает, куда идет. Они оставили свои дома, и селения, и созревшие, буреющие поля и, услышав, что идет турок, присоединились к главному потоку беженцев. И теперь им только и остается, что держаться в этой ужасной процессии, которую пасут забрызганные грязью греческие кавалеристы, как пастухи, направляющие стада овец.

Это безмолвная процессия. Никто не ропщет. Им бы только идти вперед. Их живописная кре-

стьянская одежда насквозь промокла и вываляна в грязи. Куры спархивают с повозок им под ноги. Телята тычутся под брюхо тягловому скоту, как только на дороге образуется затор. Какой-то старый крестьянин идет, согнувшись под тяжестью большого поросенка, ружья и косы, к которой привязана курица. Муж прикрывает одеялом роженицу, чтобы как-нибудь защитить ее от проливного дождя. Она одна стонами нарушает молчание. Ее маленькая дочка испуганно смотрит на нее и начинает плакать. А процессия все движется вперед.

Беженцы из Фракии

София.

Медлительные, запряженные волами и буйволами арбы и телеги, возвышающиеся над ними караваны верблюдов, пешая толпа — все это двигалось по дороге на запад. Но был и жидкий встречный ручеек пустых повозок с турками на козлах. В лохмотьях, насквозь промокших плащах, грязных фесках они старались пробиться через главный поток. За каждым возницей сидел греческий солдат с винтовкой между колен и нахлобученным от дождя капюшоном. Это были реквизированные греческим командованием повозки турок, которые должны были помочь эвакуации, вывозя имущество беженцев. Возницы-турки были угрюмы и напуганы. Для этого у них были основания.

На развилке мощеной дороги в Адрианополь весь поток направлялся налево одним-единственным греческим кавалеристом с карабином, закинутым за спину, который выполнял свои обязанности бесстрастно, хлеща своей плеткой по морде любой лошади или буйвола, намеревающегося свернуть вправо. Вот он таким же образом

направил одну из пустых турецких повозок направо. Турок вывернул повозку и стрекалом подогнал своих волов. Толчок разбудил сидевшего рядом с ним греческого солдата, и, заметив, что турок свернул с главной дороги, он привстал и прикладом наподдал ему в поясницу.

Турок, изможденного вида оборванный крестьянин, вывалился из повозки, лицом в грязь, в страхе вскочил и пустился вдоль дороги, словно заяц. Один из греческих кавалеристов заметил его, пришпорил коня и сшиб турка. С помощью двух греческих солдат он поднял его на ноги и раза два двинул по лицу. Тот завопил во весь голос, и его, раскровененного, обезумевшего, не понимающего, в чем дело, притащили к повозке и приказали ехать дальше. А в потоке беженцев никто, казалось, и не заметил того, что случилось.

Я прошел по дороге с беженцами около пяти миль, увертываясь от верблюдов, которые, пофыркивая и раскачиваясь, шагали напрямик мимо огромных цельных колес арб, верхом груженных постелями; зеркалами; мебелью; привороченными свиньями; матерями, укутанными одеялами вместе с грудными детьми; стариками и старухами, цепляющимися за задок

телеги И еле перебирающими ногами, склонив голову и упершись глазами в дорогу; а с ними вместе вьючные мулы, мулы с двумя охапками винтовок, связанных словно два снопа, одинокий помятый «фордик» с греческими штабными офицерами, неряшливыми и красноглазыми от бессонницы; и опять тяжело шагающие, насквозь промокшие, едва волочащие ноги, истомленные фракийские крестьяне, продирающиеся сквозь дождь все дальше от своих покинутых домов. Когда я пересек мост через Марицу, там, где вчера было сухое русло, забитое телегами беженцев, сегодня на четверть мили шириной несся кирпично-красный поток…

Как бы долго ни шло это письмо до Торонто, вы можете быть уверены, что это ужасное, ковыляющее шествие людей, согнанных с насиженных мест, все еще течет беспрерывным потоком по топким дорогам к Македонии. Их четверть миллиона, и они не скоро дойдут.

Фашистский диктатор

Лозанна. Швейцария

…Муссолини — величайший шарлатан Европы. Хотя бы он схватил меня и расстрелял завтра на рассвете, я все равно остался бы при этом мнении. Самый расстрел был бы шарлатанством. Как-нибудь возьмите хорошую фотографию синьора Муссолини и попристальней вглядитесь в нее: вы увидите, что у него слабый рот, и это заставляет его хмуриться в знаменитой гримасе Муссолини, которой подражает каждый девятнадцатилетний фашист в Италии. Приглядитесь к его биографии. Вдумайтесь в компромисс между капиталом и трудом, каким является фашизм, и вспомните историю подобных компромиссов. Приглядитесь к его способности облачать мелкие идеи в пышные слова. К его склонности к дуэлям. По-настоящему храбрым людям незачем драться на дуэли, но это постоянно делают многие трусы, чтобы уверить себя в собственной храбрости. И наконец, взгляните на его черную рубашку и белые гетры. В человеке, носящем белые гетры при черной рубашке, что-то неладно даже с актерской точки зрения.

Вот две достоверные зарисовки с Муссолини здесь, в Лозанне. Фашистский диктатор объявил, что примет журналистов. Пришли все и столпились в комнате. Муссолини сидел за столом, читая книгу, и на лбу его пролегали знаменитые морщины. Он разыгрывал Диктатора. Сам в прошлом газетчик, он знал, до скольких читателей дойдет то, что сейчас напишут о нем вот эти люди. И он не отрывался от книги. «Когда мы вошли, Чернорубашечный Диктатор не поднимал глаз от книги, так велика была его сосредоточенность…» и т. д.

Я на цыпочках зашел к нему за спину, чтобы разглядеть, какую это книгу он читает с таким неотрывным интересом. Это был французско-английский словарь, и держал он его вверх ногами. Другое проявление Муссолини-Диктатора имело место в тот же день: группа итальянок, проживающих в Лозанне, пришла в его резиденцию в отеле Бо-Риваж, чтобы вручить ему букет роз. Это были шесть крестьянок, жены лозаннских рабочих, и они стояли у двери, дожидаясь, когда им позволят воздать честь новому национальному герою, каким для них был Муссолини. Он вышел в своем сюртуке, серых брюках и белых гетрах. Одна из женщин выступила вперед и начала

говорить. Муссолини нахмурился, усмехнулся, обвел глазами с большими африканскими белками остальных пятерых женщин и ушел обратно. Неприглядного вида крестьянки, наряженные в свои воскресные платья, остались стоять с розами в руках. Муссолини еще раз разыграл Диктатора. Через каких-нибудь полчаса он принял Клэр Шеридан, улыбка которой обеспечила ей много интервью, и нашел время, чтобы полчаса беседовать с ней.

И все же Муссолини не Боттомли. Боттомли был дурак. А Муссолини не дурак и хороший организатор. Но очень опасно организовывать патриотизм нации, если сам ты неискренен, особенно же опасно взвинчивать патриотизм до такого накала, что люди добровольно ссужают деньги правительству без всякого процента. Латиняне, раз уж они вложили деньги в дело, хотят получить определенный результат, и они еще покажут синьору Муссолини, что гораздо легче быть в оппозиции к правительству, чем самому возглавлять правительство.

Памплона в июле

В Памплоне, белостенном, солнцем выжженном городе высоко в горах Наварры, каждый год в первые две недели июля проходит чемпионат по бою быков.

Любители боя быков со всей Испании стекаются в этот маленький город. В гостиницах удваиваются цены и заполняется каждый свободный угол. Кафе под колоннадой, которая тянется вокруг Plaza de la Constitucion[8], забиты, и за одним столиком можно увидеть высокие сомбреро отцов-пилигримов из Андалузии, соломенные шляпы мадридцев и голубые плоские береты басков из Наварры или из Страны басков.

Необыкновенно красивые девушки в ярких шалях, наброшенных на плечи, смуглые и черноокие, с черными кружевными мантильями на головах, прогуливаются с эскортом поклонников в гуще толпы, которая с раннего утра и до позднего вечера движется в проходах между столиками в тени колоннады, спасающей от слепящего солнечного блеска Plaza de la Constitucion.

---

[8] Примечания: 8
Площадь Конституции *(исп.).*

Ни днем, ни ночью на улицах не прекращаются танцы. Крестьяне в голубых рубахах, составляющие маленькие оркестры, кружатся, извиваются, раскачиваются вместе со своими барабанами, флейтами и дудочками в ритмах древнего баскского танца Riau-Riau. А по ночам грохочут большие барабаны и военный духовой оркестр, потому что весь город танцует на огромной открытой площади.

Мы приехали в Памплону вечером. Улицы были запружены густой толпой танцующих. Музыка грохотала и ревела. На центральной площади непрерывно вспыхивал фейерверк. Все карнавалы, какие я видел в своей жизни, бледнели в сравнении с этим. Над нашей головой ослепительной вспышкой взорвалась ракета, и гильза, крутясь со свистом, полетела вниз. Группа танцоров, сцепившись за руки, кружась в стремительном темпе, налетела на нас, прежде чем мы успели снять наши вещи с крыши автобуса. В конце концов, протискиваясь сквозь толпу, я дотащил наши рюкзаки до гостиницы.

Мы послали телеграмму за две недели до приезда с просьбой оставить для нас комнату. Но никаких комнат не оказалось. Нам предложили одну-единственную с единственной кроватью и

вентиляционной трубой из кухни за семь долларов в день. Последовала перебранка с хозяйкой, которая, стоя за конторкой, упершись руками в бока, с безмятежным выражением на своем широком индейском лице объяснила нам, вставляя изредка несколько французских слов в непрерывный поток баскского диалекта, что она выручает всю годовую прибыль за эти десять дней. Люди еще приедут и будут платить столько, сколько она запросит. Она может показать нам комнату получше — за десять долларов. На это мы ответили, что лучше, наверное, спать на улице со свиньями. Хозяйка согласилась с нами. Мы сказали, что предпочитаем улицу такому отелю. И все совершенно дружелюбно. Хозяйка задумалась. Мы не сдавали своих позиций. Миссис Хемингуэй села на рюкзак.

— Я могу достать вам комнату в городе. Вы там можете столоваться, — сказала хозяйка.

— Сколько будет стоить?

— Пять долларов.

Мы тронулись в путь по темным и обезумевшим от веселья улицам в сопровождении мальчика, тащившего наши вещи. Комната в старом испанском доме с толстыми крепостными стенами оказалась очень удобной и просторной. В

ней было прохладно и очень приятно, и красный кафельный пол, и две большие удобные кровати, стоящие глубоко в алькове. Окном и балконом с чугунной решеткой она выходила на улицу. Нам было там очень хорошо.

Всю ночь внизу не умолкала музыка. Несколько раз за ночь раздавался дикий треск барабанов, и я вставал с постели и шел босиком по кафельному полу на балкон. Но на улице не было ничего нового. Мужчины в голубых рубахах с непокрытыми головами кружились и плыли по улице в диком фантастическом танце со своими отбивающими дробь барабанами и пронзительно свистящими флейтами.

На рассвете на улице под нами грянула музыка. Настоящая военная музыка. Сама, уже одетая, стояла у окна.

— Иди сюда, — сказала она, — там что-то происходит. Внизу улица была полна народу. Было пять часов утра. Вся толпа текла в одном направлении. Я быстро оделся, и мы двинулись вслед за всеми.

Толпа хлынула на площадь. Людские потоки вливались в нее со всех улиц и неслись дальше за город в открытое поле, которое нам было видно через узкие щели в высокой стене.

— Давай выпьем кофе, — сказала Сама.

— По-моему, не совсем подходящее время для этого. Послушай, — спросил я мальчишку-газетчика, — что там происходит?

— Encierro[9], — ответил он с презрением, — encierro начнется и шесть.

— Что такое «encierro»? — спросил я его.

— О, лучше спроси меня об этом завтра, — сказал он и бросился бежать. Вся толпа теперь бежала.

— Я выпью чашку кофе, что бы там ни начиналось, — сказала Сама.

Официант налил нам из двух больших чайников две длинные струи кофе и молока. Толпа продолжала бежать, устремясь со всех улиц на площади.

— Но что же такое это «encierro»? — спросила Сама, поспешно глотая кофе.

— Я знаю только, что они выпускают быков на улицу. Мы побежали за толпой и через узкие городские ворота выскочили на огромное желтое поле, где новый бетонный белый цирк для боя быков чернел людьми. Желтый с красным испанский национальный флаг развевался на легком утреннем ветерке. Через поле и внутрь

---

[9] Примечания: 9
Прибытие быков *(исп.)*.

цирка — и мы на самой высокой площадке, откуда нам открылся вид на весь город. Подняться туда стоило песету. На остальные площадки вход бесплатный. Там уже было около двадцати тысяч человек. Все теснились на наружных балконах огромного бетонного амфитеатра, выходящего в сторону желтого с ярко-красными крышами города, и глядели на длинный деревянный забор, тянувшийся от самых городских ворот через открытую местность к цирку.

Это был обыкновенный деревянный забор в два ряда, образующий проход длиной около двухсот пятидесяти ярдов от главной улицы к цирку. Люди, образовав плотную стену, стояли по обе его стороны. Все смотрели в направлении главной улицы.

Потом где-то далеко раздался глухой выстрел.

— Они побежали! — закричали все вокруг.

— Что это значит? — спросил я человека, свесившегося за барьер.

— Быки! Их выпустили из корраля. Они сейчас бегут по юроду.

— Ну и ну, — сказала Сама. — Зачем это?

Вдруг в узком проходе, обнесенном забором, появилась бегущая толпа мужчин и парней. Они неслись во весь дух.

Ворота в цирк были открыты, и они пробежали беспорядочной толпой прямо в нижние ряды амфитеатра. Потом появилась еще одна группа людей. Они бежали еще быстрее. Прямо по длинному проходу из города.

— А где же быки? — спросила Сама.

И они появились. Восемь быков, тяжелые, черные, блестящие, мчались галопом во весь опор, зловеще крутя рогами. И с ними три вола с колокольчиками на шеях. Быки бежали, сбившись в кучу, а впереди них удирал, несся сломя голову арьергард мужчин и парней Памплоны, ради забавы пожелавших, чтобы быки преследовали их через весь город.

Парень в голубой рубашке, с красным шарфом, в белых брезентовых тапочках и с неизменным мехом вина за спиной споткнулся на ходу. Первый бык наклонил голову и резко отбросил его в сторону. Парень ударился в забор и остался неподвижно лежать, а стадо, по-прежнему держась вместе, пробежало мимо, не обратив на него никакого внимания. Толпа ревела.

Все ринулись в цирк, и мы успели добраться до своих мест как раз в тот момент, когда быки выскочили на арену, забитую народом. Мужчины в панике начали метаться по ней от одного

конца к другому. Быки, направляемые дрессированными волами, чадом пробежали через арену и скрылись в загоне. Это было начало. Каждое утро в Памплоне во время праздника святого Фермина быков, предназначаемых для выступления днем, выпускают из корраля в шесть утра, и они несутся полторы мили по главной улице города до цирка. Мужчины, которые бегут впереди них, делают это ради забавы. Это повторяется из года в год и повелось еще за двести лет до исторической встречи Колумба с королевой Изабеллой в лагере недалеко от Гранады.

Несчастные случаи происходят редко, потому что быки, держась стадом, не проявляют свой норов, а также потому, что волы, сопровождающие их, не дают им останавливаться.

Но бывает и так. Бык откалывается от стада, когда оно, сбившись в кучу, вбегает в загон, и, разъяренный, несущийся с огромной скоростью, со вздувшимся загривком, опустив острые, как иглы, рога, начинает нападать на мужчин и парней, толпящихся на арене. Им некуда бежать. Арена забита, и они не могут перелезть через barrera, или красный забор, который тянется вокруг арены. Они вынуждены оставаться там и принимать бой. В конце концов волы уводят

быка с арены и загоняют его в корраль. Но он успевает ранить и убить до тридцати человек. Выходить на быка с оружием запрещено. Вот какому риску подвергаются любители боя быков каждое утро на протяжении всего праздника. Такова традиция Памплоны — да и возможность быкам в последний раз нанести удар любому человеку в городе, прежде чем они войдут в корраль, где останутся до тех пор, пока не придет время выскочить на ослепительный блеск арены, чтобы умереть там после полудня.

Поэтому бой быков в Памплоне считается самым отчаянным в мире. Любительские корриды, которые начинаются сразу же после того, как быки войдут в загон, доказывают это. В амфитеатре нет ни одного свободного места. Около трехсот мужчин с плащами, со странными тряпками, или старыми рубашками, или еще с чем-нибудь, что может имитировать плащ матадора, поют и танцуют на арене. Раздается клич, и ворота корраля распахиваются. Оттуда с невероятной скоростью выскакивает молодой бык. Его рога обмотаны кожей, что делает их безопаснее. Он нападает на человека, подхватывает его, подбрасывает в воздух, и толпа ревет от восторга. Человек падает на землю, бык устремляется к нему и начинает

крутить его своей головой. Несколько любителей-матадоров размахивают плащами перед мордой быка, чтобы увести его от упавшего человека и заставить нападать на других. Бык кидается и сбивает следующего. Толпа неистовствует.

Потом бык разворачивается проворно, точно кошка, и ловит кого-нибудь, кто очень храбро действует плащом позади него футах в десяти. Или вдруг перебросит человека через забор арены. Потом выберет одного и преследует его, свирепо крутясь по арене, кидается на него через всю толпу, пока не собьет с ног. Barrera забита мужчинами и парнями, которые сидят на перекладине, и бык вдруг решает расчистить ее от них. Он бежит вдоль красного забора, поддевая одним рогом сидящих, и сбрасывает их с перекладины, подкидывая на рогах, точно крестьянин разбрасывает вилами сено.

Каждый раз, когда бык подцепит кого-нибудь, толпа ревет от восторга. В основном она состоит из местных знатоков. Чем больше храбрости проявляет выступающий и чем элегантнее он действует своим плащом, тем неистовее ревет толпа, когда бык его повалит. Никто не выходит на быка с оружием, и никто не ранит и не раздражает его. Когда один любитель схватил быка

за хвост и попробовал повиснуть на нем, толпа освистала его и выгнала с арены, а когда он во второй раз попытался проделать то же самое, кто-то хорошенько нокаутировал его. Самое большое удовольствие получает сам бык.

Как только бык начинает подавать признаки усталости и лениво нападать, два старых вола, один бурый, а другой напоминающий огромного гольштейнца, рысцой выбегают на арену и подходят к нему, и молодой бычок послушно, как собака, следует за ними, смиренно делает круг вдоль арены и удаляется.

За ним сразу же выскакивает следующий бык, и нападения, подбрасывания в воздух, неумелое взмахивание плащом и чудесная музыка повторяются снова. Но всегда по-разному. Несколько животных, выступающих сегодня в любительской корриде, — волы. Это тоже быки, предназначавшиеся для боя, о из-за каких-нибудь недостатков или в экстерьере, или еще в чем-нибудь они не смогли побить высокие цены 2000–3000 долларов, которые платятся за быков. Их боевой дух от этого, правда, не страдает.

Подобное представление повторяется каждое утро. Весь город высыпает из домов в половине шестого, когда по улицам проходит военный

оркестр. Многие, чтобы не пропустить такое зрелище, совсем не ложатся спать. Мы не пропустили ни одного. Это захватывающее спортивное состязание поднимало нас в пять тридцать утра в течение шести дней подряд.

Насколько мне известно, мы были единственными говорящими на английском языке в Памплоне на празднике в прошлом году.

Тогда случилось три небольших землетрясения. В горах прошли сильные ливни, и река Эбро залила Сарагоссу. В течение двух дней на арене стояла вода, и коррида впервые за сто с лишним лет была отложена. Это произошло как раз в середине праздника. Все были в отчаянии. На третий день погода сделалась еще мрачнее, дождь хлестал все утро, но вдруг днем облака уволоклись за долину и выглянуло солнце, яркое и палящее, а после полудня состоялся самый прекрасный бой быков, какой мне только довелось видеть в жизни.

В небо взлетали ракеты, и, когда мы сели на наши постоянные места, цирк был уже полон. Солнце нещадно пекло. Напротив нас на другой стороне арены стояли матадоры, готовые к выходу. На них были старые костюмы, потому что вся арена была покрыта грязью. Мы навели

бинокли на трех матадоров, выступавших в тот день. Среди них только один был новый. Это круглолицый, жизнерадостный Ольмос. Двух других — смуглого худощавого Маэру, одного из величайших матадоров всех времен, и Альгабено, стройного молодого андалузца с красивым индейским лицом, сына известного матадора, — мы уже видели. На всех были костюмы, которые они, наверное, надевали на свои первые выступления. Уж очень они были узки и старомодны.

Церемониальное шествие началось, играла дикая музыка боя быков, но предварительные мероприятия быстро закончились, пикадоры верхом на лошадях двинулись вдоль красного забора к выходу, прозвучали трубы герольдов, и двери корраля распахнулись. Бык стремительно выскочил на арену, увидел человека, стоящего у barrera, и кинулся на него. Человек перемахнул через забор, и бык со всей силой своего нападения врезался в доску забора и разнес ее в щепки, сломав один рог. Зрители потребовали нового быка. Вышколенные волы рысцой выбежали на арену, бык покорно, такой же рысцой поплелся за ними, и они скрылись в коррале.

Следующий бык появился так же стремительно. Это был бык Маэры, и Маэра после блестящего

маневра с плащом вонзил в него бандерилью. Маэра — любимый тореро миссис Хемингуэй. Если вы хотите в глазах своей жены остаться храбрым и мужественным, никогда не берите ее на настоящий бой быков. Я ходил на любительские корриды по утрам и старался как мог вернуть хоть малость ее былого расположения ко мне. Но я все больше убеждался, что бой быков требует совсем иного рода мужества, каким я не обладаю, и в конце концов мне стало ясно, что если у нее и возникнет какое-нибудь чувство ко мне, то это будет лишь средство избавиться от того истинного, которое вызывают в ней Маэра и Вилья́льта. Нельзя соревноваться с матадорами на их поприще, если вообще в чем-нибудь стоит. И если многие мужья все же пользуются расположением своих жен, то объясняется это, во-первых, тем, что число матадоров ограничено, и, во-вторых, что совсем мало жен видело бой быков.

Маэра вонзил первую пару своих бандерилий, сидя на краю barrera, красного забора. Он подразнил быка и, когда животное бросилось к нему, откинулся назад и крепко прижался к забору. Рога ударились в забор, и Маэра, оказавшись между рогами, рванулся вперед и, перегнувшись через голову животного, всадил два коротких

ножа ему в загривок. Он вонзил два других таким же образом и так близко от нас, что, наклонившись вперед, мы могли бы дотронуться до него. Потом Маэра вышел на быка, чтобы убить его, и, проделав несколько совершенно невероятных манипуляций с красной маленькой тряпкой — мулетой, выхватил свою шпагу и вонзил ее в тот момент, когда бык кинулся на него. Шпага вылетела из его руки, и бык подхватил Маэру. Маэра взлетел вверх и упал. Молодой Альгабено взметнул плащом перед мордой быка, и бык набросился на него. Маэра с трудом поднялся. Он растянул связки руки.

После того как мулы, волоча за собой пристегнутого быка, рысцой выбежали в корраль, почти не было перерыва, и на арене появился второй бык. Пикадоры нанесли ему первые удары копьями. Поддразнивая быка и атаки следовали одна за другой, пикадор безукоризненно защищался копьем, так и не подпустив быка, а потом вышел Росарио Ольмос с плащом.

Он взметнул плащом перед мордой быка и одним очень легким и изящным движением описал полный круг. Он попытался повторить этот прием, классическую «веронику», но бык не дал ему закончить. Вместо того чтобы застыть на

месте в завершении «вероники», бык набросился на матадора. Он поднял Ольмоса на рога и высоко подкинул его. Ольмос тяжело рухнул на землю, и бык, стоя над ним, бодал его рогами, всаживая их глубже и глубже. Ольмос лежал на песке, уронив голову на руки. Кто-то из его куадрильи бешено размахивал плащом перед мордой быка. Бык резко поднял голову и кинулся на человека из куадрильи, подцепив его на рога. Последовал еще один страшный бросок вверх. Потом бык развернулся и кинулся к человеку, стоявшему сзади него у barrera. Человек побежал что есть мочи, и в тот момент, когда он уже положил руку на красный забор, готовясь перепрыгнуть, бык настиг его и, вскинув на рога, бросил на зрителей. Потом он снова устремился к человеку из куадрильи, пытавшемуся встать без всякой помощи, и тут Альгабено схватил быка за хвост. Он повис на нем, и мне казалось, что кто-то из них — бык или матадор — не выдержит и лопнет. Раненый поднялся и пошел прочь с арены.

Бык повернулся проворно, точно кошка, и набросился на Альгабено, но тот встретил его широко развернутым плащом. Один, два, три раза матадор проделал красивый, медленный, плавный маневр с плащом, изящно и жизнерадостно,

стоя на каблуках, так и не дав быку атаковать себя. Он был хозяином положения. Такого еще не было ни на одной корриде чемпионата.

Матадорам запрещено иметь дублеров. Маэра вышел из строя. Его рука не способна была теперь поднять шпагу в течение нескольких недель. У Ольмоса было тяжелое сквозное ранение. Этот бык был быком Альгабено. Этот и все пять остальных.

Альгабено справился с ними со всеми. Он победил их. Он работал плащом легко, грациозно, уверенно. Прекрасно действовал мулетой. И заключительный удар его был решительным и смертельным. Пять быков убил он, одного за другим. И каждый был новой проблемой, которую он разрешал перед лицом смерти. В конце концов его жизнерадостность пропала. Осталось только одно: выстоять — или быки одолеют его. Все быки были великолепны.

— Он великий парень, — сказала Сама, — ему всего двадцать.

— Жаль, что мы с ним не знакомы, — сказал я.

— Возможно, когда-нибудь познакомимся, — ответила Сама. Потом подумала немного и сказала: — Он, наверное, скоро испортится.

Матадоры зарабатывают двадцать тысяч дол-

ларов в год.

Все это было каких-то три месяца назад. Но когда сидишь и работаешь в редакции, кажется, что это было в другом веке. Так далеко от твоих утренних поездок на работу в автобусе до выжженной солнцем Памплоны, где мужчины по утрам ради забавы удирают от быков через весь город. А морем до Испании можно добраться за две недели, и совсем не обязательно жить в замке. Там всегда можно остановиться в комнате на калле де Эслава, 5, а сын[10], если ему суждено стать знаменитым матадором и прославить семью, должен начать тренироваться в очень раннем возрасте.

[10] Примечания: 10
10 октября у Хемингуэя родился сын.

Из книги «Праздник, который всегда с тобой»

Радостно было спускаться по длинным маршам лестницы, сознавая, что ты хорошо поработал. Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, и всегда останавливал работу, уже зная, что должно произойти дальше. Это давало мне разгон на завтра. Но иногда, принимаясь за новый рассказ и никак не находя начала, я садился перед камином, выжимал сок из кожуры мелких апельсинов прямо в огонь и смотрел на голубые вспышки пламени. Или стоял у окна, глядел на крыши Парижа и думал: «Не волнуйся. Тебе надо написать только одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь». И в конце концов я писал настоящую фразу, а за ней уже шло все остальное. Тогда это было легко, потому что всегда из виденного, слышанного, пережитого всплывала одна настоящая фраза. Если же я старался писать изысканно и витиевато, как некоторые авторы, то убеждался, что могу безболезненно вычеркнуть все эти украшения, выбросить их и начать повествование с

настоящей, простой фразы, которую я уже написал. Работая в своем номере наверху, я решил, что напишу по рассказу обо всем, что знаю. Я старался придерживаться этого правила всегда, когда писал, и это очень дисциплинировало.

В этом номере я, кроме того, научился еще одному: не думать, о чем я пишу, с той минуты, как прекращал работу, и до той минуты, пока на следующий день не начинал писать снова. Таким образом, мое подсознание продолжало работать над рассказом — но при этом я мог слушать других, все примечать, узнавать что-то новое, а чтобы отогнать мысли о работе — читать. Спускаться по лестнице, зная, что хорошо поработал — а для этого нужна была удача и дисциплина, — было очень приятно: теперь я могу идти по Парижу, куда захочу.

Если я возвращался, кончив работу, не поздно, то старался выйти какой-нибудь улочкой к Люксембургскому саду и, пройдя через сад, заходил в Люксембургский музей, где тогда находились великолепные картины импрессионистов, большинство которых теперь находится в Лувре и в «Зале для игры в мяч». Я ходил туда почти каждый день из-за Сезанна и чтобы посмотреть полотна Мане и Моне, а также других импрессионистов,

с которыми впервые познакомился в Институте искусств в Чикаго. Живопись Сезанна учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь. Я учился у него очень многому, но не мог бы внятно объяснить, чему именно.

Когда мы вернулись из Канады и поселились на улице Нотр-Дам-де-Шан, а мисс Стайн[11] и я были еще добрыми друзьями, она и произнесла свою фразу о потерянном поколении. У старого «форда» модели «Т», на котором в те годы ездила мисс Стайн, что-то случилось с зажиганием, и молодил механик, который пробыл на фронте последний год войны и теперь работал в гараже, не сумел его исправить, а может быть, просто не захотел чинить ее «форд» вне очереди. Как бы там ни было, он оказался недостаточно serieux[12], и после жалобы мисс Стайн хозяин сделал ему строгий выговор. Хозяин сказал ему: «Все вы — generation perdue!»

— Вот кто вы такие! И все вы такие! — сказала

---

[11] Примечания: 11

Стайн Гертруда (1874–1946) — американская писательница, жившая в Париже.

[12] Примечания: 12

Серьезен *(фр.).*

мисс Стайн. — Вся молодежь, побывавшая на войне. Вы — потерянное поколение.

— Вы так думаете? — спросил я.

— Да, да, — настаивала она. — У вас ни к чему нет уважения. Вы все сопьетесь…

Позже, когда я написал свой первый роман, я пытался как-то сопоставить фразу, услышанную мисс Стайн в гараже, со словами Екклезиаста. Но в тот вечер, возвращаясь домой, я думал об этом юноше из гаража и о том, что, возможно, его везли в таком же вот «форде», переоборудованном в санитарную машину. Я помню, как у них горели тормоза, когда они, набитые ранеными, спускались по горным дорогам на первой скорости, а иногда приходилось включать и заднюю передачу, и как последние машины порожняком пускали под откос, поскольку их заменили огромными «фиатами» с надежной коробкой передач и тормозами. Я думал о мисс Стайн, о Шервуде Андерсоне[13] и о том, что лучше: духовная лень или дисциплина. Интересно, подумал я, кто же из нас потерянное поколение?

Я знал, что должен написать роман, но эта задача казалась непосильной, раз мне с трудом

---

[13] Примечания: 13

Андерсон Шервуд (1876–1941) — американский писатель.

давались даже абзацы, которые были лишь выжимкой того, из чего делались романы. Нужно попробовать писать более длинные рассказы, словно тренируясь к бегу на более длинную дистанцию. Когда я писал свой роман, тот, который украли с чемоданом на Лионском вокзале, я еще не утратил лирической легкости юности, такой же непрочной и обманчивой, как сама юность. Я понимал, что, быть может, и хорошо, что этот роман пропал, но понимал и другое: я должен написать новый. Но начну я его лишь тогда, когда уже не смогу больше откладывать. Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый день! Я начну его, когда не смогу заниматься ничем другим и иного выбора у меня не будет. Пусть потребность становится все настоятельнее. А тем временем я напишу длинный рассказ о том, что знаю лучше всего.

С тех пор как я обнаружил библиотеку Сильвии Бич, я прочитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведенные на английский язык, Толстого в переводе Констанс Гарнетт и английские издания Чехова. В Торонто, еще до нашей поездки в

Париж, мне говорили, что Кэтрин Мэнсфилд[14] пишет хорошие рассказы, даже очень хорошие рассказы, но читать ее после Чехова — все равно что слушать старательно придуманные истории еще молодой старой девы после рассказа умного, знающего врача, к тому же хорошего и простого писателя. Мэнсфилд была как разбавленное пиво. Тогда уж лучше пить воду. Но у Чехова от воды была только прозрачность. Кое-какие его рассказы отдавали репортерством. Но некоторые были изумительны.

У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам, — слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого. По сравнению с Толстым описание нашей Гражданской войны у Стивена Крейна[15] каза-

[14] Примечания: 14

Кэтрин Мэнсфилд (1888–1923) — новозеландская и английская писательница-новеллистка, самый знаменитый писатель Новой Зеландии.

[15] Примечания: 15

Крейн Стивен (1871–1900) — американский писатель, автор повести о Гражданской войне в США «Алый знак доблести».

лось блестящей выдумкой больного мальчика, который никогда не видел войны, а лишь читал рассказы о битвах и подвигах и разглядывал фотографии Брэйди, как я в свое время в доме деда. Пока я не прочитал «Chartreuse de Parme»[16] Стендаля, я ни у кого, кроме Толстого, не встречал такого изображения войны; к тому же чудесное изображение Ватерлоо у Стендаля выглядит чужеродным в этом довольно скучном романе. Открыть весь этот новый мир книг, имея время для чтения в таком городе, как Париж, где можно прекрасно жить и работать, как бы беден ты ни был, все равно что найти бесценное сокровище. Это сокровище можно брать с собой в путешествия; и в горах Швейцарии и Италии, куда мы ездили, пока не открыли Шрунс в Австрии, в одной из высокогорных долин Форарльберга, тоже всегда были книги, так что ты жил в найденном тобой новом мире: днем снег, леса и ледники с их зимними загадками и твое пристанище в деревенской гостинице «Таубе» высоко в горах, а ночью — другой чудесный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только

[16] Примечания: 16
«Пармская обитель» *(фр.).*

русские.

Он (Скотт Фицджеральд) с некоторым пренебрежением, но без горечи говорил обо всем, что написал, и я понял, что его новая книга, должно быть, очень хороша, раз он говорит без горечи о недостатках предыдущих книг. Он хотел, чтобы я прочел его новую книгу «Великий Гэтсби», и обещал дать ее мне, как только ему вернут последний и единственный экземпляр, который он дал кому-то почитать. Слушая его, нельзя было даже заподозрить, как хороша эта книга — на это указывало лишь смущение, отличающее несамовлюбленных писателей, создавших что-то очень хорошее, и мне захотелось, чтобы ему поскорее вернули книгу и чтобы я мог поскорее ее прочесть.

Странно вспоминать, что я думал о Скотте как о писателе старшего поколения, но в то время я еще не читал его роман «Великий Гэтсби», и он казался мне гораздо старше. Я знал, что он пишет рассказы для «Сатердей ивнинг пост», которые широко читались три года назад, но никогда не считал его серьезным писателем. В «Клозери-де-Лила» он рассказал мне, как писал рассказы, которые считал хорошими — и которые действительно были хорошими, — для «Сатердей

ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказики. Меня это возмутило, и я сказал, что, по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что журналы платят ему деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги. Я сказал, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать. Скотт сказал, что сначала он пишет настоящий рассказ и то, как он потом его изменяет и портит, не может ему повредить. Я не верил ему и хотел переубедить его, но, чтобы подкрепить свою позицию, мне нужен был хоть один собственный роман, а я еще не написал ни одного романа. С тех пор как я изменил свою манеру письма и начал избавляться от приглаживания и попробовал создавать, вместо того чтобы описывать, писать стало радостью. Но это было отчаянно трудно, и я не знал, смогу ли написать такую большую вещь, как роман. Нередко на один абзац уходило целое утро.

Тридцатые годы (1932–1936)

Из книги «Смерть после полудня»

Помню, как Гертруда Стайн, говоря о бое быков, восхищалась Хоселито и показала мне фотографии, на которых она снята вместе с ним в Валенсии: она сидит в первом ряду, подле нее Анна Токлас, под ними, на арене, — Хоселито и его брат Галло, а я тогда только что приехал с Ближнего Востока, где греки, прежде чем оставить Смирну, сталкивали с пристани в мелкую воду своих тягловых и вьючных животных, предварительно перебив им ноги, и, помнится, я сказал, что не люблю боя быков, потому что мне жаль несчастных лошадей. В то время я начинал писать, и самое трудное для меня, помимо ясного сознания того, что действительно чувствуешь, а не того, что полагается чувствовать и что тебе внушено, было изображение самого факта, тех вещей и явлений, которые вызывают испытываемые чувства. Когда пишешь для газеты, то, сообщая о каком-нибудь событии, так или иначе передаешь свои чувства; тут помогает элемент злободневности, который наделяет известной эмоциональностью всякий отчет о случившемся сегодня. Но проникнуть в самую суть явлений,

понять последовательность фактов и действий, вызывающих те или иные чувства, и так написать о данном явлении, чтобы это оставалось действенным и через год, и через десять лет — а при удаче и закреплении достаточно четком даже навсегда, — мне никак не удавалось, и я очень много работал, стараясь добиться этого. Войны кончились, и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть, была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами. Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, а одно из самых простых и самых существенных явлений — насильственная смерть. Она лишена тех привходящих моментов, которыми осложнена смерть от болезни, или так называемая естественная смерть, или смерть друга, или человека, которого любил или ненавидел, — но все же это смерть, это нечто такое, о чем стоит писать. Я читал много книг, в которых у автора вместо описания смерти получалась просто клякса; по-моему, причина кроется в том, что либо автор никогда близко не видел смерти, либо в ту минуту мысленно или фактически закрывал глаза, как это сделал бы тот, кто увидел бы, что поезд наез-

жает на ребенка и что уже ничем помочь нельзя.

Заметьте: если писатель пишет ясно, каждый может увидеть, когда он фальшивит. Если же он напускает тумана, чтобы уклониться от прямого утверждения (что не имеет ничего общего с нарушением так называемых синтаксических и грамматических правил для того, чтобы добиться результатов, которых иным путем добиться нельзя), то его фальшь обнаруживается не так легко, и другие писатели, которым туман нужен для той же цели, из чувства самосохранения будут превозносить его. Не следует смешивать подлинный мистицизм с фальшивой таинственностью, за которой не кроется никаких тайн и к которой прибегает бесталанный писатель, пытаясь замаскировать свое невежество или неумение писать ясно. Мистицизм подразумевает мистику, наличие некоей тайны, и на свете много тайн; но нет ничего таинственного в отсутствии таланта; и ходульная журналистика не становится литературой, если впрыснуть ей дозу ложноэпического тона. Заметьте еще: все плохие писатели обожают эпос.

Любое искусство создается только крупными мастерами. Вне их творчества нет ничего, и все направления в искусстве служат лишь для

классификации бесталанных последователей. Когда появляется истинный художник, великий мастер, он берет все то, что было постигнуто и открыто в его искусстве до него, и с такой быстротой принимает нужное ему и отвергает ненужное, словно он родился во всеоружии знания, ибо трудно представить себе, чтобы человек мог мгновенно овладеть премудростью, на которую обыкновенный смертный потратил бы целую жизнь; а затем великий художник идет дальше того, что было открыто и сделано ранее, и создает свое, новое. Но иногда проходит много времени, прежде чем опять явится великий художник, и те, кто знал старых мастеров, редко признают нового. Они отстаивают старое, хотят, чтобы все было так, как хранит их память. Но другие, младшие современники, признают новых мастеров, наделенных даром молниеносного постижения, и в конце концов и приверженцы старины сдаются. Их нежелание сразу признать новое простительно, ибо, ожидая его, они видели так много лжемастеров, что стали придирчивы и перестали доверять собственным впечатлениям; надежной казалась только память. А память, как известно, всегда подводит.

Когда писатель пишет роман, он должен созда-

вать живых людей, а не литературные персонажи. Персонаж — это карикатура. Если писателю удастся заставить этих людей жить, может быть, в его книге и не будет значительных героев, но, возможно, его роман останется как целое, как нечто единое, как книга. Если людям, которых писатель создает, свойственно говорить о старых мастерах, о музыке, о современной живописи, о литературе или науке, пусть они говорят об этом и в романе. Если же несвойственно, но писатель заставляет их говорить, он обманщик, а если он сам говорит об этом, чтобы показать, как много он знает, — он хвастун. Как бы удачен ни был оборот или метафора, писатель должен применять их только там, где они безусловно нужны и незаменимы, иначе из тщеславия он портит свою работу. Художественная проза — это архитектура, а не искусство декоратора, и времена барокко миновали. Если автор романа вкладывает в уста своих искусно вылепленных персонажей собственные умствования — что несравненно прибыльнее, чем печатать их в виде очерков, — то это не литература. Люди, действующие в романе (люди, а не вылепленные искусно персонажи), должны возникать из накопленного и усвоенного писателем опыта, из его знания, из его ума, сердца, из

всего, что в нем есть. Если он не пожалеет усилий и вдобавок ему посчастливится, он донесет их до бумаги в целости, и тогда у них будет больше двух измерений и жить они будут долго. Хороший писатель должен по возможности знать все. Разумеется, так не бывает. Когда писатель очень талантлив, кажется, что он наделен знанием от рождения. На самом деле этого нет: он наделен от рождения только способностью приобретать знание без осознанных усилий и с меньшей затратой времени, чем другие люди, а кроме того, умением принимать или отвергать то, что уже закреплено как знание. Есть вещи, которым нельзя выучиться быстро, и в таких случаях мы дорого платим за ученье, потому что время — единственное наше достояние. Это самые простые вещи, и на познание их уходит вся жизнь, а поэтому те крупицы нового, которые каждый человек добывает из жизни, драгоценны, и это единственное наследство, которое остается после него. Каждая правдиво написанная книга — это вклад в общий фонд знаний, предоставленный в распоряжение идущему на смену писателю, но и этот писатель в свою очередь должен внести определенную долю своего опыта, чтобы понять и освоить все то, что принадлежит ему по праву

наследования, — и идти дальше. Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды. Писатель, который многое опускает по незнанию, просто оставляет пустые места. Писатель, который столь несерьезно относится к своей работе, что изо всех сил старается показать читателю, как он образован, культурен и изыскан, — всего-навсего попугай. И заметьте; не следует путать серьезного писателя с торжественным писателем. Серьезный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда — сыч.

…Мадрид, в сущности, странный город. Я уверен, что с первого раза он никому не может понравиться. В нем совсем нет того, чего привыкли ждать от Испании. Это вполне современный город, без всякой экзотики: ни национальных костюмов, ни кордовских шляп — разве что на голове какого-нибудь шарлатана, — ни кастаньет, ни отвратительных подделок вроде цыганских пещер в Гренаде. Во всем городе нет ни одного

уголка с местным колоритом на потребу туристам. Но когда вы узнаете его поближе, вы почувствуете, что это самый испанский город в Испании, что жить в нем очень приятно, что мадридцы — чудесный народ, что там из месяца в месяц стоит отличная погода и что любой другой крупный центр, столь характерный для провинции, в которой он расположен, представляет либо Андалусию, либо Каталонию, либо Страну басков, либо Арагон, либо еще какую-нибудь область. Только в Мадриде вы почувствуете подлинную сущность Испании, ее квинтэссенцию. А квинтэссенция может храниться в самой обыкновенной бутылке, и не нужны ей никакие пестрые ярлыки, как Мадриду не нужны национальные костюмы; какое бы здание ни возвели мадридцы, — пусть даже оно напоминает Буэнос-Айрес, — достаточно увидеть его на фоне этого неповторимого неба, и вы уже знаете, что вы в Мадриде. Не будь там ничего, кроме музея Прадо, и то, — если средства позволяют вам провести месяц в одной из европейских столиц, — стоило бы каждую весну пожить месяц в Мадриде. Но когда к вашим услугам и Прадо, и сезон боя быков, когда меньше двух часов езды отделяют вас от Эскуриала на севере и от Толедо на юге, и

прекрасные дороги ведут к Авиле и Сеговии, а оттуда рукой подать до Ла-Гранха, — тогда очень горько сознавать — безотносительно к вопросу о бессмертии, — что настанет конец и не придется больше видеть все это.

Музей Прадо в высшей степени характерен для Мадрида. Снаружи он не более живописен, чем американский колледж. Полотна развешаны так бесхитростно, так удобно для обозрения, так хорошо на них падает свет, так мало сделано усилий — за исключением картины Веласкеса «Менины» — выставить напоказ и подать поэффектнее прославленные шедевры, что турист, перелистывающий красный или голубой каталог в поисках самых знаменитых полотен, невольно испытывает разочарование. В сухом горном воздухе чудесно сохранились краски, картины висят просто, без затей, их отлично можно рассмотреть, — уж нет ли тут обмана? Мне случалось видеть недоуменные взгляды туристов. Слишком свежи краски, слишком хорошо видны эти картины, — не могут они быть творениями старых мастеров. Так бывает только в торговых помещениях, где картины современных художников выставлены на продажу и где стараются показать товар лицом. Что-то здесь неладно, думает турист. Какой-то подвох.

То ли дело итальянские картинные галереи: там за свои деньги набегаешься, разыскивая нужное полотно, а если и найдешь его, то не разглядишь как следует. Тогда только он и восчувствует, что перед ним великое искусство. Он полагает, что великому искусству требуются пышные рамы и либо красный бархат, либо плохое освещение для придания ему блеска. Такой турист похож на человека, который, зная о некоторых сторонах жизни только из порнографических книг, вдруг очутился бы перед обаятельной женщиной и увидел ее во всей наготе, без прикрас и ухищрений, молча ожидающей на самом неприхотливом ложе. Ему, вероятно, понадобилось бы руководство или, на худой конец, некоторые справки и указания. Может быть, это одна из причин, почему об Испании написано столько книг. На каждого любителя Испании приходится десяток людей, предпочитающих книги о ней. Франция, наоборот, — на нее больший спрос, чем на книги о Франции.

Самые толстые книги об Испании обычно пишут немцы, которые едут туда на длительное время, но никогда больше не возвращаются. Я склонен думать, что это неплохая система: если кому-нибудь непременно нужно писать об Ис-

пании, то пусть пишет как можно скорее, после первой же поездки, ибо дальнейшее знакомство со страной может только затемнить первое впечатление, и тогда уже нельзя будет делать выводы с такой легкостью…

Хотите поболтать? О чем? О живописи? О чем-нибудь, что понравилось бы мистеру Хаксли? Или подняло бы значение книги? Пожалуйста, здесь конец главы, мы можем это сделать. Так вот: немецкий искусствовед Юлиус Мейер-Грэфе приехал в Испанию с целью посмотреть Гойю и Веласкеса, дабы они вдохновили его на годные для печати излияния восторга, но ему больше понравился Эль Греко, поэтому он написал книгу, в которой превозносил Греко и доказывал, какие плохие художники Гойя и Веласкес, причем судил о них по тому, как каждый из них написал распятие Иисуса Христа.

Трудно было придумать что-нибудь глупее этого, ибо из всех троих один Греко верил в Христа или интересовался распятием его. Судить о художнике можно только по картинам, на которых он пишет то, во что верит, или что любит, или ненавидит, а судить о Веласкесе, любившем пышность наряда и веривше в живопись ради живописи, по портрету полуголого человека,

распятого на кресте, которым он ничуть не интересовался и который, — Веласкес не мог не чувствовать этого, — вполне удовлетворительно был изображен в той же позе другими художниками, — просто неумно.

Гойя походил на Стендаля: вид сутаны для этих ревностных антиклерикалов был огромным стимулом к творчеству. Распятие Гойи — грубо намалеванная лубочная олеография, которая с успехом могла бы служить объявлением о предстоящем распятии, — что-то вроде афиши о бое быков. «На мадридской Центральной Голгофе, в пять часов дня с разрешения властей, состоится распятие шести отборных спасителей. Выступают лучшие, знаменитейшие, искуснейшие распинатели, каждый со своей куадрильей сколачивателей, пригвоздителей, крестоводрузителей, крестовокопателей» и так далее.

Греко любил писать картины на религиозные сюжеты, потому что он, несомненно, был религиозен и еще потому, что это давало ему возможность не ограничивать свое несравненное искусство точным воспроизведением черт лица тех аристократов, с которых он писал портреты, уходить от них в свой собственный мир и — вольно или невольно — наделять апостолов, святых,

спасителей и мадонн чертами и формами двуполых существ, населявших его воображение.

Веласкес верил в костюмную живопись, в гончих, карликов и опять-таки в живопись. Гойя не признавал костюма, он верил в черные и серые тона, в пыль и свет, в нагорья, встающие из равнин, в холмы вокруг Мадрида, в движение, в свою мужскую силу, в живопись, в гравюру и в то, что он видел, чувствовал, осязал, держал в руках, обонял, ел, пил, подчинял, терпел, выблевывал, брал, угадывал, подмечал, любил, ненавидел, обходил, желал, отвергал, принимал, проклинал и губил. Конечно, ни один художник не может все это написать, но он пытался.

Греко верил в город Толедо, в его местоположение и архитектуру, в некоторых его обитателей, в голубые, серые, зеленые и желтые тона, в красные тона, в святого духа, в причастие и всех святых, в живопись, в жизнь после смерти и в смерть после жизни и в сказку…

Если бы я написал настоящую книгу, в ней было бы все. Музей Прадо, похожий на американский колледж, с зеленой лужайкой, которую поливают по утрам под жарким солнцем мадридского лета; голые меловые холмы вокруг Карабанчеля, августовские дни, проведенные в поезде, когда на

солнечной стороне опущены занавески и ветер колышет их; поднимающаяся над гумном мякина, которую ветром доносит до стенок вагона; запах пшеницы и сложенные из камня ветряные мельницы. В ней был бы Альсасуа, где кончается цветущий край, а по ту сторону обширной равнины — Бургос, где мы ели сыр в номере гостиницы; и юнец, который вез с собой образцы вин в оплетенных флягах; он в первый раз ехал в Мадрид и от восторга откупоривал их одну за другой, и все перепились, включая двух гражданских гвардейцев, и я потерял билеты, и гвардейцы провели нас через контроль на перроне (они шли по бокам, как будто конвоируя арестантов — ведь билетов-то не было, — а потом, взяв под козырек, посадили нас в такси); и еще там было бы про Хадли с завернутым в носовой платок бычьим ухом — ухо стало очень твердое и сухое, и вся шерсть повылезла, а матадор, который отрезал его, теперь тоже лысый и зализывает длинные пряди волос на голой макушке, но тогда он был красивый. Правда, правда — очень красивый.

Нужно было бы показать, как меняется местность, когда в сумерках, миновав горы, поезд въезжает в Валенсию, а вы держите на коленях петуха, которого ваша соседка по вагону везет в

подарок своей сестре; описать деревянное здание цирка в Альсирасе, где убитых лошадей выволакивают прямо в поле и приходится переступать через них; и шум на мадридских улицах после полуночи, и ярмарку, которая в июне открыта до утра, и возвращение пешком с боя быков воскресным вечером; или вместе с Роберто Рафаэлем в такси. Que tal? Malo, hombre, malo[17], и, как всегда, подымает плечи; я ему — дон Роберто, он мне — дон Эрнесто, он так учтив, так любезен и такой хороший друг. И дом, в котором Рафаэль жил до того, как звание республиканца стало почетным, с чучелом бычьей головы — быка убил Гитанелло — на стене, и большим кувшином для оливкового масла в углу, и всегда вас там ждали подарки и необыкновенно вкусный ужин.

Нужно было бы описать запах жженого пороха, и дымок, и вспышку, и треск ракеты, взорвавшейся над зеленой листвой деревьев, и вкус ледяного оршада, и чисто вымытые, залитые солнцем улицы, и дыни, и росинки, выступившие на кувшине с пивом; аистов на крышах Барко де Авила и аистов, кружащих в небе; красноватый песок арены; и танцы по ночам под волынки и барабаны,

---

[17] Примечания: 17
Как дела? Плохо, друг, плохо *(исп.)*.

огоньки в зеленой листве и портрет Гарибальди в рамке из листьев. Будь это настоящая книга, в ней были бы незадачливые матадоры, плавающие в водах Мансанареса вдоль Пардской дороги вместе с дешевыми проститутками; по одежке протягивай ножки, говорил Луис; игра в мяч на берегу, где распутный маркиз вышел из машины со своим другом боксером; и как мы возвращались домой пешком, в темноте, а по дороге мимо нас катили машины; сквозь листву светили электрические лампочки, роса прибивала пыль, и мы поеживались от ночной прохлады; и еще в ней было бы о сидре в Бомбилье, о дороге от Сантьяго де Кампостела до Понтеведра, где стеной стоят высокие сосны и по обочине растут кусты черники; и об Альгабено, самом бессовестном из всех тореро-очковтирателей; и о том, как Маэра поменялся одеждой с патером в гостинице Кинтаны, в тот единственный год, когда так много пили, но никто не безобразничал. Такой год был, верно вам говорю, — но это еще не настоящая книга…

И о том говорилось бы здесь, как мы в Аоиси завтракали, а потом плавали в реке Ирати, и вода была прозрачная и светлая, сначала теплая, а чем глубже, тем все холодней, еще холодней, и под конец ледяная, и о прибрежных деревьях, под

которыми мы прятались от солнца, и о спелой пшенице, колыхаемой ветром, на другом берегу, по склону горы. В верхнем конце долины, где река берет начало между двумя скалами, стоит древний замок; и мы лежали голые в невысокой траве, сперва на солнце, а потом под деревьями. Вино в Аоисе было неважное, и мы привезли свое, и ветчина тоже не годилась, и когда мы поехали туда в другой раз, мы захватили завтрак из гостиницы Кинтаны. Кинтана был страстный любитель боя быков и мой самый верный друг в Испании, а гостиница — превосходная и всегда переполнена.

И почему бы в книге об Испании не быть конице, вброд пересекающей другую реку, и о том, как тень листвы падает на лошадей, — или пехоты, шагающей по утрамбованной белой глине во дворе школы пулеметчиков; если смотреть на солдат издалека, стоя у окна своего номера, то они кажутся очень маленькими, а за ними видны горы. А бывает, проснешься воскресным утром, когда улицы пусты, и вдруг слышится далекая команда, а потом стрельба. Это не редкость, если живешь достаточно долго и кочуешь с места на место.

При хорошей памяти, можно снова, сидя в

машине, проехать лесом по берегу Ирати, где деревья как на картинке из книги сказок. Теперь их свели. Теперь вниз по реке сплавляют бревна, а рыбу выловили; в Галисии ее глушили и отравляли; результат один, так что в конечном счете здесь почти то же, что дома, кроме желтого дрока на горных лужайках и мелкого дождя. Тучи набегают с моря из-за гор, но когда дует южный ветер, Наварра вся золотится пшеницей, только она не растет на равнинах, а подымается и спускается по склонам, и прорезают ее дороги, окаймленные деревьями, и торчат колокольни деревушек, где пахнет овечьим пометом, а на площади привязаны лошади…

…В Мадриде хорошо пройтись пешком по городу, посидеть в кафе, где можно почерпнуть много полезных сведений о том, кто кому должен и кто кого и как надул, и почему он сказал ему поцелуй меня в одно место, и у кого от кого дети, и кто женился на ком до всего, а кто после, и сколько на что нужно времени, и что говорит доктор. И как он радовался, что с доставкой быков вышла задержка, значит, их выгрузят только перед самым боем, и ноги у них, понятное дело, не успеют окрепнуть, и довольно будет помахать перед мордой мулетой, а потом раз — и готово, но

пошел дождь, и бой отложили на целую неделю, и тут-то он и подхватил болезнь. И кто с кем когда и почему не стал драться, и что она… Да разве она…? Ну, еще бы, дурень, неужели ты этого не знал? Да она поедает их живьем, одного за другим, что верно, то верно, — и еще много нужного и ценного вы узнаете в кафе. В кафе, где никто никогда не ошибается; где все матадоры храбрые; где на столиках скопляются блюдца и число выпитых рюмок записывают карандашом на мраморной доске между тарелками со скорлупой креветок, и царит бодрое настроение, потому что в кафе победы достаются легко, и к восьми часам каждый чувствует себя героем, если только есть кому заплатить по счету.

Что еще должно быть в книге о стране, которую очень любишь? Рафаэль говорит, что теперь все не то, и в Памплону он больше не поедет. «Ла Либертад», по-моему, уже сильно смахивает на парижскую «Тан». Это уж не та газета, через которую вы могли обратиться к карманнику, выкравшему у вас бумажник, как в те времена, когда республиканцы еще не были в почете, и Памплона, конечно, изменилась, но все же меньше, чем нас изменили годы. Я убедился, что стоит выпить, — и все опять становится почти

таким, каким было всегда. Я знаю, что сейчас много перемен, и меня это не огорчает. Ведь и я уже не тот. Мы все уйдем из этого мира прежде, чем он изменится слишком сильно, и если не случится нового потопа, и после нас на севере все так же летом будет лить дождь, и соколы будут вить гнезда под куполом собора в Сантьяго де Кампостела и в Ла-Гранха, где мы учились действовать плащом на длинных тенистых дорожках, посыпанных гравием, и не все ли равно, бьют там еще фонтаны или нет. Но мы уже больше не будем возвращаться из Толедо в темноте, глотая дорожную пыль и запивая ее фундадором, и не повторится та неделя в Мадриде и все, что произошло той июльской ночью. Мы видели, как это ушло, и еще многое уйдет на наших глазах. Самое главное — жить и работать на совесть; смотреть, слушать, учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя. Пусть те, кто хочет, спасают мир, — если они видят его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она показана правдиво, будет отражен весь мир. Самое важное — работать и научиться этому. Нет. Это еще не настоящая книга, но кое-что нужно было сказать. Нужно было сказать о некоторых

насущных и простых вещах.

Старый газетчик

Ваш корреспондент — старый газетчик. Значит, все мы — свои люди. Но беда в том, что ваш корреспондент был в газете репортером и поэтому всегда завидовал фельетонистам, которым разрешалось писать о самих себе. Бывало, когда выходил номер, ваш корреспондент прежде всего прочитывал большой подвал своего любимого фельетониста, где речь шла о самом фельетонисте, о его детях, о том, что он думает и почему он так думает, — а у вашего корреспондента вся продукция за этот день сводилась примерно к следующему: «Кемаль[18] утверждает не жег Смирны виноваты греки», — срочной, по три доллара за слово в адрес Монументал Ньюс-Сервис, а появлялось это в таком виде: «В сегодняшнем конфиденциальном интервью, данном корреспонденту Монументал Ньюс-Сервис, Мустафа Кемаль категорически отрицал какую-либо причастность турецких войск к сожжению Смирны.

---

[18] Примечания: 18

Ататюрк Мустафа Кемаль (1881–1938) — руководитель национально-освободительной революции в Турции 1918–1923 гг., первый президент Турецкой республики.

Город, по заявлению Кемаля, был подожжен греческим арьергардом еще до того, как первые турецкие отряды вступили в предместье».

Не знаю, что было на душе у доброго старого фельетониста, в брюках мешком, когда он писал все эти бесконечные «я, меня, мое», но я уверен, что личные дела беспокоили его и до того, как он начал беспокоиться о судьбах мира, и во всяком случае интересно было наблюдать, как из фельетониста травоядного (природа, весна, бэйсбол, иногда рецензия на недочитанную книгу) он превращался в фельетониста плотоядного (бунты, насилия, катастрофы, революции). Но все фельетонисты, пишущие о себе, — шакалы, — кстати, мои рассуждения тоже начинают смахивать на фельетон, — а ни один шакал, отведав мяса, не станет питаться травой, независимо от того, сам ли он убил зверя, или подбирает то, что убили другие. Уинчел, например, всегда убивает зверя сам, то же можно сказать и еще кое о ком. Но в их фельетонах все же бывает информация. Поэтому вернемся к прежнему нашему любимцу, который охотно выставляет напоказ свою личность, предпочитая это собиранию фактов.

…Вся беда нашего прежнего любимца в том, что он слишком поздно занялся своим образованием.

Теперь он уже не успеет научиться тому, что должен узнать человек, прежде чем умрет. Доброе сердце, крепкая голова, личное обаяние, брюки мешком и уменье стучать на машинке — всего этого недостаточно, чтобы понять, как устроен мир. Наш любимец никогда этого не узнает, потому что он слишком поздно начал и потому что он не умеет спокойно рассуждать.

Например, непосредственно после войны мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды — потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли. Долгое время я не мог понять этого, но наконец, кажется, понял. Изучая историю, видишь, что социальная революция не может рассчитывать на успех в стране, которая перед этим не перенесла полного военного разгрома. Надо самому видеть военный разгром, чтобы понять это. Это настолько полное разочарование в системе, которая привела к краху, такая ломка всех существующих понятий, убеждений и приверженностей, особенно когда воюет мобилизованный народ, — что это необходимый катарсис перед революцией.

Не было, может быть, страны более созревшей

для революции, чем послевоенная Италия, но революция там была обречена на неудачу, потому что поражение итальянцев было неполным; после Капоретто[19] Италия продолжала войну и в июне — июле 1918 года выиграла битву на Пиавэ. Из Пиавэ и на деньги банка Коммерчиале, Кредите Итальяно и миланских промышленников, которые хотели подавить преуспевающие социалистические кооперативные предприятия и социалистический муниципалитет Милана, возник фашизм.

Франция была готова к революции в 1917 году после провала наступления при Шмэн-де-Дам. Полки восстали и пошли на Париж. Клемансо взял в свои руки власть, когда почти каждый политический деятель и «здравомыслящий» человек или подготовлял мир, или чаял мира, и, расстреляв или терроризировав всех своих старых политических противников, отказавшись обсуждать мирные условия, казнив бог весть сколько солдат, которые умирали в Венсенне без огласки, привязанные к столбам перед карательными взводами, и, продержавшись без

[19] Примечания: 19

Капоретто — селение на северо-востоке Италии, в районе которого в октябре 1917 г. австро-германские войска прорвали фронт итальянских войск и разгромили две итальянские армии.

наступления до прибытия американцев, он добился того, что войска его снова дрались в июле 1918 года. Революция была обречена во Франции тем, что страна кончила войну победительницей, и тот, кто видел, как по приказу Клемансо республиканская гвардия в блестящих кирасах и хвостатых касках, оседлав широкогрудых, тяжелоногих, крепко подкованных лошадей, атаковала и топтала шествие инвалидов войны, которые уверены были, что «старик» никогда не тронет их, любимых его poilus, тот, кто видел блеск сабель и рысь, переходящую в галоп, и опрокинутые кресла-каталки, и людей, выкинутых из них на тротуар и не способных двинуться, сломанные костыли, мозги и кровь на камнях мостовой, железные подковы, выбивающие искры из булыжника и глухо топчущие безногих, безруких людей и бегущую толпу; кто видел все это, для того ничего нового не было в том, что Гувер направил войска[20], чтоб рассеять голодный поход ветеранов.

Германия не знала военного разгрома. Она не

[20] Примечания: 20

В июне 1932 г. по распоряжению Гувера (1874–1964), президента США в 1929–1933 гг., генерал Макартур учинил на равнине Анакостии под Вашингтоном кровавую расправу над ветеранами войны, пришедшими с просьбой к правительству улучшить их положение.

знала нового Седана, такого, который привел к Коммуне. Просто Германии не удалось победить в весенних и летних битвах 1918 года, но армия ее не разложилась и мир был заключен раньше, чем поражение успело перерасти в тот разгром, из которого возникает революция. Революция все же была, но она была обусловлена и ограничена тем, как кончилась война; и те, кто не хотел признавать военного поражения, ненавидели тех, кто признавал его, и стали расправляться с наиболее способными из своих противников путем обдуманной программы убийств, гнуснее которых никогда еще не было на свете. Они начали сейчас же после окончания войны убийством Карла Либкнехта и Розы Люксембург и продолжали убивать, систематически уничтожая как революционеров, так и либералов все теми же методами предумышленного убийства. Вальтер Ратенау был совсем не похож на Рема, был много лучше этой гадины, но те же люди и та же система убили обоих.

Испания получила революцию, соответствующую масштабу ее военного поражения при Аннуале, и те, кто был ответствен за эту ужасную мясорубку, потеряли посты и престолы. Но когда три недели назад там попытались углубить

революцию, оказалось, что народные массы не подготовлены к этому…

Но за проигранную войну, проигранную позорно и окончательно, приходится расплачиваться распадом государственной системы. Это и вам следует зарубить на носу, почтеннейший любимец.

Писатель может сделать недурную карьеру, примкнув к какой-нибудь политической партии, работая на нее, сделав это своей профессией и даже уверовав в нее. Если дело партии победит, карьера такого писателя обеспечена. Но все это будет не впрок ему как писателю, если он не внесет своими книгами чего-то нового в человеческие знания.

Нет на свете дела труднее, чем писать простую честную прозу о человеке. Сначала надо изучить то, о чем пишешь, затем нужно научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь. И обманывают себя те, кто думает отыграться на политике. Это слишком легко; все эти поиски легкого выхода слишком легки, а само наше дело непомерно трудно. Но делать его нужно, и каждый раз, когда это удается, в том, о чем вам еще надо написать, становится одной темой и одной группой людей меньше.

Книги нужно писать о людях, которых знаешь, которых любишь или ненавидишь, а не о тех, которых еще только изучаешь. И если написать правдиво, все социально-экономические выводы будут напрашиваться сами собой.

…Когда у вас будет побольше свободного времени, прочитайте книгу Толстого, которая называется «Война и мир», и вы увидите, что все пространные исторические рассуждения, которые ему, вероятно, казались самым лучшим в книге, когда он писал ее, вам захочется пропустить, потому что, даже если когда-нибудь они и имели не только злободневное значение, теперь все это уже неверно и неважно, зато верным и важным и неизменным осталось изображение людей и событий. Не верьте, если критики станут объяснять, какой должна быть книга, исходя из требований сиюминутной моды. Все хорошие книги сходны в одном: то, о чем в них говорится, кажется достовернее, чем если бы все это было на самом деле, и, когда вы дочитали до конца, вам кажется, что все это случилось с вами, и так оно навсегда при вас и остается: хорошее и плохое, восторги, печали и сожаления, люди и места и какая была погода. Если вы умеете все это дать людям, значит, вы — писатель. Потому что это

самое трудное.

Нужно уметь работать без похвал. Самый волнующий момент, это когда готов черновик. Но его никто не видит, и нужно много и долго работать над ним, чтобы все свое волнение и каждый вздох и стон передать читателю, а когда кончишь, то все слова кажутся лишенными смысла, потому что слишком много раз читал их. К тому времени, когда книга выходит из печати, ты уже занят чем-то другим и это уже все позади и тебе не хочется даже слышать о ней. Но ты все-таки слышишь, и раскрываешь, и читаешь ее, и видишь все те места, которые нельзя уже исправить.

И вот когда-нибудь, когда не работается и настроение отвратительное, книга попадается тебе на глаза, и ты открываешь ее, и начинаешь читать, и через некоторое время говоришь жене: «Слушай, а ведь здорово, черт возьми».

А она отвечает: «Милый, я всегда это говорила». Или она не слышит и говорит: «Что ты сказал?» — и ты не повторяешь своих слов.

Но если книга хорошая, если она о том, что ты знаешь, и написана правдиво, и, перечитывая ее, ты видишь это, пусть кто хочет поднимает вой; это будет похоже на подвывание койотов, когда они рыщут по снегу, а ты сидишь в своей хижине,

выстроенной твоими руками или купленной на деньги, которые ты получил за свою работу.

В защиту Кинтанильи[21]

Покровителей нет, художник сидит в мадридской тюрьме, ему предъявлено обвинение в том, что он член революционного комитета Октябрьского восстания в Испании[22], прокурор требует «шестнадцати лет каторжных работ», и единственное «оправдание» — его изумительные гравюры.

Однажды в Гаване я получил от двух мадридских друзей каблограмму; с помощью импровизированного кода, весьма несложного, но способного сбить с толку цензора, я прочел: «Луис сел», и подпись: Зиф Аллен.

Я полагаю, сейчас будет своевременно внести предложение взимать небольшой налог с употребления слова «революция» с тем, чтобы на собранные деньги организовать защиту таких людей, как, скажем, Луис Кинтанилья, или еще

---

[21] Примечания: 21

Кинтанилья Луис — испанский художник, участник революционного движения и гражданской войны в Испании.

[22] Примечания: 22

Октябрьское восстание в Испании — после отречения в 1931 г. короля Альфонса и установления в Испании республики в октябре 1933 г. реакция пыталась установить свою власть, но получила отпор со стороны народных масс.

кого-нибудь из ваших друзей, находящихся в тюрьме. А платят пусть те, кто пишет это слово, но никогда не стрелял и не был под выстрелами; кто никогда не хранил запрещенное оружие и не начинял бомбу; не отбирал оружие и не видел, как бомба взрывается; кто никогда не голодал ради всеобщей стачки и не водил трамвай по заминированным путям; кто никогда не пытался укрыться на улице, пряча голову за водосточную трубу; кто никогда не видел, как пуля попадает женщине в голову, или в грудь, или в спину; кто никогда не видел старика, у которого выстрелом снесло половину головы; кто никогда не вздрагивал от окрика: «Руки вверх!»; кто никогда не стрелял в лошадь и не видел, как копыта пробивают голову человека; кто никогда не попадал под град пуль или камней; кто никогда не получал удара дубинкой по голове и сам не швырял кирпичей; кто никогда не видел, как вкачивают в агитатора кишкой сжатый воздух; кто никогда — это уже серьезнее, т. е. карается строже, — не перевозил оружия ночью в большом городе; кто никогда (пожалуй, хватит, ведь продолжать можно было бы до бесконечности) не стоял на крыше, пытаясь отмыть собственной мочой черное пятно между большим и указательным

пальцем, — след винтовки, когда сама винтовка закинута в колодец, а по лестнице поднимаются солдаты: вас будут судить по рукам, других доказательств, кроме рук, им не надо, впрочем, даже если руки чистые, вас все равно не отпустят, если знают точно, с какой крыши стреляли.

Луис Кинтанилья, который имеет полное право употреблять слово «революция», пользуется им очень скупо. Он не берет денег и не разглагольствует во спасение души, подобно Диего Ривере. Он написал чудесные фрески в Casa del Pueblo[23] и в Ciudad Universitario[24] в Мадриде, и в них не найти символов капитализма или каких бы то ни было символов. В них живые люди, те же люди, что и на его гравюрах. Он их не судит, он только показывает их, потому что вводил их в дело. Когда следуешь за командиром, легко впасть в идеализацию; когда сам имеешь опыт командира, можно показывать и критиковать, право на сатиру заработано, и если ненавидишь, ненавидишь с умом.

Кинтанилья, прятавший в своей квартире оружие, когда еще не было известно, что революция,

---

[23] Примечания: 23
Народный дом *(исп.)*.

[24] Примечания: 24
Университетский городок *(исп.)*.

свергнувшая Альфонса, будет бескровной, Кинтанилья, водрузивший на королевском дворце республиканский флаг, своими руками укрепивший его на крыше, когда никто еще не был уверен, что король отречется от престола, и который не загордился и на упоминание об этом дне неизменно отвечал шуткой, тогда как будь это американская революция, его канонизировали бы во всех учебниках; этот Кинтанилья водит острой иглой по никелированному цинку и создает прекрасные гравюры, которым суждена долгая жизнь во все времена, при всех обстоятельствах, которые понятны всем и каждому и вместе с тем без претензии на фамильярность, но в силу своих достоинств перекликаются с произведениями лучших мастеров гравюры всех веков. И я считаю, что те, кто легко, слишком легко употребляют слово «революция», спасая душу или делая карьеру, должны платить хотя бы небольшой налог в пользу тех, кто имеет право кричать его, как кричали и трубили в рог в нашей стране много лет назад.

Но те, кто, подвергая опасности свою жизнь и свободу, поистине завоевал себе право употреблять это слово, говорят очень тихо и хорошо выполняют остальную свою работу (а всякая

хорошо исполненная работа служит одной цели); и, попав в тюрьму, пишут, что отнюдь не падают там духом, спрашивают, как вы поживаете и как дети, и детей перечисляют по именам, и как охота — лучше ли, чем в прошлом году, когда мы в Эстрамадуре ходили на дикого кабана (а до этого писали, Что в ноябре и декабре будут в Голландии — очень хороши там картины, — а по дороге захватят и Бельгию), — и чтобы вы поскорее сообщили новости.

И вот, как туча, надвигается тень шестнадцати лет жизни художника (от тридцати девяти до пятидесяти пяти), которые государство хочет у него отнять. Ваше счастье, что вы получили возможность видеть и приобрести его гравюры, потому что человека, создавшего их, вполне могли засадить в тюрьму или убить два года назад, когда выгоняли Бурбонов. Но та революция была хорошая, удачная. И человек смог работать, переделывать мир и наносить на никелированный цинк по одному штриху, миллион штрихов, из которых вырастает мир, где есть свет, глубина и пространство, юмор, жалость и понимание, и здоровый опыт реалиста, который дал первый подлинный Мадрид со времен Гойи.

Теперь он в тюрьме, и прекрасные фрески, на-

чатые им для памятника Пабло Иглесиасу[25], не будут закончены.

Вам, читающим это, ничего не грозит. Вы не огорчайтесь. Пусть это вас не тревожит. Мадрид далеко, и вы никогда не слышали об этом человеке. И почему, собственно, он попал туда?

[25] Примечания: 25

Иглесиас Пабло (1850–1925) — один из первых пропагандистов марксизма в Испании, председатель Испанской социалистической рабочей партии и Всеобщего союза трудящихся. В последние годы жизни реформист.

Заметки о будущей войне
Письмо на злободневную тему

Не в августе и не в сентябре — весь этот год ты можешь убивать время, как тебе нравится. Не в августе будущего года и не в сентябре будущего года — это еще слишком рано. Они еще процветают и далеки от того момента, когда военные заводы начинают работать на полную мощность; они не станут воевать, если можно делать деньги и без этого. Итак, летом ты можешь рыбачить, а осенью охотиться и вообще делать все, что всегда делал: возвращаться домой по вечерам, спать с женой, ходить на бейсбол, заключать пари, выпивать, когда есть настроение, одним словом, пользоваться привилегиями, доступными каждому, у кого есть доллар или даже десять центов. Но через год или еще через год после будущего года они начнут воевать. Что же произойдет с тобой?

Вначале ты хорошо заработаешь, возможно и так. Но не исключено, что ты ничего не получишь. Правительство получит все. Вот что такое военные доходы в конечном итоге. Если ты на пособии, тебя втянут в эту гигантскую беспри-

быльную работу, и с того дня ты станешь рабом.

Если это будет общеевропейская война, тогда мы будем вовлечены в нее: ведь пропаганда (представь себе, как будет использовано для этой цели радио), жадность и желание оздоровить больной организм государства обязательно сделают свое дело. С каждым шагом, направленным в настоящее время на то, чтобы передать всю полноту власти исполнительным органам и тем самым лишить народ права решать все вопросы через своих избранных представителей, мы неумолимо приближаемся к войне. Ибо таким образом устраняется единственно возможный контроль. Ни отдельным лицам, ни группе людей, не подлежащих военной службе, нельзя давать полномочия, которые им так настойчиво предлагают, решать вопрос о вступлении в войну.

Первое лекарство от всех бед для нации, заведенной правительством в тупик, — инфляция, второе — война. Оба приносят временное процветание, оба ведут к полному краху. Оба являются лазейкой для политических и экономических оппортунистов.

У нас нет друзей среди европейских государств со времен последней войны, и нет такой страны, за которую бы стоило воевать, кроме своей соб-

ственной. Ни ложные идеалы, ни пропаганда, ни стремление поддержать своих кредиторов, ни чье-либо желание поправить свои дела под видом пресловутого оздоровления государства не должны больше впутывать нас в войну.

Теперь рассмотрим современное положение и выясним, есть ли возможность избежать войны.

Ни одна нация больше не платит долгов. Нет такого государства, которое хотя бы делало вид, что несет ответственность перед другими государствами или отдельными лицами. Финляндия все еще платит нам долги, но это — молодое государство, и она еще успеет превзойти всех. Мы когда-то были молодым государством и превзошли всех. Теперь, когда ни одно государство не платит долгов, нельзя верить на слово. Поэтому мы можем игнорировать любые договоры и соглашения с государствами, если они не соответствуют реальной политике этих государств.

Несколько лет тому назад, поздним летом, из-за итальянских претензий на расширение колониальных владений в Северной Африке Италия и Франция стянули свои войска вдоль общей границы, чтобы начать военные действия. Любой намек о мобилизации в телеграммах и радиограммах вымарывался цензурой. Корре-

спондентам, упоминавшим о ней в посланных по почте материалах, угрожала высылка из страны. Эти разногласия были разрешены тем, что Муссолини перенес свои устремления в Восточную Африку и, отказавшись от своих североафриканских планов, очевидно, пошел на сделку с Францией, которая со своей стороны позволила ему развязать войну с независимым суверенным государством, членом Лиги Наций, находящимся под ее защитой.

Италия — страна патриотов, и когда дела дома идут плохо, бизнес приходит в упадок, угнетение и налоги становятся нетерпимыми, тогда стоит только Муссолини начать бряцать оружием, как его патриоты в страстном рвении схватить за горло врага забывают про свои домашние неприятности. Именно по такому принципу в начале правления Муссолини, когда его личная популярность заметно ослабла, а оппозиция значительно окрепла, было инсценировано покушение на него, что воспламенило истерическую любовь толпы к своему чуть было не потерянному дуче, и она готова была поддерживать какие угодно реформы и патриотично проголосовала за самые жестокие репрессии против оппозиции.

Муссолини играет на удивительном истериче-

ском патриотизме своих граждан, как скрипач на своем инструменте. Однако, когда Франция и Югославия оказались возможными врагами Италии, он изменил тактику, потому что он не хотел войны с этими странами, а только угрожал им войной. Он все еще помнит Капоретто, где Италия потеряла 320 000 убитыми, ранеными и без вести пропавшими, из них 265 000 без вести пропавшими, хотя он уже успел воспитать целое поколение молодых итальянцев, верящих в то, что Италия — несокрушимая военная держава.

Теперь Муссолини намерен вести войну с феодальной страной, против босоногого средневекового войска кочевников. Он собирается направить самолеты против народа, у которого ничего нет, применить пулеметы, минометы, газы и современную артиллерию против луков, стрел, копий и туземной конницы, вооруженной карабинами. Конечно, театр военных действий расположен как нельзя более выгодно для победы Италии, и такой победы, которая на продолжительное время отвлекла бы умы итальянцев от их внутренних проблем. Однако допущен просчет: абиссинская армия располагает немногочисленными, но хорошо подготовленными и вооруженными частями.

Франция счастлива, что Муссолини будет воевать. Тот, кто воюет, может быть и побежден. Другое сильнейшее поражение Италии, ее Черное Капоретто, было нанесено этими самыми эфиопами в Адуа[26], когда четырнадцатитысячная итальянская армия была уничтожена силой, представляемой теперь Муссолини как 100 000 эфиопов. Конечно, несправедливо требовать победы четырнадцати тысяч над ста тысячами, но суть войны не в том, чтобы сопоставлять свою армию в четырнадцать тысяч со ста тысячами чего бы там ни было. Однако факт остается фактом, итальянцы потеряли более 4500 белых и 2000 туземных солдат ранеными и убитыми. Тысяча шестьсот итальянцев попали в плен. Потери абиссинцев составили 3000 человек.

Французы помнят Адуа… и знают, что тот, кто воюет, может быть побежден. Дизентерия, лихорадка, жара, плохие дороги и многое другое может привести армию к поражению. Существуют еще и тропические заболевания, переходящие в эпидемию при благоприятствующих условиях, таких, как вторжение иноземных солдат, не привыкших к климату и не имеющих иммунитета

---

[26] Примечания: 26
Имеется в виду первая итало-эфиопская война 1895–1896 гг.

против них. Любой, кто ведет войну в районе экватора, может потерпеть поражение только из-за трудности сохранить армию боеспособной.

Франция понимает также, что, победит ли, проиграет ли Италия, война обойдется ей дорого и она уже не в состоянии будет причинить неприятности Европе. Италия без союзников никогда не была серьезным противником, потому что у нее нет ни угля, ни железа. Ни одна страна не может вести войну, не имея угля и железа. За последнее время Италия пыталась преодолеть этот недостаток, создав сильную авиацию, и именно благодаря своим самолетам она сегодня представляет угрозу для Европы.

Англия счастлива, что Италия будет воевать в Эфиопии. Во-первых, не исключено, что Италию побьют и, как полагают англичане, это послужит ей хорошим уроком и продлит мир в Европе. Во-вторых, если она победит, прекратятся набеги абиссинцев на северные границы Кении и на кого-то другого ляжет ответственность запрещать абиссинцам вести их вековую торговлю рабами с Аравией. Тогда Англия, несомненно, должна будет договориться с возможным победителем о постройке гидроэлектростанции в северо-восточной Эфиопии для орошения своего Судана,

чего она уже давно жаждет. Вполне вероятно, что Антони Иден[27] во время своего последнего визита в Рим вел переговоры и в этом направлении. И наконец, Англия знает, что все, что бы ни нашла Италия в Эфиопии, она будет вывозить через Суэцкий канал или более длинным путем через Гибралтарский пролив. Если же разрешить Японии проникнуть в Эфиопию и таким образом позволить ей укрепиться в Африке, все, что она там получит, пойдет прямо в Японию, и в нужный момент не окажется никакого контроля над вывозом.

Германия счастлива, что Муссолини пытается поживиться Эфиопией. Любое изменение африканского статус-кво открывает дорогу притязаниям Германии на бывшие африканские владения. Возврат колоний, если это удастся, возможно, отсрочит войну на довольно продолжительное время. Германия под властью Гитлера хочет войны, войны-реванша, хочет ее страстно, патриотично и почти фанатично. Франция надеется, что это произойдет прежде, чем Германия станет достаточно сильной. Но французский народ не хочет войны.

---

[27] Примечания: 27

Иден Антони (1897–1977) — английский политический деятель, консерватор, в 1935–1938 гг. министр иностранных дел Великобритании.

В этом различие, в этом и опасность. Франция — страна, Великобритания — несколько стран, но Италия — один человек Муссолини, и Германия — один человек Гитлер. А человек честолюбив, он правит государством, пока не попадет в экономические затруднения, и тогда он ищет выхода из них в войне. Народ никогда не хочет войны, пока человек, используя мощь пропаганды, не убедит его в ее необходимости. Пропаганда теперь значительно сильнее, чем когда-либо. Она представляет собой слаженный, разветвленный и хорошо контролируемый механизм, и до тех пор, пока государством управляет один человек, правде там нет места.

Войны теперь возникают не только под действием экономических сил. Войны теперь делаются и планируются отдельными лицами, демагогами и диктаторами, которые, играя на патриотизме своих народов, вводят их в великое заблуждение — войну, когда дутые реформы этих правителей проваливаются и не могут больше удовлетворить обманутым ими народ. И нам в Америке следовало бы понять, что одному человеку, как бы прекрасен и благороден он ни был, нельзя давать полномочия (как бы последовательно они ему ни предлагались) решать вопрос

о вступлении в войну, которая сейчас готовится и приближается с неотвратимостью давно и хорошо запланированного убийства. Если вы передадите всю полноту власти исполнительным органам, вы не будете знать, кто будет во главе, когда наступит критический момент.

В старое доброе время писали, как славно и прекрасно умереть за отечество. Но смерть на современной войне отнюдь не славная и не прекрасная. Ты умрешь, как собака, ни за что. Когда тебе прострелят голову, ты умрешь мгновенно и, возможно, даже славно и прекрасно. Но может быть и так, что тебя ранит в лицевую кость или в зрительный нерв или сорвет челюсть, нос, щеки, и ты будешь все еще в состоянии думать, но у тебя не будет лица, чтобы говорить. Если тебя не ранит в голову, тебя может ранить в грудь — и ты задохнешься, или в низ живота — и ты почувствуешь, как что-то скользит и перемещается в тебе, а когда ты попытаешься встать, все это выльется наружу (это ранение не считается болезненным, хотя люди обычно сильно стонут, я думаю, от сознания, что они ранены). Или вслед за вспышкой и грохотом снаряда о твердую поверхность дороги ты обнаружишь, что твоей ноги выше колена, или, быть может, ниже колена, или

только ступни не стало, и ты глядишь на белую кость, торчащую из-под портянки, или глядишь, как с тебя снимают ботинок вместе с ногой, которая превратилась в месиво. Ты узнаешь, как хлопает пустой рукав и как хрустят кости. Ты будешь гореть, задыхаться, блевать — словом, у тебя будет возможность разлететься на куски десятками самых разнообразных способов, — и надо сказать, что ничего славного и прекрасного при этом не испытаешь. Но все это мало действует. Еще никогда перечень всех ужасов никого не удержал от войны. До войны ты думаешь, что умрешь не ты. Но и ты умрешь, братец, если повоюешь подольше.

Единственный способ бороться с убийством, то есть с войной, — это разоблачать грязные махинации, которые приводят к ней, и тех преступников и негодяев, что возлагают на нее свои надежды, разоблачать, каким идиотским способом они ведут войну, когда наконец дорвутся до нее, разоблачать так, чтобы каждый честный человек потерял к ней всякое доверие, как к любому мошенничеству, и отказался бы участвовать в ней.

Если бы войны велись теми, кто хочет воевать и знает, что делает, и это им нравится, или хотя бы теми, кто понимает, за что воюет, то война могла

быть хоть как-то оправдана. Но те, кто хочет идти на войну, те немногие, погибают в первые же месяцы, и всю остальную войну проходят солдаты, которых принудили взять оружие и научили бояться верной смерти от руки своих офицеров, если они посмеют дезертировать, бояться больше, чем другой возможной смерти на передовой или в атаке. В конце концов после того, как они получат изрядную порцию огня и снарядов, страх берет верх, и эти солдаты бегут. Если им удастся выйти из полного повиновения своим офицерам, то война для такой армии окончена. Была ли в прошлую войну хоть одна армия союзников, которая рано или поздно не разбежалась бы? Здесь не место заниматься перечислением.

Современную войну не выигрывают, потому что она ведется до предела, когда все стороны должны потерпеть поражение. Солдаты, что воюют в конце войны, не способны победить. Все дело в том, чье правительство выдохнется первым или на чью сторону встанет новый союзник со свежими силами. Иногда союзники полезны. Иногда они — Румыния.

Современная война не знает победы. Последнюю войну выиграли союзники, но в маршировавших на парадах полках были не те солдаты,

что воевали. Те солдаты мертвы. Было убито более семи миллионов, и убить значительно больше, чем семь миллионов, сегодня истерично мечтают бывший ефрейтор германской армии и бывший летчик и морфинист, сжигаемые личным и военным честолюбием в дурмане мрачного, кровавого, мистического патриотизма. Гитлеру не терпится развязать в Европе войну. Он — бывший ефрейтор, и в этой войне он не будет воевать, а будет только произносить речи. Ему самому нечего терять. Зато он может получить все.

Муссолини тоже бывший ефрейтор, но он также бывший анархист, великий оппортунист, он же и реалист. Он не хочет войны в Европе. Он будет разыгрывать в Европе фарс, но воевать там никогда не станет. Он все еще помнит, что такое война и как он вышел из нее в результате несчастного случая, получив ранение итальянским снарядом, и вернулся к газетной работе. Он не хочет воевать в Европе, потому что знает, что тот, кто воюет, может проиграть, если, конечно, не подстроить войну с Румынией. Он знает, что первый диктатор, который спровоцирует войну и проиграет ее, положит конец диктаторству для себя и для своих сынков на долгое время. Но поскольку для существования его режима

война необходима, он избрал Африку театром военных действий и единственную там независимую страну своим противником. К сожалению, абиссинцы — христиане, и эта война не будет Священной. Пока его «фиаты» упражняются в Эфиопии, он может, конечно, отменять рабство на бумаге. Бесспорно, в итальянском военном колледже эта война представляется как верная, быстрая и идеальная кампания. Но возможно, что режим и правительство падут именно из-за этой верной и идеальной кампании раньше чем через три года.

Немецкий полковник по имени фон Леттов-Форбек с 5-тысячной армией, в которой было только двести пятьдесят белых солдат, воевал в Танганьике и Португальской Африке против 130-тысячной армии союзников более чем четыре года, что обошлось союзникам в 72 000 000 фунтов стерлингов. В конце войны продолжали повсеместно действовать его партизанские отряды.

Если абиссинцы предпочтут партизанскую войну миру, то не исключено, что Эфиопия превратится в незаживающую рану на боку Италии, истощит ее казну, ее молодость, продовольствие и вернет ей армию, больную и ожесточившуюся от страданий и против правительства, пославше-

го ее на эти страдания, наобещав славу. Именно потерявшие иллюзии солдаты способны низвергать режимы.

Возможно, что война в Африке продлит мир в Европе. За это время может что-нибудь произойти с Гитлером. Но мерзкую кашу, которую заварила Европа, нам не стоит расхлебывать. Европа всегда воевала, передышки — это только время заключения перемирий. Мы уже однажды сваляли дурака и ввязались в европейскую войну, и нам не следует этого больше повторять.

Из книги «Зеленые холмы Африки»

У нас в Америке были блестящие мастера. Эдгар По — блестящий мастер. Его рассказы блестящи, великолепно построены — и мертвы. Были у нас и мастера риторики, которым посчастливилось извлечь из биографий других людей или из своих путешествий кое-какие сведения о вещах всамделишных, о настоящих вещах, о китах например, но все это вязнет в риторике, точно изюм в плум-пудинге. Бывает, что такие находки существуют сами по себе, без пудинга, тогда получается хорошая книга. Таков Мелвилл[28]. Но те, кто восхваляет Мелвилла, любят в нем риторику, а это у него совсем неважно. Такие почитатели вкладывают в его книгу мистичность, которой там нет.

…Были у нас и другие писатели. Те писали точно колонисты, изгнанные из Старой Англии, которая никогда не была им родной, в Англию новую, и эту новую Англию они пытались здесь создать. Превосходные люди — обладатели узкой,

[28] Примечания: 28

Мелвилл Герман (1819–1891) — американский писатель, автор классического романа «Моби Дик».

засушенной, безупречной мудрости унитариев. Литераторы, квакеры, не лишенные чувства юмора.

— Кто же это?

— Эмерсон, Хоторн, Уитьер и компания. Все наши классики раннего периода, которые не знали, что новая классика не бывает похожа на ей предшествующую. Она может заимствовать у того, что похуже ее, у того, что отнюдь не стало классикой. Так поступали все классики. Некоторые писатели только затем и рождаются, чтобы помочь другому написать одну-единственную фразу. Но быть производным от предшествовавшей классики или смахивать на нее — нельзя. Кроме того, все эти писатели, о которых я говорю, были джентльменами или тщились быть джентльменами. Они были в высшей степени благопристойны. Они не употребляли слов, которыми люди всегда пользовались и пользуются в своей речи, слов, которые продолжают жить в языке. В равной степени этих писателей не заподозришь в том, что у них была плоть. Интеллект был, это верно. Добропорядочный, сухонький, беспорочный интеллект.

…Писателям следует работать в одиночку. Писатели должны встречаться друг с другом только

тогда, когда работа закончена, но даже при этом условии не слишком часто. Иначе они становятся такими же, как те их собратья, которые живут в Нью-Йорке. Это черви для наживки, набитые в бутылку и старающиеся урвать знания и корм от общения друг с другом и с бутылкой. Роль бутылки может играть либо изобразительное искусство, либо экономика, а то экономика, возведенная степень религии. Но те, кто попал в бутылку, остаются там на тю жизнь. Вне ее они чувствуют себя одинокими. А одиночество им не по душе. Они боятся быть одинокими в своих верованиях, и ни одна женщина не полюбит их настолько, чтобы в ней можно было утопить это чувство одиночества, или слить его с ее одиночеством, или испытать с ней то, рядом с чем все остальное кажется незначительным.

…Хорошие писатели — это Генри Джеймс, Стивен Крейн и Марк Твен. Не обязательно и в таком порядке. Для хороших писателей никаких рангов не существует… Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Гекльберри Финн». Если будете читать ее, остановитесь на том месте, когда негра Джима крадут у мальчиков. Это и есть настоящий конец. Все остальное — чистей-

шее шарлатанство. Но лучшей книги у нас нет. Из нее вышла вся американская литература. До «Гекльберри Финна» ничего не было. И ничего равноценного с тех пор тоже не появлялось.

— А те, другие?

— У Крейна есть два замечательных рассказа: «Шлюпка» и «Голубой отель». «Голубой отель» лучше.

— А что с ним было потом?

— Он умер. И это не удивительно, потому что он умирал с самого начала.

— А остальные?

— Те дожили до преклонного возраста, но мудрости у них с годами не прибавилось. Не знаю, чего им, собственно, не хватало. Ведь мы делаем из писателей невесть что.

— Не понимаю.

— Мы губим их всеми способами. Во-первых, губим экономически. Они начинают сколачивать деньгу. Сколотить деньгу писатель может только волею случая, хотя в конечном результате хорошие книги всегда приносят доход. Разбогатев, наши писатели начинают жить на широкую ногу — и тут-то они и попадаются. Теперь уж им приходится писать, чтобы поддерживать свой образ жизни, содержать своих жен, и прочая, и

прочая, — а в результате получается макулатура. Это делается отнюдь не намеренно, а потому, что они спешат. Потому что они пишут, когда им нечего сказать, когда вода в колодце иссякла. Потому, что в них заговорило честолюбие. Раз изменив себе, они стараются оправдать эту измену, и мы получаем очередную порцию макулатуры. А бывает и так: писатели начинают читать критику. Если верить критикам, когда те поют тебе хвалы, приходится верить и в дальнейшем, когда тебя начинают поносить, и вот ты теряешь веру в себя.

...В наши дни с писателями бывает всякое. В определенном возрасте писатели-мужчины превращаются в суетливых бабушек. Писательницы становятся Жаннами д'Арк, не отличаясь, однако, ее боевым духом. Ведут ли они кого-нибудь за собой или нет — это не важно. Если последователей не находится, их выдумывают. Тем, кто зачислен в последователи, никакие протесты не помогут. Их обвинят в предательстве. А, черт! Чего только не случается у нас с писателями! Но это еще не все. Есть и такие, кто пытается спасти душу своими писаниями. Это весьма простой выход. Других губят первые деньги, первая похвала, первые нападки, первая мысль о том, что они не

могут больше писать, первая мысль, что ничего другого они делать не умеют, или же, поддавшись панике, они вступают в организации, которые будут думать за них. А бывает, что писатель и сам не знает, что ему нужно. Генри Джеймсу нужно было разбогатеть. Ну и, конечно, богатства он не увидел.

— А вы?

— У меня много других интересов. Жизнью своей я очень доволен, но писать мне необходимо, потому что, если я не напишу какого-то количества слов, вся остальная жизнь теряет для меня свою прелесть.

— А что вам нужно?

— Мне нужно писать — и как можно лучше, и учиться в процессе работы. И еще я живу жизнью, которая дает мне радость. Жизнь у меня просто замечательная.

— …Значит, вы счастливы?

— Да, пока не думаю о других людях.

…Почему сейчас все стараются обойти этот вопрос, отрицают его важность, доказывают, что здесь ничего не добьешься? Только потому, что это очень трудно. Для того чтобы это стало осуществимо, требуется наличие слишком многих факторов.

— О чем это вы?

— О том, как можно писать. О том уровне прозы, который достижим, если относиться к делу серьезно и если тебе повезет. Ведь есть четвертое и пятое измерения, которые можно освоить.

— Вы так думаете?

— Я это знаю.

— А если писатель достигнет этого, тогда что?

— Тогда все остальное уже не важно. Это самое замечательное из всего, что писатель способен сделать. Возможно, он потерпит неудачу. Но какой-то шанс на успех у него есть.

— По-моему, то, о чем вы говорите, называется поэзией.

— Нет. Это гораздо труднее, чем поэзия. Это проза, еще никем и никогда не написанная. Но написать ее можно, и без всяких фокусов, без шарлатанства. Без всего того, что портится от времени.

— Почему же она до сих пор не написана?

— Потому что для этого требуется наличие слишком многих факторов. Во-первых, нужен талант, большой талант. Такой, как у Киплинга. Потом самодисциплина. Самодисциплина Флобера. Потом нужно иметь ясное представление о том, какой эта проза может быть, и нужно иметь

совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже, для того, чтобы уберечься от подделки. Потом от писателя требуется интеллект, и бескорыстие, и самое главное — умение выжить. Попробуйте найти все это в одном лице при том, что это лицо сможет преодолеть все те влияния, которые тяготеют над писателем. Самое трудное для него — ведь времени так мало — это выжить и довести работу до конца.

…Я с удовольствием уселся под деревом, прислонился к нему спиной и открыл «Севастопольские рассказы» Толстого. Книга эта очень молодая, в ней есть прекрасное описание боя, когда французы идут на штурм бастионов; и я задумался о Толстом и о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт. Война одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее всего писать правду, и писатели, не видавшие войны, из зависти стараются убедить и себя и других, что тема эта незначительная, или противоестественная, или нездоровая, тогда как на самом деле им просто не пришлось испытать того, чего ничем нельзя возместить. Потом «Севастопольские рассказы» навели меня на воспоминания о Севастопольском бульваре в Париже, о том, как я ездил по нему на велосипеде,

под дождем возвращаясь домой из Страсбурга, и какие скользкие были трамвайные рельсы, и каково ехать людной улицей под дождем по маслянисто-скользкому асфальту и булыжной мостовой, и о том, как мы чуть было не поселились тогда на бульваре Тампль; и я вспомнил ту квартиру — обстановку и обои, — но вместо нее мы сняли верх домика на улице Нотр-Дам-де-Шан во дворе, где была лесопилка (и внезапное взвизгивание пилы, запах опилок, каштан, поднимавшийся над крышей, и сумасшедшая в нижнем этаже), и как весь тот год нас угнетало безденежье (рассказы один за другим возвращались с почтой, которую опускали в отверстие, прорезанное в воротах лесопилки, и в сопроводительных записках редакции называли их не рассказами, а набросками, анекдотами, contes[29] и т. д. Рассказы не шли, и мы питались луком, и пили кагор с водой); и я вспомнил о том, как хороши были фонтаны на площади Обсерватории (переливчатая рябь на бронзовых конских гривах, бронзовых торсах и плечах — зеленых под сбегающими по ним струйками), и о том, как в Люксембургском саду, где кратчайший пере-

---

[29] Примечания: 29
Сказки *(фр.).*

ход на улицу Суффло, поставили бюст Флобера (того, в которого мы верили, кого любили, не помышляя о критике, — Флобера, теперь грузного, высеченного из камня, как и подобает кумиру). Он не видел войны, но он видел революцию и Коммуну, а революция — это еще лучше, если не становишься фанатиком, потому что все говорят на одном языке, и гражданская война лучшая из войн для писателя — наиболее совершенная. Стендаль видел войну, и Наполеон научил его писать. Он учил тогда всех, но больше никто не научился. Достоевский стал Достоевским потому, что его сослали в Сибирь. Несправедливость выковывает писателя, как выковывают меч.

… У меня все еще были «Севастопольские рассказы» Толстого, и в этом же томике я читал повесть «Казаки» — очень хорошую повесть. Там был летний зной, комары, лес — такой разный в разные времена года — и река, через которую переправлялись в набеге татары; и я снова жил в тогдашней России.

Я думал о том, как реальна для меня Россия времен нашей гражданской войны, реальна, как любое другое место, как Мичиган или прерии к северу от нашего города и леса вокруг птичьего питомника Эванса; и я думал, что благодаря

Тургеневу я сам жил в России, так же как жил у Будденброков и в «Красном и черном» лазил к ней в окно, а еще было то утро, когда мы вошли в Париж через городские ворота и увидели, как Сальседа привязали к лошадям и четвертовали на Гревской площади. Все это я видел сам. И ведь это меня так и не вздернули на дыбу, потому что я был изысканно вежлив с палачом, когда нас с Кокона казнили; и я помню Варфоломеевскую ночь, и как мы ловили гугенотов, и я попал тогда в засаду у нее в доме, и то ни с чем не сравнимое по своей неподдельности чувство, когда я убедился, что ворота Лувра закрыты, или когда смотрел на его тело, видневшееся под водой в том месте, куда он свалился с мачты… потому что мы были там и в книгах, и не в книгах — а там, где бываем мы, если только мы чего-нибудь стоим, там вслед за нами удается побывать и вам. Земля в конце концов выветривается, и пыль улетает с ветром, все ее люди умирают, исчезают бесследно, кроме тех, кто занимался искусством. Но теперь они хотят отойти от своей работы, потому что им слишком одиноко, потому что эта работа слишком трудна и вышла из моды. Экономика тысячелетней давности кажется нам наивной, а произведения искусства живут вечно,

но создавать их очень трудно, а сейчас к тому же и не модно. Люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они будут не в моде, и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалой. И дело это трудное. Как же быть? А вот так. И я продолжал читать о реке, через которую переправлялись в набеге татары, о пьяном старике охотнике, о девушке и о том, как по-разному там бывает в разные времена года.

Если ты совсем молодым отбыл повинность обществу, демократии и прочему и, не давая себя больше вербовать, признаешь ответственность только перед самим собой, на смену приятному, ударяющему в нос запаху товарищества к тебе приходит нечто другое, ощутимое, лишь когда человек бывает один. Я еще не могу дать этому точное определение, но такое чувство возникает после того, как ты честно и хорошо написал о чем-нибудь и беспристрастно оцениваешь написанное, а тем, кому платят за чтение и рецензии, не нравится твоя тема, и они говорят, что все это высосано из пальца, и тем не менее ты непоколебимо уверен в настоящей ценности своей работы; или когда ты занят чем-нибудь, что обычно считается несерьезным, а ты все же знаешь, что это так же важно и всегда было не

менее важно, чем все общепринятое, и когда на море ты один на один с ним и видишь, что Гольфстрим, с которым ты сжился, который ты знаешь, и вновь познаешь, и всегда любишь, течет, как и тек он с тех пор, когда еще не было человека, и омывает этот длинный, прекрасный и злополучный остров с незапамятных времен, до того, как Колумб увидел его берега, и все, что ты можешь узнать о Гольфстриме и о том, что живет в его глубинах, все это непреходяще и ценно, ибо поток его будет течь и после того, как все индейцы, все испанцы, англичане, американцы, и все кубинцы, и все формы правления, богатство, нищета, муки, жертвы, продажность, жестокость — все уплывет, исчезнет, как груз баржи, на которой вывозят отбросы в море — дурно пахнущие, всех цветов радуги вперемешку с белым, — и, кренясь набок, она вываливает это в голубую воду, и на глубину в двадцать–двадцать пять футов вода становится бледно-зеленой, и все тонущее идет ко дну, а на поверхность всплывают пальмовые ветви, бутылки, пробки, перегоревшие электрические лампочки, изредка презерватив, набрякший корсет, листки из ученической тетрадки, собака со вздутым брюхом, дохлая крыса, полуразложившаяся кошка; и тряпичники, не

уступающие историкам в заинтересованности, проницательности и точности, кружат вокруг на лодках, вылавливая добычу длинными шестами. У них своя точка зрения. И когда в Гаване дела идут хорошо, Гольфстрим, в котором и не различишь течения, принимает пять порций такого груза ежедневно, а миль на десять дальше вдоль побережья вода в нем такая же прозрачная, голубая и спокойная, как и до встречи с буксиром, волочащим баржу; и пальмовые ветви наших побед, перегоревшие лампочки наших открытий и использованные презервативы наших пылких любовей плывут, такие маленькие, ничтожные, на волне единственно непреходящего — потока Гольфстрима.

...С нашим появлением континенты быстро дряхлеют. Местный народ живет в ладу с ними. А чужеземцы разрушают все вокруг, рубят деревья, истощают водные источники, так что уменьшается приток воды, и в скором времени почва — поскольку травяной покров запахивают — начинает сохнуть, потом выветривается, как это произошло во всех странах и как начала она выветриваться в Канаде у меня на глазах. Земля устает от культивации. Страна быстро изнашивается, если человек вместе со всей его живностью

не отдает ей свои экскременты. Стоит только человеку заменить животное машиной — и земля быстро побеждает его. Машина не в состоянии ни воспроизводить себе подобных, ни удобрять землю, а на корм ей идет то, что человек не может выращивать. Стране надлежит оставаться такой, какой она впервые предстает перед нами. Мы — чужие, и после нашей смерти страна, может быть, останется загубленной, но все же останется, и никто из нас не знает, какие перемены ее ждут. Не кончают ли все они так, как область Гоби в Монголии, превратившаяся в пустыню.

Я еще приеду в Африку, но не для заработка. Для того чтобы заработать себе на жизнь, мне нужны два карандаша и стопка самой дешевой бумаги. Я вернусь сюда потому, что мне нравится жить здесь — жить по-настоящему, а не влачить существование. Наши предки уезжали в Америку, так как в те времена именно туда и следовало стремиться. Америка была хорошая страна, а мы превратили ее черт знает во что, и я-то уж поеду в другое место, потому что мы всегда имели право уезжать туда, куда нам хотелось, и всегда так делали. А вернуться назад никогда не поздно. Пусть в Америку переезжают те, кому неведомо, что они задержались с переездом. Наши предки

увидели эту страну в лучшую ее пору, и они сражались за нее, когда она стоила того, чтобы за нее сражаться. А я поеду теперь в другое место. Так мы делали в прежние времена, а хорошие места и сейчас еще есть.

Кто убил ветеранов войны во Флориде?

Бедные мои оборванцы! Я поставил их в самое пекло. Из ста пятидесяти уцелело только трое, но так искалечены, что теперь им весь век придется протягивать руку у городских ворот.

Шекспир. «Генрих IV»

Кому они помешали и для кого их присутствие могло быть политической угрозой?

Кто послал их на Флоридские острова и бросил там в период ураганов?

Кто виновен в их гибели?

Автор этой статьи живет далеко от Вашингтона и не знает, как ответить на эти вопросы. Но он знает, что богатые люди, яхтовладельцы, рыболовы, как, например, президент Гувер или президент Рузвельт, не ездят на Флоридские острова в период ураганов. Период ураганов длится три месяца — август, сентябрь и октябрь, и в эти месяцы вы ни одной яхты не встретите близ Флоридских островов. Не встретите потому, что владельцы яхт знают — их собственности грозит

большая опасность, неминуемая опасность, если налетит буря. По этой же самой причине вам не соблазнить никого из богатых людей рыбной ловлей на побережье Кубы в летние месяцы, когда там больше всего крупной рыбы. Всякий знает, что это опасно для собственности. Но ветераны войны, и особенно та разновидность их, которые получают пенсию, не составляют ничьей собственности. Они попросту люди, люди, которым не повезло и которым нечего терять, кроме своей жизни. Они трудятся, как китайские кули, получая самое большее сорок пять долларов в месяц, и их загнали на Флоридские острова, где от них никому нет беспокойства. Правда, приближается период ураганов, но если бы что-нибудь случилось, разве нельзя эвакуировать их оттуда?

Вот как приходит буря. В субботу вечером на Ки-Уэст вы, окончив работу, выходите на крыльцо выпить стаканчик и посмотреть вечернюю газету. Первое, что вы видите в газете, — это предупреждение о надвигающейся буре. Значит, работать не придется, пока не минует буря, и это досадно, потому что дело шло на лад.

В газете указывается, что тропический вихрь возник на Багамах, на восточном побережье Лонг-Айленда, и движется примерно в сторону Ки-Уэст.

Вы достаете карту бурь, на которой обозначены даты и направления сорока сентябрьских ураганов начиная с 1900 года. И, считая, что буря движется с быстротой, указанной в сводке Бюро погоды, вы высчитываете, что Ки-Уэст она должна достигнуть никак не раньше полудня в понедельник. Все воскресенье вы заняты тем, что стараетесь как можно лучше защитить свою лодку. Когда вам отказывают в просьбе вытащить ее на мостик, на том основании, что там и так уже слишком много лодок, вы покупаете на пять долларов и двадцать центов новый толстый канат, ставите лодку в самое безопасное, на ваш взгляд, местечко в затоне субмарин и накрепко привязываете ее там.

В понедельник вы заколачиваете все ставни и убираете всю свою движимость в дом. Небо на северо-востоке предвещает бурю, и к пяти часам уже дует крепкий и упорный северовосточный ветер, и большие красные флаги с черными четырехугольниками посредине подняты один над другим, что означает ураган. С каждым часом ветер крепчает, а барометр падает. Все жители города заколачивают окна и двери.

Вы идете к своей лодке и обматываете канаты холстом, чтобы они не перетерлись, когда

поднимется шквал, и вы решаете, что, пожалуй, лодка выдержит, если только ветер будет не с северо-запада, где находится вход в затон; разве что другая лодка налетит на нее и затопит. Рядом привязана лодка контрабандистов, захваченная береговой охраной. И вы замечаете, что ее кормовые канаты всего-навсего прикреплены к рамам шурупами, и при виде этого у вас начинает сосать под ложечкой.

— Какого же черта! Ведь эти паршивые шурупы в одну минуту вырвет вон, и она ударится о мою лодку!

— Ну что ж, тогда вы ее совсем отвяжите или затопите.

— Да, как же, а если до нее и добраться нельзя будет? Очень нужно, чтобы такая старая галоша потопила хорошую лодку!

Из последней сводки вы делаете заключение, что до полуночи едва ли начнется, и в десять часов вы покидаете Бюро погоды и отправляетесь домой в расчете, что вам удастся поспать часа два; машину вы оставляете перед домом, не доверяя шаткому гаражу, у постели ставите барометр и карманный фонарь на тот случай, если погаснет электричество. В полночь ветер неистово завывает, барометр показывает 29.55 и

продолжает падать у вас на глазах, а дождь льет сплошной пеленой. Вы одеваетесь, выходите к залитому водой автомобилю и добираетесь до своей лодки, карманным фонарем освещая путь среди ломающихся ветвей и рвущихся проводов. Фонарь мигает под дождем, и ветер теперь обрушивается с северо-запада. Все шурупы на захваченной лодке повырывало, но благодаря ловкости Хосе Родригеса — испанца-моряка, ее отнесло, прежде чем она успела задеть мою лодку. Теперь она бьется о пристань.

Ветер дует вам в лицо, и приходится сгибаться в три погибели, чтобы выдерживать его натиск. Вы думаете о том, что, если ураган налетит в этом направлении, ваша лодка погибла и у вас никогда не будет достаточно денег, чтобы купить новую. Настроение у вас прескверное. Но после двух часов ветер поворачивает к западу, и, зная закон циркулярных бурь, вы можете заключить, что буря прошла над островами, минуя вас. Теперь волнорезы хорошо защищают лодку, и в пять часов, видя, что барометр уже около часа стоит на месте, вы возвращаетесь домой. Пробираясь в темноте, вы натыкаетесь на поваленное дерево, упавшее поперек дороги, и непривычная пустота на дворе дает вам понять, что и большое старое

дерево сапподилло тоже повалило бурей. Вы входите в дом.

Вот что происходит, пока друзья беспокоятся о вас. И таков минимум времени, которым вы располагаете для необходимых приготовлений к урагану: два полных дня. Иногда даже больше.

А что произошло на островах?

Во вторник, когда буря огибала Мексиканский залив, дул такой сильный ветер, что ни одна лодка не могла выйти с Ки-Уэст и всякое сообщение с островами по ту сторону переправы и с материком было прервано. Никто не знал, ни где прошла буря, ни что она натворила. Поезда не шли, самолеты не привозили известий. Никто не знал о бедствии, разразившемся на островах. Только в конце следующего дня первая лодка отправилась с Ки-Уэст на остров Матекумба.

Эти строки написаны через пять дней после бури, и никто не знает точного числа жертв. Красный Крест, который упорно подтасовывает цифры — начав с сорока шести, назвав затем сто пятьдесят и, наконец, объявив, что число погибших не превышает трехсот, — сегодня уже насчитывает четыреста сорок шесть человек убитых и пропавших без вести, но число одних только убитых и пропавших без вести ветеранов

войны достигает четырехсот сорока двух, и уже найдено семьдесят трупов гражданских служащих. Очень возможно, что общее число погибших заходит далеко за тысячу, так как много трупов унесло в открытое море и их никогда не найдут.

Нет надобности много говорить о гибели гражданских служащих и их семейств, поскольку их привело на острова собственное желание; они зарабатывали себе на жизнь, имели собственность и знали, чем рискуют. Но ветеранов войны туда послали. У них не было возможности уехать, не было защиты от ураганов; у них не было никакого пути к спасению.

Нередко во время войны отдельных солдат или целые части, вызвавшие недовольство своих начальников, посылали в самые опасные места и держали их там, пока вопрос не решался сам собой. Я не думаю, чтобы кто-нибудь сознательно поступил так с ветеранами войны в мирное время. Но, принимая во внимание число несчастных случаев при постройке железной дороги на Ки-Уэст, когда около тысячи человек погибло от урагана, можно считать Флоридские острова в ураганный период именно одним из таких самых опасных мест. И неведение никогда не служило оправданием человекоубийства.

Кто послал почти тысячу ветеранов войны, среди которых были крепкие, способные к тяжелому труду и просто не знавшие удачи люди, а были и слабые, почти больные, — в дощатые бараки Флоридских островов в ураганный период?

Почему их не эвакуировали в воскресенье или по крайней мере в понедельник утром, когда стало известно, что над островами может разразиться ураган, и когда единственная возможность спасения заключалась в эвакуации?

Кто распорядился, чтобы поезд, высланный для эвакуации ветеранов войны, вышел из Майами только в четыре тридцать в понедельник, так что его сорвало ветром с рельсов, прежде чем он дошел до места назначения?

Вот вопросы, на которые кому-то придется дать ответ, и ответ убедительный, иначе то, что произошло на равнине Анакостия, покажется актом милосердия в сравнении с тем, что случилось на Верхнем и Нижнем Матекумбе.

Когда мы добрались до Нижнего Матекумбе, на поверхности воды у самого парома плавали трупы. Кусты кругом были совсем бурые, точно осень вдруг наступила на этих островах, где не бывает осени, а бывает только еще более грозное лето, но это потому, что все листья облетели. В

верхней части острова на два фута высился нанесенный морем песок, а на стройке моста тяжелые машины лежали на боку. Там, где море прошло по острову, он стал похож на дно высохшей реки. Железнодорожная насыпь исчезла, и вместе с ней исчезли люди, которые укрывались за ней и цеплялись за рельсы, когда подступила вода. Ничком или навзничь, они лежали теперь среди манглий. Больше всего трупов было в спутанных ветвях вечнозеленых, а теперь побуревших манглий, за цистернами и водокачкой. За манглий они цеплялись, ища защиты, пока их не сносило ветром и прибывающей водой. Многие выпускали ветви не сразу, но только когда уже больше не могли держаться. Дальше трупы стали попадаться высоко на деревьях, куда их закинули волны. Они были повсюду, и на солнце им уже становились тесны их синие куртки и фуфайки, которые всегда свободно болтались на плечах, когда они бродяжничали и голодали.

Многих из них я видел на улицах города и в кабачке Джози Грэнта, когда они приходили туда в день получки, и одни были вдребезги пьяны, а другие держались молодцом; одни стали бродягами чуть ли не с самой Аргонны, а другие только в прошлое рождество остались без работы; одни

были женаты, а другие не помнили родства; одни были хорошие ребята, а другие относили свои деньги в сберегательную кассу, а сами шли выклянчивать стаканчик у добрых людей, уже успевших напиться; одни любили драться, а другим нравилось разгуливать по городу, и во всех в них было то, что оставляет нам война. Но кто послал их сюда на смерть?

Я слышу, как пославший их, кто бы он ни был, говорит, оправдываясь перед самим собой: им теперь лучше. Да и что толку было от них здесь? Никто не волен в случайностях или в деяниях божьих. Они имели хорошую пищу, хорошее жилье, хорошее обращение и теперь, будем надеяться, нашли хорошую смерть.

Но я хотел бы, чтобы пославший их вынес хоть одного из манглиевой чащи или перевернул лицом кверху одного из тех, что лежали на солнце у канавы, или связал пятерых вместе, чтоб они не всплывали на поверхность, или вдохнул тот запах, который, думалось, даст бог, не придется больше никогда вдыхать. Но теперь ясно, что счастья быть не может, когда богатые негодяи затевают войну. Несчастья будут продолжаться до тех пор, пока все участники не погибнут.

Так что зажмите нос, а вы, вы, которые опуб-

ликовали в отделе литературных новостей, что отправляетесь в Майами посмотреть на ураган, потому что он понадобился вам для вашего нового романа, а теперь испугались, что вам не удастся его увидеть, — вы можете продолжать читать газеты, и там вы найдете все, что нужно для вашего романа, но мне хочется ухватить вас за ваши брюки, которые вы просидели, сочиняя сообщения для отдела литературных новостей, и отвести в ту манглиевую чащу, где вверх ногами лежит женщина, раздувшаяся, как шар, и рядом с ней — другая, лицом в кустарник, и рассказать вам, что это были две прехорошенькие девушки, содержательницы заправочной станции и закусочной при ней, и что туда, где они сейчас лежат, их привело их «счастье». И это вы можете записать для вашего нового романа, а кстати: как подвигается ваш новый роман, дорогой коллега, собрат по перу?

Но тут как раз является один из восьми уцелевших обитателей лагеря, где жило сто восемьдесят семь человек, не считая тех двенадцати, которые отправились в Майами играть в футбол (что вы скажете о таком проценте, вы, любитель несчастных случаев?), и он говорит: «А, вот и моя старуха. Пухленькая, не правда ли?» Но этот парень про-

сто спятил, так что покончим с ним и сядем в лодку, чтобы доехать до Пятого лагеря.

Пятый лагерь — это тот самый, где из ста восьмидесяти семи осталось в живых восемь, но мы нашли только шестьдесят семь плюс те двое у канавы, вместе это составляет шестьдесят девять. Все остальные в манглиях. Не нужно ищейки, чтобы их разыскать. А сарычей кругом не видно. Ни одного сарыча. Как же это? Вы не поверите. Ветер убил всех сарычей и всех больших птиц, даже пеликанов. Они валяются в мокрой траве у канавы.

Ага, вот еще один! Он в туфлях, положите его, не трогайте, на вид лет шестидесяти, туфли, комбинезон с медными застежками, синяя перкалевая рубашка без воротника, непромокаемая куртка, вот уж действительно самый подходящий костюм, в карманах ничего нет. Поверните его. Лицо распухло до неузнаваемости. Да он и не похож на ветерана войны. Слишком стар. У него седые волосы. У вас у самого будут седые волосы ровно через неделю. А сзади у него большой, огромный пузырь во всю ширину спины и вот-вот лопнет в том месте, где куртка завернулась. Переверните-ка его еще раз. Ну конечно, ветеран. Я его знаю. А почему же он в туфлях? Может быть,

заработал немного денег ловлей крабов, вот и купил. Вы не знаете этого человека. Сейчас его нельзя узнать. Я знаю его, у него большого пальца нет на руке. Вот почему я его узнал. Краб откусил ему палец. Вам кажется, что вы всех знаете. Ну, долго же вы крепились, покуда вас не стошнило, приятель. Шестьдесят семь посмотрели и только на шестьдесят восьмом вас стошнило.

И вот вы идете вдоль канавы, там, где еще сохранилась канава, и вода теперь спокойная, прозрачная и синяя, и вес почти так, как зимой, когда приезжают миллионеры, только тогда не бывает мух, москитов и запаха мертвых, которые всегда пахнут одинаково, в какую страну ни приедешь, — и вот теперь они пахнут так же на вашей родине. Или это только мертвые солдаты пахнут все одинаково, какой бы национальности они ни были и кто бы ни послал их на смерть?

Кто послал их сюда?

Надеюсь, он прочел это, — как он себя чувствует?

Он и сам умрет, может быть, даже без предупреждения об урагане, но, возможно, это будет легкая смерть и не нужно будет цепляться за что-нибудь до тех пор, пока не иссякнут силы, пока пальцы не начнут скользить и не наступит

тьма. И ветер воет, как паровозный свисток с резким выкриком под конец, потому что ветер плачет именно так, как пишут в книгах, а потом канава надвигается ближе, и высокая волна воды перекатилась через дамбу, и еще, и еще, и потом оно, что бы это ни было, настигает тебя, и вот ты лежишь перед нами, уже никому не нужный, и испускаешь зловоние среди манглий.

Ты мертв, брат мой! Но кто бросил тебя в ураганный период на островах, где тысяча людей до тебя погибла от урагана, строя дорогу, смытую теперь водой?

Кто бросил тебя там? И как теперь карается человекоубийство?

Маэстро задает вопросы
Письмо с бурного моря

Года полтора назад у дома в Ки-Уэст появился молодой человек и сказал, что добрался он сюда на попутных машинах из Миннесоты, чтобы задать вашему корреспонденту несколько вопросов о том, как научиться писать. Вернувшись в этот день с Кубы, собираясь через час провожать на вокзал друзей, а до этого написать несколько писем, ваш корреспондент, одновременно и польщенный и напуганный предстоящим допросом, предложил молодому человеку прийти на другой день. Это был высокий молодой человек очень серьезного вида, с огромными ручищами и ножищами и жестким бобриком на голове.

Выяснилось, что всю свою жизнь он мечтал стать писателем. Выросши на ферме, он окончил школу, потом Миннесотский университет, работал газетчиком, плотником, батраком, поденщиком и, бродяжничая, дважды пересек всю Америку. Он хотел стать писателем и накопил неплохие сюжеты. Он рассказывал о них очень плохо, но видно было, что в них есть что развер-

нуть, если взяться как следует. Он так серьезно относился к писательству, что можно было предположить: эта серьезность преодолеет все препятствия. Он собственными руками построил хижину в Северной Дакоте, целый год прожил в ней совсем один и все время писал. Мне он не показал ничего из написанного там. Говорил, что очень плохо.

Я думал, может быть, это из скромности, пока он не показал мне свою вещь, напечатанную в одной из миннеаполисских газет. Написано это было ужасно. Но многие другие, подумал я, начинали не лучше, а этот юноша так необычайно серьезен, что позволяет надеяться: по-настоящему серьезное отношение к писательскому делу — одно из двух непременных условий. Второе, к сожалению, талант.

Кроме сочинительства, у молодого человека была и другая навязчивая идея. Ему непременно хотелось побывать в море. Короче говоря, мы взяли его ночным сторожем на катер. Теперь у него было где спать и — после двух-трех часов на уборку — достаточно времени для сочинительства. А чтобы удовлетворить его страсть к морю, мы обещали брать его в наши поездки на Кубу.

Он был отличный ночной сторож, одинаково

рьяно работал и по катеру, и над своими рукописями, но в море это было сущее бездействие: медлительный, когда требовалось проворство, он словно бы наделен был четырьмя ногами вместо пары рук и пары ног, психовал, когда нужна была решимость, проявлял непреоборимую склонность к морской болезни и по-крестьянски неохотно слушался приказаний. Но он не отказывался от работы, даже тяжелой, и справлялся с ней, если его не торопить.

Мы звали его Маэстро, потому что он играл на скрипке, а потом сократили это в прозвище Майс. Свежий ветер так основательно выдувал из него остатки сообразительности, что ваш корреспондент как-то сказал ему: «Майс, вы наверняка станете чертовски хорошим писателем, потому что больше вы ни на что не способны».

С другой стороны, сочинения его с каждым разом становились все лучше. Может быть, он и станет писателем. Но ваш корреспондент, порою бывающий не в духе, никогда больше не возьмет в команду катера начинающего писателя и не согласится больше целое лето плавать у берегов Кубы или у любых других берегов под аккомпанемент сплошных вопросов и ответов по технике писательского дела. Если найдутся еще среди

начинающих писателей охотники поплавать на «Пилар», пусть это будут женщины, желательно красивые, и пусть захватят с собой побольше шампанского.

Ваш корреспондент относится к своему писательству — в отличие от этих ежемесячных корреспонденции — весьма серьезно; но разговаривать об этом он терпеть не может, кроме как с очень немногими собеседниками. Вынужденный рассуждать о различных аспектах своего дела в продолжение ста десяти дней и все это время подавлять желание швырнуть в Маэстро бутылкой каждый раз, как он раскроет рот и произнесет слово «писатель», ваш корреспондент воспроизводит здесь в письменном виде некоторые из этих рассуждений.

Если они удержат кого-нибудь от сочинительства, значит, так и надо было. Если они кому-нибудь помогут, ваш корреспондент будет очень рад. Если же они вам покажутся скучными, то в номере достаточно картинок, чтобы развлечь вас.

В свое оправдание ваш корреспондент может заметить, что, если бы он сам в двадцать один год прочитал кое-какие из этих рассуждений, он бы считал, что пятидесяти центов они стоят.

Майс. Что значит хорошо или плохо в писательском деле?

Ваш корреспондент. Писать хорошо — значит писать правдиво. А правдивость рассказа будет зависеть от того, насколько автор знает жизнь и насколько добросовестно он работает, чтобы, даже когда он выдумывает, это было как на самом деле. Если же он не знает, как поступят и что подумают в данных обстоятельствах люди, то на какое-то время его может выручить случай или он вообще специализируется на выдумке. Но если он будет и дальше писать о том, чего не знает, то может получиться только фальшь. А несколько раз сфальшивив, он уже не сможет больше писать честно.

Майс. А как же воображение?

Ваш корреспондент. Никто не знает толком, что это такое, кроме того, что мы получаем его задаром. Может быть, оно заложено в наследственном опыте. Вполне вероятно. После честности — это второе качество, необходимое писателю. Чем больше он узнает из опыта, тем правдивее будет его вымысел. А если он сможет воображать достаточно правдиво, то люди поверят, что все, о чем он рассказывает, действительно произошло и что он просто по-репортерски зафиксировал это.

Майс. Но чем же это будет отличаться от репортажа?

Ваш корреспондент. Будь это репортаж, никто бы его не запоминал. Когда вы описываете то, что случилось сегодня, синхронность заставляет читателя представить случившееся в своем воображении. Через месяц этот элемент времени исчезает, и ваш отчет будет плоским, и читатель ничего не вообразит и не запомнит. Но если вы будете не описывать, а изображать, можно сделать это объемно, прочно, целостно и жизненно. Тогда вы плохо ли, хорошо ли, но творите. Это создано, а не описано. А правдиво это в меру вашей способности изображать и в меру того знания, которое вы в это вложили. Вам это понятно?

Майс. Не все.

Ваш корреспондент (раздраженно). В таком случае давайте, черт возьми, поговорим о чем-нибудь другом.

Майс (с прежним упорством). Расскажите мне еще что-нибудь о писательской технике.

Ваш корреспондент. Вы это о чем? Карандаш или машинка? Об этом, что ли?

Майс. Да.

Ваш корреспондент. Так слушайте. У начинающего писателя все удовольствие приходится

на его долю, а читатель не получает ничего. В этом случае можно пользоваться машинкой, так писать легче и удовольствия получаешь больше. Но когда научишься писать, видишь свою задачу в том, чтобы донести до читателя все, каждое ощущение, чувство, все виденное, слышанное, воспринятое. Для этого надо много работать над тем, что пишешь. Когда пишешь карандашом, то трижды можешь с разных точек проверить, получит ли читатель то, что ты хотел ему дать. Сначала — перечитывая написанное от руки, потом — считывая и правя текст после машинки и, наконец, читая корректуру. Так что карандаш дает вам добавочную треть шансов для улучшения текста. 0,333 — это неплохой процент попаданий в цель. И текст дольше остается текучим, что облегчает правку.

Майс. А сколько нужно писать в день?

Ваш корреспондент. Лучше всего останавливаться, пока дело идет хорошо и знаешь, что должно случиться дальше. Если изо дня в день поступать так, когда пишешь роман, то никогда не завязнешь. Вот самый ценный совет, который я могу дать вам по этому поводу.

Майс. Я его запомню.

Ваш корреспондент. Всегда останавливайтесь,

пока еще пишется, и потом не думайте о работе и не тревожьтесь, пока снова не начнете писать на следующий день. При этом условии вы подсознательно будете работать все время. Но если позволить себе думать и тревожиться, вы убьете эту возможность и ваш мозг будет утомлен еще до начала работы. Если уж начал роман, то сомневаться в том, что завтра работа пойдет, — такая же трусость, как уклонение от какого-нибудь неизбежного поступка. Надо продолжать. И тревожиться бессмысленно. Чтобы написать роман, надо понять это. Самое трудное в романе — это его конец.

Майс. Но как же можно научиться не тревожиться?

Ваш корреспондент. Не думать о работе. Как только начнете думать об этом, сейчас же одергивайте себя. Думайте о чем-нибудь другом. Этому непременно надо научиться.

Майс. А сколько из уже написанного вы перечитываете, прежде чем писать дальше?

Ваш корреспондент. Лучше всего было бы каждый день перечитывать все с самого начала и попутно править, а потом уже идти дальше. Когда написано столько, что каждый день этого не сделаешь, перечитывайте последние две-три

главы, а раз в неделю читайте все сначала. Так вы добьетесь цельности. И не забывайте останавливаться, пока еще пишется. Это сохранит движение и не позволит вам работать через силу. Иначе вы скоро убедитесь, что на другой день вы выдохлись и продолжать работу не можете.

Майс. А если вы пишете рассказ?

Ваш корреспондент. Все равно, только рассказ иногда можно написать за один день.

Майс. А вы знаете наперед, что должно случиться в вашем рассказе?

Ваш корреспондент. Почти никогда. Я начинаю его, и случается то, что должно случиться по ходу его развития.

Майс. Это совсем не тот метод, которому нас учат в колледже.

Ваш корреспондент. Вот уж не знаю. Я не учился в колледже. А если какой-нибудь сукин сын может сам писать, на кой черт ему учить студентов?

Майс. Но вы-то меня учите.

Ваш корреспондент. С большого ума. А потом, мы на лодке, а не в колледже.

Майс. Какие книги следует прочесть писателю?

Ваш корреспондент. Ему следует прочесть все,

чтобы знать, кого ему предстоит обскакать.

Майс. Но он же не сможет прочесть все.

Ваш корреспондент. Я не говорю о том, что он может. Я говорю о том, что он должен. А все прочесть, конечно, нельзя.

Майс. Но какие книги все-таки обязательны?

Ваш корреспондент. Ему следовало бы прочесть «Войну и мир» и «Анну Каренину» Толстого, «Мичмана Изи», «Франка Майлдмэя» и «Питера Симпла» капитана Марриета, «Мадам Бовари» и «Воспитание чувств» Флобера, «Будденброков» Томаса Манна, «Дублинцев», «Портрет художника в юности» и «Улисса» Джойса, «Тома Джонса» и «Джозефа Эндрюса» Филдинга, «Красное и черное» и «Пармскую обитель» Стендаля, «Братьев Карамазовых» и еще любых два романа Достоевского, «Гекльберри Финна» Марка Твена, «Шлюпку» и «Голубой отель» Стивена Крейна, «Привет и прощание» Джорджа Мура, «Автобиографию» Йетса, все лучшее из Мопассана, все лучшее из Киплинга, всего Тургенева, «О далеком и давнем» У.-Г. Хадсона, рассказы Генри Джеймса, особенно «Мадам де Мов», «Поворот винта», «Портрет одной дамы», «Американца»…

Майс. Я не могу записывать так быстро. Сколько их еще?

Ваш корреспондент. Остальных я назову вам в другой раз. Их еще примерно в три раза больше.

Майс. И писателю необходимо прочитать всех?

Ваш корреспондент. Всех и еще многих. Иначе он не знает, кого ему надо обскакать.

Майс. Что вы понимаете под этим «обскакать»?

Ваш корреспондент. Слушайте. Какой толк писать о том, о чем уже было написано, если не надеешься написать лучше? В наше время писателю надо либо писать о том, о чем еще не писали, либо обскакать писателей прошлого в их же области. И единственный способ понять, на что ты способен, — это соревнование с писателями прошлого. Большинство живых писателей просто не существуют. Их слава создана критиками, которым всегда нужен очередной гений, писатель, им всецело понятный, хвалить которого можно безошибочно. Но когда эти дутые гении умирают, от них не остается ничего. Для серьезного автора единственными соперниками являются те писатели прошлого, которых он признает. Все равно как бегун, который пытается побить собственный рекорд, а не просто соревнуется со своими соперниками в данном забеге. Иначе никогда не у таешь, на что ты в самом деле способен.

Майс. Но чтение всех этих превосходных писа-

телей может обескуражить человека.

Ваш корреспондент. Ну что ж, значит, так ему и надо.

Майс. А что вы считаете лучшей начальной школой для писателя?

Ваш корреспондент. Несчастливое детство.

Майс. Как по-вашему, Томас Манн великий писатель?

Ваш корреспондент. Он был бы гениальным писателем, даже если бы не написал ничего, кроме «Будденброков».

Майс. А какова может быть тренировка писателя?

Ваш корреспондент. Наблюдайте, что делается вокруг. А мы сейчас нападем на рыбу, замечайте, что будет делать каждый из нас. Если вас радует зрелище того, как она выпрыгивает из воды, старайтесь проанализировать и понять, что же именно вызвало вашу радость. То ли как леса пошла из воды, натянутая, словно скрипичная струна, так что на ней даже выступили капли. Или то, что сама рыба прыгнула. Запоминайте все звуки и кто что говорил. Старайтесь понять, что вызвало именно эти чувства, какие действия особенно вас взволновали. Потом запишите все это четко и ясно, чтобы читатель мог сам все

увидеть и почувствовать то же, что и вы. Это начальное упражнение для пяти пальцев.

Майс. Понимаю.

Ваш корреспондент. Потом подойдите с другой стороны, попытайтесь представить себе, что творится в чужой голове. Например, если я на вас ору, старайтесь вообразить, что я при этом думаю, а не только как вы на это реагируете. Если Карлос бранит Хуана, попытайтесь стать на сторону и того и другого. Только не думайте, кто из них прав. Как человек вы представляете себе, что хорошо, что плохо. Как человек вы твердо знаете, кто прав, кто виноват. Вы бываете вынуждены принимать решения и осуществлять их. Как писатель вы не должны судить. Вы должны понять.

Майс. Ясно.

Ваш корреспондент. Так слушайте. Вслушивайтесь в разговоры. Не думайте о том, что вы сами собираетесь сказать. Большинство людей никогда не слушают. И не наблюдают. Войдя в комнату и тут же выйдя из нее, вы должны помнить все, что вы там увидели, и не только это. Если у вас при этом возникло какое-то чувство, вы должны точно определить, что именно его вызвало. Упражняйтесь в этом. В городе, стоя у театра, смотрите, как по-разному выходит народ

из такси и собственных машин. Да есть тысяча способов практиковаться. И всегда думайте о других.

Майс. Как вы считаете, буду я писателем?

Ваш корреспондент. Ну, почем я знаю. Может быть, вам не хватит таланта. Или вы не сможете чувствовать за других. У вас есть материал для хороших рассказов, если вы сумеете написать их.

Майс. Но как?

Ваш корреспондент. Пишите. Поработайте лет пять, и если тогда поймете, что ничего из вас не выходит, застрелиться всегда успеете.

Майс. Нет, я не застрелюсь.

Ваш корреспондент. Тогда приезжайте сюда, и я вас застрелю.

Майс. Спасибо.

Ваш корреспондент. Не стоит благодарности, Майс. Теперь, может быть, поговорим о чем-нибудь другом?

Майс. О чем же?

Ваш корреспондент. О чем угодно, Майс. О чем угодно, старина.

Майс. Хорошо. Но…

Ваш корреспондент. Никаких «но». Конец. Ни слова о писательстве. На сегодня хватит. Точка. Лавочка заперта. Хозяин ушел домой.

Майс. Хорошо. Но завтра я вас спрошу еще кое о чем.

Ваш корреспондент. Воображаю, как вам приятно будет писать, когда вы точно узнаете, как это делается.

Майс. Что вы имеете в виду?

Ваш корреспондент. Ну как же? Приятно. Легко. Весело. Тяп-ляп — и готов шедевр старого мастера.

Майс. Но скажите…

Ваш корреспондент. Будет!

Майс. Хорошо. Но завтра…

Ваш корреспондент. Да. Ладно. Конечно. Но только завтра.

Письмо И. Кашкину

Ки-Уэст, 12 января 1936 г.

Дорогой Кашкин!

Очень был рад, получив ваше письмо, и огорчен, узнав о вашем нездоровье. Надеюсь, теперь вы чувствуете себя лучше. Чем вы болели? Вы забыли проставить обратный адрес на конверте, и мне пришлось целый день шарить по всей комнате, где полный бедлам, чтоб найти ваше предыдущее письмо. Короче, я его не нашел. Поэтому мне придется отправить это послание через Нью-Йорк. Ответ на ваше прежнее письмо я сочинять не стал, поскольку уже написал вам раньше. Тогда я изложил вам все, во что я верю и во что не верю, а потом подумал: вдруг вам больше не захочется читать мои письма? Вдруг вы как мой дед, который никогда не садился за стол с человеком, если знал, что тот голосует за демократическую партию. Только теперь я думаю, что скорее Эдмунд Уилсон похож на моего деда, чем вы.

Я просил в издательстве Скрибнерс, чтоб они выслали вам книгу «Зеленые холмы». Заодно пишу Джингричу — пусть отправит вам пять

последних номеров «Эсквайра», где напечатаны мои «пустяшные» статьи, так лихо разделанные Эдмундом Уилсоном, который даже не удосужился их прочесть. Может быть, вы видели в «Нью мэссиз» мою вещичку об урагане. Из статей в «Эсквайре» — три антивоенные, одна о писательстве, другая о бое Ваэра с Луисом и один рассказ.

Уилсон меня очень забавляет. Я вовсе не уверен, что он прочел хотя бы «Зеленые холмы». По-моему, он прочел только рецензии на эту книгу. В каждой из написанных мною книг я постарался порезче отмежеваться от всех дураков, которые обожают во мне или в моих вещах то, чего там вовсе нет. И теперь мои ньюйоркские критики ненавидят меня от всей души, хотя у них ничего и не выходит. Если вы не видели статью Уилсона (а на мой взгляд, она адресована именно вам), отсылаю вместе с письмом тот ее экземпляр, что достался мне от Дос Пассоса.

Я познакомился с Ильфом и Петровым, и мы провели один вечер в застолье. С ними был переводчик, что значительно облегчило общение. Оба показались мне довольно интересными людьми; очень жаль, что нас разделял языковой барьер. Я спрашивал и про вас, но они ответили, что с вами не знакомы. Зато они выразили желание

съездить в тюрьму Синг-Синг, и я устроил им этот визит, снабдив их рекомендательным письмом к начальнику тюрьмы; он регулярно выступает по радио с воспоминаниями о Доме смерти, рекламируя заодно зубной эликсир, производимый на фабрике, которая принадлежит дядюшке моей жены. Вот какая роскошная страна США! Надеюсь, они оба тоже это поняли. Мы пригласили их заехать к нам на Ки-Уэст, но их маршрут во Флориде захватывал только Джексонвиль… Кто-то из них похвалил мой рассказ «Посвящается Швейцарии». Тогда я рассказал им, что в Швейцарии девушке не выйти замуж, пока она не удалит зубы и не вставит искусственные, а объясняется это экономическими причинами: чтоб расходы по вставлению зубов оплачивал отец девицы, а не жених. Эта история потребовала сложного перевода, и переводчик оказался умнее всех нас; а пока он переводил, я заметил, что не то у Ильфа, не то у Петрова вставные зубы. Этим история была испорчена окончательно. Во всяком случае, для меня. Но останавливаться уже было поздно: переводчик шпарил вовсю. Не знаю, правда, чего он там напереводил.

Я был бы очень рад, если б вы приехали к нам. Погода сейчас бесподобная, как будто на дворе

самая прекрасная весна, и выйти в море — чистое удовольствие. Поскольку же Дос Пассос в Нью-Йорке, то и поговорить не с кем.

Из писателей, упомянутых вами, я собираюсь приняться за Шолохова. Бабеля я читал еще тогда, когда появились первые его переводы на французский и вышла «Конармия». Я от него в восторге. Вещи Бабеля замечательны, и пишет он прекрасно. Горький мне ничего не говорит, но Дос Пассос утверждает, что его «Воспоминания» исключительно хороши и мне следует их прочесть. Надо прочесть его побольше.

Вы упоминаете книгу «Три рассказа и десять стихотворений»; боюсь, что сейчас ее не достать. Она издана очень давно, и, когда я спросил о ней у букинистов, с меня хотели взять сто пятьдесят долларов. Поскольку я на ней ничего не заработал, то мог бы уподобиться змее, которая платит, чтобы жевать свой собственный хвост. Из этой книги бы не читали, вероятно, лишь один рассказ — «У нас в Мичигане». История эта у нас никак не пройдет, не то я бы опубликовал рассказ заново. В нем говорится о кузнеце, соблазнившем девушку, которая прислуживает в доме, где он столуется. Девушке хочется немного нежности или чего-то вроде нежности, но кузнец уже спит.

Рассказ хорош; для продажи его не раз пытался отредактировать Морли Келлехен, но мне ни разу не удалось напечатать его в сборниках, потому что, если выкинуть все, что она говорит и он делает, никакого смысла не останется; а если сохранить текст в целости, то издателю не миновать тюрьмы. Правда, в Скрибнерс хотят издать одной книгой все мои рассказы; быть может, я уговорю их включить и этот.

Я показал вашу статью Дос Пассосу; она ему понравилась, хотя при чтении, как и меня, его смущала одна мысль: не надо меня так жалеть. Дело в том, что многие из нас ведут страшную жизнь. Я жил сам по себе с пятнадцати лет и могу зарабатывать на жизнь разными способами помимо литературы. Оттого-то я никогда не впадал в отчаяние. Когда страдаешь, то переживаешь скорей за других, чем за себя. Ощущение моря, охота на большую рыбу, борьба, объятия женщины, удовольствие от выпивки, запах шторма и встреча с опасностью — все это дает такое физическое ощущение и такое удовольствие от жизни, что становится даже стыдно за то, что тебе так хорошо, когда большинство людей не знают ничего хорошего. Едва я отрываюсь на месяц или два от письменного стола, как сразу выхожу в море

и становлюсь абсолютно, в животном смысле, счастлив. И когда пишешь и получается именно так, как тебе хотелось, Становишься счастлив, но уже совсем иначе. И оба эти переживания одинаково для тебя важны, стоит только вспомнить, как коротка наша жизнь. В своем роде все это напоминает огорчение от того, что в шторм ты получаешь наслаждение, а другие — морскую болезнь. Их становится жаль. Стараешься их успокоить и знаешь, как им плохо; но тебе-то в эту минуту невыносимо хорошо, вот только их жаль. Но не всегда же писать о буре с точки зрения человека, страдающего морской болезнью, хотя большинство людей ей подвержены. Конечно, необходимо хоть один раз пережить морскую болезнь, чтобы Жать, о чем, собственно, идет речь…

Жаль, что вас здесь нет. Не могли бы вы устроить себе путешествие вроде того, которое совершили Ильф и Петров? О моем творчестве вы знаете больше, чем кто-либо другой; а вот обо мне вы не знаете ничего. Я наделен большой гордостью и презираю всю ту грязь, которую понапишут обо мне и моих книгах, когда я умру. (Не настолько я глуп, чтоб не понимать, что книги меня переживут.) Может, вы враждебны всему,

во что я верю, но я предпочитаю получить плюху от умного противника, хорошо знающего меня, чем слушать замшелую интеллектуальную размазню, производимую у нас в США под общим названием «критика».

Вот, собственно, что я имел в виду. Я ведь на самом деле (и творю это без всякого зазнайства) человек храбрый; то есть у меня столько храбрости, что ее можно продавать, как товар, а чин самый ходкий из всех товаров на рынке. Мне всегда это доставляло удовольствие, только во время войны я пережил физический страх — в достаточной степени, чтобы понять трусость и оценить ее важность в жизни. Да и нельзя же говорить о себе, что ты храбр: во-первых, все решат, что ты врун, а во-вторых, если уж человек в чем-то действительно силен, так он обычно в этом вопросе весьма скромен. Вот и приходится слыть трусом — из-за злобы одних и невежества остальных, а уж если эта ложь попала в критику, так и все остальное будет ложью и заблуждением. Ну и черт с ними! Ведь верю-то я только в бессмертие написанного, и если наши книги не по зубам окружающим и если после смерти автора о нем станут писать ту же самую дрянь, какую писали при его жизнь, то — боже! — как это глупо. Чер-

товски глупо все в любом случае, только плоды нашей работы не подвластны глупости, да еще, конечно, к ней не имеет отношения Гольфстрим; и как бы мне хотелось, чтоб вы завтра же могли на него взглянуть. Завтра я выхожу на рыбную ловлю, а писать буду потом. Всяческой вам удачи. Все материалы отошлю.

Эрнест Хемингуэй

Крылья над Африкой
(Кое-что из области орнитологии)

Из Порт-Саида сообщают, что за последнюю неделю через Суэцкий канал прошло шесть пароходов с 9476 больными и ранеными итальянскими солдатами, возвращающимися с поля брани в Абиссинии.

В сообщении не приводятся фамилии, не названы города или деревни, откуда эти солдаты отправились воевать в Африку. Не упомянуто и о том, что место их назначения — один из тех расположенных на островах госпиталей-концлагерей, куда свозят больных и раненых, чтобы их возвращение в Италию не деморализовало родственников, проводивших их на войну. Деморализовать итальянца так же легко, как и воодушевить. Итальянский чернорабочий, у которого умер ребенок, способен не только пригрозить смертью лечившему ребенка врачу, но и сделать попытку привести свою угрозу в исполнение, и тот, кому случалось наблюдать подобные сцены, оценит предусмотрительность Муссолини, не желающего, чтобы граждане его

государства видели скорлупу от яиц, разбитых для его имперской яичницы.

«Mamma mia! O mamma mia!» — вот слова, которые чаще всего различаешь в стонах, криках или сдавленных хрипах раненых итальянцев, и эти порывы сыновней любви, обостренной страданием и болью, наверняка не остались бы безответными, если бы матери раненых и больных солдат видели их мучения. Mamma mia не допустимо в армии лишь в известных пределах, иначе армия может развалиться, и уж Муссолини следит за тем, чтобы подобные песни исполнялись без аккомпанемента.

Можно так накалить пропагандой итальянского солдата, что он пойдет в бой, горя желанием умереть за дуче и твердо веря в то, что лучше день прожить львом, чем сто лет овцой; и если он получит сравнительно безболезненное ранение — в ягодицу, икру или мякоть бедра, — то сохранит способность испытывать благородные чувства и патетически восклицать: «Дуче! Приветствую тебя, дуче! Счастлив умереть за тебя, дуче!»

Но если пуля заденет нерв, раздробит кость, разворотит брюшину, дуче сразу вылетит у него из головы и он только будет твердить: «O mamma mia!» Малярия и дизентерия еще меньше спо-

собствуют усилению патриотического пыла, а желтуха, при которой, я помню, чувствуешь себя так, словно тебя лягнули в пах, такого пыла не вызывает вообще.

Война в Африке имеет одну особенность, о которой дуче следовало бы запретить писать в газетах. Речь идет о той роли, которую в этой войне играют птицы. На абиссинской территории, где сейчас воюют итальянцы, насчитывается пять пород птиц, делающих убитых и раненых своей добычей. Есть черно-белый ворон, который летает низко над землей и находит раненого или труп по запаху. Есть сарыч обыкновенный, который тоже летает невысоко и ориентируется как обонянием, так и зрением. Есть красноголовый маленький сап, похожий на нашего индюшачьего грифа; этот летает сравнительно высоко и в полете высматривает добычу. Есть громадный, омерзительный на вид гриф с голой шеей, который парит на высоте, почти недоступной глазу; завидев труп или человека, лежащего неподвижно, он падает вниз, точно оперенный снаряд, со свистом рассекающий воздух, и вразвалку, вприпрыжку по земле подбирается к цели, готовый клевать и мертвое и живое — было бы только оно беззащитно. И еще есть большой безобразный

марабу; он парит еще выше, откуда уже ничего не видно, и бросается вниз тогда, когда замечает, что вниз бросились грифы. Основных пород пять, но не меньше пятисот хищников слетается на одного раненого, если он лежит на открытом месте.

Когда человек уже мертв, не так важно, что случится с его телом, но для африканских стервятников раненый — такая же добыча, как и труп. Я видел, как за двадцать минут от убитой зебры не осталось ничего, кроме костей и усеянного перьями большого жирного черного пятна — благо шкура была пробита выстрелом и добраться до внутренностей не составило труда. А за ночь гиены разгрызли и сожрали кости, так что утром даже места, где лежала зебра, нельзя было бы найти, если бы не черный маслянистый подтек на земле. А поскольку труп человека меньше и не защищен толстой шкурой, с ним расправляются гораздо быстрее. В Африке можно не хоронить мертвецов без риска нарушить санитарные требования.

Но главное, о чем дуче следовало бы умалчивать перед своими солдатами, — это не опасность угодить после смерти в желудок стервятника, а то, что марабу и стервятники делают с ранеными. Каждый итальянский солдат должен усвоить

одно правило: если ты ранен и не можешь подняться на ноги, то хотя бы перевернись лицом вниз. Я знаю одного участника прошлой войны, сражавшегося в Германской Восточной Африке, которому этого правила своевременно не преподали. Когда он, раненый, лежал без сознания, стервятники принялись выклевывать ему глаза. Режущая, слепящая боль заставила его очнуться; что-то вонючее, в перьях, возилось над ним; отбиваясь, он перекатился на живот и тем спас хотя бы один глаз. Тогда птицы стали клевать его сквозь одежду и, наверно, добрались бы до почек, но подоспели санитары с носилками и отогнали их. Если вам когда-нибудь вздумается проверить, сколько времени нужно стервятникам, чтобы напасть на живого человека, ложитесь под деревом, замрите и наблюдайте; сперва они станут кружить на такой высоте, что покажутся лишь темными пятнышками, потом начнут снижаться, описывая концентрические круги, и, наконец, ринутся на вас смертоносным шелестящим кольцом. Тогда сразу вставайте, и кольцо разлетится, хлопая крыльями. Но Что было бы, если бы вы не могли встать?

До сих пор абиссинцы не сражались. Они только отступали, предоставляя итальянским

войскам продвигаться вперед. Абиссиния — страна, где всегда были сильны соперничающие между собой феодальные князьки; некоторых из них итальянцам удалось подкупить, играя на их честолюбии или на их распрях с негусом. По всем сообщениям выходит, будто Италия занимает страну почти без борьбы. Но Италии необходимо выиграть хотя бы одно сражение, для того чтобы она могла добиваться от держав признания за ней прав на занятую территорию или, может быть, даже протектората над всей Абиссинией. Абиссинцы же пока что упорно отказываются идти им навстречу.

С каждым днем все дальше растягиваются коммуникационные линии итальянцев. С каждым днем растет число миллионов лир, затрачиваемых на содержание армии в полевых условиях, и с каждым днем все больше больных увозят на пароходы для эвакуации. Если абиссинцы отступят настолько, что у них появится возможность начать партизанскую борьбу на итальянских коммуникациях, так и не приняв боя, — Италия проиграла войну. Но возможно, из гордости или тщеславия абиссинцы и не пойдут на это, возможно, они, рискуя всем, примут бой и будут разбиты. А возможно, и не будут, хотя все шансы

против них.

Если они привыкнут к воздушным налетам, научатся рассыпаться и вести по самолетам огонь, как в свое время научились рифы в Северной Африке, одно из крупнейших преимуществ Италии будет сведено к нулю. Авиации требуются крупные, концентрированные объекты, бомбардировщикам — города, штурмовикам — скопления войск. Рассредоточенные боевые порядки для самолетов опаснее, чем самолеты для них. А если абиссинцы сумеют продержаться до нового сезона дождей, тогда и танки, и автомототранспорт итальянцев окажутся бесполезными. Вряд ли у Италии хватит денег продолжать войну, пока сезон дождей не окончится. Не надо забывать, что абиссинцы находятся в своей стране, и к тому же привыкли есть один раз в день, а Италии каждый ее солдат стоит огромных денег, так как нужна сложная и дорогая транспортная система, чтобы содержать его в полевых условиях и кормить так, как он привык есть. Стоит только Италии проиграть хотя бы одно сражение, она немедленно начнет мирные переговоры.

В авангарде итальянской армии все время шли сомалийские и данакильские части, и успех наступления следует приписать в значительной

мере прозорливости генералов Муссолини, которые справедливо считают, что на европейскую пехоту в Африке полагаться нельзя, и хорошо усвоили урок прошлой войны: если воюешь недалеко от экватора, победить можно только с помощью черных войск. Однако если дело дойдет до крупного сражения, тогда, когда итальянцы успеют продвинуться далеко в глубь абиссинской территории, им придется ввести в бой свои войска, потому что черных солдат у них для такого сражения не хватит. Вот чего они, по всей видимости, стараются избежать и на чем строят свои расчеты абиссинцы. Они уже раз побили итальянцев и верят, что сумеют побить их снова. Италия надеется, что наличие черной пехоты, танки, пулеметы, авиация и современная артиллерия обеспечат ей победу. Абиссиния надеется заманить итальянскую армию в ловушку, как это было при Адуе в 1896 году. А пока что абиссинцы отступают и отступают, а итальянцы продолжают наступление, посылая вперед отряды аскари, вербуя новых ненадежных союзников и расходуя все свои деньги на содержание армии в Африке.

Следующий ход Италии мне сейчас представляется таким: она постарается путем тайного сговора с державами обеспечить себе свободу действий

и добиться отмены санкций, ссылаясь на то, что ее военное поражение неминуемо приведет к победе большевизма» в стране. Иногда государства с демократическим образом правления объединяются, чтобы помешать какому-либо диктатору осуществить свои империалистические замыслы (особенно если их собственные империалистические владения достаточно прочно защищены). Но стоит такому диктатору завопить о большевистской угрозе как неизбежном следствии его поражения — и сочувствие немедленно окажется на его стороне. Ведь стал же Муссолини героем всей ротермировской прессы в Англии благодаря утвердившемуся там мифу, что он, Муссолини, спас Италию от опасности стать красной. А между тем Италия потому не стала красной, что, когда туринские рабочие захватили заводы и фабрики, отдельные группировки радикалов не смогли договориться о сотрудничестве. И еще потому, что волей обстоятельств в руках рабочих оказались предприятия металлургической промышленности — детища военного бума, к тому времени уже обреченные на крах. Муссолини, самый хитрый оппортунист нашей эпохи, сумел подняться на той волне разочарования, которая была вызвана анекдотической неспособностью итальянских

радикалов к сотрудничеству и неумением использовать такой мощный козырь, какой дало им в руки поражение Италии при Капоретто.

Помню, как в ту войну матери и отцы, высунувшись из окна или выйдя на порог винной лавки, кузницы, сапожной мастерской, кричали вслед проходившим по улицам войскам: «A basso gli ufficiali!» — «Долой офицеров!» — им казалось, что это офицеры гнали рядовых пехотинцев в бой, когда те уже поняли, что воина не принесет им ничего хорошего. Офицеров, которые считали, что войну нужно продолжать до победного конца, глубоко возмущала эта ненависть к ним рабочего люда. Но многие офицеры уже в то время ненавидели войну так, как не могли потом ненавидеть ничто другое — ни тиранию, ни жестокость, ни несправедливость, ни растление человеческих душ. Ведь война — сплав всех этих зол в самой их сути, сплав, который во много раз прочней каждого из составных элементов. Долго любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда. Конечно, нет правила без исключения; есть и были генералы, которые ненавидели войну, и есть проститутки, которые

не извлекали из нее никакой корысти. Но эти достойные и великодушные личности именно исключение.

Немало людей в Италии помнят прошлую войну такой, какой она была, а не такой, какой им ее изображали после. Но те из них, кто пробовал раскрыть рот, жестоко поплатились за это: одних убили, другие томятся в тюрьме на Липарских островах, а третьим пришлось покинуть родину. Во времена диктатуры опасно иметь хорошую память. Нужно приучить себя жить «великими свершениями» текущего дня. Пока диктатор контролирует прессу, всегда найдутся очередные «великие свершения», которыми и следует жить. У нас в Америке, как только в воздухе повеет диктатурой, газеты принимаются усиленно прославлять повседневные достижения правительства, а стоит вам вспомнить любой год или любые несколько лет деятельности этого правительства, и вы тотчас увидите ее плачевные результаты. Диктатура удерживается только силой, вот почему никакой диктатор, реальный или потенциальный, не может допустить хотя бы временного ослабления своей популярности — это немедленно заставило бы его применять силу, чтобы не лишиться власти. Удачливый диктатор

пускает в ход дубинки и совершает триумфальное шествие по страницам газет. Неудачливый диктатор начинает всего бояться, расстреливает своих же людей, и, как только армия или полиция перестанут его поддерживать, ему конец. Если он уж очень усердствует с расстрелами, то нередко получает сам пулю в лоб еще до того, как рухнет его режим. Впрочем, это очерк не о диктаторах, а о некоторых орнитологических аспектах войны в Африке.

Разумеется, даже верное представление о прошлой войне не поможет деревенским парням с крутых склонов Абруцц, где на вершинах так рано ложится снег; не поможет оно ни механикам из гаражей и мастерских Милана, Болоньи или Флоренции; ни велогонщикам с белых от пыли ломбардских дорог; ни футболистам из заводских команд Специи или Турина; ни тем, что косили высокогорные луга в Доломитовых Альпах, а зимою водили там партии горнолыжников, или жгли уголь в лесах под Пьомбино, или подметали полы в тратториях Виченцы, а в прежние годы, может, эмигрировали бы в Америку, Северную или Южную. Они будут страдать от смертельного зноя, узнают все прелести края, где не бывает тени; они заболеют неизлечимыми болезнями, от

которых ноют кости и разбухают внутренности и молодой человек превращается в старика; когда же наконец они попадут в сражение и будут ранены, хорошо, если, услышав над собой шелест крыльев слетающихся птиц, они вспомнят, что нужно перевернуться лицом вниз и шептать свое: «Mamma mia!» — припав губами к матери-земле.

Сынки Муссолини летают на самолетах, не рискуя быть сбитыми, потому что у противника самолетов нет. Но сыновья всех бедняков Италии служат в пехоте — во всем мире сыновья бедняков всегда служат в пехоте. Лично я желаю пехотинцам удачи; но еще я желаю им понять, кто их враг — и почему.

На голубой воде
Гольфстримское письмо

Конечно, никакая охота не похожа на охоту за человеком, и те, кто долго охотился на вооруженных людей и вошел во вкус, уже не способны ничем по-настоящему увлечься. Можно наблюдать, как они решительно берутся за самые разнообразные дела, но не испытывают к ним никакого интереса, потому что теперь для них нормальная, обычная жизнь такая же пресная, как вино, когда сожжены вкусовые сосочки языка. Вино, если обжечь язык раствором щелока, ощущается во рту, как вода из лужи, а горчица — как колесная мазь, и вы можете чувствовать запах хрустящего поджаренного бекона, но на вкус он будет как пересушенное свиное сало.

Вы можете узнать об этом, заглянув поздно вечером на кухню виллы на Ривьере и выпив там по ошибке вместо минеральной воды Eau de Javel — концентрат щелока для чистки раковин. Вкусовые сосочки вашего языка, если их обжечь Eau de Javel, начнут функционировать через неделю. Как скоро восстанавливается все остальное,

неизвестно.

Как-то вечером я разговаривал с одним своим приятелем, для которого не существует никакой другой охоты, кроме охоты на слонов. Для него настоящий спорт там, где есть серьезная опасность, и, если опасность недостаточно велика, он сам усилит ее, чтобы получить удовлетворение. Его товарищ по охоте рассказывал, как этот мой приятель был не удовлетворен обычной охотой на слонов и поэтому старался загнать слонов или обойти их так, чтобы встретиться с ними в лоб. Таким образом, он вынужден был убивать их самым трудным выстрелом в упор, когда они, развевая уши и трубя хоботом, наступали на него, грозя его раздавить. Это имеет такое же отношение к охоте на слонов, как немецкий культ самоубийственного восхождения к обычному альпинизму. Все это — попытки в какой-то степени воссоздать обстановку былой охоты на вооруженного человека, охотящегося за тобой.

Этот мой приятель подбивал меня заняться охотой на слонов и говорил, что для меня тогда перестанут существовать все остальные виды охоты. Я сказал ему, что мне любо рыбачить и охотиться на все, что подвернется, и совсем не хочется уничтожать эту способность.

— И ты увлекаешься охотой на большую рыбу, — сказал он весьма разочарованно. — Честно говоря, я не понимаю, от чего там можно получить удовольствие.

— Ты пришел бы в восторг, если бы рыба выскакивала на тебя с пулеметами «томми» или же прыгала по кубрику с мечом на носу.

— Не болтай глупостей, — сказал он, — честно, я не понимаю, в чем там острота ощущений.

— Возьми хотя бы Такого-то, — сказал я, — он страстный охотник на слонов, а в прошлом году ходил на ловлю большой рыбы и просто помешался на этом. Наверное, ему нравится, иначе бы он не стал заниматься этим.

— Да, — сказал мой друг, — должно быть, в этом что-то есть, но я просто не понимаю что. Объясни, в чем там острота ощущений.

— Я попытаюсь как-нибудь написать об охоте на большую рыбу, — ответил я ему.

— Очень бы хотелось, — сказал он. — Вы, писатели, народ понимающий. Правда, тоже до известного предела.

— Напишу.

Прежде всего Гольфстрим и другие океанские течения — это последние девственные области на земле. Как только скрылся из виду берег и другие

лодки, ты оказываешься более оторванным от мира, чем на охоте, а море такое же, каким оно было до того, как человек впервые вышел в него на лодке. Когда рыбачишь, ты можешь увидеть его маслянисто гладким, каким его видели мореходы, дрейфуя на запад; в белых барашках, нагоняемых легким бризом, каким оно бывает под пассатом; и в высоких катящихся голубых валах, когда море наказывало их, а ветер срывал их паруса, как снег. Так и ты иной раз можешь увидеть три гигантских вала, и твоя рыба выскакивает с вершины самого дальнего, и если ты попробовал бы пойти за ней не раздумывая, один из этих гребней обрушил бы на тебя все свои тысячи тонн воды, и ты уже больше не пошел бы охотиться на слонов, друг мой Ричард.

Сама по себе рыба не опасна. Да и все, кто выходит круглый год в море на маломощных суденышках, не ищут опасности. Но можешь быть уверен, что в течение года ты обязательно с ней встретишься, поэтому ты и стараешься делать все, что в твоих силах, чтобы избежать ее.

Ибо Гольфстрим — неисследованный край. Рыбаки ловят только по самой границе да еще в отдельных местах этого тысячемильного течения, и никто не знает, что за рыба живет там,

каких размеров, какого возраста и даже какие виды рыб и животных обитают на разных глубинах. Когда ты ловишь далеко от берега на четыре лесы, установленные на шестьдесят, восемьдесят, сто и сто пятьдесят морских саженей в море, имеющем глубину до семисот саженей, ты не знаешь, что пойдет на маленького тунца, которого используешь как наживку. Поэтому каждый раз, когда леса начинает разматываться с катушки, сначала медленно, потом с визгом, и ты чувствуешь, что удилище сгибается вдвое, чувствуешь силу сопротивления лесы, прорывающейся сквозь эту глубину, и ты сматываешь и освобождаешь ее, сматываешь и освобождаешь, стараясь снять с нее лишнюю тяжесть, прежде чем рыба начнет свои прыжки, тебя всегда охватывает волнение, и не надо опасности, чтобы усилить его. Возможно, что направо от тебя четко и красиво взлетит в воздух марлин, и, пока ты кричишь, чтобы катер направили к рыбе, она уже начинает уходить в серии прыжков, разрезая воду, точно быстроходная лодка, и катер не успевает развернуться, как леса исчезает с катушки. Возможно, что появится меч-рыба, помахивая своим мечом. Или какая-то другая рыба, и ты так и не увидишь ее, потому что она устремится на северо-запад, точно погружен-

ная подводная лодка, и после пяти часов борьбы рыболову остается лишь выпрямившийся крючок. Тебя всегда охватывает волнение, когда рыба на крючке и ты тянешь ее откуда-то из глубины.

На охоте ты знаешь, что выслеживаешь, и предел всему — слон. Но разве можно знать, что попадется на крючок, когда удишь на глубине ста пятидесяти саженей в Гольфстриме? Это может быть марлин или меч-рыба, по сравнению с которыми все рыбы, какие мы видели пойманными, пигмеи, и каждый раз, когда рыба берет наживку, тебе кажется, что ты сам попался на крючок одной из этих громадин.

Карлос, наш кубинский приятель, пятидесятитрехлетний рыбак, ловит марлин с семи лет, с того дня, когда вместе с отцом вышел первый раз в море на носу лодки. Однажды, опустив лесу на большую глубину, он поймал белого марлина. Рыба, дважды подпрыгнув, нырнула, и, когда она погрузилась, Карлос вдруг почувствовал огромную тяжесть и не смог удержать лесу, которая все убегала, убегала и убегала за борт, пока рыба не ушла на сто пятьдесят саженей. Карлос рассказывал, что у него было такое ощущение, будто его прицепили крючком к самому дну моря. Потом неожиданно напряжение ослабло, но он

по-прежнему чувствовал вес своей рыбы и вытянул ее мертвой. Оказалось, что беззубая рыба, не то меч-рыба, не то марлин, зажав в своей пасти восьмидесятифунтового белого марлина и сдавив его так, что все его внутренности вылезли наружу, утащила его в море. Наконец она отпустила его. Каких размеров была эта рыба? Я решил, что это был гигантский осьминог, но Карлос сказал, что не осталось никаких следов от его щупалец и что там, где он схватил восьмидесятифунтового белого марлина, был отпечаток пасти марлина.

В другой раз у Кабаньяса старик поймал огромного марлина, который утащил его лодку в море. Через два дня старика подобрали рыбаки в шестидесяти милях в восточном направлении. Голова и передняя часть рыбы были привязаны к лодке. То, что осталось от рыбы, было меньше половины и весило восемьсот фунтов. Старик не расставался с рыбой день и ночь и еще день и еще ночь, и все это время она плыла на большой глубине и тащила за собой лодку. Когда рыба всплыла, старик подтянул к ней лодку и ударил ее гарпуном. Привязанную к лодке, ее атаковали акулы и старик боролся с ними совсем один в Гольфстриме на маленькой лодке. Он бил их багром, колол гарпуном, отбивал веслом, пока

не выдохся, и тогда акулы съели все, что могли. Он рыдал, когда рыбаки подобрали его, полуобезумевшего от своей потери, а акулы все еще продолжали кружить вокруг лодки.

Но что за удовольствие ловить рыбу с катера? Его получаешь от того, что рыба — существо удивительное и дикое — обладает невероятной скоростью и силой, а когда она плывет в воде или взвивается в четких прыжках, это — красота, которая не поддается никаким описаниям; и чего бы ты не увидел, если бы не охотился в море. Вдруг ты оказываешься привязанным к рыбе, ощущаешь ее скорость, ее мощь и свирепую силу, как будто ты едешь верхом на лошади, встающей на дыбы. Полчаса, час, пять часов ты прикреплен к рыбе так же, как и она к тебе, и ты усмиряешь, выезжаешь ее, точно дикую лошадь, и в конце концов подводишь к лодке. Из гордости и потому, что рыба стоит много денег на гаванском рынке, ты багришь ее и берешь на борт, но в том, что она в лодке, уже нет ничего увлекательного; борьба с ней — вот что приносит наслаждение.

Если крючок вошел в костистую часть пасти рыбы, я уверен, что он причиняет ей такую же боль, как рыбаку его снаряжение. Иногда большая рыба совсем не чувствует крючка и подплывает

к лодке, чтобы взять еще наживку, не ведая, что попалась. Иногда она уходит с ним глубоко в море. И вот тут-то она начинает ощущать, что какая-то сила держит ее, давит на нее и управляет ею, и она затевает борьбу, но не из-за боли, а чтобы освободиться. Когда она исчезает под водой, ты представляешь, что она делает, в каком направлении тащит тебя там, на глубине, и ты подчиняешь ее себе и подводишь ее к лодке точно так, как выезжают норовистых лошадей. Для того чтобы подтянуть рыбу к лодке, нет необходимости убивать или совершенно истощать ее.

Чтобы убить рыбу, оказывающую сопротивление на большой глубине, надо тянуть ее в направлении, обратном тому, в котором она хочет уйти, пока она не устанет и не умрет. Много часов требуется для того, чтобы убить рыбу, и, когда она умрет, акулы могут напасть на нее прежде, чем рыбак поднимет ее на поверхность. Чтобы поймать большую рыбу быстро, ты, стараясь держать ее как можно крепче, соображаешь, в каком направлении она движется (на глубине рыба плывет в направлении уклона лесы в воде, если ты завинтишь тормоз до отказа так, что еще одно усилие — и леса оборвется), потом обгоняешь ее. Таким образом, рыбу можно подтянуть

к лодке, не убивая. Ты не тянешь ее на буксире за катером, ты используешь мотор, чтобы менять свое положение, точно идешь с лососем вверх или вниз по реке. Рыбу легче поймать с маленькой лодки, такой, как плоскодонка. На ней рыбак может прекратить работу на веслах и позволить рыбе тянуть лодку. Буксировка лодки в конце концов убьет ее. Но самое большое удовлетворение получаешь, когда овладеешь рыбой, подчинишь ее себе и подведешь ее как можно быстрее к лодке совсем неповрежденной, а только сломленной духом.

— Очень поучительно, — говорит мой друг. — Но где же острое ощущение?

Острое ощущение охватывает тебя, когда ты, стоя за рулем и попивая холодное пиво видишь, как подбрасывают наживку, похожую на живых маленьких тунцов, выскакивающих из воды, и вдруг замечаешь длинную скользящую тень, потом появляются голова, плавник, спина и — тунец подпрыгивает на волне, и рыба промахивается.

— Марлин! — вопит Карлос с крыши рубки и топает ногами — сигнал, обозначающий, что рыба поднялась. Он карабкается вниз к штурвалу, а ты возвращаешься назад, туда, где удилище стоит в своем гнезде, и тень появляется снова.

Она движется ужасно быстро, точно тень самолета, летящего над водой. Потом копье, голова, плавник и спина разрезают воду, и ты слышишь, как щелкает предохранитель катушки, и леса начинает разматываться, слышишь, как длинный трос с шипением рассекает воду, когда рыба поворачивается. Ты чувствуешь, как удилище сгибается вдвое, и его толстый конец бьет тебе в живот. А ты изо всех сил стараешься удержать рыбу, чувствуешь ее вес, когда подсекаешь ее опять, и опять, и опять.

Тяжелое удилище изгибается дугой по направлению к рыбе, катушка визжит, как ножовка, а рыба, сверкая серебром на солнце, взвивается в четком и длинном прыжке, огромная и круглая, как бочка, перевитая сиреневыми кольцами, а когда она падает в воду, разбрасывается столб водяных брызг, как при разрыве снаряда.

Потом она поднимается, вспенивая воду, и напряжение лесы слабеет. Рыба взлетает, устремляясь вперед, ныряет, а потом снова дважды подпрыгивает со свирепой силой, и кажется, что она повисла высоко и неподвижно в воздухе, а когда она падает, выбрасывая фонтан воды, ты замечаешь крючок в углу ее пасти.

Потом в серии прыжков, как борзая, она на-

правляется на северо-запад, и ты идешь за ней на катере.

Леса натянута туго, точно струна банджо, и по ней прыгают маленькие капли воды. Наконец тебе удается смотать лесу и ослабить трение лесы о воду, и тогда ты делаешь резкий рывок к рыбе.

Все это время Карлос кричит:

— О боже, хлеб моих детей! Иосиф и Мария! Посмотрите, как хлеб моих детей прыгает! Вон идет хлеб моих детей! Она никогда не остановится! Хлеб, хлеб, хлеб моих детей!

Этот полосатый марлин прыгал на натянутой прямой лесе в северо-западном направлении пятьдесят три раза, и каждый раз, когда он выскакивал из воды, это было такое зрелище, от которого замирало сердце.

Когда рыба ушла под воду, я сказал Карлосу:

— Дай мне снаряжение. Теперь надо вытащить хлеб твоих детей.

— Я не мог смотреть, — говорит он, — как этот набитый бумажник прыгал. Теперь она не может уйти глубоко. Она наглоталась слишком много воздуха.

— Прыгала, точно скаковая лошадь брала препятствия, — говорит Хулио. — Что, снаряжение в порядке? Воды не хочешь?

— Нет. — Потом, подтрунивая над Карлосом: — Что ты там говорил о хлебе твоих детей?

— Он всегда так, — говорит Хулио. — Ты бы слышал, как он меня ругал однажды, когда мы чуть было не упустили марлина.

— Сколько будет весить хлеб твоих детей? — спрашиваю я. Во рту сухо, снаряжение трет плечи, удилище — гибкое, податливое продолжение руки — вызывает страшную боль в мускулах, в глазах соленый пот.

— Четыреста пятьдесят, — говорит Карлос.

— Не близко, — говорит Хулио.

— Ты и твоя рыба не близко, — говорит Карлос, — рыба другого всегда ничего не весит в сравнении с твоей.

— Триста семьдесят пять, — повышает свои подсчеты Хулио, — и ни фунта больше.

Карлос произносит что-то нецензурное, и Хулио доходит до четырехсот.

Рыба почти побеждена, и смертельная боль от подъема ее на поверхность начинает утихать, как вдруг, когда я ее еще поднимаю, чувствую, как что-то падает. Еще мгновение — и леса слабеет.

— Она ушла, — говорю я и расстегиваю снаряжение.

— Хлеб твоих детей, — говорит Хулио Карлосу.

— Да, хлеб, — отвечает Карлос. — Это шутка и не шутка. El pan de mis hijos[30]. Триста пятьдесят фунтов по десять центов за фунт. Зимой сколько дней нужно, чтобы заработать их? А как бывает холодно в три часа утра! И туман, и дождь! Каждый раз, когда она прыгала, крючок увеличивал дырку в ее челюсти. Но все равно как она прыгала! Как она прыгала!

— Хлеб твоих детей, — говорит Хулио.

— Хватит об этом, — отвечает Карлос.

Нет, это не охота на слонов, но нам это по душе. Когда у тебя есть семья и дети, твоя семья, семья, как у меня или у Карлоса, тебе не надо искать опасности. Если есть семья, всегда много опасностей.

И в конце концов, опасность, существующая для других, — это единственная опасность, и нет ей конца, и нет в ней удовольствия, и сколько ни думай о ней, все равно легче не станет.

Но какое наслаждение быть в море, какое наслаждение во внезапном появлении неизвестной рыбы, в ее жизни и смерти, которую она проживает за час для тебя, когда твоя сила сливается с ее, и какое удовлетворение получаешь, покорив

---

[30] Примечания: 30
Хлеб моих детей *(исп.)*.

это существо, правящее морем.

Потом, утром, на следующий день после того, как ты поймал хорошую рыбу, человек, отвезший ее на тележке на рынок, приносит на катер много тяжелых серебряных долларов, завернутых в газету. Эти деньги тоже приносят удовлетворение. Они похожи на настоящие деньги.

— Это хлеб твоих детей, — говоришь ты Карлосу.

— В то время, когда ворочали миллионами, — говорит он, — такой рыбе, как эта, цена была двести долларов. Теперь тридцать. А рыбак все равно никогда не голодает. Море очень богатое.

— А рыбак всегда беден.

— Нет. Взять хотя бы тебя. Ты богатый.

— Чертовски, — говоришь ты, — и чем дольше я рыбачу, тем беднее становлюсь. Кончу тем, что вместе с тобой буду ловить для рынка на шлюпке.

— В это я никогда не поверю, — говорит Карлос искренне. — А на шлюпке рыбачить очень здорово. Тебе понравилось бы.

— Ужасно хочется, — отвечаешь ты.

— Что нам нужно для процветания — так это воина, — говорит Карлос — Во время войны с Испанией и в последнюю войну рыбаки действи-

тельно разбогатели.

— Ну что ж, — говоришь ты, — как только война начнется, готовь шлюпку к выходу в море.

Гражданская война в Испании (1936–1939)

Писатель и война

Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта.

Нет ничего труднее этого, и трудностью задачи можно объяснить, почему награда, все равно, приходит ли она скоро или заставляет себя ждать, обычно очень велика. Если награда приходит скоро, это часто губит писателя. Если она заставляет себя ждать слишком долго, это очень часто озлобляет его. Иногда награда приходит лишь после смерти, и тогда ему уже все равно. Но именно потому, что писать правдивые, долговечные произведения так трудно, по-настоящему хороший писатель рано или поздно будет признан. Только романтики воображают, что на свете есть «неизвестные мастера».

Настоящий хороший писатель будет признан почти при всякой из существующих форм правления, которая для него терпима. Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм.

Потому что фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами. Писатель, который не хочет лгать, не может жить и работать при фашизме.

Фашизм — ложь, и потому он обречен на литературное бесплодие. И когда он уйдет в прошлое, у него не будет иной истории, кроме кровавой истории убийств, которая и сейчас всем известна и которую кое-кто из нас за последние несколько месяцев видел своими глазами.

Писатель, если он знает, из-за чего и как ведется война, привыкает к ней. Это — важное открытие. Просто поражаешься при мысли, что ты действительно привык к ней. Когда каждый день бываешь на фронте и видишь Позиционную войну, маневренную войну, атаки и контратаки, все это имеет смысл, сколько бы людей мы ни теряли убитыми и ранеными, если знаешь, за что борются люди, и знаешь, что они борются разумно. Когда люди борются за освобождение своей родины от иностранных захватчиков и когда эти люди — твои друзья, и новые друзья, и давнишние, и ты знаешь, как на них напали и как они боролись, вначале почти без оружия, то, глядя на их жизнь, и борьбу, и смерть, начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже.

В Мадриде мы, военные корреспонденты, в прошлом месяце девятнадцать дней были свидетелями убийства. Совершала его германская артиллерия, и это было отлично организованное убийство.

Я сказал, что к войне привыкаешь. Если по-настоящему интересуешься военной наукой — а это великая наука — и вопросом о том, как ведут себя люди в момент опасности, этим можно так увлечься, что одна мысль о собственной судьбе покажется гадким себялюбием.

Но к убийству привыкнуть нельзя. А мы в Мадриде девятнадцать дней подряд наблюдали массовое убийство.

Фашистские государства верят в тотальную войну. Это попросту значит, что, всякий раз как их бьют вооруженные силы, они вымещают свое поражение на мирных жителях. В эту войну начиная с середины ноября 1936 года их били в Западном Парке, били в Пардо, били в Карабанчеле, били на Хараме, били под Бриуэгой и под Кордовой. И всякий раз после поражения на фронте они спасают то, что почему-то зовут своей честью, убивая гражданское население.

Начав описывать все это, я вызвал бы у вас только тошноту. Может быть, я пробудил бы в

вас ненависть. Но не это нам сейчас, нужно. Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться. Мы должны понять, что эти убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита — фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его. И фашистского бандита бьют сейчас в Испании, как сто тридцать лет назад на том же самом полуострове били Наполеона. Фашистские государства знают это и готовы на все. Италия знает, что ее солдаты не будут драться за пределами своей страны и, несмотря на превосходное снаряжение, они не идут ни в какое сравнение с солдатами Народной испанской армии, не говоря уже о бойцах Интернациональных бригад.

Германия осознала, что она не может рассчитывать на Италию как на союзника в любой наступательной войне. Я недавно читал, что фон Бломберг присутствовал на больших импозантных маневрах, которые устроил для него маршал Бадольо[31]: но одно дело маневрировать на венецианской равнине, вдали от всякого противника,

[31] Примечания: 31

Бадольо Пьетро (1871–1956) — маршал Италии (25 июня 1926), герцог Аддис-Абебский, маркиз Саботино, премьер-министр, который принял власть над страной после свержения Муссолини в 1943 г., объявил нейтралитет и вывел Италию из Второй мировой войны.

и совсем другое дело подвергнуться контрманевру и потерять три дивизии на плато между Бриуэгой и Триуэгой в боях с Одиннадцатой и Двенадцатой интербригадами и превосходными испанскими частями Листера, Кампесино и Мэра. Одно дело бомбардировать Альмерию и захватывать беззащитную Малагу, сданную в результате измены, и совсем другое дело положить семь тысяч под Кордовой и тридцать тысяч в безуспешных штурмах Мадрида.

Я начал говорить о том, как трудно писать хорошо и правдиво, и о том, что достигших этого мастерства неизбежно ждет награда. Но в военное время — а мы живем в военное время, хотим мы того или нет, — награды откладываются на будущее. Писать правду о войне очень опасно, и очень опасно доискиваться правды. Я не знаю в точности, кто из американских писателей поехал в Испанию на поиски ее. Я знаю многих бойцов батальона имени Линкольна. Но это не писатели. Они пишут только письма. В Испанию поехало много английских писателей. Много немецких писателей. Много французских и голландских писателей. А когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть. Но если едут двенадцать, а возвращаются только

двое — правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой, а не искаженными слухами, которые мы выдаем за историю. Стоит ли рисковать, чтобы найти эту правду, — об этом пусть судят сами писатели. Разумеется, много спокойнее проводить время в ученых диспутах на теоретические темы. И всегда найдутся новые ереси, и новые секты, и восхитительные экзотические учения, и романтичные непонятные мэтры — найдутся для тех, кто не хочет работать на пользу дела, в которое якобы верит, а хочет только спорить и отстаивать свои позиции, которые можно занимать без риска. Позиции, которые удерживают пишущей машинкой и укрепляют вечным пером. Но всякому писателю, захотевшему изучить войну, есть и долго еще будет куда поехать. Впереди у нас, по-видимому, много лет необъявленных войн. Писатели могут участвовать в них по-разному. Впоследствии, возможно, придут и награды. Но это не должно смущать писателей. Потому что наград еще долго не будет. И не стоит писателю особенно надеяться на них. Потому что, если он такой, как Ралф Фокс и некоторые другие, его, возможно, не будет, когда настанет время получать награду.

Испанский репортаж
Март — май, 1937
Валенсия

Когда «Эр-Франс», на котором мы прилетели из Тулузы, прошел, снижаясь, над центральными кварталами Барселоны, улицы были пусты. Ни души, как в деловой части Нью-Йорка в воскресное утро.

Мягко коснувшись бетонной дорожки, самолет с ревом подрулил к низенькому строению и, успев намерзнуться над снежными вершинами Пиренеев, мы принялись отогревать руки у чашек с кофе и молоком; у входа трое полицейских в кожаных куртках, с пистолетами, перешучивались между собой, и тут мы узнали, почему так тихо в Барселоне.

Только что здесь побывал трехмоторный бомбардировщик в сопровождении двух истребителей и сбросил на город бомбы; семь человек убиты, тридцать четыре ранены. Мы опоздали на полчаса и пропустили бой, в котором республиканские истребители дали отпор врагу. Я лично не очень жалею об опоздании: у нас тоже трех-

моторный самолет, и могла произойти легкая путаница.

Мы летели к Аликанте на небольшой высоте над белыми пляжами, серобашенными городками, над морем, пенящимся у скалистого мыса, — и ничто не говорило о войне. Шли поезда, мулы тянули свой плуг, рыбачьи лодки уходили в море, из фабричных труб валил дым.

Но над Таррагоной все пассажиры столпились у обращенного к берегу борта самолета и стали разглядывать сквозь узкие окна накренившееся набок грузовое судно, поврежденное, как видно, артиллерийским огнем и выбросившееся на берег, чтобы спасти груз. Судно сидело на мели и походило сейчас в прозрачной морской воде на оснащенного трубами кита, приплывшего умирать к берегу.

Мы пролетели над тучными темно-зелеными валенсийскими равнинами с белыми домиками, разбросанными там и сям, над суетливым портом и широко раскинувшимся желтым городом. Пересекли затопленные рисовые поля, потом взмыли над диким горным хребтом, подобно орлам, и ринулись вниз так, что заболело в ушах, к сверкающему синему морю и к окаймленному пальмами, похожему на Африку аликантскому

побережью.

Самолет с ревом пошел дальше, в Марокко, а я на тряском автобусе покатил из аэропорта в Аликанте. Я попал в самый разгар торжеств; великолепная, обсаженная финиковыми пальмами набережная была забита народом, на улицах стояла толчея.

Шел призыв молодых людей от двадцати одного до двадцати шести лет, и рекруты со своими девушками и семьями праздновали вступление в армию и победу над итальянскими регулярными частями при Гвадалахаре. Взявшись под руки, по четыре в ряд, они кричали и пели, играли на аккордеонах и на гитарах. Прогулочные лодки в аликантском порту были заняты парочками, которые, держась за руки, совершали прощальную прогулку, а на берегу, где перед призывными пунктами стояли длинные очереди, царило неистовое веселье.

По всему побережью, пока мы ехали в Валенсию, ликующие толпы заставляли думать больше о ferias и fiestas прежних дней, нежели о войне. И только вышедшие из госпиталя солдаты, ковыляющие по дороге в мешковато сидящей на них форме Народной милиции, напоминали, что идет война…

Гвадалахарский фронт

Под дождем пополам со снегом я пересек поле Гвадалахарского сражения и проехал дальше за наступающими республиканскими частями; с одеялами на плечах, многие уже вырядившись в трофейные итальянские маскировочные плащи, республиканские пехотинцы устремились по проселочным дорогам за Бриуэгой, силясь догнать бегущих итальянцев.

Влево от Сарагосского шоссе, за Утанде, они встретили сопротивление противника, и там рвались снаряды, но на всех остальных участках фронта итальянцы дружно отступали, решившись, как видно, скрыться за пределы мадридского района, обозначенного на карте, по которой мы ориентировались.

По дорогам были брошены пулеметы, зенитные орудия, легкие минометы, ящики со снарядами и пулеметными лентами; на обочинах обсаженного деревьями шоссе стояли брошенные грузовики, танкетки, тягачи. На бриуэгских высотах по всему полю сражения белели письма и бумаги, лежали вещевые мешки, шанцевый инструмент и повсюду трупы.

В жару все трупы одинаковы, но эти мертвые итальянцы, лежавшие с восковыми, посеревшими лицами под холодным дождем, казались маленькими и жалкими. Они не походили на людей; в одном месте, где снаряд накрыл разом троих, останки убитых валялись, как сломанные игрушки. Одной кукле оторвало ноги, и она лежала без всякого выражения на восковом, заросшем щетиной лице. У другой куклы осталось полголовы, а третья просто переломилась пополам, как плитка шоколада в кармане.

С холмистых высот поле боя уходило в дубовый подлесок и везде хранило следы внезапного стремительного отступления. Сейчас нельзя точно определить потери итальянцев в Гвадалахарском сражении. Думаю, что они потеряли от двух до трех тысяч убитыми и ранеными.

Помимо того что эта битва спасла для республиканцев Гвадалахарское шоссе, она была первым крупным успехом после восьми месяцев обороны и спаяла народ в яростном гневе против чужеземного нашествия.

Набор в созданную республиканцами армию проходит с лихорадочным подъемом. Когда я в пять часов утра покидал Валенсию, две тысячи человек стояли в очереди у закрытого еще

призывного пункта. Народ охвачен энтузиазмом, колонны грузовиков из провинции везут в Мадрид продовольствие и подарки, и в армии крепнет боевой дух.

Генералиссимус Франко, растрепавший своих марокканцев в безуспешных атаках на Мадрид, сейчас видит, что итальянцы ненадежны, и не потому, что они трусы, а потому, что итальянцы, защищающие родину на рубеже Пьяве–Граппа, — это одно, а итальянцы, которые думали попасть на гарнизонную службу в Абиссинию и угодили вместо того в Испанию, — совсем другое…

Четыре дня подряд я изучал поле боя под Бриуэгой, обходя его с командирами, которые руководили сражением, и с офицерами, которые вели бой, — проверил позиции, прошел по следу атакующих танков и заявляю, что Бриуэга займет место в военной истории рядом с другими решающими мировыми сражениями.

Нет ничего более зловещего и страшного, чем след боевого танка. Ураган в тропиках оставляет причудливый прокос, где все сметено с лица земли, но две параллельно бегущие борозды, оставленные танком в красной глине, приводят к сценам планомерной смерти, которые похуже любого урагана.

Дубовый подлесок к северо-западу от Ибаррского дворца, в треугольнике, образуемом пересечением дорог на Бриуэгу и Утанде, все еще полон мертвых итальянцев, до которых не добрались похоронные команды. Они полегли не как трусы, они пытались защищать свои искусно укрепленные пулеметные и автоматные оборонительные точки; танки настигли их, и вот они лежат.

Дубовый лесок и невспаханная равнина каменисты, и итальянцы, видя, что лопата не берет землю, возвели каменные укрытия; снаряды шестидесяти танков, поддерживавших пехоту под Бриуэгой, разрываясь об эти брустверы, производили ужасающее действие; на мертвых страшно глядеть. Итальянские танкетки с одними лишь пулеметами были беспомощны против средних танков республиканцев, оснащенных пулеметами и пушками, все равно как катер береговой охраны против боевого крейсера.

Изучение поля боя опровергает легенду, что битва при Бриуэге была выиграна с воздуха и что противник бежал в панике, не сопротивляясь. Семь дней шло яростное сражение, по большей части в дождь, снег и распутицу, полностью парализовавшую автотранспорт. В последний день, роковой для итальянцев, авиация сумела

подняться в воздух, и сто двадцать самолетов, шестьдесят танков и почти десятитысячная пехота республиканцев разгромили наголову три итальянские дивизии по пять тысяч солдат в каждой. Координированные действия авиации, танков и пехоты знаменуют новый этап в Испанской войне. Кое-кому это не понравится и будет объявлено пропагандой, но я-то видел поле боя, видел трофеи, пленных и мертвецов.

Мадрид

Сегодня с шести утра я слежу за крупной операцией республиканцев, конечная цель которой в том, чтобы соединить войска на высотах у Корунского шоссе с частями, наступающими из Карабанчеля и Каса-дель-Кампо, срезать позиционный выступ мятежников, нацеленный на Университетский городок, и тем ослабить напряжение на Мадридском фронте.

Это вторая атака за последние четыре дня, которую я наблюдаю так близко. Первая проходила в серых, с торчащими оливковыми деревьями, изрытых холмах, в секторе Мората-да-Тахуна, куда я отправился с Йорисом Ивенсом снимать пехоту и наступающие танки; мы шли прямо за

пехотой и снимали танки в момент, когда они, точно наземные корабли, взбирались со скрежетом по крутому склону и вступали в бой.

Резкий, холодный ветер гнал поднятую снарядами пыль в нос, в рот и в глаза, и, когда я плюхался на землю при близком разрыве и лежал, слушая, как поют осколки, разлетаясь по каменистому нагорью, рот у меня был полон земли. Ваш корреспондент известен тем, что всегда не прочь выпить, но никогда еще меня так не мучила жажда, как в этой атаке. Хотелось, правда, воды.

Сегодня все иначе. Всю ночь тяжелая артиллерия мятежников, минометы и пулеметы били, казалось, под самым окном. Без двадцати шесть пулеметы застрочили с такой силой, что спать больше было нельзя. Вошел Ивенс, и мы решили разбудить Джона Ферно, нашего оператора, и Генри Горелла, корреспондента Юнайтед Пресс, и пуститься пешком.

Когда мы покидали отель, швейцар показал нам разбитое стекло; пулеметная пуля на излете угодила во входную дверь. Восемь минут спуска по склону со съемочной аппаратурой на плечах, с пустыми животами и изжогой от вчерашней вечерней выпивки — и мы рядом со штабом, на

Каса-дель-Кампо.

Снаряды республиканцев ревели над головой, словно воздушные поезда метро, взрывающиеся на конечной станции, но артиллерия противника молчала. Это настроило вашего корреспондента на тревожный лад. «Уберемся-ка отсюда, пока не поздно», — сказал я, и в ответ мне просвистел первый из шести трехдюймовых снарядов; они взорвались позади нас, впереди и сбоку, среди деревьев.

Мы двинулись по тропинке, среди поросших густым зеленым мхом деревьев, окружавших королевский охотничий домик; снаряды рвались в лесной чаще. Один, прилетевший с тем неповторимым, рвущим воздух посвистом, который заставляет всякого разом, позабыв о самолюбии, кидаться на землю, ударил в липу в двадцати метрах от нас, и свежая, напоенная весенними соками щепа брызнула во все стороны вместе со стальными осколками.

Нас остановили в трехстах ярдах от передовой, в глухой чаще; но из ложбины мы не видели хода сражения, если не считать налетов республиканских бомбардировщиков, которые пикировали и сбрасывали свои высиженные яички — трах-трах-трах и еще трах-трах-трах — совсем рядом

с нами: мгновенность и внезапность бомбовых разрывов резко отличают их от артиллерийского огня. Черные клубы дыма вздымались над едва зазеленевшими верхушками деревьев.

В небе не видно было ни единого самолета мятежников. Пока мы глазели, черный штурмовик республиканцев пронесся над головой и спикировал на головокружительном вираже, стреляя из всех четырех пушек. Республиканская батарея вела огонь через наши головы, снаряды разрезали воздух словно гигантской ленточной пилой и тотчас же взрывались, будто их взрыватели стояли на нуле. Кто-то завел в эту минуту сзади нас мотоцикл, и Горелл, угодивший как-то в плен к итальянским танкистам на Толедском шоссе, чуть не побил рекорд в прыжках в длину, наискосок и без разбега.

— Давайте выбираться из этой ложбины, здесь ничего не увидишь, — сказал кто-то, — неподалеку должна быть высота, откуда открывается поле сражения.

Я приметил одну такую позицию, памятуя о нашей съемке, когда обследовал местность несколько дней тому назад. Когда мы туда добрались, обливаясь потом и снова мучаясь от сильной жажды, обзор открылся удивительный.

Сражение шло у нас на глазах. Республиканская артиллерия с неистовым ревом, словно по воздуху шли товарные составы, всаживала снаряд за снарядом в многобашенную, подобную замку церковь в Веллу, где засели мятежники, и каменная крошка фонтаном взлетала в воздух.

Мне было видно, как республиканская пехота пошла в наступление на траншеи, вырытые по бурому склону. Послышался гул близившихся самолетов, и, задрав голову, я различил сверкнувшие на солнце три республиканских бомбардировщика. Когда они сбросили свой груз на позиции мятежников, только что отчетливо видные траншеи исчезли в вздыбившемся черном облаке смерти. Полное отсутствие авиации мятежников было непостижимым.

В ту минуту, как мы поздравили друг друга с отличной, укрытой позицией для съемки, пуля ударила в кирпичную стену у самой головы Ивенса. Решив, что пуля шальная, мы чуть передвинулись и я уже принялся обозревать поле боя в бинокль, тщательно прикрывая его от солнца рукой, когда вторая пуля просвистела у самой моей макушки. Мы перешли на новое место, откуда обзор был похуже, но и здесь нас дважды обстреляли.

Йорису показалось, что Ферно забыл его камеру на старом месте, и, когда я пошел искать ее, пуля ударила в стену прямо надо мной. Я продолжал свой путь ползком, но, как только выбрался на открытое место, ударила вторая пуля.

Мы решили вести съемку большой телекамерой. Ферно пошел искать местечко поспокойнее и выбрал третий этаж полуразрушенного дома. Там, под защитой балкона, замаскировав аппарат старым хламом из покинутой квартиры, мы работали до вечера и следили за ходом боя.

Мы подходили в сумерках пешком к нашему отелю, когда огромный трехмоторный «юнкере», первый в мадридском небе за две недели и единственный неприятельский самолет за весь сегодняшний день, сбросив бомбы на республиканские позиции, вдруг распластался над нами. Мы заметались, ища убежища, на голой, выложенной булыжником площади и почувствовали большое облегчение, когда повисшая над самой нашей головой железная громадина вдруг развернулась и ушла дальше, в город.

Через минуту курносый республиканский биплан пронесся на бреющем полете через центр города, и «юнкере» исчез, словно его и не было. У «юнкерсов» пушки расположены в крыльях, они

не могут стрелять через пропеллер, и быстроходные республиканские истребители атакуют эти летучие крепости с экипажем из шести человек прямо в лоб, когда те практически бессильны.

Люди смотрели на защитивший их от врага маленький вертлявый биплан с восторгом и благодарностью, ведь благодаря этим курносым малюткам господство в воздухе перешло к республиканцам.

Мадрид

Сперва в миле с четвертью от города, в холмах за линией фронта, в зеленом сосняке, послышалось что-то вроде кашля на низких басовых нотах. Легкий серый дымок обозначил позицию, где стоит батарея мятежников. Потом раздался нарастающий визг, словно рвали штуку шелка. Поскольку снаряды пошли в город, никто не обратил на них внимания.

А в городе, где улицы были запружены воскресной толпой гуляющих, снаряды легли со вспышкой, как от короткого замыкания, и с ревом взорвались в облаке гранитной крошки. За утро на мадридских улицах легло двадцать два снаряда.

Убило старуху, возвращавшуюся домой с рынка; она свалилась, как неряшливо увязанный черный узел с платьем, и одна нога ее, вдруг отделившись от туловища, угодила в стену соседнего дома.

Убило трех прохожих на соседней площади, и они тоже лежали, подобно груде старой одежды, в пыли, на булыжной мостовой, куда ударили осколки «сто пятьдесят пятого», взорвавшегося на обочине тротуара.

Ослепительная вспышка и грохот — и легковую машину занесло, водитель вышел, шатаясь, сорванная с головы кожа с волосами свисала ему на лоб, он сел прямо на тротуар и подпер голову рукой, и кровь, поблескивая, стекала у него с подбородка.

Три снаряда ударили в самое высокое здание в городе. Это законно, оно служит для связи и используется как ориентир, но обстрел городских улиц и воскресной гуляющей толпы противоречит военным законам.

Когда обстрел кончился, я вернулся на наш наблюдательный пункт в десяти минутах ходьбы от отеля и, устроившись в полуразрушенном доме, стал следить за шедшим уже третьи сутки сражением, в ходе которого республиканцы намерены

окружить и затем срезать позиционный выступ мятежников на Мадридском фронте, созданный ими еще в прошлом ноябре. Вершина этого выступа — клиника в Университетском городке, и, если республиканцам удастся сомкнуть клещи от Эстремадурского и Корунского шоссе, выступ будет срезан в горловине.

Бойцы лежали за белой, как мел, чертой свежеотрытых окопов. Вдруг кто-то, низко пригнувшись, побежал в тыл. За ним еще человек шесть, один упал. Потом четверо вернулись, и вот все сразу, разорванным строем, пошли в наступление, склонившись вперед, словно грузчики в порту, шагающие в штормовой ветер. Некоторые валились на землю, чтобы укрыться от огня, другие вдруг падали и оставались лежать недвижной частью пейзажа, темно-синие точки на коричневом поле. Атакующие вошли в подлесок и пропали из виду, танки шли, стреляя по окнам домов.

Со спуска дороги взметнулось пламя, что-то горело желтым огнем в облаке черного маслянистого дыма. Пламя держалось минут сорок, то замирая, то вспыхивая вновь, потом послышался взрыв. Я думаю, что горел танк. Точно сказать было нельзя, спуска дороги не было видно, но

другие танки прошли дальше и свернули вправо, продолжая обстреливать дома и пулеметные точки в лесу. Люди, минуя пламя, перебегали по одному и устремлялись по склону мимо домов, прямо к лесу.

Ружейный и пулеметный огонь слились в общий потрескивающий звуковой фон, и мы увидели, как сверху по склону прошел еще один танк с движущимся теневым квадратом позади, который, когда мы рассмотрели его в бинокль, оказался пехотой. Танк постоял, потом, накренившись, повернул вправо, где другие пехотинцы, пригнувшись, перебегали по одному; двое упали. Танк подошел к лесу и скрылся, пехота, следовавшая за ним, не имела потерь.

Начался новый артиллерийский налет, и мы следили за наступлением, пока не спустились сумерки и в бинокль больше нельзя было ничего разглядеть, кроме облака известковой пыли, поднятого попавшим в дом снарядом. Когда мы в темноте прекратили наблюдение, республиканцы были не более чем в пятидесяти ярдах от ближайших домов.

Сентябрь — декабрь, 1937
Арагонский фронт

Когда мы поравнялись с американцами, они расположились на берегу речушки под оливковыми деревьями. Над ними, над их укутанными в одеяла пулеметами, автоматами и зенитками клубилась желтая арагонская пыль. Слепящие облака пыли летели из-под копыт вьючных животных, из-под колес моторизованного транспорта.

Притулившись под сенью высокого берега, люди тревожно посмеивались, зубы сверкали у них белой щелкой на желтых от пыли лицах.

С тех пор как я видел их прошлой весной, они стали фронтовиками. Романтики отрезвели, трусы вернулись домой вместе с тяжело ранеными. Мертвых, конечно, нет. Те, кто остался, закалены, вид у них прозаичный, лица загорелые, за семь месяцев они изучили свое ремесло.

Они сражались плечом к плечу с первыми частями Испанской армии, созданной новым правительством, блистательно атаковали и захватили укрепленные высоты под Кинто и самый

город, вместе с тремя испанскими бригадами провели решительный штурм Бельчите, после того как испанцы взяли его в кольцо.

Захватив Кинто, они прошли маршем двадцать миль до Бельчите. Там залегли в лесу на подходе к городу, а потом пошли в атаку «змейкой», или индейским строем, лучше которого пехота еще ничего не придумала. Под тяжелым прицельным артиллерийским огнем они ворвались в город. Трое суток они штурмовали каждый дом, каждую квартиру, разбивая стены кирками и круша их взрывчаткой; отходящие фашисты обстреливали их из-за угла, с крыш, из окон и проломов в стене.

Под конец они соединились с испанскими частями, наступавшими с другого конца города, и окружили собор, где засели четыреста солдат из гарнизона. Эти сражались с храбростью отчаяния. Фашистский офицер строчил из пулемета с соборной колокольни, пока прямым попаданием снаряда его не завалило вместе с пулеметом. Американцы вели бои на площади, а потом под прикрытием автоматного огня пошли на приступ. После сопротивления, которое не знаешь, как назвать, отважным или безумным, гарнизон капитулировал.

Эту заключительную атаку возглавил Роберт Мерримен, в прошлом профессор Калифорнийского университета, а теперь начальник штаба Пятнадцатой бригады. Давно не бритый, с черным от дыма лицом, он пробивал себе путь гранатами и, хотя был шесть раз ранен осколками в обе руки и в лицо, не ушел на перевязку, пока не взял собор. Из пятисот бойцов и офицеров американцы потеряли в обеих операциях двадцать три человека убитыми и шестьдесят ранеными.

Республиканские войска потеряли в этом наступлении убитыми и ранеными две тысячи человек. Трехтысячный гарнизон Бельчите частью был перебит, частью захвачен в плен; спаслись лишь четыре офицера, бежавшие из города в ночь перед штурмом.

Теруэльский фронт

В полнейшей тьме мы ползли на четвереньках по славно пахнущему пшеничной соломой траншейному ходу. Невидимый голос сказал:

— Смотрите туда, где на стекле крестик!

Озирая из тьмы сквозь узкий просвет перископа равнину цвета выдубленной кожи, ярко сияющую на солнце, вы упираетесь взглядом

в крутой желтый холм с плоской верхушкой и выступом наподобие корабельного носа, вставший на защиту примостившегося над рекой желтокирпичного города. Над городом высилось четыре церковных шпиля. Вдаль бежали три дороги, окаймленные зелеными деревьями. Вокруг зеленели поля, засаженные сахарной свеклой. Город выглядел мирным, красивым, не тронутым войной, и назывался он Теруэль. Мятежники держали его с самого начала войны. За городом виднелись красные горы; дождь и ветер превратили их в колонны, напоминающие трубы органа; влево за горами открывалось чертово поле, рыжая безводная пустыня.

— Ну как, видите? — спросил невидимый голос.

— Вижу, — ответил писатель, возвращаясь от пейзажей к войне, и, нацелив вновь окуляр в сторону холма, стал разглядывать белые шрамы и выбоины на нем, говорившие о толщине бетона.

— Вот он каков, этот Мансуэто. Потому мы и не взяли Теруэль, — сказал офицер.

Стоит внимательно вглядеться в эту естественную крепость, защищающую город с востока и окруженную высотками в форме наперстка, торчащими среди равнины подобно конусооб-

разным натекам гейзера и тоже закованными в бетон, и вы поймете, что ни одной армии не подступиться к Теруэлю, кроме как с северо-запада.

Анархистские части, стоявшие восемь месяцев в горах над Теруэлем, так хорошо постигли эти трудности, что предпочли вообще не вступать в соприкосновение с противником. Посетив их старые позиции, мы удостоверились, что они находятся на расстоянии где одного, где двух-трех километров от проволочных заграждений мятежников. Кухни были вынесены вперед, окопы служили для отдыха, и контакты с противником носили чисто дружеский характер, когда, например, анархисты — так рассказал нам офицер республиканской армии, командующий сейчас этим сектором, — приглашали мятежников сыграть с ними в футбол.

Мадрид

Говорят, не дано слышать пулю, которая вас убьет. Про пулю — это верно; если вы ее услышали, значит, она пролетела мимо. Но ваш корреспондент только что слышал полет снаряда, ударившего в его отель. Снаряд вышел из орудия, летел с возрастающим свистом и ревом,

словно поезд в метро, и потом врезался в карниз над окном, засыпав всю комнату штукатуркой и битым стеклом. И, следя, как осыпается со звоном стекло, и вслушиваясь, не будет ли второго снаряда, вы проникаетесь вдруг сознанием — да, вы снова вернулись в Мадрид.

В Мадриде сейчас тихо. Действующий фронт — в Арагоне. Под Мадридом почти не воюют, одни лишь подкопы, контрподкопы, прорывы в траншеи, минометный обстрел и снайперский огонь, — словом, застывшая на мертвой точке осадная война в Карабанчеле, Усере и в Университетском городке. Город почти не обстреливается. Бывают дни совсем без обстрела, погода стоит отличная, и на улицах много гуляющих. В магазинах готового платья всего полно; открыты магазины фото- и кинопринадлежностей, ювелирные магазины, лавки торговцев картинами; бары переполнены.

Пива не хватает, и виски почти нигде не найдешь. В витринах выставлены испанские подделки ликеров, виски и вермута. Для внутреннего потребления они не годятся, но я купил одну бутылку с этикеткой «Милорд», чтобы обтирать щеки после бритья. Немножко щиплет, зато убивает бациллы. Я думаю, это виски годится и для

прижигания мозолей, но нужно соблюдать осторожность; капнешь на костюм — будет дырка.

Толпа на улице весела, заваленные по фасаду мешками с песком кинотеатры к вечеру переполнены. Чем ближе к фронту, тем народ веселее и беззаботнее. А на передовой оптимизм доходит до того, что не далее как третьего дня ваш корреспондент наперекор здравому смыслу поддался уговорам и полез купаться в речку, протекающую по ничьей земле под Куэнкой.

Речка была быстрая, очень холодная и простреливалась с фашистских позиций, отчего она показалась мне на вид еще холоднее. Я так продрог, предвкушая это купание, что, когда наконец залез в воду, мне стало уютно. Еще уютнее мне показалось, когда я вылез из речки и укрылся за деревом. Затем республиканский офицер, участник нашего оптимистического купания, стал стрелять из пистолета в водяную змею и поразил ее с третьего выстрела. Это вызвало нарекания со стороны другого, менее оптимистичного офицера, который спросил стрелка, чего он, собственно, хочет, уж не того ли, чтобы ему ответили пулеметным огнем?

Больше в тот день мы не стреляли по водяным змеям, зато я приметил в реке трех форелей;

каждая была фунта на четыре, тяжелые, крепкие, бокастые рыбины; когда они выныривали на поверхность, чтобы схватить брошенного кузнечика, то буравили такую воронку, словно в воду бросили булыжник. И ниже по течению реки, где до войны никогда не бывало проезжих дорог, всюду встречалась форель, мелочь на перекатах, а крупная в ямах и в тенистых местах у берега. За такую речку стоило повоевать, хоть купаться в ней было холодновато.

Только что снаряд попал в дом чуть подальше моего отеля, где я стучу сейчас на машинке. Плачет маленький мальчуган. Милиционер взял его на руки и старается успокоить. Убитых на нашей улице нет, и те, кто побежал, замедляют шаг и нервно посмеиваются, а те, кто не тронулся с места, поглядывают на прочих не без горделивости, ибо мы живем в городе, который называется Мадрид.

Брунете — не отчаянная попытка снять фашистскую осаду, а первая наступательная операция республиканцев по плану, который исходит из трезвого подсчета, что война может продлиться еще года два.

Чтобы правильно понять войну в Испании, следует помнить, что мятежники держат сплош-

ную линию фронта протяженностью в девятьсот миль. Они владеют также укрепленными городами, не соединенными между собой какими-либо защитными сооружениями; но, когда эти города господствуют над местностью, как замки в феодальное время, их неизбежно приходится охватывать с флангов, окружать и брать приступом, как брали замки в те старые времена.

Войска, девять месяцев лежавшие в обороне и не имевшие приказа наступать, узнали впервые в апреле в Каса-дель-Кампо, что в современной войне фронтальная атака на хорошо укрепленную пулеметами позицию равна самоубийству. Брать такую позицию, если она не подавлена с воздуха, нужно скрытно и внезапно или же применяя маневр.

Республиканцы впервые применили маневр в контрнаступлении под Гвадалахарой, которое привело к разгрому итальянцев. При Брунете республиканские войска еще не имели достаточно опыта, чтобы учесть фактор времени и обеспечить продвижение по всему фронту. Зато они закрепились на взятых позициях и отразили контратаку противника, нанеся ему тяжкие для него потери. Республиканцы потеряли убитыми и ранеными пятнадцать тысяч. Мятежники,

атаковавшие хорошо защищенные позиции на открытой местности, наверняка потеряли много больше.

На этой неделе, пока войска Франко наступали в Астурии, республиканские части провели еще одну операцию по «прогрызанию фронта» на крайнем севере Арагона и вышли на подступы к Хаке. Они стоят сейчас на подступах к Уэске, Сарагосе и к Теруэлю. Улучшая свои позиции, они могут длительно вести серию малых наступлений с ограниченными целями; эти операции проводятся с минимальными потерями и в процессе подготовки к большому наступлению служат хорошей школой маневренной войны.

Если так и будет продолжаться, Франко придется выделять все новые и новые воинские части, чтобы сдерживать малые наступления Республики.

Чтобы повысить свой престиж за границей, а вместе с тем укрепить свой кредит, он будет, наверное, двигаться вдоль побережья, занимая города, не имеющие важного стратегическою значения, но зато известные всем по названию; или ему придется вновь атаковать Мадрид и дорогу на Валенсию; с этим можно тянуть, но в конечном счете от этого ему не уйти.

Мое личное мнение, что, войдя в Мадрид и не сумев его взять, Франко проиграл; он увяз в Мадриде. Рано или поздно ему придется поставить все на карту и начать генеральное наступление на Кастильском плато.

Штаб республиканцев, Теруэльский фронт

За эти три дня Теруэль полностью окружен и республиканцы взяли один за другим Конкуд, Кампилло и Виллостар, важнейшие в системе обороны Теруэля населенные пункты, защищавшие город с севера, юго-запада и с юга.

В пятницу, когда мы, скорчившись за валунами и едва удерживая в руках полевые бинокли, вели наблюдение с господствующей над городом высоты — ветер, дувший со скоростью пятьдесят миль в час, сметал снег с горных склонов и швырял его нам в лицо, — республиканские войска взяли Муэта-де-Теруэль, один из охраняющих город причудливых наперсткообразных утесов, торчащих подобно отложениям угасшего гейзера.

Укрепленный бетонированными пулеметными точками и окруженный противотанковыми ловушками из заостренных стальных рельсов,

он считался неприступным, но четыре роты штурмовали его, словно в жизни не слыхали от военных специалистов, что означает слово «неприступный». Его защитники бежали в Теруэль, а к вечеру в тот же день другой батальон преодолел бетонированные точки противника на кладбище, и последние оборонительные укрепления Теруэля были подавлены или обойдены.

В сильный мороз, при яростном ветре и непрекращающейся снежной буре армия Леванта при частичной поддержке маневренного резерва и без всякой помощи Интернациональных бригад провела это наступление и навязала противнику бой в Теруэле в момент, когда, как всем было известно, Франко планировал наступление в Гвадалахаре и в Арагоне.

Вчера вечером, когда мы покидали Теруэльский фронт, чтобы за ночь доехать до Мадрида и передать это сообщение, стало известно о появлении к северу от Теруэля тысячи итальянцев, снятых из-под Гвадалахары; республиканская авиация разбомбила и обстреляла из пулеметов их поезда и моторизованный транспорт. Осведомленные лица считают, что противник сосредоточил для контрнаступления на участке Каталаюд–Теруэль до тридцати тысяч войск. Тогда независимо от

того, будет ли взят Теруэль, предпринятое наступление достигло своей цели, связало руки Франко и сорвало его план одновременного наступления под Гвадалахарой и на Арагонском фронте.

На фоне ландшафта, ледяного, как гравюра на стали, неистового, как снежная буря в Вайоминге или ураган на открытом горном плато, шло это, быть может, решающее в ходе войны сражение. В англо-французскую войну 1808–1814 годов французы взяли Теруэль в декабре — обнадеживающий пример для нашего штурма. Справа виднелись снежные горы с лесистыми склонами, ниже виднелась дорога на господствующий над Теруэлем Сагунтский перевал, он в руках мятежников, и оттуда, по прогнозам многих военных экспертов, Франко должен будет ударить, чтобы выйти к морю. Внизу, подобный желтому боевому кораблю, возвышался Мансуэто, естественная крепость и главное прикрытие Теруэля; республиканцы обошли его, продвинувшись на север, и он стоял без пользы, как севший на мель дредноут.

Чуть пониже виднелся шпиль и охряно-желтые дома Кастральво; республиканские части захватили его на наших глазах. Справа у кладбища шел бой, взрывы снарядов поднимались веером,

а дальше городок, аккуратно обрисованный на фантастически изрытом фоне из красного песчаника, застыл, как овца на привязи в хлеву, до того перепуганная приходом волков, что не смеет даже дрожать.

Как поведут себя под Теруэлем итальянцы и марокканцы при нынешней погоде — трудно сказать. Лошади не вынесли холодов в этом наступлении. У машин застывает вода в радиаторах и лопаются блоки цилиндров. Но люди сильней непогоды и уже показали это. Пока что сделаем два вывода: чтобы выиграть сражение, по-прежнему необходима пехота, и неприступные позиции не более тверды, чем воля тех, кто их защищает.

Штаб республиканцев, теруэльский фронт

Слева от нас люди пошли в атаку. Согнувшись, со штыками наперевес, они сперва побежали неуклюжим галопом, потом стали тяжело карабкаться на холм. Двое раненых покинули строй. У одного было удивленное лицо впервые раненного человека; он еще не чувствует боли, и ему невдомек, почему он лишился сил. Второй пони-

мал, что его дело плохо. Больше всего на свете мне сейчас хотелось раздобыть лопату, чтобы окопаться и укрыть голову, но лопат поблизости не было.

Справа от нас желтой громадой высится Мансуэто. Республиканская артиллерия стреляет через наши головы; за выстрелом сперва слышится звук, словно рвут шелк, а потом вдруг вздымающиеся черные дымки разрывных снарядов ложатся на испещренные рубцами оборонительные сооружения Мансуэто.

Послышался радостный крик с передовой, и мы увидели, что за ближним гребнем фашисты оставляют первую линию окопов.

Они бежали пригнувшись, прыжками; это было не бегство, а отступление, и, чтобы прикрыть его, пулеметы в тылу у них стали поливать наш гребень. Я опять затосковал по лопате, и мы стали следить, как республиканцы медленно, но неуклонно форсируют крутой подъем. Так шло весь день, и к ночи они прошли шесть километров, считая от рубежа, где впервые поднялись в атаку.

Дым сегодня не вьется на ветру. После арктического холода, пятидневного штормового ветра и снежной бури наступило нечто вроде бабьего

лета; дымки разрывов вздымаются вверх и тихо оседают. И весь день войска наступали, закреплялись и снова шли в атаку. Когда мы проходили по дороге, солдаты, сидевшие в кювете, приняв нас за старших офицеров (ничто так не выделяет человека на фронте как штатское платье), кричали нам:

— Поглядите на тех, за гребнем! Когда же мы пойдем в атаку? Отдайте команду!

Мы сидели за деревьями — толщина стволов действовала успокаивающе — и смотрели, как пули срезают сучки с нижних свисающих веток. Заметив, что фашистские самолеты повернули в нашу сторону, мы укрылись в расщелине. Но они описали круг и сбросили бомбы на республиканские позиции у Конкуда. И весь день до самого вечера мы шли вперед, следуя за неуклонно и беспощадно продвигающимися республиканскими частями. Вверх по нагорью, через железную дорогу, с боем через туннель, еще выше, в обход Мансуэто, потом вниз, к повороту у второго километра, и, наконец, снова в гору, чтобы выйти на подступы к городу, геометрические очертания которого и семь церковных башен резко вырисовывались на фоне заходящего солнца.

В вечереющем небе господствовала республи-

канская авиация; истребители чертили небо, стремительные, словно ласточки; и когда мы следили в бинокль за их изящным полетом, ожидая воздушного боя, к нам вдруг с грохотом подкатили два грузовика и из кузова, откинув задний борт, высыпали мальчишки, которые вели себя так, точно их привезли на футбольный матч. Лишь разглядев, что у каждого ремень с шестнадцатью бомбовыми подсумками и за спиной по два рюкзака, я понял, что это динамитчики.

Капитан сказал:

— Мальчики отлично работают. Последите, как они прорвутся в город.

И вот в последних лучах потухающего заката и в свете окруживших город орудийных вспышек, более желтых, чем искры в троллейбусных проводах, но столь же мгновенных, мы увидели, как эти мальчики развернулись в ста метрах от нас и под завесой ураганного пулеметно-автоматного огня скользнули вверх по последнему склону прямо к городу. Короткая заминка у стены, потом черно-красное пламя, грохот рвущихся бомб, и, перемахнув через стену, они бросились в город.

Апрель, 1938
Барселона

Отличным весенним утром мы выехали на фронт. Вчера вечером, когда мы прибыли в Барселону, все казалось грязно-серым, туманным и грустным, но сегодня было тепло и солнечно и розовые цветы миндаля расцвечивали серые холмы и оживляли пыльнозеленые вереницы оливковых деревьев.

Когда, уже в виду Реуса, мы катили по прямому гладкому шоссе, окаймленному с обеих сторон оливковыми рощами, сидевший на откидном сиденье водитель закричал: «Самолеты! Самолеты!» — и под скрежет покрышек мы затормозили под деревом.

— Прямо над нами, — сказал водитель, и когда ваш корреспондент, уже лежа в кювете, слегка повернул голову, то увидел, как моноплан спикировал, выровнялся, но потом рассудил, как видно, что по одной машине на шоссе не стоит палить из восьми бортовых пулеметов.

Пока мы глазели, послышался грохот сброшенных бомб, и Реус, видневшийся в миле от нас на

фоне холмов, исчез в облаке кирпично-красного дыма. Главная улица в Реусе была вся в обломках разрушенных домов и залита водой из пробитого водопровода; мы остановили машину, чтобы найти полицейского — пристрелить раненую лошадь, но владелец лошади решил, что ее еще можно спасти, и мы поехали дальше — к горному перевалу, через который идет дорога к каталонскому городку Фолсету. Скоро мы повстречали повозки с беженцами. На одной старуха рыдала, заливаясь слезами и взмахивая кнутом. Больше я не видел в этот день плачущих женщин. За другой повозкой шло восьмеро детей, маленький мальчуган налегал на колесо на крутых подъемах. В повозках, сваленные кучей, лежали увязанные в циновки постельные принадлежности, швейные машины, одеяла, кухонная утварь, матрацы, мешки с зерном для лошадей и мулов; козы и овцы тащились за повозками, привязанные к задку. Паники не было, просто все шли по дороге.

Сидя на толстом тюке из одеял, на муле ехала женщина, держа краснолицего младенца, которому нельзя было дать более двух дней. Голова матери покачивалась вверх и вниз в такт шагающему мулу, иссиня-черные волосы ребенка посерели от пыли. Муж вел мула под уздцы, огля-

дываясь назад через плечо, потом рассматривая дорогу перед собой.

— Когда родился? — спросил я, поравнявшись с ними.

— Вчера, — горделиво ответил он, и мы покатили дальше. Все, кто шел или ехал по дороге, куда бы не направляли взгляд, все время поглядывали еще вверх, следя за небом.

Потом мы увидели солдат. Некоторые были с винтовками и несли их, держа за дула, другие — совсем без оружия. Сперва они шли кучками, а дальше сплошным потоком, целыми подразделениями. Потом мы увидели солдат в грузовиках, марширующие колонны, тягачи с орудиями, с танками, с противотанковыми пушками и зенитками и нескончаемый поток пеших беженцев.

По мере того как мы продвигались, людской поток густел и набухал, и под конец не только дорога, но и все тропы для скотины были забиты беженцами и солдатами. Не было никакой паники, люди просто шли, и у многих были бодрые лица. Быть может, тут влияла погода. В такой ослепительный день было смешно подумать, что кто-то может умереть.

Барселона

Два дня ваш корреспондент занимался опаснейшим делом в этой войне. Мы следовали вдоль неустановившейся линии обороны, которую противник атакует механизированными силами. Опасное это дело потому, что перед вами сразу вырастает танк, а танки не берут в плен и не кричат «стой!». И стреляют по вашей машине зажигательными пулями. И вы видите их, когда они уже перед вами.

Мы объезжали фронт, стараясь найти батальон Вашингтона-Линкольна, о котором ничего не было известно уже два дня, с момента падения Гандесы. Последний раз их видели, когда они обороняли высоту на подступах к Гандесе. На правом фланге английский батальон из той же бригады отбивал весь день атаки фашистов, а когда стемнело, обе части были взяты в кольцо, и никто не знал, что сталось далее с батальоном Вашингтона-Линкольна.

Оборонявший высоту батальон насчитывал четыреста пятьдесят бойцов. Сегодня мы разыскали восьмерых; говорят, что, возможно, еще сто пятьдесят вырвалось из окружения… Трое из

восьмерки, Джон Гейтс, Джозеф Хект и Джордж Уоттс, переплыли Эбро у Миравейта. Когда мы днем увидели их, они только что оделись и были еще необуты. Все трое просидели голыми почти сутки с того времени, когда вчера переплыли реку. Они сказали, что Эбро быстрая река, вода — ледяная, и еще шестеро, плывших с ними, четверо из которых были ранены, — утонули.

Мы стояли в пыльном кустарнике, в стороне от нагоняющей страх дороги и уже далеко от фашистов, наступающих вдоль Эбро, и слушали рассказ о том, как эти люди вырвались из окружения. О том, как они держали Гандесу, когда механизированные части и танки уже были у них в тылу. О страшной ночи, когда батальон разбился пополам и один отряд пошел на юг, а второй на восток. И о том, что группа из тридцати пяти бойцов, с которой шли начальник штаба, комиссар бригады и легко раненный под Гандесой комиссар батальона, наверно, попала в плен у Корберы, чуть севернее Гандесы (это рассказывал нам ведший их офицер-разведчик).

Об их злоключениях, когда они пересекали линию противника, о том, как ночью они забрели в расположение фашистов и их окликнули, и они спросили по-испански: «Что за часть?» — и

сонный голос ответил по-немецки: «Восьмая дивизия!» И как они снова попали в расположение противника, и кто-то наступил на руку спящему, и тот сказал по-немецки: «Сойди с руки!» Как они бежали по открытому полю, чтобы выйти к Эбро, и артиллерия вела по ним прицельный огонь, корректировавшийся с самолета-наблюдателя у них над головой. Наконец, как они из последних сил переплыли Эбро и побрели по дороге, не с тем, чтобы проститься с войной, не с тем, чтобы добраться до границы, нет, чтобы собрать остатки батальона, переформироваться и примкнуть к своей бригаде.

Офицер-разведчик, рассказавший о том, что случилось с начальником штаба, сказал:

— Я шел головным через фруктовый сад чуть севернее Корберы, когда меня окликнул кто-то в темноте. Я вытащил пистолет, а он позвал капрала из охранения. Когда капрал подошел, я крикнул своим: «За мной, за мной!» — и побежал через сад, чтобы выйти севернее города. Но никто не пошел за мной. Я слышал, как они побежали к городу. Потом послышалось: «Руки вверх! Руки вверх!» Похоже, что их окружили. Быть может, они прорвались, но вернее, что некоторые попали в плен.

Англичане, которыми командовал Уотерс, нашли лодки выше по Эбро и переправились без потерь. Триста человек во главе с Уотерсом шли по направлению к нам, но мы не могли больше ждать, мы спешили в Тортосу, чтобы выяснить там обстановку…

Тщательно объезжая ящики с динамитом, заготовленные, чтобы взорвать маленькие каменные мосты на узком шоссе, мы ехали вверх по долине реки Эбро… Остановившись спросить солдата, шедшего неспешным шагом к фронту, где стоит штаб, мы услышали впереди треск пулеметных очередей и разрывы снарядов. Потом, перекрывая эти успокоительные звуки, означавшие, что фронт стабилизировался, послышался гул самолетов и «бах-бах-бах!» падающих бомб.

Оставив машину в тени нависающего левого берега, мы взобрались на крутой ступенчатый утес, откуда можно было следить за действиями авиации. Внизу текла река, в излучине которой лежал городок Черта; дальше самолеты бомбили дорогу, вившуюся среди гор, которые казались изготовленными из серого папье-маше для какой-то фантастической постановки.

Вокруг самолетов распускались черные дымки зенитных снарядов, из чего следовало, что

самолеты республиканские. У республиканских зениток белые разрывы. Потом с таким гулом, словно небо рушится на землю, прилетели новые бомбардировщики. Прижавшись к каменной стене, чтобы уйти от солнца, мы определили по красным оконечностям крыльев, что и это самолеты республиканцев.

Когда гул моторов утих, впереди громче застучали пулеметы, и, когда артиллерийский огонь усилился, мы поняли, что дальше по дороге бойцы поднялись в атаку.

Возле машины стоял солдат-андалузец из дивизии, державшей оборону за рекой. Он был высокий и костлявый, очень спокойный и очень усталый.

— Можете свернуть к городу, — сказал он, — но мы немного отступили сегодня, так что далеко не заезжайте.

Он рассказал, что его бригада со времени прорыва фашистов к морю трижды попадала в кольцо, но все же пробилась, ночью вышла из окружения и сейчас соединилась со своей дивизией.

— Мы держим их здесь третьи сутки, — сказал он. — Итальянская пехота ничего не стоит. Каждый раз, как мы контратакуем, они бегут. Но у них гораздо больше самолетов и артиллерии,

а мы деремся уже три недели без отдыха. Люди очень устали.

Сентябрь — ноябрь 1938
Таррагона

Восточный берег Эбро высок, и так и кажется, что с горных круч вот-вот проскачет на лихом коне герой какого-нибудь «вестерна», а за ним по пятам шериф и понятые. Пейзаж лишком романтичен, он как-то не подходит для войны. Но наш берег господствует над позициями на западном берегу, и отсюда удобно будет наблюдать за продвижением итальянцев. Впрочем, они не атакуют. Наваррцы и марокканцы пробиваются с той стороны перевала по дороге Кати–Альбукасар, а итальянцы, как видно, застряли совсем.

Наконец, спустившись вниз, к реке, мы увидели на том берегу неприятельских пехотинцев. Они взбирались по крутой дороге и тянули за собой своих весьма немоторизованных мулов. Прямо за рекой высился старый замок с двумя пулеметами на башнях и жестяной банкой в окне. Жестяная банка сверкает на солнце; в темном дверном проеме показался неприятельский солдат, поглядел на нас и снова пропал.

На том берегу, на отмели, лежит на боку длинное паромное судно. Республиканцы обстреляли его из противотанкового орудия, снаряд просвистел над рекой, прорезая гулкое эхо, и разорвался над самой целью. Второй угодил в корму. Следующие два тоже попали в цель, одним снесло фальшборт. Решив, что паром выведен из строя, артиллеристы стали пристреливаться к двери замка. Первый снаряд взметнул желтую пыль. Потом они дважды попали точно в дверь. Я посоветовал им выстрелить в окно с жестяной банкой, но они сказали, что снаряды стоят по семьсот песет штука. Из замка нас обстреляли снайперы, и мы сочли, что день прошел спокойно.

Тортоса

Перед нами в небе пятнадцать легких бомбардировщиков «хейнкель» в сопровождении истребителей «мессершмиттов» медленно описывают круг за кругом, как стервятники над раненым животным. Каждый раз в одной и той же точке слышится грохот сброшенных бомб. А когда все в том же боевом порядке они проходят над голыми холмами, каждый третий пикирует и стреляет из пушек. И так три четверти часа без

малейшей помехи они бомбят и стреляют; их цель — пехотная рота, залегшая в этот жаркий весенний полдень на голом бугре, чтобы не пустить врага к шоссе Барселона — Валенсия.

А над нами в высоком, безоблачном небе одна за другой эскадрильи бомбардировщиков с ревом проносятся над Тортосой. Когда они сбросили свой первый грохочущий груз, маленький городок на Эбро исчез в поднявшемся желтом облаке пыли. За первыми бомбардировщиками пришли другие, пыль не успела осесть и наконец повисла желтым туманом над долиной Эбро. Тяжелые бомбардировщики «Савойя-Марчетти» сверкают серебром на солнце, на смену отбомбившимся подходят другие.

Все это время перед нами кружат и пикируют «хейнкели» с тем механическим однообразием движения, с каким в тихий вечер где-нибудь дома проходят шестидневные велосипедные гонки. А внизу, наспех окопавшись за камнями и просто в расщелинах почвы, лежит пехотная рота, пытаясь одна сдержать наступление вражеской армии.

В четыре часа утра при лунном свете, заливавшем каменистые кручи, выступающие вдруг из тьмы кипарисы и причудливые, обрубленные

снарядами стволы платанов, мы ехали к линии фронта. На рассвете мы миновали древние римской стройки стены Таррагоны, а когда стало пригревать солнце, повстречали первые партии беженцев.

Мы хотели прорваться из Тортосы в Барселону и имели к тому множество веских причин, включая спасение жизни, свободу и стремление к счастью. Но когда мы прибыли в Тортосу и часовой сказал, что фашисты разбомбили мост и ехать дальше нельзя, оказалось, что мы столько думали об этом, что сейчас почти совсем не испытали испуга, только странное чувство: «вот оно и случилось».

— Попробуйте проехать через маленький мостик, там чинят настил, — сказал часовой.

Саперы пилили и стучали молотками споро и яростно, как дружная команда на судне, терпящем бедствие в открытом море. Справа свисал в реку железный пролет большого моста через Эбро; другого пролета не было совсем. Усилия сорока восьми бомбардировщиков и бомбы весом не менее чем триста–четыреста пятьдесят фунтов, если судить по воронкам и развалинам домов, доконали тортосский мост. В городе пылала цистерна с бензином. Ехать по улице было

все равно что лавировать среди лунных кратеров. Железнодорожный мост уцелел, и, конечно, скоро наведут понтонную переправу, но тем, кто сегодня остался на западном берегу Эбро, предстоит тревожная ночь.

В дельте Эбро

Самолеты пикировали и били из пулеметов вдоль всего Тортосского шоссе. Немецкие летчики, впрочем, большие педанты. Если вы попали в заданный им урок, вам придется плохо. Но если вы в задание не входите, можете подойти к ним поближе и даже посмотреть на них, как смотрят на львов во время кормежки. Если есть приказ на обратном пути обстрелять дорогу, они вас не упустят. А если такого приказа нет, они спокойно отправятся домой, как отбывшие служебный час банковские клерки.

На дороге к Тортосе положение было критическим из-за действий вражеской авиации. Но здесь, в районе дельты, артиллерия еще только разогревалась, как запасные бейсболисты перед вводом в игру. Мы проехали по дороге, которую завтра нельзя будет даже перебежать, не заплатив за это жизнью, и дальше вдоль парал-

лельного реке канала, прямо к белому зданию, доминирующему над желтым городком за Эбро, откуда фашисты готовят свое наступление.

За последние трое суток на том берегу, под боком у наступающей армии генерала Аранды, ежечасное ожидание, что вот-вот нарвешься на вражескую кавалерию, броневики или танки, было так же реально, как клубы пыли, которою здесь дышишь, как этот дождь, который прибил наконец пыль и хлещет вас по лицу в открытой машине. Сейчас противники сблизились и будут драться за реку Эбро, но после напряжения последних дней этого ждешь как разрядки.

Артиллерийский огонь усилился. Два снаряда взрыли землю поблизости с некоторой пользой для нас; когда дым отнесло подальше к лесу, я набрал в поле, у проселка, ведущего к Тортосскому шоссе, полную охапку весеннего лука. Это мой первый лук нынешней весной, луковицы, когда я очистил их, были крупные, белые и не очень горчили. В дельте Эбро хорошая, плодородная земля, и завтра там, где посеян лук, развернется сражение.

Лерида

Ваш корреспондент вошел сегодня в Лериду. Это не такое трудное дело. Нужно только следить за ногами, чтобы твердо ступали, и не поддаваться холодку на спине, от лопаток и выше к затылку, когда пересекаешь сортировочную станцию под пулеметом, бьющим с башни на расстоянии пятисот ярдов.

Солдаты, которые держат восточную часть города, — ветераны мадридской обороны и построили свои окопы и пути сообщения, отлично использовав рельеф местности; это значит, что можно передвигаться на передовой, не рискуя получить снайперскую пулю в лоб.

Система укреплений так здесь развита и в таком образцовом порядке, что вашему корреспонденту припомнились старые дни под Мадридом, в Усере и в Каса-дель-Кампо. Только здесь по-другому: все зелено и обильно цветет. Грушевые деревья стоят подобные канделябрам вдоль серых стен, в которых кирками пробиты бойницы для снайперов. Траншеи идут прямо по огородам, по гороху, бобам и капусте. Под миндальными деревьями в зелени пшеницы сияют

маки, и голые серые и белые мадридские стены кажутся очень далекими.

Солдат, ведущий наблюдение у стены, дважды выстрелил, раз за разом, и щека у него покраснела от отдачи длинного безобразного маузера. Приглядевшись еще, он поманил меня рукой.

— Посмотрите на этих дядюшек, — сказал он.

— Стреляй в них, — сказал офицер, — смотреть нечего, бей их.

Через отверстие в стене прямо напротив я разглядел в бинокль сужающийся к концу ствол легкого пулемета, торчащий в ста метрах от нас из садовой решетки. Меж фруктовых деревьев в саду показался человек, потом пропал.

— Стреляй в первого, кто покажется, — приказал офицер, — а когда их пулемет заработает, мы накроем его миной. С открытой позиции в марокканцев трудно целиться.

Прозрачная вода Сегре быстро бежит по каменистому ложу, в самом мелком месте, если перейти реку вброд, будет по горло. Стоявший со мной капитан сказал, что вода подошла ему под самый нос, когда, взорвав мосты, они перешли реку.

— Как только выберется свободное время, непременно научусь плавать, — добавил он

очень серьезно. — Важнейшее дело, когда ведешь арьергардные бои. Ведь после каждого взорванного моста надо выбираться на тот берег. Без умения плавать воевать солдату нельзя.

В тысяче футов под нами лениво колышется синее море, и нас всего двое в двадцатидвухместном пассажирском самолете. Мы летим вдоль побережья, захваченного Франко. Два белых городка — это Винарос и Беникарло, а коричневая холмистая гряда, сползающая к морю, словно приникший к воде динозавр, — это линия фронта республиканцев, обороняющих от Франко Кастеллон.

В Аликанте, куда мы прилетели, было полно французских и английских судов. Грузовые пароходы, зафрахтованные агентами республиканского правительства, разгружали зерно и уголь. Что привезли другие, нам не удалось выяснить, не было времени достать пропуск в таможню. Город переведен на военный режим, во всех отелях и ресторанах за пять песет кормят одним и тем же. Пять песет — меньше пяти центов на черной бирже и около тридцати центов по государственному курсу, и вам дают на завтрак порцию тушеного мяса, нормированный паек хлеба и два кусочка сыра. К обеду — миска супа,

рыба, счастливо прорвавшаяся через блокаду, яичница из одного яйца и апельсин.

В Валенсии цена та же, но пища много лучше; шесть закусок на выбор, отличное мясное рагу и апельсины — сколько хочешь. Валенсия впервые почувствовала сейчас, что идет война, и, хотя в кафе, как и прежде, не найти свободного места, мужчины призывного возраста все в военной форме.

Озирая по пути к фронту неоглядные рисовые поля Альбуферы и зеленое изобилие Хуэрты, ваш корреспондент понял, почему Валенсия так хорошо ест. Плодороднее земли нет во всем мире, и республиканское правительство держит в своих руках всеиспанскую житницу в Ламанче, всеиспанский огород, фруктовый сад, а частично и оливковую рощу в Мурсии, Аликанте и Кастеллоне.

— С паникой покончено, — сказал командующий. — Они рвутся вперед с тех пор, как вышли к морю, и на побережье тяжелые бои, но мы отходим каждый раз не более чем на шаг. Шаг по земле, а не по карте, как было в первый день, — добавил он, усмехаясь.

Мадрид

В свежеотрытом окопе лепестки мака с травянистых лугов, побитых сейчас холодным горным ветром. За соснами, окружившими старый королевский охотничий домик, белеет высокое мадридское небо. В сорока ярдах от нас смертоносно постукивает легкий пулемет «фиат».

Укрыв головы за земляным бруствером, мы смотрим на бугристое, изрытое поле, где тринадцать месяцев тому назад захлебнулось наступление Ларго Кабальеро[32], на поросшую сосняком, вознесшуюся над Мадридом гору Гарабитас. Гора на том же месте, как и мадридское небо, но за последние два месяца республиканцы методично охватывают ее с обоих флангов своими траншеями.

Прославленная бригада «усерских кротов», взявшая «траншею смерти» над разрушенной Усерой и теснившая противника на этом участке фронта подкопами и минами со всех позиций,

---

[32] Примечания: 32

Франсиско Ларго Кабальеро (1869–1946) — испанский политик, глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и Всеобщего союза трудящихся. В период второй республики занимал пост министра труда (1931–1933) и был председателем правительства (1936–1937).

сейчас методично продвигается вперед, обтекая эту гору, устоявшую против всех атак. Я рад был встретиться с «кротами». Я не был у них с начала декабря и хотел узнать, все таков ли их боевой дух после того, как Франко отрезал Мадрид от Барселоны.

— Покажите мне по карте, что там стряслось в Каталонии, — попросил меня их командир. Ваш корреспондент показал ему, где проходит сейчас линия фронта, и объяснил, что там произошло. Командир слушал, не выказывая особого интереса.

— Так, так, — сказал он. — А сейчас и я вам кое-что покажу. Здесь много лучше, чем в Усере. Грунт легче для работы, и мы придумали замечательный план.

Поразительное дело! Вот чего не понять иностранцу, берущемуся судить о нынешней войне в Испании. Я имею в виду регионализм испанцев. Это порок, когда нужно провести операцию в крупном масштабе. Но вот противник отрезал их от соседних участков фронта, и они ничуть не испуганы, даже довольны, что им не нужно теперь координировать свои действия с действиями соседей.

Сегодня я беседовал с десятком испанских

офицеров, старых моих знакомых, и если кто и спросил о ситуации на Эбро и на побережье, то лишь мимоходом. Каждый хотел рассказать мне о том, как обстоит дело на его участке фронта. В подобном умонастроении есть своя слабость, и с ней надо бороться. Но в нем есть также огромная сила, которую ничем не заменишь.

Мадрид сейчас ведет свою собственную войну и как будто доволен. Левант воюет за себя и горд этим. Эстремадура и Андалузия воюют за себя и могут не тревожиться за Каталонию. Им это нравится. А Каталония воюет сама по себе и считает, что ей есть за что драться.

Удивительная страна, ничего не скажешь, и история уже показала, что стоит рассечь ее на части, и она становится особенно опасной. Когда она едина, провинции соперничают между собой. Но разделите их, и гордый дух сопротивления пылает в каждой области, в каждой провинции, в каждом городе. Это узнал побитый здесь Наполеон, узнают сейчас и два других диктатора.

Офицеры, с которыми я встречался за эти два дня на Центральном фронте, считают, что наличного снаряжения им хватит на год, не считая того, что выпускают военные заводы.

— Побольше артиллерии, автоматов и само-

летов, — говорят они. — И мы отразим наступление.

Отбрасывая ненужный оптимизм, должен сказать, что приезд сюда с Каталонского фронта разъяснил мне очень многое. Мадрид остался тем же и крепок, как никогда. День и ночь мадридцы роют траншеи и подкопы, чтобы обойти противника с флангов и приблизить конец осады. Впереди жестокий бой за Кастеллон; я думаю, что Франко попытается вбить клин из Теруэля, чтобы отрезать Кастеллон от Валенсии. И сколько бы не твердили европейские дипломаты, что через месяц все кончится, впереди еще год войны.

Испанская земля
Часть первая

Здесь испанская земля суха и жестка, и лица людей, работающих на этой земле, жестки и иссушены солнцем.

— Эта бесплодная земля даст большой урожай, если провести к ней воду.

— В течение пятидесяти лет мы стремились ее оросить, но нам мешали.

— Теперь мы проведем к ней воду и вырастим хлеб для обороны Мадрида.

Деревня Фуэнтедуэнья, где полторы тысячи человек живут и обрабатывают землю для общего дела.

Хорошее зерно — на мешках печать профсоюзов. Но его хватит только для деревни. Если оросить пустошь у деревни, Мадрид получит в десять раз больше хлеба, картофеля, вина и лука.

Деревня стоит на реке Тахо и на основной магистрали. Эта дорога — главная артерия между Валенсией и Мадридом. Мятежники во что бы то ни стало хотят перерезать ее.

Жители деревни обсуждают план орошения

безводных полей.

Они выходят в поле — наметить канавы.

Часть вторая

Вот подлинное лицо людей, идущих в бой. Они чем-то не похожи на всех остальных людей.

Люди не могут играть перед аппаратом, когда смерть тут же, рядом.

Крестьяне Фуэнтедуэньи слышат рев и говорят:

— Наши пушки.

Линия фронта идет, изгибаясь, с севера к Мадриду.

Это — сорванные двери опустевших домов. Те, кто пережил бомбардировку, тащат их на укрепление новых окопов.

Когда сражаешься, защищая свою родину, война становится почти буднями. Можно есть и пить, спать и читать газеты.

Громкоговоритель Народной армии — слышимость два километра.

Когда эти люди три месяца назад пошли на позиции, многие из них впервые держали в руках винтовку. Некоторые даже не умели ее перезаряжать. Теперь они обучают новобранцев, как

разбирать и собирать винтовку.

Это — траншеи, проходящие по самому Мадриду после взятия Университетского городка неприятелем. После нескольких контратак неприятель все еще находится в Каса-де-Веласкес, в замке налево, с двумя остроконечными башнями, и в разрушенном клиническом госпитале.

Бородатый человек — командир Мартинес де Арагон. До войны был адвокатом. Это был храбрый и талантливый командир. Он погиб в атаке на Каса-дель-Кампо в тот день, когда мы снимали этот бой.

Мятежники пытаются занять клинику.

Хулиан, парнишка из деревни Фуэнтедуэнья, пишет домой: «Папа, я приеду через три дня. Скажи маме».

Часть третья

Сбор воинских частей. Рота собралась, чтобы выбрать представителей на большой митинг в честь объединения всех отрядов Народной милиции во вновь формируемые бригады Народной армии.

Стальной кулак республиканской Испании.

Энрике Листер — каменщик из Галисии.

За шесть месяцев на фронте он из простого солдата стал командиром дивизии. Он один из самых блестящих молодых бойцов республиканской армии.

Митинг в честь объединения всех полков Народной милиции.

Энрике Листер говорит:

— Части народного ополчения, так же как и наш доблестный Пятый полк, становятся частями Народной армии, потому что они отлично выполнили свой боевой долг в обороне. Теперь, товарищи, настал час, когда мы переходим в наступление.

Карлос — один из первых командиров Пятого полка. Он говорит о Народной армии, о ее борьбе за испанскую демократию, за правительство, избранное самим народом.

В совместной борьбе мы выкуем новую, сильную Испанию!

Карлос говорит:

— Крепче ряды. Они не пройдут! Они не прошли! Им не пройти никогда! У Испании будет своя непобедимая, мощная армия! И на обломках прошлого ценою крови лучших сынов Испании будет создана демократическая, свободная и мирная страна — счастливая, цветущая Испания!

— Товарищи! Пятый полк влился в Народную армию и прекратил свое существование. Да здравствует наша столица, непобедимый, неприступный Мадрид! Да здравствует Народная армия, армия побед! Вперед! За могучую, счастливую Испанию! За победу!

Хосе Диас[33]. До того как стать членом испанского парламента, он работал по двенадцать часов в день. Хосе Диас говорит:

— Народная армия будет построена на принципах широко-демократизма. В ее состав войдут представители всех антифашистских партий. Это обеспечит крепкую спаянность и единение, а в них — залог победы. Она будет знать одно только соперничество — соперничество в героизме, в боевой доблести.

Густав Реглер. Один из писателей Германии, сражавшийся в Испании за свои идеалы. В июне он был тяжело ранен. Реглер говорит о единстве Народной армии. Оборона Мадрида навсегда останется примером верности и мужества.

Густав Реглер говорит:

---

[33] Примечания: 33

Хосе Диас Рамос (1896–1942) — испанский профсоюзный деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании в 1932–1942 гг. Руководил компартией во время гражданской войны в стране, не занимая государственных постов.

— Приветствую товарищей Пятого полка! Им — наше восхищение, наши лучшие чувства. Мы восхищаемся дисциплиной, проявленной вами при обороне Мадрида, мы восхищаемся вашим героизмом, мы храним в памяти имена ваших погибших товарищей. И сегодня мы приветствуем вас за высокую сознательность, проявленную вашим революционным полком в деле создания Народной армии.

Теперь выступает самая знаменитая женщина Испании. Ее называют Пасионария. Она не романтическая красавица, не Кармен. Она — жена бедного астурийского горняка. Но ее голосом говорит новая женщина Испании. Она говорит о новом испанском народе. Это новый народ, дисциплинированный и мужественный. Это новый народ, выкованный дисциплиной его бойцов, непоколебимым мужеством его женщин.

Пасионария говорит:

— Пятый полк внесет дух дисциплины, организованность, дух отваги и самопожертвования в нашу великую Народную армию, где объединены все лучшие силы нашей Республики, все лучшие чувства народа — от безудержной отваги наших бойцов на поле битвы до пыла наших девушек, агитирующих на фронте.

Слышен голос — его передают через громкоговоритель с фронта.

Хосе Нейва говорит:

— Солдаты дивизии «Двенадцать знамен»! Хосе Нейва говорит с вами. Вы узнаете меня? Я теперь среди ваших братьев в Республиканской Народной армии, где нас прекрасно приняли. Так тепло примут и вас, если вы перейдете сюда.

В подвалах этих разрушенных зданий засели неприятельские солдаты. Это марокканцы и гражданская гвардия. Они не трусливы — иначе они не удержались бы в таком безнадежном положении. Но они профессиональные солдаты, сражающиеся с вооруженным народом. Они сражаются, чтобы навязать народу против его воли волю военщины, и народ ненавидит их, ибо, не будь их упорства, не будь постоянной помощи Италии и Германии, мятеж в Испании окончился бы через шесть недель, после того как он вспыхнул.

Университетский городок. Слышна испанская команда:

— Два метра вправо… огонь!

Тем временем президент республики произносит речь в парламенте.

Президент Мануэль Асанья говорит:

— На нас напали, не считаясь с волей народа. Враг забыл, что испанские народные массы веками боролись против тирании. Он поражен их сопротивлением фашизму, их помощью нашей столице — Мадриду. Даже в самых глухих деревушках.

Мэр Фуэнтедуэньи говорит:

— Надо кончить эту работу вовремя, чтобы поскорей помочь обороне Мадрида. У нас уже есть машины: мы купили их на деньги, оставшиеся с прошлого года, и мы воодушевлены желанием работать. Сейчас нам нужен только цемент — скоро мы его получим.

Дворец герцога Альба разрушен бомбардировкой мятежников. Сокровища испанского искусства тщательно охраняются республиканскими войсками.

Этот батальон идет на отдых, и Хулиан, тоже получивший трехдневный отпуск, уезжает в деревню.

Письмо Хулиана отцу «Дорогой отец!

Долго не получал я ни от кого из вас ответа и теперь берусь за перо, чтобы черкнуть вам несколько слов. Мы хотим воспользоваться передышкой и провести несколько дней в деревне. Я приеду десятого. Скажи матери. Надеюсь найти

вас всех в добром здоровье.

Обнимаю тебя, твой любящий сын». Хулиан идет в поле, и слышно, как он кричит: «Папа!»

Часть четвертая

Мадрид по своему географическому положению является естественной крепостью, а народ, обороняя его, изо дня в день делает его все более неприступным.

Весь день приходится стоять в очереди за продуктами к обеду. Иногда продукты кончаются, прежде чем дойдешь до дверей магазина. Иногда снаряд падает близ очереди, дома ждут и ждут, но никто не возвращается и не приносит еду к обеду.

Враг не может войти в город и пытается разрушить его.

Этот человек не имеет никакого отношения к войне. Он бухгалтер, и в восемь часов утра он идет в свою контору, о теперь бухгалтеру приходится ехать не в контору и не омой.

Правительство призывает гражданское население эвакуировать Мадрид.

— А куда мы поедем? Где же нам жить? Как заработать на жизнь? Я не поеду. Я слишком стар.

Но мы должны беречь ребят, не пускать их на улицу — разве только если им нужно стоять в очереди.

Приток в армию растет после каждой бомбардировки, бессмысленные убийства возмущают народ. Люди всех профессий, всех специальностей записываются в республиканскую армию.

Тем временем президент республики выступает в Валенсии…

Хулиан пристраивается на пустой грузовик и приезжает омой раньше, чем думал.

Часть пятая

Хулиан обучает военному делу деревенских парней по вечерам, когда они возвращаются с поля.

В Мадриде проходит военное обучение будущий ударный батальон матадоров, футболистов и гимнастов.

Они прощаются — на всех языках мира слова прощания звучат одинаково. Она говорит, что будет ждать. Он говорит, о вернется. Он знает: она будет ждать. Ждать неизвестно его, под таким обстрелом! Кто знает, вернется ли он. «Береги малыша», — говорит он. «Ладно…» — говорит она

и знает, что это невозможно. И оба знают: на этих вот грузовиках люди отправляются в бой.

Смерть каждое утро приходит к этим людям, ее шлют мятежники вон с тех холмов, в двух милях отсюда.

Запах смерти — едкий дым взрывов и пыль развороченных камней.

Почему же они остаются? Они остаются потому, что это их город, тут их дома, их работа, тут идет их борьба, борьба за право жить по-человечески.

Ребятишки подбирают осколки снарядов, как раньше подбирали градины. И следующий снаряд попадает в них. Сегодня германская артиллерия увеличила порцию снарядов на каждую батарею.

Раньше смерть приходила только к старым и больным, а теперь она пришла ко всей деревне. Высоко в небе, отливая серебром, она идет к тем, кому некуда бежать, некуда прятаться.

Вот что сделали три «юнкерса».

Республиканские истребители сбили один из этих «юнкерсов».

Я тоже не умею читать по-немецки. Эти мертвецы уже из другой страны.

Пленные говорили, что их завербовали на работу в Абиссинии. Мы не допрашивали мертвецов,

но все их письма, которые мы прочли, были печальными. Итальянцы в битве под Бриуэгой потеряли больше убитыми, ранеными и пропавшими без вести, чем во всей абиссинской войне.

Часть шестая

Мятежники вновь атакуют дорогу Мадрид–Валенсия. Они перешли реку Хараму и пытаются взять Аргандский мост.

С севера стягивают войска для контратаки. Деревня работает: надо провести воду. Враг на дороге в Валенсию.

Пехота атакует — тут с аппаратом работать очень трудно. Медленное, тяжелое, невыразительное движение вперед… Люди идут цепями, звеньями по шесть человек. Предельное одиночество, которое зовется сближением с противником. И каждый знает — он тут один, и с ним рядом еще пять человек, а впереди — огромная неизвестность.

Вот момент, к которому готовятся все остальное время на войне. Момент, когда шесть человек идут вперед, навстречу смерти, идут по земле и каждым своим шагом утверждают: эта земля — наша. Из шести человек осталось пять. Потом

из четырех — трое, но эти трое остались и зарылись в землю. Они и удержали позиции. И с ними остались другие четверки, тройки, пары, которые были шестерками. Мост — в наших руках.

Дорога спасена.

Идет вода, она несет урожай. По этой дороге можно будет провезти его.

Люди, никогда не сражавшиеся раньше, не умевшие владеть оружием, люди, которым нужна только работа и хлеб, продолжают сражаться.

Жара и холод
Послесловие к дикторскому тексту «Испанской земли»

Потом, когда все окончено, получается фильм. Видишь его на экране, слышишь шумы и музыку. И свой собственный голос, которого раньше никогда не слыхал, звучит перед тобой и говорит слова, набросанные наспех, на клочках бумаги в темноте проекционной или в жарком номере гостиницы. Но то, что движется перед тобой на экране, совсем не то, что приходит на память.

Прежде всего вспоминаешь, какой был холод; как рано приходилось вставать по утрам; как ты уставал до такой степени, что в любую минуту

готов был свалиться и уснуть; как трудно было добывать бензин и как мы все постоянно бывали голодны. Кроме того, была непролазная грязь, а наш шофер был страшный трус. Ничего этого в картине не видно, кроме, пожалуй, холода, когда дыхание людей в морозном воздухе заметно и на экране.

Но отчетливее всего из этой холодной части фильма я помню, как я всегда таскал сырые луковицы в карманах куртки и ел их, к великому отвращению Йориса Ивенса и Джона Ферно, когда голод становился невыносимым. А оба они ни за что не взяли бы в рот сырой испанский лук, как бы им ни хотелось есть. Очевидно, потому, что оба они — голландцы. Но зато они всегда пили виски из большой плоской серебряной фляжки, неизменно пустевшей к четырем часам дня.

Величайшим техническим открытием, сделанным нами в то время, была бутыль, которую мы стали возить с собой, чтобы подливать из нее виски в нашу флягу, а величайшим нетехническим нашим открытием был Вальтер Хейльбрун.

После нашего знакомства с Хейльбруном, врачом Двенадцатой интернациональной бригады, у нас всегда был бензин — его бензин. Нам надо было только подъехать к бригадному госпиталю

— и нас кормили и давали нам бензин. У Вальтера всегда все было замечательно организовано. Он доставал нам транспорт. Он брал нас с собой в атаки, и большой кусок фильма в моей памяти — это лукавая улыбка, фуражка набекрень и медленный, забавный берлинско-еврейский говор Хейльбруна. Когда я засыпал в машине, возвращаясь откуда-нибудь ночью в Мадрид, Хейльбрун приказывал своему шоферу, Луису, сделать небольшой крюк к госпиталю в Морелахе. Просыпаясь, я видел ворота старого замка, и в три часа ночи мы ели горячий ужин на кухне. А потом, когда мы все засыпали мертвым сном, Хейльбрун шел делать свою работу, ту работу, которую он выполнял так умело, так тщательно, осторожно и умно — всегда с мечтательно-небрежным видом, как будто бы он ничего не делает.

Для меня Хейльбрун — большой эпизод этой части фильма. Но его нет на экране: и он, и Луис теперь похоронены в Валенсии.

Густав Реглер появляется на экране. Видишь его, слышишь его речь и потом еще раз видишь его, но уже не на митинге, а на позициях под огнем — очень спокойным, очень веселым. Деловой командир, указывающий бойцам ближайшую цель перед самой контратакой. Реглер для меня

— большой эпизод в картине, который я хорошо помню.

Лукач появляется на экране только на минуту, во главе Двенадцатой бригады, разворачивающейся вдоль Аргандской дороги. Не видно, как поздно ночью на большом первомайском вечере в Моралехе он наигрывает песенку, которую он играл только поздней ночью, на карандаше, приставленном к губам: звук, ясный и нежный, походил на звук флейты. Вы увидите Лукача только мельком, в работе.

Кроме холодной части фильма, я очень ясно помню и жаркую его часть. В жаркой части приходилось бегать с аппаратом, в поту, прячась за выступами голых холмов. Пыль забивалась в нос, пыль забивалась в волосы, в глаза, и мы испытывали страшную жажду, когда во рту все пересыхает, как бывает только в бою. Оттого что в молодости пришлось повидать войну, ты знал, что Ивенс и Ферно будут убиты, если они и дальше будут так рисковать. И перед тобой вечно стояла моральная проблема: в какой степени ты их удерживаешь на разумной и основанной на опыте осторожности, а в какой степени это просто не столь красивая осторожность обезьяны, обжегшейся на молоке. Эта часть фильма в моей

памяти — сплошной пот, и жажда, и вихри пыли; и, кажется, на экране это тоже немножко видно.

И вот теперь, когда все уже кончено, сидишь в кинотеатре, и вдруг начинается музыка, и видишь: танк движется, как корабль, грохоча в пыли, запомнившейся так крепко, что снова пересыхает во рту. В молодости смерти придавалось огромное значение. Теперь не придаешь ей никакого значения. Только ненавидишь ее за людей, которых она уносит.

И думается: плохо организована смерть на войне; вот и все. Но хотелось бы поделиться этой мыслью с Хейльбруном — он, наверно, посмеялся бы — или с Лукачем — он-то понял бы отлично. И если вы не возражаете, я больше не пойду смотреть «Испанскую землю». И писать о ней тоже не буду. Мне это не нужно. Ведь мы там были. Но если вы там не были, я считаю, что вам следует посмотреть этот фильм.

Американский боец

Окно в номере отеля открыто, и, лежа в постели, слышишь стрельбу на передовой линии, за семнадцать кварталов отсюда. Всю ночь не прекращается перестрелка. Винтовки потрескивают: «такронг, каронг, краанг, такронг», а потом вступает пулемет. Калибр его крупнее, и он трещит гораздо громче: «ронг, карарон, ронг, ронг». Потом слышен нарастающий гул летящей мины и дробь пулеметной очереди. Лежишь и прислушиваешься — как хорошо вытянуться в постели, постепенно согревая холодные простыни в ногах кровати, а не быть там, в Университетском городке или Карабанчеле. Кто-то хриплым голосом распевает под окном, а трое пьяных переругиваются, но ты уже засыпаешь.

Утром, раньше чем тебя разбудит телефонный звонок портье, просыпаешься от оглушительного взрыва и идешь к окну, высовываешься и видишь человека, который с поднятым воротником, втянув голову в плечи, бежит по мощеной площади. В воздухе стоит едкий запах разорвавшегося снаряда, который ты надеялся никогда больше не вдыхать, и в купальном халате и ночных туфлях

ты сбегаешь по мраморной лестнице и чуть не сбиваешь с ног пожилую женщину, раненную в живот; двое мужчин в синих рабочих блузах вводят ее в двери отеля. Обеими руками она зажимает рану пониже полной груди и между пальцев тоненькой струйкой стекает кровь. На углу, в двадцати шагах от отеля — груда щебня, осколки бетона и взрытая земля, убитый в разорванной, запыленной одежде и глубокая воронка на тротуаре, откуда подымается газ из разбитой трубы, — в холодном утреннем воздухе это кажется маревом знойной пустыни.

— Сколько убитых? — спрашиваешь полицейского.

— Только один, — отвечает он. — Снаряд пробил тротуар и разорвался под землей. Если бы он разорвался на камнях мостовой, могло бы быть пятьдесят.

Другой полицейский чем-то накрывает верхний конец туловища — где раньше была голова; посылают за рабочим, чтобы он починил газовую трубу, а ты возвращаешься в отель — завтракать. Уборщица с покрасневшими глазами замывает пятна крови на мраморном полу вестибюля. Убитый — не ты и не кто-нибудь из твоих знакомых, и все очень проголодались после холодной ночи

и долгого вчерашнего дня на Гвадалахарском фронте.

— Вы видели его? — спрашивает кто-то за завтраком.

— Видел, — отвечаешь ты.

— Ведь мы по десять раз в день проходим там. На самом углу. — Кто-то шутит, что так можно и без зубов остаться, и еще то-то говорит, что этим не шутят. И у всех столь свойственное людям на войне чувство. Не меня, ага! Не меня.

Убитые итальянцы, там, под Гвадалахарой, тоже были не ты, эти убитые итальянцы из-за воспоминаний молодости все еще кажутся «нашими убитыми». Нет, не ты. Ты по-прежнему ранним утром выезжал на фронт в жалком автомобильчике с еще более жалким шофериком, который, видимо, терзался все сильнее по мере приближения к передовой. А вечером, иногда уже в темноте, без огней, ехал обратно, и твою машину с грохотом обгоняли тяжелые грузовики, и ты возвращался в хороший отель, где тебя ждала чистая постель и где ты за доллар в сутки занимал один из лучших номеров окнами на улицу. Номера поменьше, в глубине, с той стороны, куда не попадали снаряды, стоили гораздо дороже. А после того случая, когда снаряд разорвался на

тротуаре перед самым отелем, ты получил прекрасный угловой номер из двух комнат, вдвое больше того, который ты раньше занимал, и дешевле, чем за доллар в сутки. Не меня убили. Ага! Нет, не меня. На этот раз не меня.

Потом в госпитале Американского общества друзей испанской демократии, расположенном в тылу Мораты, на Валенсийской дороге, мне сказали:

— Вас хочет видеть Рэвен.

— А я его знаю?

— Кажется, нет, — ответили мне, — но он хочет вас видеть.

— Где он?

— Наверху.

В палате наверху делали переливание крови какому-то человеку с очень серым лицом, который лежал на койке, вытянув руку, и, не глядя на булькающую бутылку, бесстрастным голосом стонал. Он стонал как-то механически, через правильные промежутки, и казалось, что стоны исходят не от него. Губы его не шевелились.

— Где тут Рэвен? — спросил я.

— Я здесь, — сказал Рэвен.

Голос раздался из-за бугра, покрытого грубым серым одеялом. Две руки были скрещены над

бугром, а в верхнем конце его виднелось нечто, что когда-то было лицом, а теперь представляло собой желтую струпчатую поверхность, пересеченную широким бинтом на том месте, где раньше были глаза.

— Кто это? — спросил Рэвен. Губ у него не было, но он говорил довольно отчетливо, мягким, приятным голосом.

— Хемингуэй, — сказал я. — Я пришел узнать, как ваше здоровье.

— С лицом было очень плохо, — ответил он. — Обожгло гранатой, но кожа сходила несколько раз, и теперь все заживает.

— Оно и видно. Отлично заживает. Говоря это, я не смотрел на его лицо.

— Что слышно в Америке? — спросил он. — Что там говорят о таких, как мы?

— Настроение резко изменилось, — сказал я. — Там начинают понимать, что Республиканское правительство победит.

— И вы так думаете?

— Конечно, — сказал я.

— Это меня ужасно радует, — сказал он. — Знаете, я бы не огорчился, если бы только мог следить за событиями. Боль — это пустяки. Я, знаете, никогда не обращал внимания на боль. Но я страшно

всем интересуюсь, и пусть болит, только бы я мог понимать, что происходит. Может быть, я еще пригожусь на что-нибудь. Знаете, я совсем не боялся войны. Я хорошо воевал. Я уже раз был ранен и через две недели вернулся в наш батальон. Мне не терпелось вернуться. А потом со мной случилось вот это.

Он вложил свою руку в мою. Это не была рука рабочего.

Не чувствовалось мозолей, и ногти на длинных, лопатчатых пальцах были гладкие и закругленные.

— Как вас ранило? — спросил я.

— Да одна часть дрогнула, ну мы и пошли остановить ее и остановили, а потом мы дрались с фашистами и побили их. Трудно, знаете ли, пришлось, но мы побили их, и тут кто-то пустил в меня гранатой.

Я держал его за руку, слушал его рассказ и не верил ни единому слову. Глядя на то, что от него осталось, я как-то не мог представить себе, что передо мной изувеченный солдат. Я не знал, при каких обстоятельствах он был ранен, но рассказ его звучал неубедительно. Каждый желал бы получить ранение в таком бою. Но мне хотелось, чтобы он думал, что я ему верю.

— Откуда вы приехали? — спросил я.

— Из Питсбурга. Я там окончил университет.

— А что вы делали до того, как приехали сюда?

— Я служил в благотворительном обществе, — сказал он.

Тут я окончательно уверился, что он говорит неправду, и с удивлением подумал, как же он все-таки получил такое страшное ранение? Но ложь его меня не смущала. В ту войну, которую я знал, люди часто привирали, рассказывая о том, как они были ранены. Не сразу — после. Я сам в свое время немного привирал. Особенно поздно вечером. Но он думал, что я верю ему, и меня это радовало, и мы заговорили о книгах, он хотел стать писателем, и я рассказал ему, что произошло севернее Гвадалахары, и обещал, когда снова попаду сюда, привезти что-нибудь из Мадрида. Я сказал, что, может быть, мне удастся достать радиоприемник.

— Я слышал, что Дос Пассос и Синклер Льюис тоже сюда собираются, — сказал он.

— Да, — подтвердил я. — Когда они приедут, я приведу их к вам.

— Вот это чудесно, — сказал он. — Вы даже не знаете, какая это для меня будет радость.

— Приведу непременно, — сказал я.

— А скоро они приедут?

— Как только приедут, приведу их к вам.

— Спасибо, Эрнест, — сказал он. — Вы не обидитесь, что я зову вас Эрнестом?

Голос мягко и очень ясно подымался от его лица, которое походило на холм, изрытый сражением в дождливую погоду и затем спекшийся на солнце.

— Ну что вы, — сказал я. — Пожалуйста. Послушайте, дружище, вы скоро поправитесь. И еще очень пригодитесь. Вы можете выступать по радио.

— Может быть, — сказал он. — Вы еще придете?

— Конечно, — сказал я. — Непременно.

— До свидания, Эрнест, — сказал он.

— До свидания, — сказал я ему.

Внизу мне сообщили, что оба глаза и лицо погибли и что, кроме того, у него глубокие раны на бедрах и ступнях.

— Он еще лишился нескольких пальцев на ногах, — сказал врач. — Но этого он не знает.

— Пожалуй, никогда и не узнает.

— Почему? Конечно, узнает, — сказал врач. — Он поправится.

Все еще — не ты ранен; но теперь это твой

соотечественник. Твой соотечественник из Пенсильвании, где мы когда-то бились под Геттисбергом.

Потом я увидел, что по дороге навстречу мне с присущей кадровому британскому офицеру осанкой боевого петуха, которой не смогли сокрушить ни десять лет партийной работы, ни торчащие края металлической шины, охватывающей подвязанную руку, — идет батальонный Рэвена Джон Кэннигхем. У него три пулевые раны в левую руку выше локтя (я видел их, одна гноится), а еще одна пуля пробила грудь и застряла под левой лопаткой. Он рассказал мне точно и кратко, языком военных сводок, о том, как они остановили отступающую часть на правом фланге батальона; о сражении в окопе, один конец которого держали фашистские, а другой — республиканские войска; о том, как они захватили этот окоп, и как шесть бойцов с одним пулеметом отрезали около восьмидесяти фашистов от их позиций, и как отчаянно оборонялись эти шесть бойцов до тех пор, пока не подошли республиканские части и, перейдя в наступление, не выровняли линию фронта. Он изложил все это ясно, убедительно, с исчерпывающей полнотой и сильным шотландским акцентом. У него были острые,

глубоко сидящие ястребиные глаза, и, слушая его, можно было сразу почувствовать, каков он в бою. В прошлую войну за такую операцию он получил бы крест Виктории. В эту войну не дают орденов. Единственные знаки отличия — раны, и даже нашивок за ранение не полагается.

— Рэвен был в этом бою, — сказал он. — Я и не знал, что он ранен. Он молодчина. Он был ранен позже, чем я. Фашисты, которых мы отрезали, были хорошо обучены. Они не выпустили даром ни одного заряда. Они выжидали в темноте, пока не нащупали нас, а потом открыли огонь залпами. Вот почему я получил четыре пули в одно и то же место.

Мы еще поговорили, и он многое сообщил мне. Все это было важно, но ничто не могло сравниться с тем, что рассказ Дж. Рэвена, клерка Питсбургского благотворительного общества, не имевшего никакой военной подготовки, оказался правдой. Это какая-то новая, удивительная война, и многое узнаешь в этой войне — все то, во что ты способен поверить.

Обращение Хемингуэя к немецкому народу

Антифашистская «Дойче фольксцейтунг» приводит следующий текст обращения Хемингуэя к германскому народу, переданного через радиопередатчик германского народного фронта на волне 29.8 м.

Я приветствую всех немцев, которые духом и делом сопротивляются угнетению германского народа Гитлером. Я распорядился, чтобы ни одна из моих книг не появилась в германских государственных изданиях, пока у власти пребывает фашизм.

Германский народ может гордиться теми мужественными немцами-антифашистами, которых мне довелось видеть на фронтах освободительной борьбы в Испании. Я приветствую их и всех тех, кто в Германии солидарен с ними.

Испанский народ победит!

Первого мая прошлого года в Испании была война, первого мая этого года — в Испании продолжается война, и первого мая будущего года в Испании, вероятно, тоже будет война. Вот впечатление, которое создается на фронте и в тылу. Фронт молод, силен, решителен, он уже закален за два года войны и обладает сильной армией. Фронт располагает всеми этими качествами и теперь, после того, как фашисты прорвались к морю. Дух его тверд и непоколебим.

Войска Модесто, Кампесино, Листера, Дурана и других молодых командиров, быстро идущих в гору, в данный момент столь же сильны духом, как любые войска, которые я видел, и за последние три недели они провели ряд блестящих боев. Они остановили марокканцев у Лериды, они держали линию Эбро и 10 дней били итальянцев на подступах к Тортосе. Не их вина, что им пришлось отойти за Эбро — у них не хватило оружия. Итальянцы никогда не смогли бы прорваться сквозь расположение дивизии Листера. Я видел эти бои.

Оба мира — испанский фронт и испанский тыл — сливаются. То, что всегда разъедало жизнь

Испании — политические деятели без веры, генералы, лишенные способностей, — исчезает. По мере того, как фронт приближается к тылу, чувствуется его влияние. В конечном счете они сольются. В полноте этого слияния — надежда Испании на победу. Всякий думающий, что война в Испании окончена, — глупец или трус. Народ, впервые руководимый начальниками, вышедшими из народа, не так легко победить.

Мадридские шоферы

У нас перебывало много разных шоферов в Мадриде. Первого звали Томасом; росту в нем было четыре фута одиннадцать дюймов, и походил он на крайне уродливого, старообразного карлика с картины Веласкеса, одетого в синий комбинезон. У него не хватало нескольких передних зубов, и он так и пылал патриотическими чувствами. Кроме того, он любил шотландское виски.

Мы ехали с Томасом из Валенсии, и, когда увидели Мадрид, встающий над равниной, за Алькала-де-Энарес, как величавая белая крепость, Томас сказал, шепелявя беззубым ртом:

— Да здравствует Мадрид, столица души моей!

— И сердца моего, — сказал я, так как тоже выпил лишний стаканчик. Было холодно, и ехали мы долго.

— Ура! — завопил Томас и на время выпустил руль, чтобы хлопнуть меня по спине. Мы чуть было не налетели на грузовик, полный бойцов, и на штабную машину.

— Я человек чувств, — сказал Томас.

— Я тоже, — сказал я, — но держитесь за руль.

— Благороднейших чувств, — сказал Томас.

— Никто в этом не сомневается, товарищ, — сказал я. — Но постарайтесь все-таки следить за тем, куда вы едете.

— Можете всецело положиться на меня, — сказал Томас. На другой день на топкой дороге вблизи Бриуэги нам пришлось остановиться, потому что танк застрял на крутом повороте и задержал еще шесть танков, шедших позади. Три самолета мятежников заметили танки и решили бомбить их. Бомбы падали на мокрый склон холма над нами, и каждый раз кверху взлетал фонтан грязи и земли. Ни одна бомба в нас не попала, и самолеты ушли в сторону своих позиций. Я стоял возле машины и в полевой бинокль рассматривал маленькие «фиаты», сопровождавшие бомбардировщики, — очень блестящие, повисшие в солнечном небе. Мы думали, что нас еще будут бомбить, и все поспешили убраться оттуда. Но самолетов больше не было.

На другое утро Томас не мог завести мотор. И с тех пор каждый раз, когда случалось что-нибудь в этом роде, как бы хорошо машина ни шла накануне вечером на пути домой, Томас наутро никак не мог завести мотор. В конце концов эта склонность держаться подальше от фронта, плюс карликовый рост, неумеренный патриотизм и

общая непригодность стали вызывать в нас жалость, и мы отослали его обратно, в Валенсию, с письмом для Отдела печати, в котором выражали горячую благодарность за Томаса, человека благороднейших чувств и наилучших намерений; но не могут ли они прислать нам кого-нибудь чуточку похрабрее?

Тогда нам прислали шофера вместе с запиской, рекомендующей его как самого храброго шофера во всем отделе. Не знаю, как его звали, потому что я ни разу не видел его. Сид Франклин (матадор из Бруклина), который закупал для нас все продовольствие, готовил завтраки, печатал на машинке статьи, раздобывал бензин, раздобывал машины, раздобывал шоферов и знал Мадрид и все мадридские сплетни, как живой диктофон, вероятно, точно проинструктировал этого шофера. Сид снабдил машину сорока литрами бензина, а бензин был самой жгучей проблемой военных корреспондентов (его труднее было достать, чем духи Шанель и Молинэ или джин «Боле»), записал фамилию и адрес шофера и велел ему быть готовым выехать в любую минуту. Мы ждали наступления.

До тех пор пока мы не позовем его, он мог делать, что ему угодно. Но он всегда должен был

сообщать нам, где его можно найти. Мы не хотели тратить драгоценный бензин на езду по Мадриду в машине. Мы все очень радовались, что наш транспорт обеспечен.

Шофер должен был явиться в отель на следующий день, в семь тридцать вечера, чтобы узнать, нет ли новых распоряжений. Он не пришел, и мы позвонили по телефону в меблированные комнаты, где он остановился. Выяснилось, что он утром отбыл в Валенсию вместе с машиной и сорока литрами бензина. Теперь он сидит в валенсийской тюрьме. Надеюсь, ему там нравится.

После этого нам дали Давида. Давид был юный анархист из маленького городка возле Толедо. Лексикон его отличался столь непостижимым цинизмом, что порой я просто ушам своим не верил. Общение с Давидом перевернуло все мои представления о сквернословии. Страха он не знал и как шофер имел только один недостаток: он не умел водить машину. Бывают такие лошади, которые способны только на два аллюра: либо идти шагом, либо понести. Давид мог тащиться на второй скорости и почти не сшибать прохожих, расчищая себе путь отборной бранью. Он также мог мчаться на полном газу, навалившись на руль, охваченный каким-то фатализмом, в

котором, впрочем, не было ни намека на отчаяние. Мы выходили из положения, садясь вместо Давида за руль. Это его устраивало и давало ему возможность разработать свой словарь. Словарь у него был чудовищный.

Война ему нравилась, и стрельба приводила его в восторг.

— Поглядите! Ого! Вот хорошее угощенье для этих непечатных, непроизносимых, непередаваемых, — возбужденно говорил он. — Давайте подъедем поближе! — Каса-дель-Кампо был первый бой, который ему довелось видеть, и он отнесся к нему как к праздничному фейерверку. Тучи щебня и штукатурки, вздымавшиеся к небу каждый раз, как снаряд республиканских орудий попадал в дом, откуда марокканцы вели пулеметный огонь, треск автоматов и пулеметов, гром скорострельных пушек — все эти звуки, сливавшиеся в единый оглушительный грохот в момент атаки, глубоко волновали Давида. — Так! Так! — говорил он. — Вот это война. Настоящая война.

Ему одинаково нравился и пронзительный визг неприятельских снарядов, и рассекающее воздух шипение республиканской батареи, которая через наши головы обстреливала позиции

мятежников.

— Ого! — сказал Давид, когда снаряд семидесятипятимиллиметрового орудия разорвался на улице неподалеку от нас.

— Послушай, — сказал я. — Это опасно. Такой может убить.

— Это не важно, — сказал Давид. — Вы только послушайте, какой непечатный, непроизносимый шум.

Потом я вернулся в отель писать корреспонденцию, а Давида мы послали за бензином на одну из улиц, прилегающих к Пласа-Майор. Я уже заканчивал работу, как вдруг появился Давид.

— Пойдите посмотрите на машину, — сказал он. — Вся в крови. Просто ужас. — Он весь дрожал. Лицо у него было мрачное и губы тряслись.

— А что случилось?

— Снаряд попал в очередь у продуктовой лавки, там были одни женщины. Семерых убило. Я трех отвез в больницу.

— Молодец.

— Смотреть страшно, — сказал он. — Вот ужас! Я и не знал, что такое бывает.

— Вот что, Давид, — сказал я. — Ты мальчик храбрый. Помни об этом. Но весь день ты был храбр, только слушая шум. Теперь ты увидел, что

бывает от этого шума. Теперь ты должен быть храбрым, слушая шум и зная, что от него бывает.

— Вы правы, — сказал он. — Но все-таки глядеть на это ужасно.

Давид и в самом деле был храбр. Не думаю, чтобы после этою случая он приходил в такой же восторг при виде боя, как в тот первый день, но он никогда ни от чего не увиливал. А водить машину он так и не научился. Но он был славный мальчик, хотя пользы от него было мало, и меня забавлял его немыслимый лексикон. Единственное, в чем Давид делал успехи — это в сквернословии. Вскоре он уехал в деревню, где производилась съемка фильма, после чего у нас недолгое время был уже совсем никудышный шофер, о котором здесь не стоит и говорить, а затем нам достался Ипполито. Ипполито — гвоздь этого рассказа.

Ипполито ростом был немногим выше Томаса, но он казался высеченным из гранита. Он ходил вразвалку, крепко ступая на всю подошву, и у него был огромный автоматический пистолет, который свисал чуть не до колен. «Salud» он всегда говорил с такой интонацией, словно ободрял охотничьих собак. Хороших собак, которые знают свое дело. Он отлично разбирался в моторе, умел

водить машину, и, если ему было сказано прийти в шесть утра, он являлся в пять часов пятьдесят минут. Он участвовал во взятии фашистской казармы Монтана в первые дни мятежа, и он никогда не принадлежал ни к одной политической партии. В течение двадцати лет он был членом социалистического профсоюзного объединения. Когда я спросил его, за что он стоит, он сказал, что стоит за Республику. Он был нашим шофером на фронте и в Мадриде во время девятнадцатидневного обстрела города — такого зверского, что о нем почти немыслимо писать. Все время он был тверд как гранит, из которого, казалось, он высечен, здоров как бык и точен, как часы железнодорожника. Глядя на него, можно было понять, почему Франко так и не взял Мадрид, когда представлялась возможность это сделать. Ипполито и такие, как он, дрались бы за каждую улицу, за каждый дом, пока хоть один из них оставался в живых, а последние уцелевшие сожгли бы город. Это стойкие люди, и они умеют воевать. Как те испанцы, которые некогда покорили западный мир. Не в пример анархистам, они далеки от романтики. Смерти они не боятся, но никогда не говорят об этом. Анархисты зачастую слишком много об этом говорят, почти как итальянцы.

В тот день, когда свыше трехсот снарядов было выпущено по Мадриду и центр города превратился в усеянную осколками стекла, засыпанную кирпичной пылью, дымящуюся бойню, Ипполито поставил машину под прикрытие высокого здания в узком переулке возле отеля. Место казалось вполне надежным и, посидев немного в моей комнате, глядя, как я работаю, и окончательно соскучившись, он сказал, что сойдет вниз и сядет в машину. Не прошло и десяти минут, как шестидюймовый снаряд попал точно в угол, образуемый стеной отеля и тротуаром. Он глубоко вошел в землю и не разорвался. Разорвись он — того, что осталось бы от Ипполито и машины, не хватило бы на фотографический снимок. Они находились в пятнадцати футах от того места, где упал снаряд. Я выглянул в окно, увидел, что все благополучно, и сбежал вниз.

— Ну как? — Сознаюсь, я несколько задыхался.

— Отлично, — сказал он.

— Отведите машину поглубже в переулок.

— Глупости, — сказал он. — И в тысячу лет сюда больше не попадет ни один снаряд. А кроме того, он не разорвался.

— Отведите машину поглубже в переулок.

— Что с вами? — спросил он. — Испугались?

— Надо быть благоразумным.

— Идите работать, — сказал он. — Не беспокойтесь обо мне. Подробности этого дня несколько путались в моей памяти, ибо после девятнадцати дней непрерывного обстрела из тяжелых орудий события одного дня легко перемещаются в другой, но во втором часу огонь прекратился, и мы решили пойти пообедать в отель «Гран-Виа», кварталах в шести от нас. Я хотел добраться туда крайне извилистым и весьма надежным путем, используя углы наименьшей опасности, но Ипполито спросил меня:

— Куда вы идете?

— Поесть.

— Садитесь в машину.

— Вы с ума сошли.

— Садитесь, мы проедем по Гран-Виа. Огонь прекратился. Они тоже обедают.

Мы вчетвером сели в машину и поехали по Гран-Виа. Улица была сплошь покрыта осколками стекла. На тротуарах зияли глубокие воронки. Много зданий было разрушено, и для того, чтобы попасть в ресторан, нам пришлось обойти груду щебня и обвалившийся каменный карниз. Ни души не было на этой улице, обычно столь же оживленной, как Пятая авеню и Бродвей, вместе

взятые. Было много мертвых. Других машин, кроме нашей, не было видно.

Ипполито поставил машину в переулке, и мы все вместе пообедали. Мы еще не кончили есть, как Ипполито встал из-за стола и ушел к машине. Снова послышались взрывы — в ресторане, помещавшемся в подвале, они звучали глухо, — и, когда, пообедав гороховым супом, тоненькими, как бумага, ломтиками колбасы и апельсином, мы поднялись наверх, улица была в дыму и тучах пыли. По всему тротуару валялись свежие обломки бетона. Я заглянул за угол, где стояла наша машина. Переулок сплошь был усеян щебнем, снаряд только что пробил стену как раз над машиной. Я увидел ее. Она была покрыта пылью и щебнем.

— Боже мой, — сказал я. — Ипполито убили.

Он лежал, закинув голову, на сиденье шофера. Я подошел к нему, и на душе у меня было скверно. Я очень полюбил Ипполито.

Ипполито мирно спал.

— Я думал, вы убиты, — сказал я. Он открыл глаза и зевнул, прикрывая рот рукой.

— Чепуха, — сказал он. — Я всегда сплю после обеда, если только есть время.

— Мы идем в бар Чикоте, — сказал я.

— А там хороший кофе?

— Превосходный.

— Ну, садитесь, — сказал он, — поедем.

Перед отъездом из Мадрида я хотел дать ему денег.

— Я от вас ничего не возьму, — сказал он.

— Возьмите, — настаивал я. — Ну возьмите. Купите что-нибудь своей семье.

— Нет, — сказал он, — не возьму. А правда, хорошо мы провели время?

Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или на Гитлера. Я делаю ставку на Ипполито.

Все храбрые

I

Год тому назад мы были вместе, и я спросил Луиса, как его студия и целы ли его картины.

— Все погибло, — сказал он без горечи и объяснил, что бомбой разворотило здание.

— А большие фрески в Университетском городке и Каса-дель-Пуэбло?

— Пропали, — сказал он. — Все — вдребезги…

— Ну, а фрески для памятника Пабло Иглесиаса?

— Уничтожены, — сказал он. — Нет, Эрнесто, давай лучше не говорить об этом. Когда у человека гибнет вся работа его жизни, все, что он сделал за свою жизнь, — лучше об этом не говорить.

Картины, уничтоженные бомбой, и фрески, разбитые артиллерийскими снарядами, искромсанные пулеметным огнем, были великими произведениями испанского искусства. Луис Кинтанилья, писавший их, был не только большим художником, но и большим человеком.

Когда фашисты напали на ту Республику, которую он любил и в которую верил, он повел

наступление на казармы Монтана и спас Мадрид для республиканцев. Потом, изучал по ночам военные книги и командуя днем воинской частью, он сражался среди сосен и серых скал Гвадаррамы и в желтой долине Тахо, на улицах Толедо и снова на окраинах Мадрида, где люди с винтовками и ручными гранатами шли против танков, артиллерии и самолетов и умирали за то, чтобы их родина была свободной.

Но так как хороших художников меньше, чем хороших солдат, испанское правительство отозвало Кинтанилью из армии, когда фашистов остановили у Мадрида. Он выполнял различные дипломатические поручения и потом вернулся на фронт, чтобы сделать эти рисунки. Это — рисунки о войне. На них надо смотреть, а не писать о них в предисловии.

Можно многое сказать о Кинтанилье, но его рисунки говорят сами за себя.

10 марта 1938 г., Ки-Уэст

II

Я написал это, а 18 марта уехал в Испанию. Мистер Поль Эллиот, который был знаком с работами Кинтанильи много лет и гораздо лучше меня мог о них писать, согласился дать длинное

критическое предисловие. Я обещал дать краткое предисловие, слов на тысячу или даже меньше.

На пароходе, в пути, я пытался писать, но это было невозможно. Я убедился, что все свои мысли о Луисе Кинтанилье я уже высказал в трехстах четырнадцати словах, и перед лицом того, что тогда делалось в Испании, остальная тысяча слов никак не выходила. Я не особенно беспокоился об этом, зная, что, даже если я никогда не смогу написать другого предисловия, это — короткое — останется и, кроме того, Пол Эллиот даст прекрасную длинную вступительную статью. А потом, конечно, самое главное — это рисунки Луиса.

Были дни в марте и апреле, когда дела в Испании шли очень плохо… Часто бывали дни, когда казалось, что прежде, чем победа осуществится, очень многие из нас будут вообще освобождены от всякой необходимости писать какие бы то ни было предисловия.

И вот в один из таких дней, в один из самых худших таких дней, я получил каблограмму из Нью-Йорка, сообщавшую, что если издательство не получит предисловия к определенному числу, оно расторгнет договор. В ту ночь я написал предисловие и отослал его. Вот оно.

Это замечательные рисунки. Кинтанилья — большой испанский художник и старый мой друг. Он сражался в революцию и сражался в гражданскую войну. Мне бы следовало сейчас сидеть за машинкой и писать о том, какой это большой художник, человек, боец и революционер. Но машинка что-то не очень хорошо работает сегодня вечером.

Поль Эллиот напишет вам подробно о большом художнике Кинтанилье, а я могу засвидетельствовать, что все его произведения уничтожены. Я видел, в какие развалины бомба превратила его студию, и видел, что сделал артиллерийский и пулеметный огонь с его фресками в Университетском городке. Они погибли, навеки погибли вместе со многими другими вещами, вместе с очень и очень многими другими вещами. Что тут можно поделать? Ничего. Можно замолчать и забыть. Кинтанилья так и сделал. И кроме того, он продолжал работать.

Вот если бы сейчас я писал при трех свечах вместо двух, предисловие, вероятно, вышло бы веселее и бодрее. Нужно хорошее освещение для писания предисловий. Донесения можно писать при любом освещении, но для предисловий нужно и освещение получше, и времени побольше.

Так что, если кому-нибудь это предисловие не понравится, — пусть напишет свое, а я с удовольствием подпишусь за него.

Тут в предисловии должно быть литературное отступление о том, что значит для человека, когда работа всей его жизни уничтожена. Вот мы и пропустим литературное отступление и будем считать, что никто не думает, будто это приятно, когда вся работа, какую человек сделал за всю свою жизнь, уничтожается. Правильно или нет?

Будем считать доказанным, что это — несчастье.

Ну, что же дальше идет в предисловии? Да, разумеется, вот что: сравнение с Гойей. Давайте и это пропустим. Хватит людей, которые будут делать это сравнение без того, чтобы мы писали о нем в предисловии, а свечи становятся все короче.

Так о чем же дальше писать в предисловии к сборнику рисунков о войне? Конечно, тут должно быть что-нибудь и о самой войне.

— Ваше мнение о войне, мистер Хемингуэй?

Ответ: Я нахожу ее неприятной. Я никогда не любил войны. Но у меня к ней есть некоторые способности.

— Любите ли вы рисунки на военные темы?

Ответ: Нет. Но эти рисунки очень хороши. Вам

они, должно быть, понравятся.

— А что вам нравится в войне?

Ответ: Победить, покончить с ней, и чтобы настал мир.

— Что бы вы тогда сделали?

Ответ: Я бы пошел в «Сторк-клуб».

— Очевидно, вы не очень серьезный человек.

Ответ: Возможно, что и так.

— Не следовало бы вам говорить так легкомысленно о столь серьезных вещах.

Ответ: А вот вы-то сами сейчас откуда разговариваете, а?

Это говорил Нью-Йорк, но мы в Барселоне, а вчера были в Тортосе и завтра снова будем в Тортосе, и очень трудно писать предисловия, когда единственное, о чем думаешь, это — как удержать фронт на Эбро. По сравнению с необходимостью удержать фронт на Эбро все на свете, включая и рисунки о войне, сделанные большим художником и одним из лучших твоих друзей, кажется просто куриным пометом, — вот почему так неприятно и скучно писать предисловие.

Если бы не это, можно было бы вспомнить прежнее время, когда мы оба вместе много работали в Мадриде. То лето, когда я писал книгу, а Кинтанилья делал свои замечательные ри-

сунки, и мы с ним здорово работали весь день и встречались по вечерам выпить пива в сервесерии на Пасаж-Альварес, и Кинтанилья просто и спокойно объяснял мне, почему необходима революция, — то лето теперь очень далеко. Оно кажется таким далеким, как будто это было в другом мире. В том, старом, существовавшем прежде мире, где, увидев придорожный столб с надписью: до такого-то города триста пятьдесят километров, ты знал, что, если пойдешь по этой дороге, попадешь в этот город. А теперь знаешь, что, если пойдешь по этой дороге, тебя убьют.

Все это меняет человека, и сегодня писать нелегко. Но издатели требуют предисловие, иначе они расторгнут договор. Хорошо. Они получат свое предисловие. Вот оно уже ложится на бумагу. По одной букве. По одному слову, по одной странице оно выходит, выдавливается, как зубная паста, и, наверное, читать его так же приятно, как ощущать во рту вкус скверной зубной пасты. Самое главное, чтобы свечей хватило — так, чтобы можно было видеть клавиши машинки. Вот оно выходит, издатели, вот оно выходит — доброе, славное предисловие, и если вам надо пять тысяч слов, то существуют разные формы одного и того же слова, которое можно написать пять тысяч раз

и все-таки выразить не все презрение до конца.

Давайте-ка посмотрим. Сколько надо слов? Прибавим еще несколько слов для издателя. Читателю они не нужны, потому что читатель может смотреть рисунки. А рисунки хорошие. Правда, читатель? Вот так отчасти выглядит война, правда, только отчасти. И пусть вас не шокируют мертвые мавры, не говорите, что они отвратительны. Потому что война учит одному: труп врага всегда хорошо пахнет.

Вот и свечи подходят к концу и предисловие — тоже, и я надеюсь, что предисловие вам понравится. Надеюсь, что издатель не обиделся, ведь это — просто шутка, издатель, милый мой старина… Я надеюсь, что вам понравится и мистер Кинтанилья, если вы с ним встретитесь — кланяйтесь ему от меня.

Вы понимаете, около Эбро стоит немало американцев, они стоят плечом к плечу с бельгийцами, немцами, французами, поляками, чехами, болгарами, словаками, канадцами, британцами, финнами, датчанами, шведами, норвежцами и лучшими испанцами на свете. Они ждут начала решающего боя этой войны. Так что, если предисловие на этом кончается, не обижайтесь. Я бы мог написать гораздо больше, если бы умел

писать по слепому методу, чтобы можно было писать в темноте. Но и дальше было бы одно и то же. Потому что все, кроме Эбро, кажется совершенно неважным сегодня ночью.

18 апреля, 1938 г., Испания

III

Даже самое хорошее предисловие в лучшем случае просто литературный курьез. Поэтому оставим и это исключительно мрачное произведение. Оно является прекрасным примером той особой, очень непривлекательной и даже противной уверенности в своей правоте, которая бывает у людей в некоторые моменты войны. Это предисловие особенно несправедливо, потому что я сердился на Луиса, когда писал. Я сердился на него, вероятно, за то, что он был жив, а слишком многие люди, которых я любил, погибли в те месяцы.

Луис Кинтанилья — один из самых храбрых людей, каких я знал. Война — не его профессия, и нет никаких оснований, чтоб он снова стал заниматься этим делом. Но в те дни итальянцев опять побили на Эбро, за чертой. Их побила дивизия Листера и еще одна дивизия — Третья, из старого состава Пятой армии, в жестоком десятидневном

сражении; и мы думали, что им никогда не взять Тортосы. Правда, мы знали, что на левом фланге что-то было неладно и он подался совсем неожиданно, хотя наш Дюран удерживал всю горную цепь между флангами, и пришлось отдать врагу то, чего он никогда бы не взял. В такие минуты люди становятся очень обозленными и несправедливыми. Потом просишь прощения. Вот я и прошу прощения у Луиса, и только у Луиса.

Он знает, о чем я говорю, и он поймет.

Потом в предисловии упоминается «Сторк-клуб». Это похоже на легкомыслие, а легкомыслие непростительно для серьезного писателя. Я знаю это: если я проявлял легкомыслие, мне его никогда не прощали. Серьезному писателю надо быть вполне степенным. Если позволяешь себе шутить, люди не принимают тебя всерьез. И эти самые люди не понимают, что есть многое, чего нельзя выдержать, если не шутить. Им, пожалуй, лучше объяснить, что никакого легкомыслия мы себе не позволили. О «Сторк-клубе» говорится всерьез. Если сидишь за столом и тебе подают тарелку воды вместо супа, одно яйцо и апельсин после четырнадцатичасовой работы, у тебя не то что пропадает желание быть там, где ты есть, или делать ту работу, но иногда думаешь: «Эх, вот в

«Сторк-клубе» меня сейчас, наверно, здорово бы накормили!»

А когда лежишь в темноте один, а в голове мелькают картины того, что видел и в этот день, и в другие, то, вообще говоря, всегда находится о чем думать — о войне, о политике, о личном. Но иногда думаешь, как славно и шумно сейчас в «Сторке» и что если бы сейчас сидеть в «Сторке», то совсем не надо было бы думать — просто смотреть на людей и слушать шум.

В прежние дни, в Мадриде, когда там жили Кинтанилья, Поль Эллиот, Джей Аллен и я, там было много мест, где можно было поесть так же вкусно, как в «Сторке», и где было бы так же весело. Но теперь в Мадриде мало еды и совсем мало хорошей выпивки.

Голод — лучшая правда, а опасность смерти — неплохое вино, как говорится, но от голода желудок так сжимается, что, когда наконец получаешь возможность как следует поесть, у тебя много жадности в глазах, но есть ты не в состоянии. И так привыкаешь к опасности, что она тебя уже больше не возбуждает, а только раздражает.

А «Сторк» остается символом того, как хотелось бы поесть по-настоящему. Ведь войну в Испании ведут не за то, чтобы всех посадить на голодные

«блокадные» пайки, а за то, чтобы каждый мог есть, как едят самые избранные.

Надо бы многое написать о прежних временах, но самое странное в войне то, что она уничтожает прежние времена. Каждый день стирает предыдущий день, и, когда проживешь двести или триста дней в одинаковой обстановке там, где жил когда-то в мирное время, воспоминания в конце концов разрушаются, как здания вокруг. Прежние времена и прежние люди ушли, и ностальгия, тоска по прошлому — это то, о чем читаешь в книгах.

Позднее, может быть, все это восстанавливается, точно так же как восстанавливаются и здания. Все было очень просто в прежние дни. Прежние дни были такими простыми, что сейчас они даже кажутся жалкими. Если ты хочешь, чтобы сейчас все было просто, надо делать одно: получать приказы и слепо им повиноваться. Это единственное «просто», которое сейчас осталось.

Если ты писатель и захочешь написать обо всем, что ты видел, пока все это еще не зарубцевалось, надо отказаться от такой простоты, как от роскоши. Когда пишешь, приходится делать свои собственные ошибки. И ты готов к тому, что тебе предстоит делать ошибки.

Мне хотелось бы верить, что, если я теперь буду писать о войне, я сделаю это так же четко и правдиво, как рисует и пишет Луис Кинтанилья. Война — ненавистное дело. Она оправдана только как самозащита. Описывая войну, писатель должен быть абсолютно правдив, потому что о ней писали меньше правды, чем о чем бы то ни было…

Чтобы писать о войне правдиво, надо многое знать о трусости и героизме. Потому что в ней много и того и другого, и простого человеческого терпения, а эти вещи никем еще не уравновешены по-настоящему.

Я очень завидую Кинтанилье, что он уже сделал свои рисунки. Теперь мне надо попробовать написать мои рассказы.

По поводу одной информации

Я встретился с этим гражданином в мадридской гостинице «Флорида» в конце апреля прошлого года. Дело было к вечеру, а он приехал из Валенсии в Мадрид накануне ночью. Весь день он не выходил из своей комнаты и писал статью. Этот гражданин был высокого роста с водянистыми глазами и прядями светлых волос, тщательно прилизанных на лысой с приплюснутой макушкой голове.

— Ну, как вам Мадрид? — спросил я его.

— Здесь свирепствует террор, — сказал этот журналист. — Свидетельства на каждом шагу. Обнаружены тысячи трупов.

— Когда вы сюда приехали? — спросил я его.

— Вчера ночью.

— Где вы видели трупы?

— Да везде, — сказал он. — Особенно утром пораньше.

— Вы были на улице рано утром?

— Нет.

— Вы видели трупы?

— Нет, — сказал он, — но я знаю, что они есть.

— Какие же проявления террора вы наблю-

дали?

— О, они есть, — сказал он, — вы не можете этого отрицать.

— Но что вы сами видели?

— У меня не было времени, но я знаю, что свирепствует террор.

— Послушайте, — сказал я, — вы приехали сюда прошлой мочью. Вы даже не выходили из гостиницы и рассказываете тем, кто живет и работает здесь, что в городе террор.

— Но вы не можете отрицать того, что он есть, — сказал этот эксперт, — везде видны следы злодеяний.

— А мне показалось, вы сказали, что сами лично не видели никаких признаков террора.

— Они везде, — сказал этот великий человек.

Тогда я рассказал ему, что мы, несколько журналистов, живем и работаем в Мадриде как раз для того, чтобы выяснять, есть ли здесь террор, и сообщать об этом в прессе. Я сказал, что у меня есть старые друзья в Сегуридаде[34], которым я доверяю, и мне известно, что в этом месяце три человека были расстреляны за шпионаж. Я был приглашен в качестве свидетеля на казнь, но

---

[34] Примечания: 34
Управление безопасности.

был на фронте и ждал четыре недели следующего случая. В начале мятежа были расстрелы так называемых неконтролируемых, но вот уже несколько месяцев в Мадриде спокойно, город охраняется полицией и никакого террора здесь нет, как его нет в любой другой столице Европы. Расстрелянные доставляются в морг, и он сам может пойти и проверить все, что его интересует. Так поступают все живущие здесь журналисты.

— Не пытайтесь отрицать, что в Мадриде террор, — сказал он, — вы знаете это лучше меня.

Он был корреспондентом одной солидной газеты, и я очень уважал эту газету, поэтому я не ударил его. Кроме того, ударить такого типа кулаком — значит дать ему повод говорить о том, что в городе свирепствует террор. К тому же встреча происходила в комнате американской журналистки, и еще мне показалось, но не смею утверждать, что он был в очках.

Американская журналистка собиралась уехать из страны, и он дал ей с собой запечатанный конверт. Никто не дает запечатанных конвертов для вывоза из страны в военное время, но этот отважный парень уверил американку, что в конверте всего лишь второй экземпляр его уже проверенной цензурой корреспонденции с Теру-

эльского фронта и что он отправляет его почтой в свою газету как дубликат на всякий случай.

На следующий день американка сказала мне, что она отвезет его письмо.

— Но оно же запечатано? — спросил я ее.

— Да.

— Лучше дайте письмо мне, а я по пути занесу его в цензуру. Как бы у нас не вышло неприятностей из-за него.

— Каких неприятностей? Это только второй экземпляр уже прошедшей цензуру корреспонденции.

— Он вам показывал ее?

— Нет, но он так сказал.

— Никогда не доверяйте мужчинам, прилизывающим волосы на лысой голове, — сказал я.

— За его голову нацисты назначили 20 000 фунтов стерлингов, — сказала она. — Такому можно доверять.

В цензуре выяснилось, что предполагаемый второй экземпляр корреспонденции из Теруэля был не вторым экземпляром, а статьей, которая начиналась так: «В Мадриде свирепствует террор. Обнаружены тысячи трупов и т. д. и т. д.» Это была фальшивка. В ней содержалась клевета на всех честных корреспондентов, работающих

в Мадриде. И этот тип ухитрился написать ее в первый же день своего приезда, даже не высунув носа из гостиницы. Но самое отвратительное было то, что американская журналистка, по военным законам, могла быть расстреляна за шпионаж, если бы у нее на границе нашли эту стряпню. Корреспонденция была чистой воды ложь, и он дал ее журналистке, которая, доверяя ему, взялась вывезти ее из страны.

В тот вечер в ресторане на Гран-Виа я рассказал эту историю нескольким журналистам, серьезно и много работающим, не тенденциозно настроенным, а честно и правдиво пишущим корреспондентам, которые, находясь в Мадриде, рискуют жизнью каждый день и которые отрицали, что в городе, с тех пор как правительство взяло его под контроль, имеет место террор.

Они были возмущены тем, что какой-то посторонний человек приехал в Мадрид, оклеветал их и чуть было не подверг одного из уважаемых корреспондентов обвинению в шпионаже из-за его фальшивки.

— Давайте подойдем к нему и спросим, правда ли, что нацисты оценили его голову в 20 000 фунтов стерлингов, — сказал кто-то. — Мы должны выдать его за то, что он сделал. Его следует

расстрелять, и если бы знать, куда отослать его голову, мы могли бы ее отправить в сухом льду.

— Это будет не очень-то симпатичная голова, но я с удовольствием отнес бы ее в своем рюкзаке, — предложил я. — С 1929 года не видел такой суммы, как 20 000 фунтов стерлингов.

— Я подойду и спрошу его, — сказал известный чикагский журналист.

Он подошел к столику этого типа, поговорил с ним очень спокойно и потом вернулся к нам.

Мы все продолжали смотреть на этого человека. Он был бледен, как непроданная камбала в 11 утра перед закрытием рыбного рынка.

— Он говорит, что никакой награды за его голову не назначали, — сказал чикагский репортер своим мелодичным голосом. — Оказывается, что кто-то из его редакторов выдумал это.

Так одному журналисту удалось спастись от террора в Мадриде против него самого.

Когда цензура мешает писать правду, журналист может нарушить законы цензуры под угрозой быть высланным из страны. Или может уехать из страны и писать не подлежащие цензуре корреспонденции. Но этот гражданин, совершавший мимолетное турне, собирался кого-то другого подвергнуть опасности, а сам

желал приобрести репутацию бесстрашного разоблачителя. Удивительнее всего, что никакого террора в то время в Мадриде не было. Но ему было слишком скучно.

Все это, наверное, заинтересовало бы его газету, хотя бы уже потому, что она, как это ни странно, давно нуждается в правдивой информации.

Письмо И. Кашкину

Ки-Уэст. 23 марта 1939 г.

Дорогой Кашкин.

Право, я очень рад Вашему письму. И особенно тому, что переводы моих вещей в СССР в руках того, кто давал моим книгам критические оценки — лучшие и наиболее поучительные для меня из всех, какие я когда-либо читал, и кто, вероятно, знает о моих книгах больше, чем знаю я сам. Право же, я очень доволен, что Вы продолжаете заниматься этим, и велю издательству Скрибнерс посылать Вам корректуры моих книг. А кроме того, настоящим я представляю Вам право на авторизованную сценическую переработку моей пьесы.

Относительно порядка размещения рассказов в сборнике. Скрибнерс настояло, чтобы три новых были помещены в начале, и так как остальные оставались в том порядке, как они стояли в прежних сборниках, мне показалось, что это допустимо. Но, вероятно, лучше было бы, придерживаясь хронологии, поставить их в конец. В последующих изданиях, я думаю, правильнее

помещать их в конце, и на все это я Вас уполномочиваю.

Недавно закончил несколько новых рассказов об Испании. Сейчас пишу роман и уже написал пятнадцать тысяч слов. Пожелайте мне удачи, дружище. А еще один рассказ был напечатан в «Космополитэн» под заглавием «Никто никогда не умирает». Они кое-что в нем сократили, и если Вы его захотите напечатать, подождите, пока я не пришлю Вам ту редакцию, которую собираюсь опубликовать в книге. Нет под рукой экземпляра, а то послал бы.

Вам для сведения: в рассказах о войне я стараюсь показать все ее стороны, подходя к ней честно и неторопливо и исследуя ее с разных точек зрения. Поэтому не считайте, что какой-нибудь рассказ выражает полностью мою точку зрения; это все гораздо сложнее.

Мы знаем, что война — это зло. Однако иногда необходимо сражаться. Но все равно война — зло, и всякий, кто станет это отрицать, — лжец. Но очень сложно и трудно писать о ней правдиво. Например — с точки зрения личного опыта, — в Итальянскую кампанию 1918 года, когда я был юнцом, я очень боялся. В Испании, через несколько недель, страха уже не было, и я был

очень счастлив. Но для меня как для писателя не понимать страха у других или отрицать, что он вообще существует, было бы плохо. Просто я сейчас лучше понимаю все это. Если уж война начата, единственное, что важно, — это победить, а это-то нам и не удалось. Ну пока к черту войну. Я хочу писать.

Ту страничку о наших мертвых в Испании, которую Вы перевели, написать мне было очень трудно, потому что надо было найти нечто, что можно честно сказать о мертвых. О мертвых мало что можно сказать, кроме того, что они мертвы. Хотелось бы мне с полным пониманием суметь написать и о дезертирах и о героях, трусах и храбрецах, предателях и тех, кто не способен на предательство. Мы многое узнали о всех этих людях.

А если коснуться литературных пересудов, то Дос Пассос, такой добрый малый в прежние годы, тут у нас вел себя очень плохо. По-моему, все дело в страхе, и к тому же постоянное влияние жены. В первый же день приезда в Мадрид он попросил Сиднея Франклина — он матадор и помогает мне — послать телеграмму. Она гласила: «Милая зверушка скоро возвратимся домой». Цензор вызвал меня, чтобы убедиться, что это не шифр и что

это, собственно, значит. Я сказал: это значит, что тот просто струсил. Он твердо решил, что с ним ничего не должно случиться. Он всерьез уверял нас, что дорога из Валенсии в Мадрид гораздо опаснее, чем фронт. И сам себя в этом твердо уверил. Вы понимаете — Он, с его великой анархистской идеей о Себе Единственном, проехал по этой дороге, где бывали, конечно, несчастные случаи. А на фронте во время его трехдневного пребывания в Мадриде все было спокойно. А так как Он — пуп земли, то для него невозможно было поверить, что могло что-нибудь случаться на фронте. Эх, все это далеко позади, но люди, подобные Досу, пальцем не шевельнувшие в защиту Испанской республики, теперь испытывают особую потребность нападать на нас, пытавшихся хоть что-нибудь сделать, чтобы выставить нас дураками и оправдать собственное себялюбие и трусость. А про нас, которые, не жалея себя, дрались сколько хватало сил и проиграли, теперь говорят, что вообще глупо было сражаться.

А в Испании забавно было, как испанцы, не зная, кто мы такие, всегда принимали нас за русских. При взятии Теруэля я весь день был в атакующих войсках и в первую же ночь проник в город с ротой подрывников. Когда обыватели

высыпали из домов и стали спрашивать, что им делать, я сказал: оставаться дома и в эту ночь ни под каким видом не выходить на улицу; и втолковал им, какие мы, красные, славные ребята, и это было очень забавно. Все они думали, что я русский, и, когда я сказал, что я североамериканец, они не поверили. И во время отступления было то же. Каталонцы, те при всех обстоятельствах методически двигались прочь от фронта, но всегда очень довольны были, когда мы, «русские», пробивались через их поток в обратном направлении — то есть к фронту. Когда каталонцы столько месяцев занимали участок фронта в Арагоне и ровно ничего не делали, у них между своими и фашистскими окопами был километр ничейной земли, а на дороге, ведущей к фронту, установлен был дорожный знак с надписью: «Frente! Peligro!» (Берегись! Фронт!). Я сделал хороший снимок этой доски.

Ну, довольно болтать. Мне очень хочется повидать Вас и хотелось бы побывать в СССР. Но сейчас мне надо писать. Пока идет война, все время думаешь, что тебя, может быть, убьют, и ни о чем не заботишься. Но вот меня не убили, и, значит, надо работать. А как Вы сами, должно быть, убедились, жить гораздо труднее и слож-

нее, чем умереть, и писать все так же трудно, как и всегда. Я бы охотно писал даром, но если никто не будет платить, пожалуй, умрешь с голоду.

Я мог бы получать большие деньги, пойди я в Голливуд или сочиняя всякое дерьмо. Но я буду писать как можно лучше и как можно правдивее, пока не умру. А я надеюсь, что никогда не умру. Теперь работаю на Кубе, где мне удается укрыться от писем, телеграмм, приглашений и т. п. и работать как следует. И я чувствую себя хорошо.

До свиданья, Кашкин, и всего Вам лучшего. Я высоко ценю Ваш честный и заботливый подход к переводам. Передайте мои наилучшие пожелания всем товарищам, участвовавшим в переводе сборника. Товарищ — это слово, о котором я теперь знаю много больше, чем когда писал Вам в первый раз. Но знаете, что забавно? Единственное, что надо делать совершенно самостоятельно и в чем никто на свете не может тебе помочь, как бы ему ни хотелось (разве что оставив тебя в покое), — это писать. Очень это трудное дело, дружище. Попробуйте как-нибудь. (Шутка!)

Хемингуэй

Последний командир

Девять человек командовало батальонами Линкольна — Вашингтона. Потребуется много времени, чтобы рассказать обо всех. Четверо скончались, четверо получили тяжелые ранения, остался девятый и последний командир Милтон Вольф.

Вольф прибыл в Испанию в 1937 году, 7 марта. Он прошел обучение в батальоне Вашингтона и как пулеметчик самоотверженно сражался в кровавой битве под Брунете. В сентябре в раскаленной пыли Арагона, при взятии Кинто и при штурме Белчите, он стал уже во главе отделения. Когда 15-я бригада сражалась на Пашендаэле, у Фуэнтес де Эбро, он командовал взводом пулеметчиков. При обороне Теруэля Вольф был уже капитаном. Под Белчите был убит Дейв Рейес, и он возглавил батальон и подавал пример личного героизма и мужества.

Когда же недалеко от Гандези они потерпели поражение, Милтон с остатками своего батальона переправился через реку Эбро.

Остатки 15-й бригады были собраны в Мора де Эбро, и Вольф сформировал и обучил новый

батальон. Форсировав Эбро, он повел его в решительное наступление и тем самым в корне изменил ход войны и спас Валенсию.

На вершинах Сиерра-Пандолс, подвергаясь непрерывным атакам артиллерии и авиации, они удерживали свои позиции. Мало того, когда интернационалисты отступили, они смогли обмануть противника, и вражеская авиация еще долго бомбила это место.

Сейчас он майор в отставке, чувствует себя хорошо и, очевидно, скоро вернется домой, как когда-то возвращались солдаты после заключения мира в Аппоматоксе[35]. С той лишь разницей, что сейчас мир заключен в Мюнхене и ни один хороший человек не вернется домой надолго.

[35] Примечания: 35

Во время Гражданской войны в США у Аппоматокса армия южан под командованием генерала Ли была окружена войсками северян под командованием генерала Гранта и 9 апреля 1865 г. капитулировала.

Американцам, павшим за Испанию

Этой ночью мертвые спят в холодной земле в Испании. Снег метет по оливковым рощам, забивается между корнями деревьев. Снег заносит холмики с дощечкой вместо надгробья. (Там, где успели поставить дощечки.) Оливковые деревья стоят оголенные на холодном ветру, потому что нижние ветви были обрублены для укрытия танков, и мертвые спят в холодной земле среди невысоких холмов над Харамой. Было холодно в феврале, когда они умерли, а с тех пор они не замечают смены времен года.

Два года прошло с тех пор, как батальон имени Линкольна четыре с половиной месяца удерживал высоты Харамы, и первые американцы, павшие там, давно уже стали частицей испанской земли.

Этой ночью мертвые спят в холодной земле в Испании и проспят всю холодную зиму, пока с ними вместе спит земля. Но весной пройдут дожди и земля станет рыхлой и теплой. Ветер с юга мягко овеет холмы. Черные деревья опять оживут, покроются зелеными листьями, и яблони зацветут над Харамой. Весной мертвые почув-

ствуют, что земля оживает.

Потому что наши мертвые стали частицей испанской земли, а испанская земля никогда не умрет. Каждую зиму она кажется мертвой, и каждую весну она вновь оживает. Наши мертвые с ней всегда будут живы.

Как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернется к рабству. Крестьяне, которые пашут землю, где лежат наши мертвые, знают, во имя чего они пали. За два года войны они успели понять это, и никогда они этого не забудут.

Наши мертвые живы в памяти и в сердцах испанских крестьян, испанских рабочих, всех честных, простых, хороших людей, которые верили в Испанскую Республику и сражались за нее. И пока наши мертвые живут как частица испанской земли — а они будут жить, доколе живет земля, — никаким тиранам не одолеть Испании.

Фашисты могут пройти по стране, проламывая себе дорогу лавиной металла, ввезенного из других стран. Они могут продвигаться с помощью изменников и трусов. Они могут разрушать города и селения, пытаясь держать народ в рабстве. Но ни один народ нельзя удержать в рабстве.

Испанский народ встанет против них, как он

всегда вставал против тиранов.

Мертвым не надо вставать. Теперь они частица земли, а землю нельзя обратить в рабство. Ибо земля пребудет вовеки. Она переживет всех тиранов.

Те, что достойно сошли в нее — а кто достойней сошел в нее, чем боец, павший за Испанию? — те уже достигли бессмертия.

Вторая мировая война (1941–1945)

Телеграмма в Москву 27 июня 1941 года

На все 100 процентов солидаризуюсь с Советским Союзом в его военном отпоре фашистской агрессии. Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, сопротивляющиеся фашистскому порабощению.

Эрнест Хемингуэй.

Приветствие Советской Армии в день ее 24-летия

24 года дисциплины и труда во имя победы создали вечную славу, имя которой — Красная Армия. Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной Армии, который он никогда не сможет оплатить. Но мы можем заявить, что Советский Союз получит оружие, деньги и продовольствие, в которых он нуждается.

Всякий, кто хочет разгромить Гитлера, должен считать Красную Армию героическим образцом, которому необходимо подражать.

1942 г., февраль

Из предисловия к антологии «Люди на войне»

Эта книга не научит вас, как надо умирать. Кто-нибудь из воинственных крикунов всегда сумеет тиснуть брошюрку о том, как в конце жизни наилучшим образом справиться с этим маленьким, но неизбежным делом. Быть может, Р.М.[36] уже опубликовала нечто подобное в иллюстрированном воскресном выпуске. Они могли бы даже издать такую брошюрку приложением к изданию, которое я прочел в ноябре 1941 года под названием «Как мы можем разгромить Японию за шестьдесят дней».

Нет, эта книга не научит вас, как надо умирать. Зато она расскажет вам, как с незапамятных времен сражались и умирали мужчины. Прочитав ее, вы поймете: самое страшное, что может случиться с человеком, уже выпадало на его долю в прошлом.

Из описания крестового похода Людовика IX Святого вы поймете, что ни одно экспедиционное

---

[36] Примечания: 36

Р. М. — «Пикчерс-мэгэзин», нью-йоркская газета, в которой Хемингуэй сотрудничал в 1941 г.

войско не могло оказаться в худших условиях, чем эти крестоносцы. Мы должны лишь сражаться так же хорошо, как стояли и сражались воины при Шилоа[37]. Не надо драться лучше. Лучше, наверное, и нельзя этого сделать. И нет ничего страшнее, нежели артобстрел, перенесенный солдатами на западном фронте в 1916 и 1917 годах. Самые гнусные генералы, которых только можно вырастить за тысячу лет путем специального отбора, все равно не сумеют устроить бойню хуже, чем Пашендаэль или Галлиполи[38]. И все же мы выиграли ту войну, должны выиграть и эту.

Составитель этой антологии сам был участником той войны и получил тогда ранения; сражавшийся ради прекращения войн вообще, он ненавидит войну, а заодно и всех политиков, чья бездарность, легковерие, жадность, эгоизм и амбиции привели к этой войне и сделали ее неизбежной. Но раз уж мы втянуты в войну, нам остается только одно. Надо победить.

Эта война была развязана потому, что демокра-

---

[37] Примечания: 37

Битва при Шилоа — одно из сражений Гражданской войны в США, в ходе которого войска северян под командованием генерала Гранта выдержали натиск превосходящих сил южан и отбросили противника.

[38] Примечания: 38

Галлиполи — место кровопролитных боев во время первой мировой войны.

тические государства шаг за шагом предавали те немногие страны, которые боролись или готовы были бороться ради предотвращения войны. Невзирая на это, нам остается только одно. Мы должны победить. Любой ценой и как можно быстрее. Мы должны победить, не забывая ни на минуту, ради чего мы сражаемся, чтобы, воюя против фашизма, не скатиться к приятию его идей и идеалов.

Немало лет многие американцы расхваливали Муссолини за то, что он заставил итальянские поезда ходить по расписанию. Им ни разу не пришло в голову, что регулярное железнодорожное сообщение в Америке удалось наладить без фашизма.

Германия учла уроки предыдущей войны. Немецкое командование начисто отвергло саму военную доктрину той эпохи, когда и они и их противники четыре года топтались на месте, покуда части Людендорфа не прорвали фронт британской пятом армии в марте 1918 года. Для этой войны немцы заставили все поезда ходить по расписанию. Они завели своего рода новые поезда и правят ими с жестким и холодным профессиональным блеском, присущим новой германской армии, которая усвоила уроки про-

шлой войны и использовала Испанию и Польшу как свои полигоны.

Но все то, чего они достигли и что опробовали, пригодится и нам. А мы не похожи на французов, которые вовсе отказывались учиться из-за иллюзии, будто они выиграли прошлую войну, меж тем как на самом деле они были в моральном отношении разбиты весной 1917 года и не сумели оправиться от этого поражения. Правда о бунтах во французской армии после провала наступления при Шмен-де-Дам ранней весной 1917 года так и не прозвучала.

В Испании я провел немало времени вместе с французскими наблюдателями; немцы отрабатывали там свое наземное оружие, самолеты и тактические установки. Во время испанской войны оказалось, что французские, итальянские, русские и немецкие танки не выдерживали огня противотанковых 45-мм орудий или пушек большого калибра. А огонь 37-мм орудий выдерживала броня любого танка, кроме легких итальянских и безнадежно устаревших французских танкеток Рено. Тогда стало ясно, что накануне приближающейся войны с Германией полагаться на 37-мм противотанковое орудие так же глупо, как стрелять из дробовика 410-го

калибра по гусям. Тем не менее отчеты французских наблюдателей не возымели ни малейшего результата, и, когда разразилась война, французские 37-мм орудия палили по немецким большим и средним танкам с таким же успехом, как если бы мальчишки стреляли горохом.

В Испании немцы разобрались в недостатках своих танков. Когда же Чемберлен и Даладье преподнесли им на блюдечке Чехословакию, где заводы Шкода тогда производили лучшие танки в мире, немцы не стали тратить время на перестройку собственной промышленности, а наладили вместо этого массовое производство танков в Чехословакии. Все, чего Германии не хватало или в чем она страшно нуждалась, чтоб успешно воевать, отдали ей Даладье и Чемберлен, когда они добились «Мира для Нашей Эпохи», предоставив немцам внушительную промышленную базу Чехословакии.

Сейчас последний урок в ведении противотанковой войны должны были получить британцы в Ливии. Мы, конечно, учли эти уроки, в то время как англичане предпочитают их игнорировать. Мы обязаны нынче усвоить, что бомбардировщики и танки действуют согласованно, как боевая команда, и замораживать развитие калибров

и систем противотанкового оружия столь же неразумно, как останавливаться в развитии скоростей, взлетных возможностей и огневой мощи у истребителей. Следует производить противотанковые орудия, увеличивая их калибры и скорости в прямой зависимости от изменения брони, огневой мощи и скорости бронированных машин, которым эти орудия противостоят.

Вот самый простой урок из тех, что преподали нам немцы. И мы можем изучить эти уроки, не будучи фашистами, если только сумеем непредвзято относиться к делу. Нам нужен лишь здравый смысл — качество, недостаток которого очень остро ощущается среди генералов, но когда-то наша Гражданская война породила великих мастеров здравого смысла. Мы можем, и не становясь фашистами, разбить немцев. Мы способны вести тотальную войну, не превращаясь в тоталитарное государство, если только не станем упорствовать в своих ошибках и замалчивать их — ошибках в военной, военно-морской и политической областях. И если будем учиться у победителей, а не копировать методы побежденных, из-за которых они так давно проигрывают.

Книга эта сможет помочь нам победить в этой войне, представив сведения о прошлых войнах.

Когда мальчишкой идешь воевать, тобой владеет великое заблуждение, будто ты бессмертен. Погибнуть могут другие, но не ты. Это может случиться с остальными, но не с тобой. А потом, когда тебя впервые тяжело ранят, ты теряешь эту иллюзию и осознаешь, что это может случиться и с тобой. После тяжелого ранения, полученного за две недели до того, как мне исполнилось девятнадцать лет, мне пришлось очень туго, пока я не сообразил, что со мной не может случиться ничего такого, чего бы не пережили уже люди прежде. Все, что приходилось делать мне, уже совершили другие. Если сумели они, сумею и я, так что лучше об этом не беспокоиться.

В свои девятнадцать лет я был изрядным невеждой и читал мало, но мне не забыть ощущения внезапного счастья — как будто мне достался навсегда спасительный талисман, — когда в госпитале молодой английский офицер записал мне на память такие строки: «Честное слово, мне все нипочем: человек умирает однажды Мы все в руках бога… И пусть все идет так, как идет. Тот, кому суждено умереть сегодня, застрахован от смерти завтра».

Весьма вероятно, это лучше всей антологии, и с одной только этой истиной человек может непло-

хо прожить. А я тогда отдал бы любые сокровища за книгу вроде такой антологии, которая показала бы мне, как иные люди со сходной судьбой прошли через все и как они с этим справились…

За полных четыре года, что тянулась прошлая война, о ней не появилось ни одной хорошей книги. Настоящая литература о войне дошла до нас только в стихах. Первое тому объяснение, что поэтов арестовывают не столь поспешно, как прозаиков, пишущих критически, ибо если они — хорошие прозаики, то гневный смысл их книг чересчур ясен. Прошлая война, с 1915 года по 1918-й, была величайшей, безжалостнейшей и бездарнейшей бойней в истории. И если кто-то скажет о ней иначе, он просто лгун. Писатели занимались тогда либо пропагандой, либо молчали, либо шли воевать. Из тех, кто попал на фронт, многие погибли, и нам уже не узнать, какие замечательные писатели могли из них получиться после войны.

Только в дни мира стали выходить хорошие и правдивые книги о войне. Почти все они созданы писателями, которые до того ничего не успели написать или опубликовать. Авторы, создавшие себе имя в предвоенную пору, едва ли не все продали свое перо пропаганде, а по окончании

военных действий почти никто из них не сумел стать честным вновь. Потихоньку и репутации их потускнели, потому что писатель — по честности и неподкупности — не смеет уступать служителям бога. Он либо честен, либо — нет; как девушка — либо невинна, либо нет. Написавши однажды бесчестную книгу, писателю уже не стать самим собой.

Работа писателя — говорить правду. Его верность правде должна быть такой беззаветной, что вымышленное им на основе опыта событие отольется в описание, куда более правдивое, нежели фактический отчет о чем-либо подобном. Факты могут быть освещены неверно, а настоящий писатель использует время и талант, чтобы достичь в произведении совершенной истинности. Если во время войны условия таковы, что писатель не в состоянии печатать правду из опасения повредить собственной стране, ему следует писать, но не печататься. Если ему не на что жить, пусть зарабатывает чем-то еще, помимо литературы. Но если он хоть раз — по каким угодно патриотическим причинам — напишет что-то, внутренне сознавая свою лживость, тогда ему конец. После войны люди не захотят его читать, поскольку он, чей долг говорить правду, солгал им. Да и внут-

реннего равновесия ему не восстановить, потому что он нарушил высочайшее свое обязательство.

Бывает, потеря доброго имени не ощущается при жизни писателя оттого, что такие же, как он, продавшиеся во время войны критики создают ему (а заодно и себе) рекламу, пока это в их силах. Но когда такой писатель умирает или на сцену выходит следующее поколение критиков, вся его слава летит к черту…

Единственная толковая книга о прошлой войне — «Огонь» — принадлежит Анри Барбюсу. Он первый показал нам, мальчишкам, отправившимся на фронт после школы или колледжа, что можно — и не только в стихах — выразить свой протест против гигантской бессмысленной бойни и позорного недомыслия генералов, которое характеризовало все боевые действия войск Антанты между 1915 и 1918 годами. Книга Барбюса была протестом, и в ней отчетливо видна позиция автора. Позиция его заключалась в том, что он ненавидел войну. Но если перечитать эту книгу, стараясь уловить в ней нечто вечное, увидеть в ней некий образец, «Огонь» не выдерживает испытания.

Самое главное в книге Барбюса — мужество ее автора, проявленное в то время, когда она была

написана. Однако после него многие писали еще лучше и правдивей. Писатели научились говорить правду без воплей. Конечно, вопли необходимы в свое время: они привлекают внимание людей, но спустя несколько лет в литературе воспринимаются плохо.

Мне хотелось включить в антологию отрывок из «Трех солдат» Джона Дос Пассоса: написанная под влиянием Барбюса, эта книга была первой попыткой в американской литературе создать реалистическую картину войны. Но несмотря на большие достоинства этой первооткрывательской книги, при перечитывании она проигрывает.

Откройте ее заново и вы поймете, что я имею в виду. Диалоги кажутся фальшивыми, а описания боев — крайне неубедительными. Есть много книг вроде этой; они звучат так же захватывающе, как хорошая новая пьеса, в момент публикации, а через несколько лет они так же мертвы, как декорации от той пьесы, попавшиеся вам на театральном складе.

Всегда трудно понять, почему определенного рода литература устаревает и становится хуже. Мне кажется, это объясняется наравне с иными причинами еще и тем, что авторы неуместно

используют слэнг. От века в языке есть разряд слов непечатных, но необходимых. И именно ими на протяжении столетий изъясняются люди, оказавшись в трудном положении. Но если заменить эти вечные слова слэнгом, а слэнг умирает в языке по крайней мере каждые три года, то это портит написанное и произведение гибнет вместе со смертью очередного жаргона…

О нашей Гражданской войне ничего стоящего не было написано, если не считать забытую вещь Де Фореста[39] «Мисс Равенель уходит к северянам», до тех пор, пока Стивен Крейн не выпустил «Алый знак мужества». В нашей антологии мы даем эту книгу полностью и без сокращений. Крейн написал ее прежде, чем увидел какую бы то ни было войну. Но он прочел все воспоминания современников тех событий, прослушал множество историй от старых солдат (а они тогда были не так уж и стары), но главное — он внимательно изучил великолепные фотографии Мэтью Брэйди. Создавая на основе этих материалов свою книгу, он описал представление взрослых мальчишек о войне, которое ближе к истинной

[39] Примечания: 39

Де Форест Джон (1826–1906) — американский писатель, участник Гражданской войны в США на стороне северян. Гражданской войне посвящен его роман «Мисс Равенель уходит к северянам».

войне, чем все, что пришлось увидеть позднее на полях сражений самому автору «Алого знака мужества». Это одна из лучших книг в нашей литературе, и я включил ее целиком, потому что по цельности книга Крейна не уступает великим поэмам.

Если вам хочется понять, насколько совершенна та или иная проза, попробуйте сократить ее, чтобы включить в какую-либо антологию. Я не имею в виду, хороша книга или нет. Лучше Толстого о войне все равно никто не писал, но его произведение столь велико и всеохватывающе, что любое число страниц о битвах можно вырезать из целого: они все равно сохранят достоверность и литературные достоинства, а вы даже не почувствуете себя при этом преступником. И на самом деле, Война и мир» только выиграла бы, если б ее сократили; Конечно, не за счет основного действия, а за счет тех фрагментов, где Толстой подгоняет истину под свои выводы. А вот крейновская книга вовсе не поддается сокращению. Я уверен, что автор сам выкинул из нее все, что было можно, добившись совершенства, какое встречаешь лишь в стихах…

В прошлом году издатели нового перевода «Войны и мира» предложили мне написать пре-

дисловие к нему с тем, чтобы показать сходство между двумя вторжениями в Россию — наполеоновским и гитлеровским. Я обнаружил столько несоответствий в точке зрения, согласно которой эти вторжения следует сравнивать и что результаты их одинаковы, что от предисловия отказался. Я люблю «Войну и мир», люблю за изумительные, проникновенные и правдивые описания войны и людей, но я никогда не преклонялся перед философией великого графа. И мне жаль, что возле него не нашлось никого, кто, пользуясь его доверием и с его разрешения, устранил бы самые неудачные и тяжелые примеры его философских размышлений, оставив ему только путь подлинного художника. Толстой мог придумывать по глубине проникновения и правдивости несравненные вещи. Но его громоздкая мессианская философия была ничуть не лучше, чем откровения любого евангелистского профессора истории, и у Толстого я научился не доверять своей собственной философии и старался писать так достоверно, прямо, объективно и скромно, насколько это в моих силах.

Рассказ об арьергардном бое Багратиона в «Войне и мире» — самое тонкое и проникновенное описание сражений, которое мне когда-либо

приходилось читать; и поскольку все там изображено в малом масштабе, картина становится особенно ясной и дает полное представление о том, что такое бой; лучше Толстого никто не сумел этого сделать. Я предпочитаю этот фрагмент грандиозному описанию Бородинской битвы. Из «Войны и мира» мы еще включили в антологию замечательный рассказ о первом бое и гибели юного Пети Ростова… В этом рассказе ощущаешь все счастье, свежесть и благородство первого столкновения мальчика с ремеслом войны, и описано это столь же достоверно, как и в «Алом знаке мужества», хотя между героями мало общего — разве только их молодость, да еще то, что они впервые сталкиваются с вещами, которые не знает никто, кроме самих солдат…

Лучший рассказ о том, как ведут себя люди в моменты всемирных потрясений, принадлежит Стендалю: портрет юного Фабрицио при Ватерлоо. Рассказ куда больше похож на настоящую войну и куда меньше на ту чепуху, которая о войне пишется. Однажды прочитав стендалевское описание, вы словно сами побываете при Ватерлоо, и никто уже не в силах отнять у вас этот опыт. Вам нужно прочесть описание того же сражения у Виктора Гюго — точная, величе-

ственная, четкая картина всей трагедии, и тогда вы поймете, что вы уже, собственно, повидали все вместе с Фабрицио и на самом деле уже видели поле при Ватерлоо, поняли вы это или нет. Стендаль показал нам малую часть войны так близко и с такой ясностью, с какой это не удавалось раньше никому. У него дано классическое описание побежденной армии, и рядом с этим все нагромождение деталей в «Разгроме» Золя представляется мертвым и неубедительным, как гравюра на стали. Стендаль служил в наполеоновской армии и повидал несколько величайших битв в истории. Однако о войне он написал только один длинный эпизод в «Пармской обители», который мы целиком включили в антологию.

Именно при Ватерлоо, когда генералу Камбронну предложили сдаться, он — как принято считать — ответил: «Старая гвардия умирает, но не сдается!» На самом же деле Камбронн ответил: «Merde!», и французы по сей день, если не желают произносить это слово, поминают «словечко Камбронна». И у нас тоже есть слово для определения дерьма. Все различие между героическим и реалистическим описаниями войны отражено в различии между двумя этими выражениями. Но сущность того, что человек говорит на насто-

ящей войне, вы найдете у Стендаля.

…Пока идет война, цензура может скрыть заблуждения, грубые ошибки и акты почти преступных решений и халатности руководства. Такое случается во всех войнах. Но по окончании войны за все это придется расплачиваться. Народ сражается, и в конце концов люди узнают, что случилось на самом деле. Несмотря на любую цензуру, народ в конце концов всегда узнает правду, потому что много народу было на войне.

Легче легкого одурачить людей в начале войны и руководить ею келейно. Только потом начинают привозить раненых, и тогда распространяются подлинные сведения. Наконец, когда мы выиграем войну, участники боев возвратятся домой. Миллионы вернувшихся будут знать, как все обстояло на самом деле. Правительство, которое желает сохранить доверие народа после войны или на последних ее этапах, должно доверять народу и сообщать ему все, что допустимо — плохие вести и хорошие, — без риска помочь врагу. Скрывая ошибки, чтобы прикрыть людей, совершивших эти ошибки, правительство добьется того, что потеряет доверие народа, а это, вероятно, одна из самых больших опасностей для нации.

Я уверен, что по ходу войны наше правитель-

ство поймет необходимость говорить людям правду, всю правду и ничего, кроме правды, — всегда, когда это не помогает врагу, потому что близится такое время в этой войне, когда правительству будет необходимо полное и совершенное доверие всех граждан, если наша страна собирается выстоять.

Новогоднее поздравление советскому народу

Вы спасли мир от сил варварства в 1942 году, оказывая сопротивление одни, почти без помощи.

К концу года были предприняты наши первые усилия в Африке. Это является символом обещания. Каждый способный мужчина в Америке будет работать и сражаться вместе с рабочими и крестьянами Советского Союза за наше общее дело — полное уничтожение фашизма во всем мире и обеспечение свободы, мира и справедливости для всех людей.

Рейс к победе

Никто теперь не помнит дату библейской битвы при Спломе. Но день, в который мы заняли береговой район Фокс-Грин, известен точно: это было шестое июня, и дул свирепый норд-вест. Когда мы серым утром шли к берегу, крутые зеленые волны вставали вокруг длинных, похожих на стальные гробы десантных барж и обрушивались на каски солдат, сгрудившихся в тесном, напряженном, неловком молчаливом единении людей, идущих на бой. Впереди, в стальном трюме, стояли ящики с тринитротолуолом, обвязанные резиновыми спасательными поясами, чтоб можно было пустить их вплавь по волнам прибоя, и противотанковые ружья в непромокаемых чехлах, напоминающих прозрачные дождевики американских школьниц.

К каждому предмету был тоже прикручен резиновый спасательный пояс, и такие же серые резиновые пояса, застегнутые под мышками, были на всех солдатах.

Когда в баржу ударяла волна, зеленая вода вспенивалась добела и захлестывала людей, оружие и ящики боеприпасов. Впереди виден

был берег Франции. Серые глыбы транспортов с целым лесом подъемных стрел остались позади, и море кругом усеяно было десантными судами, ползущими вперед, к Франции.

Когда нашу баржу выносило на гребень волны, мы видели невысокие силуэты крейсеров, вытянувшихся в один ряд, и два больших линкора, стоящих бортом к берегу. Мы видели яркие вспышки орудийных залпов и коричневый дым, который клубился и постепенно таял на ветру.

— Какой у нас курс, штурвальный? — крикнул с кормы лейтенант Роберт Эндерсон из Ронока, штат Виргиния.

— Два двадцать, сэр, — ответил штурвальный Фрэнк Кэрир из Согэса, штат Массачусетс. Это был худенький веснушчатый паренек, не сводивший глаз с компаса.

— Вот и держите два двадцать, черт вас возьми! — сказал Эндерсон. — Нечего кататься по всему океану.

— Я держу два двадцать, сэр, — кротко возразил штурвальный.

— Ну и держите так, — сказал Энди. Он нервничал, но экипаж, впервые совершавший высадку под огнем, знал, что этот офицер водил десантные суда и к африканским берегам, и в Сицилию, и в

Салерно, и люди чувствовали доверие к своему командиру.

— Не врежьтесь вон в ту баржу! — крикнул Энди, и мы пронеслись совсем близко от безобразного стального корпуса десантной баржи для танков — по ним хлестали волны, солдаты сгрудились в укрытии.

— Я держу два двадцать, — сказал штурвальный.

— Это не значит, что вы должны натыкаться на все, что плавает по океану, — сказал Энди. Он был красивый молодой человек с впалыми щеками, подчеркнуто военной выправкой и немного нервозный. — Мистер Хемингуэй, будьте добры, вы разглядите в ваш бинокль, какой там флаг?

Я достал из внутреннего кармана маленький цейсовский бинокль, завернутый в шерстяной носок вместе с тряпочкой для протирания стекол, и стал наводить на флаг. Не успел я поймать флаг в фокус, как стекла залило волной.

— Зеленый.

— Значит, мы уже в заминированной зоне, — сказал Энди. — Прекрасно. Штурвальный, что с вами такое? Неужели вы не можете держать курс два двадцать?

Я пытался протереть бинокль, но это было без-

надежное дело, и я опять завернул его до поры до времени и стал смотреть, как линкор «Техас» обстреливает берег. Он сейчас находился позади нас, чуть правее, и посылал снаряды через наши головы, пока мы продвигались к французскому берегу, который становился виден все яснее, по курсу два двадцать, а может быть, и нет, смотря по тому, кому верить — Энди или штурвальному Кэриру.

Цепь невысоких скалистых гор кое-где прерывали долины.

Видна была деревня в одной из долин с торчащим над крышами церковным шпилем. Виден был лесок, сбегающий к самому морю. Виден был одинокий дом справа, совсем на берегу. На всех мысах горели заросли дрока, но норд-вест гнал дым низко над землей.

Наши солдаты, кроме тех, которые, позеленев от морской болезни, только о том и думали, как бы сдержать рвоту, пока не доберутся до стального борта баржи, наблюдали за огнем «Техаса» с удивлением и радостью. В своих стальных касках они напоминали средневековых копейщиков, на помощь которым нежданно-негаданно явилось странное, невиданное чудище.

Когда с «Техаса» били четырнадцатидюймовые

орудия, вспышка слепила, как при пуске металла из домны, и пламя высоко выносилось вперед. Потом каждый раз заклубится желто-бурый дым, и сила удара докатится до нас. Каски солдат задребезжат от сотрясения. В ушах звон, точно от удара тяжелой боксерской перчаткой.

Потом на зеленом склоне холма, теперь уже ясно видном впереди, взметнутся два высоких черных фонтана земли и дыма.

— Гляди, как они долбают этих немцев, — расслышал я сквозь рев мотора голос одного из солдат. — Небось, перебьют там всех до единого, — добавил он радостно.

Это единственное, что я услышал от наших солдат за все утро. Между собой они изредка переговаривались, но все голоса перекрывал рев серого скоростного дизеля в 225 лошадиных сил. Впрочем, почти все время они стояли молча, и после того, как огонь линкоров остался в стороне, я не увидел на лицах ни одной улыбки. Таинственное чудище, помогавшее им, пропало, и теперь они снова были одни.

Я заметил, что, если открыть рот, как только блеснет вспышка, и не закрывать, покуда не долетит звук, сотрясение чувствуется меньше.

Я рад был, когда мы вышли за пределы выстре-

лов «Техаса» и «Арканзаса». Весь день вчера над нашими головами летали снаряды с других судов, и от глухих, коротких раскатов артиллерийского огня некуда было уйти. Но теперь, чем ближе мы подходили к берегу, тем дальше оставались тяжелые орудия «Техаса» и «Арканзаса», стрелявшие с таким грохотом, словно целые железнодорожные составы взлетали в воздух. Они перестали быть частью нашего мира, когда мы шли по серому в белых гребешках морю туда, куда, опережая нас, точно по намеченному адресу спешила смерть в надежной, экономной и аккуратной упаковке. Они были словно отголоски грозы, разразившейся где-то не слишком близко, когда вы уверены, что дождь пройдет стороной. Но они выводили из строя береговые батареи, чтобы эсминцы без помехи могли подойти к самому берегу потом, когда придет время прикрывать десант.

Теперь уже ясно было видно, что делается на берегу. Энди раскрыл подробную карту, на которой нанесены были все бухты и все ориентиры местности, а я взял бинокль и, прикрывая его полой своего непромокаемого плаща, стал протирать стекла. Кругом, куда ни глянь, двигались по серому морю десантные суда. Солнце еще не всходило, а дым стлался вдоль всего берега.

Карта, которую Энди развернул у себя на коленях, состояла из десяти отдельных листов, сколотых скрепками, с пометкой вверху: «Приложение I к дополнению А». Если разложить все десять листов по порядку, вышла бы полоса вчетверо длиннее человеческой руки. Когда Энди стал перелистывать ее, вдруг налетел ветер, и те страницы, на которых были районы Дог-Уайт, Фокс-Ред, Фокс-Грин, Дог-Грин, Изи-Ред и часть сектора Чарли, дважды весело кувыркнулись в воздухе и исчезли за бортом.

Я хорошо изучил эту карту и помнил ее чуть не наизусть, но одно дело помнить, а другое — видеть на бумаге, где всегда можно проверить и исключить сомнение.

— У вас маленькой карты нет, Энди? — крикнул я. — Чтобы был один лист, только Фокс-Грин и Изи-Ред?

— Нет и не было, — сказал Энди. А мы уже подходили к французскому берегу, и глядел он на нас все более враждебно.

— Эта была единственная? — спросил я, наклоняясь к его уху.

— Ну да, — ответил Энди. — А теперь и той нет. Ее волной накрыло, она и расползлась. По-вашему, прямо перед нами какой район?

— Это, должно быть, Кольвиль, если судить по церковному шпилю, — сказал я. — А тогда, значит, тут и есть Фокс-Грин. И дом такой тоже показан на карте, а вон и лес спускается по прямой к самой воде, ближе к Изи-Ред.

— Верно, — сказал Энди. — Но мне кажется, мы слишком уклонились влево.

— Все данные совпадают, — сказал я. — Карту я знаю наизусть, только вот скал, по-моему, не должно быть. Скалы начинаются левее Фокс-Грин, ближе к Фокс-Ред. А если так, то Фокс-Грин у нас сейчас должен быть справа.

— Где-то тут ходит диспетчерское судно, — сказал Энди. — Там известно, что это за район.

— Раз тут скалы, значит, это не Фокс-Грин, — сказал я.

— Ладно, — сказал Энди. — Узнаем на диспетчерском судне. Правьте вон на ту баржу, штурвальный. Да нет же, не туда. Разве вы сами не видите? Заходите с той стороны. Так вы его никогда не догоните.

Мы его и не догнали. Мы стали врезаться в волны вместо того, чтобы опускаться и подниматься вместе с ними, и диспетчерское судно ушло от нас. Груз тринитротолуола и тяжесть стальной брони делали нашу баржу неповоротливой, она

зарывалась носом, и волны все время заливали ее.

— Ну и черт с ним! — сказал Энди. — Сейчас спросим вон на том бронекатере.

Из всех десантных судов только бронекатера имеют сколько-нибудь морской вид. Они хоть по форме напоминают корабль, тогда как баржа для автотранспорта похожа на железную ванну, а баржа для танков — на плавучую товарную платформу. Все водное пространство вокруг нас было усеяно десантными судами, но лишь немногие из них шли по направлению к берегу. Остальные, пройдя часть пути, поворачивали, описывали полукруг и ложились на обратный курс. На самом берегу, прямо против того места, где мы находились, чернело что-то похожее на танки, но мой бинокль был еще мокрый и в него ничего нельзя было разглядеть.

— Где Фокс-Грин? — Это Энди, сложив ладони рупором, крикнул вверх на мчащийся навстречу нам, перегруженный пехотой бронетанкер.

— Не слышно! — крикнули оттуда. Мегафона у нас не было.

— Какой район? — проорал Энди.

Офицер на бронетанкере покачал головой. Остальные офицеры даже не посмотрели в нашу

сторону. Они смотрели через плечо на берег.

— Правьте ближе, штурвальный, — приказал Энди. — Еще ближе, борт к борту.

Мы с ревом подлетели к бронетанкеру и заглушили мотор.

— Где Фокс-Грин? — крикнул Энди, и ветер тут же отнес его слова в сторону.

— Прямо, справа от вас, — крикнули в ответ.

— Спасибо. — Энди оглянулся назад, на две другие баржи и приказал сигнальщику Эду Банкеру: — Пусть подтянутся к нам. Вплотную.

Эд Банкер обернулся и, вытянув указательный палец, помахал рукой от локтя вниз и вверх.

— Подтягиваются, сэр, — сказал он.

Я видел, как две тяжело груженных баржи взбираются на волны, теперь уже зеленые, потому что солнце взошло, и валятся с волны вниз.

— Промокли, сэр? — спросил Энди.

— Насквозь.

— Я тоже, — сказал Энди. — Аж до пупа.

— Все-таки это Фокс-Грин, — сказал я Энди. — Я теперь вижу, где кончаются скалы. А справа уже Фокс-Грин. Вон кольвильская церковь. Вон дом на берегу. Вон, еще правее, долина Рюкэ, значит — Изи-Ред. Фокс-Грин и есть.

— Проверим, когда подойдем ближе, — сказал

Энди. — Вы правда думаете, что это Фокс-Грин?

— Иначе быть не может.

Впереди нас десантные суда вели все ту же непонятную игру, устремлялись к берегу, поворачивали и, описав полукруг, возвращались.

— Что-то там неладно, — сказал я Энди. — Видите танки? Стоят вдоль всего берега, у самой воды. Никуда не продвинулись.

В ту же секунду один из танков вспыхнул и загорелся — взметнулся черный дым и желтое пламя. Чуть дальше загорелся второй. Они сидели у воды как большие желтые жабы. На глазах у меня загорелись еще два. Из первых валил теперь густой серый дым, и ветер гнал его низко над берегом. Пока я вглядывался, пытаясь разобрать, есть ли какое-нибудь движение дальше, за линией танков, один из горящих танков взорвался яркой вспышкой в сером дыму.

— Сверимся вот у них, — сказал Энди. — Штурвальный, держите вон на то судно. Да, да, правильно. Правее берите, давайте, давайте.

Это был черный катер, по виду быстроходный, с двумя пулеметами, он вперевалку удалялся от берега на еле работающем моторе.

— Какой это район? — крикнул Энди.

— Дог-Уайт.

— Точно?

— Дог-Уайт, — крикнули с черного катера.

— Проверено? — крикнул Энди.

— Район Дог-Уайт, — прозвучало с катера, и его винт вспенил воду. Он набрал скорость и умчался.

Я совсем приуныл: впереди, на берегу, я видел все ориентиры, которые запомнил для Фокс-Грин и Изи-Ред. Ясно видна была линия скал, отмечавшая левый конец Фокс-Грин. Каждый дом стоял там, где ему полагалось. Шпиль кольвильской церкви находился в точности там же, где и на аэроснимках. Я посвятил целое утро изучению снимков, карт, всех данных о подводных и наземных оборонительных сооружениях и, помнится, еще спросил тогда нашего командира, капитана второго ранка У.-И. Лихи с транспорта «Доротея», будет ли нашей задачей тактическая диверсия.

— Нет, — ответил он. — Ни в коем случае. А почему вы спрашиваете?

— Потому что этот участок основательно укреплен.

— За первые же полчаса все препятствия и мины будут обезврежены, — заверил меня капитан Лихи. — Сквозь них прорежут проходы для десантных частей.

Хотелось бы мне подробно рассказать, что значит провести десантное судно через заминированный пролив — про математическую точность маневрирования, про разработанный до секунды расчет всей операции — от подъема якоря до спуска шлюпок, на которых пехота в реве и вихре прибоя устремится к месту сбора, чтобы влиться затем в атакующий эшелон.

Нужно написать о том, какая слаженная за этим стоит работа, но это была бы целая книга, а я пишу всего лишь отчет о том, как шли дела на одной десантной барже в тот день, когда мы штурмовали Фокс-Грин.

Была минута, когда никто как будто не знал, где этот Фокс-Грин находится. Я был уверен, что он прямо перед нами, но дозорный катер сказал, что это Дог-Уайт, а я считал, что Дог-Уайт от нас справа, в 4295 ярдах.

— Не может это быть Дог-Уайт, Энди, — сказал я. — Вон там, левее, скалы, это уже начинается Фокс-Грин.

— А он говорит, что Дог-Уайт, — сказал Энди.

Из гущи плечом к плечу стоявших солдат на нас смотрел, качая головой, человек с вертикальной белой полоской на виске. У него сильно выдавались скулы, лицо было туповатое, неуверенное.

— Лейтенант говорит, что знает эти места, это Фокс-Грин! — крикнул нам Эд Банкер. Он снова заговорил с лейтенантом, но слов было не разобрать.

Энди что-то крикнул лейтенанту, и тот покивал головой в каске.

— Он говорит, это Фокс-Грин, — сказал Энди.

— Спросите его, где лучше пристать, — сказал я.

Но тут к нам подошел со стороны берега еще один дозорный катер, маленький и черный. На нем было несколько офицеров, и один встал и прокричал в мегафон:

— Есть тут суда седьмого эшелона в район Фокс-Грин?

С ними была одна баржа из этого эшелона, и офицер крикнул, чтобы она шла за катером.

— Это Фокс-Грин? — крикнул Энди.

— Да. Видите вон тот разрушенный дом? Район Фокс-Грин тянется на тысячу сто тридцать пять ярдов вправо от этого дома.

— Пристать там можно?

— Этого не знаю. Справьтесь на диспетчерском судне.

— Где оно?

— Вон в той стороне.

— Мы могли бы войти там, где побывало какое-нибудь десантное судно, — сказал я. — Раз они приставали, значит, там путь свободен. Могли бы к кому-нибудь пристроиться.

— Поищем диспетчерское судно, — сказал Энди, и мы понеслись прочь от берега, в гущу десантных барж и лихтеров.

— Не вижу, — сказал Энди. — Нет его там. Наверно, разминулись. А нам, черт возьми, надо подходить. И так запаздываем. Идем к берегу.

— Спросите его, где лучше пристать, — сказал я.

Энди пошел к лейтенанту. Я видел, как тот шевелит губами, но ничего не слышал, мешал мотор.

— Он говорит, прямо у разрушенного дома, — сказал Энди, вернувшись.

Мы понеслись ко входу в бухту. Когда мы на полном ходу огибали мыс, нас снова нагнал черный дозорный катер.

— Встретили диспетчерское судно? — крикнули оттуда в мегафон.

— Нет.

— Что думаете делать?

— Идти к берегу! — проревел Энди.

— Что ж, пожелаем вам удачи, — сказал мега-

фон. Слова прозвучали медлительно и торжественно, как реквием. — Пожелаем удачи всем вам.

Это относилось к Томасу Е. Нэшу из Сиэтла, механику, чья добродушная улыбка обнаруживала отсутствие двух передних зубов. Это относилось к Эдварду Ф. Бэнкеру из Бруклина, сигнальщику, и к Лэси Т. Шифлету из Орэнджа, штат Виргиния, который был бы командиром орудийного расчета, если бы у нас нашлось место для орудия. Это относилось к Фрэнку Кэриру из Согэса, штат Массачусетс, штурвальному, и еще это относилось к Энди и ко мне. Зловещий тон этого прощального напутствия сразу дал нам почувствовать, что высадка будет серьезным делом.

Я устроился на корме повыше, чтобы увидеть, что нас ждет. Бинокль мой наконец просох, и можно было обозреть берег. Берег несся на нас с невероятной быстротой, а в бинокль — еще быстрее.

На берегу, слева, там, где не было каменистого обрыва, нависшего сверху естественным прикрытием, лежали люди из первого, второго, третьего, четвертого и пятого эшелонов, и казалось, что на устланной галькой полосе между морем и откосами разбросано множество туго набитых узлов.

Справа было открытое пространство, доходившее до того места, где к бухте подходила поросшая лесом долина. Именно здесь немцы надеялись нам напакостить, что несколько позже и сделали.

Правей, на высотке, горели два танка, дым над ними, густой и черно-желтый сразу после взрыва, успел уже стать серым. Когда мы входили в бухту, я заметил два пулеметных гнезда. Один пулемет бил из разрушенного дома справа от маленькой долины. Второй находился ярдов на двести правее и ярдов на четыреста дальше от моря.

Лейтенант, командовавший частями, которые мы везли, просил держать курс прямо на разрушенный дом.

— Прямо туда, — повторял он. — Прямо.

— Энди, — сказал я, — весь этот участок простреливается пулеметным огнем. Вот только сейчас они дали две очереди по тому поврежденному судну.

Среди свай пьяно покачивалась пехотная баржа — протекшая стальная ванна. Пули летели у самой кромки воды и высекали из волн острые фонтанчики.

— Он говорит, ему туда и нужно, — сказал Энди. — Значит, туда мы его и доставим.

— Нет смысла, — сказал я. — Оба пулемета ве-

дут огонь, я сам видел.

— А ему нужно туда, — сказал Энди. — Так что полный вперед. — Он повернулся к корме и просигналил остальным баржам — вверх и вниз рукой с вытянутым указательным пальцем.

— Давай сюда, ребята, — произнес он неслышно: мотор ревел, как самолет при взлете. — Давай, давай, не мешкая. Штурвальный, вперед и до места!

Мы вошли в поле обстрела обоих пулеметов, и я весь съежился от оглушительного треска над головой. Потом нырнул под кормовой брезент, в нишу, где стоял бы артиллерист, если б у нас была артиллерия. Пулеметный огонь обливал водой поврежденную баржу, одна противотанковая граната окатила водой и нас.

Лейтенант что-то говорил, я не слышал, только Энди, пригнувшись к самому его рту, расслышал и заорал:

— Штурвальный, уходите отсюда к черту! Уходим отсюда! Как только мы повернулись на собственной оси и отошли, пулеметный огонь прекратился. Но пули снайперов еще свистели над головой или плюхались в воду. Я не без усилия распрямился и опять стал смотреть на берег.

— И мины не были убраны, — сказал Энди. —

Вон сколько их висело на сваях.

— Пройдемся вдоль берега, — сказал я, — поищем хорошего места, где их высадить. Если не будем соваться под пулеметы, едва ли они станут стрелять в нас из орудий. Мы ведь всего-навсего баржа, а у них есть мишени и поважнее.

— Поищем места, — сказал Энди.

— Что ему еще нужно? — спросил я Энди.

Губы лейтенанта опять шевелились — очень медленно и словно без всякой связи с ним или с его лицом.

Энди сходил к нему и вернулся ко мне на корму.

— Хочет подойти к одной барже, там его командир.

— Можно ссадить его подальше, где начинается Изи-Грин.

— Он хочет поговорить со своим командиром. Те люди на черном судне из его части.

Неподалеку на волнах переваливалась с боку на бок пехотная баржа, и, подходя к ней, я увидел в ее стальной броне, впереди рубки, рваную пробоину от 88-миллиметрового немецкого снаряда. При каждом наклоне баржи с блестящих краев пробоины стекала в море кровь. Борта были заляпаны следами морской болезни, убитые сложены

впереди рубки. Наш лейтенант побеседовал с другим офицером, пока мы вздымались и падали в волны у черного корпуса, после чего мы отошли.

Энди прошел на нос, поговорил с лейтенантом, вернулся, и мы уселись на корме и смотрели, как от восточных участков берега к нам движутся два эсминца, стреляя из орудий по целям, расположенным на мысах, на травянистых склонах.

— Он говорит, ему приказали пока не причаливать, — сказал Энди. — Подождать. Пропустим-ка этот эсминец.

— И сколько он собирается ждать?

— Он говорит, ему приставать рано. Еще не высадились другие части, которые должны были пройти до него. Ему велено ждать.

— Подойдем где-нибудь, откуда будет видно, — сказал я. — Вот, берите бинокль и глядите на тот участок, только не говорите, что там увидели.

Энди поглядел, вернул мне бинокль и покачал головой.

— Пройдемся вправо, посмотрим, как дела на том конце, — сказал я. — Сдается мне, что там мы сумеем причалить, когда он захочет. Вы уверены, что он получил приказ ждать?

— Я с его слов говорю.

— Проверьте-ка еще раз. Энди вернулся.

— Он говорит, сейчас не время. Там, видите ли, убирают мины, чтобы могли пройти танки, и для высадки еще ничего не готово. Говорит, ему сказали, что произошла неувязка и приказали ждать.

Эсминец стрелял в упор по бетонному доту, который обстрелял нас при первом заходе в бухту, и слышны были разрывы и видно было, как вздрагивала земля и почти одновременно пустые латунные гильзы со звоном падали на стальную палубу. Пятидюймовые орудия эсминца били по разрушенному дому в начале узкой долины, откуда вел тогда огонь второй пулемет.

— Вот теперь, когда эта посудина прошла, можно и подыскать удобное местечко, — сказал Энди.

— Эта посудина убрала там какое-то препятствие, — сказал я. — Уже видно, пехота полезла по лощине вверх. Вот, держите бинокль.

Медленно, с натугой, словно каждый из них был Атлантом, поддерживающим на своих плечах вселенную, шли солдаты вверх по долине, справа от нас. Они не стреляли. Они только медленно поднимались в гору, точно вьючный обоз, под конец рабочего дня ползущий устало в противоположную от дома сторону.

— Пехота подходит к перевалу в том конце долины, — крикнул я лейтенанту.

— Мы им пока не нужны, — сказал он. — Было ясно сказано, что мы им не нужны.

— Дайте-ка я посмотрю в бинокль или Хемингуэй, — сказал Энди. Потом вернул мне бинокль. — Вон там кто-то сигналит желтым флагом и какое-то судно вроде терпит бедствие. Штурвальный, держите прямо на берег.

Мы полным ходом шли к берегу. Эд Бэнкер оглянулся и сказал:

— Мистер Эндерсон, другие баржи уже входят в бухту.

— Верните их, — сказал Энди. — Верните их!

Бэнкер прошел на корму и стал сигналить. Сигнал был принят не сразу, но наконец его поняли, ибо баржи замедлили ход и отстали.

— Вернули? — спросил Энди, продолжая смотреть вперед. Там, среди заминированных свай, застряла полузатонувшая баржа.

— Да, сэр, — сказал Эд Бэнкер.

Прямо навстречу нам шел бронекатер, возвращающийся с берега. Когда он поравнялся с нами, какой-то человек крикнул оттуда в мегафон:

— На той барже есть раненые, а она идет ко дну.

— А подойти к ней можно?

Ветер отнес ответ в сторону, и мы успели разобрать только слова «пулеметное гнездо».

— Что такое они сказали про пулеметное гнездо? — спросил Энди.

— Не расслышал.

— Догоните их, штурвальный, — сказал Энди. — Подойдите к ним вплотную.

— Эй, что вы там говорили про пулеметное гнездо? — прокричал Энди.

Офицер с мегафоном перегнулся за борт.

— Их обстреляли из пулеметного гнезда. Они идут ко дну.

— Штурвальный, правьте на берег, — скомандовал Энди. Это была нелегкая задача. Приходилось лавировать между свай, опущенных на дно в качестве заградительного сооружения и соединенных с ударными минами, похожими на большие круглые блюда, сложенные попарно, дном наружу. Они были неопределенного безобразного желто-серого цвета, как все почти вещи на войне.

Когда мы видели перед собой такую сваю, мы отталкивались от нее руками. О других сваях, которые оставались под нами в глубине, мы не знали и не думали, продолжая подвигаться к

тонущей барже.

Нелегко оказалось поднять на борт солдата, раненного в низ живота, — в тесноте среди свай некуда было спустить трап.

Не знаю, почему немцы по нам не стреляли, разве что линкор подавил пулеметные гнезда. А может, они ждали, когда мы подорвемся на минах. Ставить эти мины, несомненно, было кропотливой работой, и немцам, естественно, хотелось посмотреть их в действии. Мы находились в пределах досягаемости противотанковой пушки, которая обстреляла нас раньше, и все время, что мы маневрировали и работали среди свай, я ждал, что она вот-вот откроет огонь.

Когда мы все же спустили трап, стоя впритык к поврежденной барже, и еще до того, как она затонула, я увидел, как по прибрежной полосе очень медленно продвигаются три танка. Немцы дали им пересечь открытое место при выходе из долины, где они представляли собой идеальную мишень, а потом над головным танком, чуть сбоку от него, взметнулся фонтан воды. Потом из головного танка, дальнего от нас, вырвался дым, и я увидел, как два танкиста выскочили из башни и шлепнулись ничком на береговую гальку. Я даже видел их лица, но за ними никто

не последовал, а танк тут же запылал.

К тому времени мы успели взять на борт раненого и всех уцелевших, убрали трап и стали отходить, петляя между свай. Когда последняя свая осталась позади и Кэрир дал полный ход, уже и другой танк загорелся.

Мы доставили раненого на линкор. Его подняли на борт в особой металлической корзине, забрали и уцелевших. Линкоры тем временем подошли почти к самому берегу и своими пятидюймовыми снарядами выковыривали из земли дот за дотом. При одном из разрывов высоко и плавно вознесся в воздух кусок немца фута в три длиной. Это напомнило мне сцену из «Петрушки».

Пехота уже одолела подъем и скрылась за перевалом. Можно было больше не дожидаться. Мы подошли к удобному местечку, которое облюбовали еще раньше, и солдаты высадились на берег вместе со своим тринитротолуолом, своими ПТР и своим лейтенантом. Дело было сделано.

Немцы все еще вели огонь из противотанковых пушек, поворачивая их по долине и тщательно пристреливаясь к выбранной цели. Минометы еще стреляли по берегу. Отступая, немцы оставили на берегу снайперов, и ясно было, что они будут продолжать стрельбу по крайней мере до

темноты.

Теперь перегруженные транспорты один за другим подходили к берегу. Пресловутые проходы, прорезанные среди мин в первые же полчаса, все еще оставались мифом, а сейчас, когда прилив накрывал сваи, приставать было еще опаснее.

Из двадцати четырех барж нашего эшелона мы недосчитывались шести, но могло случиться, что экипажи их подобрали другие суда. Это была лобовая атака среди бела дня в заминированном районе, обороняемом всеми средствами, какие только способна изобрести военная мысль. Оборона берега велась с упорством и с толком. Но наша десантная флотилия сумела доставить на место людей и грузы. Мы потеряли несколько барж, но ни одна из них не погибла по вине команды. Это были потери, причиненные огнем противника. И мы взяли Фокс-Грин.

Обо многом еще я не написал. Пиши хоть неделю, все равно не отдашь должного всем, кто действовал тогда на участке берега длиной в тысячу сто тридцать пять ярдов. Настоящая война совсем не такая, как на бумаге, и читать о ней — не то, что видеть своими глазами. Но если вам интересно узнать, как оно было на одной десантной барже 6 июня 1944 года, когда мы заняли

Фокс-Грин и Изи-Ред, — вот вам самый правдивый отчет об этом, какой я сумел написать.

Лондон воюет с роботами

«Буря» — это большой сухопарый самолет. Это самый быстрый истребитель на свете, упрямый и выносливый, как мул. Скорость его достигает 400 миль в час, и в пике он намного опережает собственный звук. Там, где мы жили, в задачу его входило перехватывать самолеты-снаряды и взрывать их над морем или над открытой местностью, когда они с прерывистым ревом устремлялись к Лондону.

Эскадрилья летала с четырех часов утра до полуночи. Все время несколько пилотов сидели в кабинах, готовые взлететь по сигналу Вери, и несколько машин все время патрулировало в воздухе. Самое короткое время, которое я засек от вспышки сигнального пистолета, бросавшей двойную световую дугу из двери барака связи в сторону стоянки машин, и до взлета, было 57 секунд. Хлопает пистолет — и тут же слышится сухой лай стартового заряда, нарастающий вой мотора, и большие голодные длинноногие птицы, споткнувшись и подпрыгнув, взмывают ввысь с таким воем, словно двести циркулярных пил вгрызаются в бревно красного дерева. Они

взлетают по ветру, против ветра, как угодно, зацепляются за какой-то кусок неба и лезут в него, подбирая под себя свои длинные тонкие ноги.

Многих и многое в жизни начинаешь любить, когда поживешь рядом, но ни одна женщина, ни одна лошадь и, уж конечно, ничто другое не вызывает такой любви, как большой самолет, и люди, которые их любят, остаются им верны, даже когда покидают их и уходят к другим. Летчик-истребитель только раз теряет девственность, и, если он теряет ее с достойной машиной, значит, сердце его отдано навеки. А П-51, безусловно, пленяет сердца.

«Мустанг» — грубое, хорошее название для норовистого, грубого, хриплого, сердитого самолета, который мог бы подружиться с Гарри Гребом, если бы у Греба был мотор вместо сердца. «Буря» — сентиментальное название из Шекспира. Шекспир, конечно, великий человек, но название-то дали самолету, представляющему собой помесь из Броненосца и Таллулы в их лучшие годы. А это были неплохие годы, и не один человек попался на удочку букмекера, потому что смотрел на трехлетку с такой же шеей, как у Рыжего, а на другие стати не обратил внимания. И хриплых голосов с тех пор было сколько угодно,

но ни одного такого, который был бы слышен через весь Западный океан.

Так вот, поговорим об эскадрилье «Бурь». Давая им название, кто-то явно напрашивался на метеорологические неприятности. И изо дня в день с утра до ночи они сбивают это безымянное новое оружие. Командир эскадрильи — очень привлекательный человек, рослый, немногословный, со светло-коричневыми подглазинами и лиловым от ожогов лицом, и историю своего подвига он рассказал мне очень спокойно и правдиво, стоя возле дощатого стола в столовой летного состава.

Он знал, что говорит правду, и я это знал, и он очень точно помнил, как все было, потому что это был один из первых самолетов-снарядов, которые он расстрелял, и он очень точно описал все подробности. О себе он говорил неохотно, но хвалить самолет ему не казалось зазорным. Потом он рассказал мне о другом способе с ними расправляться. Если не удается взорвать их в воздухе, их сбивают.

— Из них поднимается такой огромный пузырь, — сказал он. Слово было смелое, оно придало ему бодрости, и он попробовал дать еще другое определение:

— Скорее как будто вырастает эдакий исполинский цветок. Это было выражено так четко, что мы оба смутились, но пока я представлял себе, как расцветает этот гигантский пузырь, один американец из той же эскадрильи рассеял всякое напряжение, сказав:

— Я сегодня сшиб один на парники, стекло взлетело прямо вверх, на миллион футов. Что я скажу владельцу парников, когда мы вечером пойдем в пивную?

— В точности просто невозможно определить, куда он упадет, — сказал командир эскадрильи, сказал робко, терпеливо, но очень настойчиво, из-под лиловой маски, которую он теперь всегда будет носить вместо лица. — Они ведь летят очень быстро.

Вошел командир авиаполка, рассерженный, но довольный. Он был маленького роста и здорово форсил и сквернословил. Позже я узнал, что ему 26 лет. Я как-то видел его, когда он выходил из самолета, но не знал, что он и есть командир полка. Тогда это не бросалось в глаза, да и теперь, когда он заговорил, тоже. Единственное, по чему можно было понять, что он командир полка, было то, каким тоном другие летчики говорили ему «сэр». Они говорили «сэр» и обоим командирам эскад-

рилий, из которых один был крепкий бельгиец, похожий на гонщика-велосипедиста, а другой — тот самый тихий, привлекательный человек с обожженным лицом. Но «сэр», обращенное к командиру полка, было чуть-чуть другое, и командир полка никак не отвечал на это обращение, даже не показывал виду, что заметил его.

Цензура в военное время — вещь необходимая. Особенно она необходима во всем, что касается авиации: пока новый тип самолета не попал в руки противника, нельзя публиковать никаких сведений относительно его скорости, размеров, летных данных и вооружения, поскольку все эти сведения важны и нужны противнику.

Самолет любят как раз за его внешний вид и летные качества, и только правдивое его описание и могло бы вдохнуть чувство в посвященную ему статью. В этой корреспонденции ничего такого нет. Я надеюсь, что противник не собьет ни одной «Бури», что «Буря» навсегда останется в секретном списке и все, что я о ней знаю и за что ее люблю, можно будет опубликовать только после войны.

Не пишу я ничего и о тактике, которая применяется при уничтожении самолетов-снарядов, и о тех разговорах, из которых вам стало бы ясно,

как чувствуют себя те, кто эту тактику применяет. Потому что нельзя дать разговор и умолчать о тактике. Так что в этой корреспонденции нет почти ничего, кроме любви человека к самолету.

Написана она грубым языком, потому что и разговоры в я той воинской части звучали, как правило, грубые. Единственным исключением был тот командир эскадрильи, несколько слов которого я привел выше. В иных частях Королевского воздушного флота очень распускают языки, в других же выражаются изящно и правильно, как в фильме «Цель на сегодня». Мне нравится («нравится» — очень слабое слово для испытываемых мною чувств) как тот, так и другой стиль, и когда-нибудь, если настанет такое время, когда можно будет написать что-нибудь интересное, что цензор найдет возможным пропустить, мне хотелось бы попытаться изобразить обе эти крайности. А пока довольствуйтесь тем, что есть.

В военное время без цензуры не обойтись, и мы сами опускаем все, что, по нашему мнению, могло бы заинтересовать противника. Но когда пишешь о войне в воздухе, пытаясь все же вместить и колорит, и подробности, и эмоции, в этом есть известная аналогия с работой спортивного обозревателя.

Чем-то это напоминает прежние дни, когда ты в девять часов утра заставал Гарри Греба в постели за завтраком из яичницы с ветчиной и жареной картошки в день его встречи с Микки Уокером. Весил он в то утро ровно на двенадцать фунтов больше, чем те 162, которые ему полагалось весить в два часа дня. Теперь представьте себе, что вы видели, как этот лишний вес сгоняют с него массажем, обстукиванием и прочими способами, а потом тащат его на весы, ослабевшим до того, что он не в состоянии сам идти и почти не в состоянии ругаться.

Дальше предположим, что вы видели, сколько он съел, и видели, как он вышел на ринг, причем вес его был точно такой же, как когда он утром встал с постели. И предположим, вы видели, какой он дал великолепный, с жестокими крюками, джембами и свингами, гнусный, кровавый, чудесный бой, — и все это вам нужно изложить в таких словах: «По имеющимся сведениям, один из наших боксеров, по фамилии Греб, чьи качества неизвестны, встретился вчера с неким М. Уокером. Дальнейшие подробности будут опубликованы в свое время».

Если моя корреспонденция покажется вам несколько бредовой, вспомните, что по небу во

всякое время суток летят самолеты-снаряды, которые в полете выглядят как уродливые металлические дротики с добела раскаленной пастью, покрывают 400 миль в час, несут в голове по 2200 фунтов взрывчатых веществ, шум производят как некий супермотоцикл и как раз сейчас проносятся над тем местом, где пишутся эти строки.

В Нью-Йорке один мой очень уважаемый коллега сказал мне, что не намерен возвращаться на европейский театр военных действий, потому что не сможет написать ничего, кроме повторения уже написанного. Пользуюсь случаем заверить моего уважаемого коллегу, что опасность повториться в корреспонденции — отнюдь не самая серьезная из тех, которым сейчас подвергаются его бывшие товарищи по работе.

Итак, если вы читаете внимательно — сам я, надо сказать, немного отвлекся из-за неполадок с оконными стеклами, — вы помните, что мы находимся где-то на юге Англии, где группа летчиков, летающих на «Бурях», за семь дней сбили положенное им количество самолетов-снарядов. Это оружие называют и бомба-робот, и самострел, и жужжалка, и всякими другими именами, рожденными в изобретательных умах молодчиков с Флит-стрит, но я никогда не слышал, чтобы

боксеры называли Джо Луиса Тутси. Поэтому в данной корреспонденции мы будем по-прежнему называть это оружие самолетом-снарядом, а вы можете называть его любым оригинальным или ласкательным именем, но только, пожалуйста, про себя.

Накануне того дня, когда ваш референт по самолетам-снарядам приступил к изучению угла перехвата, он, или я (скорее всего, я, хотя порой мне кажется, что я тут не на месте и, пожалуй, следует бросить все это дело и вернуться к писанию книг в жестких переплетах), летал на одном из сорока восьми бомбардировщиков «Митчелл» — восемь треугольников по шесть самолетов — бомбить одну из баз, с которых запускают самолеты-снаряды.

Любой новичок с легкостью определит местоположение этих баз по количеству валяющихся вокруг них старых «Митчеллов», а также потому, что, когда к ним приближаешься, рядом с твоей машиной появляются большие черные кольца дыма. Эти черные кольца дыма называются флак или зенитный огонь, и этот самый флак породил всем известную формулу умолчания — «два наших самолета на базу не вернулись».

Так вот, мы (вернее, командир авиаполка Линн,

человек, с которым хорошо летать и который отвечает бомбардиру Кису, когда тот, зайдя на цель, докладывает в переговорную трубку: «Раз… два… три… четыре», таким же ровным, обыденным голосом, каким говорит на земле) разбомбили эту базу точно, как по нотам. Я хорошо разглядел ее — огромное бетонное сооружение, которое лежало то на боку, то на брюхе (в зависимости от того, видишь ли его перед заходом на цель или после) в лесу, со всех сторон окруженном воронками от бомб. Над ним висело два облачка, отнюдь не казавшихся одинокими, как те, про которые написано в стихах: «Подобно облаку, бродил я, одинок».

Те самые кольца черного дыма в большом количестве поднимались к нам, возникали все в ряд, внутри треугольника, между нами и соседним «Митчеллом» справа от нас, очень похожим на изображение «Митчелла» на рекламе фирмы. И пока рядом возникали кольца дыма, брюхо машины раскрылось и с силой оттолкнуло воздух — прямо как в кино, — и из нее косо выпали все бомбы, точно она в спешке разродилась восемью длинными металлическими котятами.

Все мы одновременно проделывали тоже самое, но видна нам была только одна эта машина. По-

том мы все полетели домой как можно быстрее. Вот это и есть бомбежка. В отличие от многих других случаев жизни приятнее всего бывает после. Пожалуй, это немного напоминает пребывание в университете.

Главное не то, много или мало ты выучишь. Главное — каких чудесных людей узнаешь.

Ваш референт по самолетам-снарядам никогда не учился в университете, поэтому теперь он поступил в Королевские воздушные силы, и главный предмет его учебной программы — научиться понимать англичан по радиотелефону. Лицом к лицу с англичанином я понимаю почти все, что он говорит. Я вполне прилично говорю, читаю и пишу по-канадски, немножко знаком с шотландским и знаю несколько слов по-новозеландски. Австралийский я знаю достаточно для того, чтобы перекинуться в карты, заказать выпивку и протиснуться к стойке, если бар переполнен. Разговорным южноафриканским языком владею почти так же хорошо, как языком басков. Но английский по радиотелефону остается для меня тайной.

На близком расстоянии по переговорному устройству в бомбардировщике я улавливаю почти все. Надавишь кнопку на ручке управления,

чтобы было слышно только то, что говорится в кабине, и начинаются долгие интимные беседы, вроде: «Какой это сукин сын там разговаривает?» — и ты отвечаешь: «Не знаю. Наверно, тот же фриц, который в день вторжения все твердил: «Назад, назад, операцию отменили!» — «И как он умудрился поймать нашу волну?»

Пожимаешь плечами и снимаешь палец с кнопки. Такой разговор мне доступен, но когда настоящие англичане начинают переговариваться по-английски с самолета на самолет или с носа на хвост, я вслушиваюсь изо всех сил, точно готовлю домашний урок, да притом по чужому учебнику высшей математики, когда сам не одолел еще и планиметрии.

Я и по обыкновенному-то телефону понимаю английский еще неважно и поэтому, усвоив правила добрососедской политики, всегда отвечаю «да» и только прошу повторить, в котором часу завтра утром придет машина, чтобы вести нас на тот аэродром, откуда нам предстоит взлететь.

Этим объясняется участие вашего референта по самолетам-снарядам во многих любопытных вылазках. Он вовсе не из тех, кого вечно тянет искать опасности в небе или бросать вызов законам земного притяжения; просто он, не всегда

ясно понимая, что именно ему предлагают по телефону, раз за разом оказывается вовлеченным в уничтожение этих чудовищ в их жутких логовах или в попытки перехватить их на прелестном, развивающем скорость до 400 миль в час самолете «Москит».

В настоящее время ваш референт по самолетам-снарядам прекратил какие бы то ни было телефонные разговоры, чтобы подогнать свои записи — не то кто-нибудь, чего доброго, великодушно предложит ему что-нибудь столь захватывающее по части воздушных операций, что он не выполнит своего долга по отношению к этой великой книге. Впрочем, до того, как разговоры были прекращены, поступило два-три заманчивых предложения, и, насколько мне известно, в некоторых кругах не стесняются высказывать мнения вроде следующих:

— Эрни — трус. Мог бы летать на черт знает какие интересные задания, а он заперся в своей комнате — и знаешь, что делает?

— Что?! (В голосе ужас.)

— Пишет!

— Ну и ну! Долетался, бедняга!

Битва за Париж

19 августа я в сопровождении рядового Арчи Пелки из Кантона, Штат Нью-Йорк, заехал на КП пехотного полка дивизии, расположенный в лесу близ Ментенона, чтобы получить информацию об участке фронта, который удерживал этот полк. Начальник разведки и начальник оперативного отдела показали мне, где стоят их батальоны, и сообщили, что самый передовой отряд боевого охранения находится в пункте сразу за Эпернoном, на дороге в Рамбуйе (23 мили к юго-западу от Парижа), где расположены летняя резиденция и охотничий домик президента Франции. Мне сказали также, что под Рамбуйе идут тяжелые бои. Я хорошо знал местность и дороги в районе Эпернона, Рамбуйе, Траппа и Версаля, потому что много лет путешествовал по этой части Франции пешком, на велосипеде и в машине. Лучше всего знакомишься с какой-нибудь местностью, путешествуя на велосипеде, потому что в гору пыхтишь, а под гору можно ехать на свободном ходу.

Вот так и запоминаешь весь рельеф, а из машины успеваешь заметить только какую-нибудь

высокую гору, и подробности ускользают — не то что на велосипеде. В боевом охранении полка мы застали нескольких французов, только что прикативших на велосипедах из Рамбуйе. Кроме меня, никто из наших военных не говорил по-французски. Они рассказали мне, что последние немцы ушли из Рамбуйе в три часа ночи, но дороги, ведущие в город, заминированы.

С этими сведениями я двинулся было обратно в штаб полка, но, проехав немного, сообразил, что лучше вернуться и забрать французов с собой, чтобы их самих допросили и получили более полные данные. Когда я снова прибыл в сторожевое охранение, там оказались две машины, полные французских партизан, по большей части голых до пояса. Они были вооружены пистолетами и двумя автоматами «стэн», которые мы сбросили с парашютом. Они только что прибыли из Рамбуйе, и их рассказ об о уходе немцев совпадал с тем, что сообщили другие французы.

Мы с рядовым Пелки доставили их в штаб полка — наш Шип шел впереди, а их две машины следом, — и там я перевел соответствующему начальству их рассказ о положении в городе и состоянии дорог.

Потом мы вернулись в боевое охранение, чтобы

дождаться отряда разминирования и разведотряда, которые должны были туда прибыть. Мы ждали довольно долго, и французские партизаны стали терять терпение. Выходило, что нужно ехать до первого минного поля и поставить там охрану, чтобы на мины не нарвались какие-нибудь американские машины, которые могли там оказаться.

Мы продвигались в сторону Рамбуйе, когда к нам присоединился офицер противотанковой роты пехотного полка лейтенант Ирвинг Кригер из Ист-Оренджа, штат Нью-Джерси. Лейтенант Кригер был низенький, коренастый, донельзя грубый и очень веселый. Я сразу заметил, что партизанам он понравился, а стоило им увидеть, как он находит и извлекает мины, — и они прониклись к нему полным доверием. Когда работаешь с иррегулярными частями, единственная дисциплина — это дисциплина личного примера. Пока они в тебя верят, они будут драться. Перестав верить в тебя или в необходимость порученного им дела, они тотчас исчезают.

Военным корреспондентам запрещено командовать войсками, и этих партизан я просто доставил в штаб пехотного полка, чтобы они там рассказали, что знают. Как бы то ни было, этот

день начался замечательно, а потом, приближаясь к Рамбуйе по ровной, черной, обсаженной большими платанами дороге, вдоль которой слева тянулась стена парка, мы увидели впереди завал.

Во-первых, слева лежал разбитый джип. Затем две германские танкетки — они их используют как противотанковые торпеды. Одна расположилась на дороге и смотрела прямо нам навстречу, когда мы ехали под гору к завалу из срубленных деревьев. Другая стояла справа от обочины. В каждой было по двести фунтов тринитротолуола, а подключенные к ним провода уходили на заднюю сторону завала. Если бы на дороге появилась колонна танков, одну их этих самоходок можно было выпустить прямо ей в лоб. Если бы машины свернули правее, а ничего другого им бы не оставалось, поскольку слева тянулась стена, вторую танкетку можно было пустить им во фланг. Они сидели на дороге, как две мерзкие жабы. Перед самым завалом находился еще один разбитый джип и большой грузовик, тоже разбитый.

Лейтенант Кригер нырнул в минное заграждение, поставленное вокруг двух больших, брошенных поперек дороги деревьев, как мальчишка, которому не терпится найти свое имя

на пакетах с подарками, сложенных под рождественской елкой. Под его руководством рядовой Пелки и партизаны стали складывать мины на стенку у обочины. От французов мы узнали, что в этом месте немцы расстреляли американский разведывательный патруль. Броневик, который шел впереди, они пропустили в Рамбуйе, а грузовик и оба джипа обстреляли из противотанковых ружей и пулеметов и убили семь человек. А потом достали из грузовика американские мины и заминировали дорогу.

Французы похоронили американцев в поле, близ дороги, где они попали в засаду, и, пока мы убирали мины, пришли несколько французских женщин, положили на могилы цветы и помолились о погибших. Разведотряд так и не появился, но прибыли люди лейтенанта Кригера, и он наладил радиосвязь с полком.

Я отправился в город с патрулем французских партизан, и мы узнали, на какое расстояние отошли немцы и какова их численность. Эти сведения я сообщил лейтенанту Кригеру, и поскольку между нами и немцами не было никакого заслона, а у немцев, как мы выяснили, сейчас же за городом имелось не меньше десяти танков, было решено восстановить минное заграждение на

случай, если немцы вздумают вернуться, и оставить возле него охрану. К счастью, в эту минуту подошла разведывательная рота под командованием лейтенанта Питерсона из Кливленда, штат Огайо, и одной заботой у нас стало меньше.

Вечером наши французские партизаны выставили патрули на главных дорогах, ведущих из Рамбуйе, чтобы оградить разведроту лейтенанта Питерсона, расположившуюся в центре города. Ночью лил дождь, и к утру французы промокли и устали. Накануне днем они облачились в комплекты полевой формы, оставшиеся в грузовике, в котором тех американцев перебили из засады.

Когда мы входили в город в первый раз, все они, кроме двух, были голые до пояса, и население при виде их не выказало никакого восторга. Во второй раз они все уже были в форме, и нам досталась изрядная доля приветствий. Когда мы проходили по улицам в третий раз, все были в касках, и нас встречали оглушительными криками, душили в объятиях и поили шампанским и мы устроили свой штаб в отеле «Гран Венер», где имелся превосходный винный погреб.

На второй день утром я вернулся на КП пехотного полка, чтобы доложить о положении в Рамбуйе и о том, какие силы немцев действуют

между Рамбуйе и Версалем. Люди из французской жандармерии и партизаны в жандармских мундирах то и дело заглядывали в Версаль, и чуть ли не каждый час поступали сведения от французских групп Сопротивления. У нас были точные данные о передвижении немецких танков, огневых позициях, зенитных батареях, о численности и расположении немецких войск.

Сведения эти все время уточнялись и дополнялись. Командир пехотного полка попросил меня проехать в штаб дивизии, и там я доложил обстановку в Рамбуйе и его окрестностях, и для о I рядов французского Сопротивления было получено кое-какое оружие из запасов трофейного имущества в Шартре.

Когда я вернулся в Рамбуйе, оказалось, что лейтенант Питерсон немного продвинул свою роту по дороге к Версалю и что в поддержку ему прибыл еще один разведотряд с танками. Приятно было видеть в городе войска и знать, что между нами и немцами не пустое пространство, — ведь нам теперь было известно, что среди пятнадцати немецких танков, действующих в районе севернее Рамбуйе, есть три «тигра».

Во второй половине дня в город наехало много народу. Здесь собрались офицеры разведки,

английской и американской, вернувшиеся с задания или отбывающие на задания, несколько корреспондентов, полковник из Нью-Йорка — старше его американских офицеров не было — и капитан-лейтенант Лестер Армор из резерва военно-морских сил США, и вдруг оба бронетанковых разведотряда получили приказ, гласящий, что все задания отменяются, и с указанием пункта, куда им надлежит отойти.

С их уходом между городом и немцами не осталось никаких войсковых частей. Мы теперь точно знали и численность немцев, и их тактику. Они гоняли свои танки в районе между Траппом и Ноф-ле-Вье, блокируя дорогу в Версаль из Гудона. Время от времени они то тут, то там высылали танки по боковым дорогам на главное шоссе между Рамбуйе и Версалем, а район к востоку от Шеврез и Сен-Реми-ле-Шеврез патрулировали их легкие танки и мотоциклисты.

К ночи, когда американские разведотряды прошли, оборону Рамбуйе составляли только смешанные патрули из регулярных войск и партизан, вооруженные противотанковыми гранатами и стрелковым оружием. Всю ночь лил дождь, и часть этой ночи между двумя и шестью часами, была, кажется, самой тоскливой в моей

жизни. Не знаю, поймете ли вы, что это значит — только что впереди у вас были свои части, а потом их отвели, и у вас на руках остался город, большой, красивый город, совершенно не пострадавший и полный хороших людей. В книжке, которую раздали корреспондентам в виде руководства во всех тонкостях военного дела, не было ничего применяемого в такой ситуации; поэтому было решено по возможности прикрыть город, а если немцы, обнаружив отход американских частей, пожелают установить с нами соприкосновение, в этом желании им не отказывать. В таком духе мы и действовали.

В последующие дни немецкие танки бродили впереди нас по всем дорогам. Они брали заложников в деревнях. Хватали людей из отрядов Сопротивления и расстреливали их. Совались куда хотели. Но все это время по пятам за ними следовали французские партизаны на велосипедах, доставлявшие точные данные об их передвижениях.

Человек не должен был появляться в каком-то месте больше одного раза, если только у него не было законного предлога для езды туда и обратно. Иначе немцы заподозрили бы его и пристрелили. Людей, знавших, как нас мало, по возвращении

с задания держали под арестом, чтобы лишить их возможности вернуться на захваченную немцами территорию, где их могли схватить и заставить отвечать на вопросы.

Из одной германской танковой части, расположенной впереди нас, дезертировал совсем юный поляк. Свой мундир и автомат он закопал в землю и пробрался к нам в нижнем белье и в брюках, которые нашел в каком-то разбомбленном доме. Он принес полезные сведения, и мы отправили его работать в кухне отеля.

Секретная служба у нас была отнюдь не на должной высоте, поскольку все, кто носил оружие, были заняты в патрулях, но я помню, как шокирован был полковник, когда повар, явившись в столовую, служившую командным пунктом, попросил разрешения послать пленного одного в пекарню за хлебом. Полковник был вынужден отклонить эту просьбу. Позже пленный как-то попросил меня послать его под конвоем откопать мундир и автомат, чтобы он мог сражаться. Эту просьбу тоже пришлось скрепя сердце отклонить.

В этот период войны без правил немецкий танк подобрался однажды на расстояние в три мили от города и убил очень симпатичного полисмена,

стоявшего в дозоре, и одного из наших местных партизан. Все, кто видел это, нырнули в канаву и стали стрелять по танку, а он удалился. Немцы в то время проявляли прискорбную склонность воевать строго по уставу. Если бы они послали устав к черту, они могли бы войти в город и распивать превосходные вина в отеле «Гран Венер» и даже вытащить из кухни своего поляка и либо расстрелять его, либо опять нарядить в мундир.

Странно протекала в те дни жизнь в отеле «Гран Венер». Один старик, которого я видел за неделю до того при взятии Шартра и подвез на своем джипе до Эпернона, потом явился ко мне и заявил, что, по его мнению, в лесу под Рамбуйе можно собрать много интересных сведений. Я сказал ему, что я корреспондент и что это не мое собачье дело. И вот теперь я встречаю его на какой-то дороге в шести милях к северу от города, и он выкладывает мне полные данные относительно минного поля и противотанковой батареи на шоссе сейчас же за Траппом. Послали проверить его сведения, они подтвердились. После этого пришлось взять старика под стражу, потому что он хотел опять отправиться за информацией, а он слишком много знал о нашем положении, нельзя было рисковать, что его сцапают немцы. И он

оказался под арестом вместе с юным поляком.

Всем этим должна была заниматься контрразведка. Но у нас таковой не было, как не было и отдела связи с местным населением. Помню, полковник как-то сказал: «Эх, Эрни, если бы у нас было хоть немножко Си-Ай-Си, хоть самый паршивый отдел связи с населением! Передоверьте все это французам». Все приходилось передоверять французам. Обычно, хоть и не всегда, все без промедления передоверялось обратно нам.

В эти дни партизаны величали меня «капитан». Для человека сорока пяти лет это очень низкий чин, поэтому при посторонних они обычно называли меня «полковник». Но мой низкий чин немного огорчал их и тревожил, и как-то один из них, который до этого целый год занимался тем, что перетаскивал мины и взрывал германские грузовики с боеприпасами и штабные машины, доверительно спросил меня:

— Мой капитан, как случилось, что вы в вашем возрасте после, несомненно, долгих лет службы и при явных ранениях (это я в Лондоне налетел на ни в чем не повинную цистерну с водой) до сих пор всего лишь капитан?

— Молодой человек, — отвечал я ему, — я не мог получить более высокого чина, потому что

не обучен грамоте.

В конце концов прибыла другая американская разведчасть и расположилась на дороге в Версаль. Таким образом, город оказался прикрыт, и мы могли посвятить все свое время засылке патрулей на территорию немцев и сбору подробных сведений об их обороне, с тем чтобы, когда начнется наступление на Париж, части, осуществляющие это наступление, могли опираться на точные данные.

О самых ярких из запомнившихся мне моментов (если не считать того, что много раз я пережил сильный испуг) сейчас еще нельзя писать. Мне бы, например, очень хотелось рассказать о том, как проводил время полковник и днем и ночью. Но публиковать это рано.

Вот как выглядел в то время так называемый фронт. Спускаешься по шоссе к деревне с заправочной станцией и кафе. Деревня маленькая, напротив кафе — церковный шпиль. С этого места виден длинный подъем шоссе позади и длинный кусок шоссе впереди. Два человека стоят на дороге с биноклями. Один просматривает дорогу в северном направлении, другой — в южном.

Это необходимо, потому что немцы есть и впереди нас, и в тылу. Две девушки идут по дороге к

городу, занятому немцами. Девушки хорошенькие, в туфлях на красных каблуках. Подходит партизан и говорит:

— Эти спали с немцами, когда те стояли здесь. Теперь идут к немецким позициям, могут чего-нибудь наболтать.

— Задержать их, — говорит кто-то.

Тут раздается крик:

— Машина! Машина!

— Их или наша?

— Ихняя.

Все, у кого есть винтовки или автоматы, прячутся за кафе и заправочной станцией, а несколько осторожных граждан удирают в поле. Приближается крошечный немецкий джип и с дороги напротив заправочной станции открывает огонь из 20-миллиметровой пушки. Все по нему стреляют, и он разворачивается и уходит, откуда пришел. Вслед ему стреляют осторожные граждане — убедившись, что джип уходит, они очень расхрабрились. Всего потерь: два энтузиаста, которые со стаканами в руках упали на пол в кафе и слегка порезались.

Обеих девиц, которые, как выясняется, не только питали симпатии к немцам, но и говорят по-немецки, вытаскивают из канавы и запира-

ют на замок, чтобы потом отослать в тыл. Одна из них уверяет, что только ходила с немцами купаться.

— Голая? — спрашивает партизан.

— Нет, мосье, — отвечает она. — Они всегда держались очень прилично.

В сумочках у них находят много адресов, написанных по-немецки, и других предметов, не вызывающих к ним любви местного населения, и их отсылают обратно в Рамбуйе. Никаких истерик, их не бьют, не пытаются остричь им волосы. Немцы еще слишком близко.

В двух милях отсюда, левее, немецкий танк входит в деревню, и танкисты узнают трех партизан, которые несколько раз попадались им на глаза, когда следили за их передвижениями.

Одного из этих партизан я как-то спросил, видел ли он танк своими глазами, и он ответил: «Капитан, я до него дотронулся». Немцы пристреливают партизан и трупы их оставляют у дороги. Через час эту новость сообщает нам другой партизан, прибывший из этой деревни. Люди качают головами, и теперь немцев, которых все время вылавливают в лесах — это остатки частей, успевших спастись из Шартра, — будет труднее отправлять живыми в тыл для допроса.

Появляется какой-то старик и говорит, что его жена держит под дулом револьвера пятерых немцев. Револьвер ему дали вчера вечером, когда он рассказал, что немцы заходят из лесу в его дом просить еды. Это не те организованные немцы, что воюют впереди нас, а остатки разгромленных частей, прячущиеся в лесу. Некоторые из них пытаются найти свою армию и воевать дальше. Другие мечтают сдаться в плен, если додумаются, как это сделать и притом не быть убитыми.

Посылаем машину за пятью немцами, которых держит на мушке старуха.

— Убить их можно? — спрашивает боец из патруля.

— Только если они эсесовцы, — отвечает один из партизан.

— Давайте их сюда, допросим и переправим в штаб дивизии, — говорю я, и машина отъезжает.

Тот юный поляк — лицом он похож на Джеки Купера в детстве — протирает стаканы в столовой отеля, а старик курит трубку и размышляет, когда его выпустят отсюда и он снова пойдет на задание.

— Мой капитан, — говорит старик, — почему мне не разрешали делать нужное дело, вместо того чтобы отдыхать здесь, в саду отеля, когда на

карту поставлен Париж?

— Вы слишком много знаете, — отвечаю я. — Нельзя рисковать, что вы попадете к немцам.

— Мы с полячком могли бы выполнить полезное задание, а если он попробует сбежать, я его убью.

— Он не может идти на полезное задание, — говорю я. — Его можно только включить в какую-нибудь часть.

— Он говорит, что вернется в мундире и доставит любые нужные сведения.

— Хватит рассказывать сказки, — говорю я старику. — А стеречь полячка здесь некому, значит, вы за него отвечаете.

Тут доставили множество всякой информации, которую нужно было проанализировать, оценить и отпечатать на машинке, и мне пришлось уехать в Сен-Реми-ле-Шеврез. Поступило сообщение, что к Рамбуйе подходит французская Вторая бронетанковая дивизия генерала Леклерка, следующая на Париж, и нам нужно было подготовить для нее все данные о расположении немцев.

Как мы пришли в Париж

Нет слов, чтобы описать чувства, которые я испытал, когда к юго-востоку от Парижа появилась бронетанковая колонна генерала Леклерка. Я только что вернулся из района, где действовал наш патруль, где я пережил минуты смертельного страха и где нас перецеловали все подонки городка, вообразившего, что, случайно оказавшись там, мы его освободили, и вдруг мне говорят, что сам генерал находится на подступах к Рамбуйе и желает нас видеть. Вместе с одним из крупных командиров Сопротивления и с полковником Б., который к тому времени был известен всему Рамбуйе как доблестный офицер и важная персона и который, как нам казалось, командовал в городе с незапамятных времен, мы не без торжественности приблизились к генералу. Его приветствие — абсолютно непечатное — будет звучать у меня в ушах, пока я жив.

— Катитесь отсюда, такие-растакие, — вот что произнес доблестный генерал тихо, почти шепотом, после чего полковник Б., король Сопротивления и ваш референт по бронетанковым операциям удалились.

Позже начальник разведки дивизии пригласил нас на обед, и уже на следующий день они действовали, опираясь на данные, которые собрал для них полковник Б. Но для вашего корреспондента описанная встреча была кульминационной точкой наступления на Париж.

Военный опыт убедил меня в том, что грубый генерал — это генерал, который нервничает. В то время я не сделал такого вывода, а поспешил снова уехать в патруль, где мог надежно держать собственные нервы в джипе, а мои друзья могли попытаться выяснить, какого рода сопротивление мы встретим на следующий день между Туссю-ле-Ноблем и Ле-Крист-де-Сакле.

Выяснив, каково будет это сопротивление, мы возвратились в отель «Гран Венер» в Рамбуйе и провели беспокойную ночь. Я уже точно не помню, что породило это беспокойство — возможно, то, что в доме было слишком много народу, включая одно время даже двух военных полицейских. А может, оно объяснялось тем, что мы ушли слишком далеко вперед от своих запасов витамина В и под действием алкоголя расшатались нервы даже у самых стойких партизан, которые освободили слишком много городов в слишком короткий срок. Так или иначе, я был неспокоен,

и едва ли будет преувеличением сказать, что те, кого мы с полковником Б. к тому времени привыкли называть «наши люди», тоже были неспокойны.

Начальник партизан, фактически командовавший «нашими людьми», говорил:

— Мы хотим в Париж. К чему эти чертовы проволочки?

— Никаких проволочек, начальник, — отвечал я. — Все это — часть грандиозной операции. Имейте терпение, завтра мы войдем в Париж.

— Надеюсь, — сказал начальник партизан. — Меня там уже давно жена дожидается. Я, черт возьми, желаю войти в Париж и повидаться с женой и не понимаю, зачем это мы должны ждать, пока подойдут какие-то части.

— Потерпите, — сказал я ему.

В ту знаменательную ночь мы спали. Пусть ночь знаменательная, но завтра, конечно же, будет еще более знаменательный день. Я уже предвкушал назавтра настоящий хороший бой, но меня ждало разочарование: среди ночи в отель явился партизан, разбудил меня и сообщил, что все немцы, какие в состоянии двигаться, уходят из Парижа. Боев назавтра было не миновать, судя по заслону, который оставила германская армия.

Но ничего серьезного мы не ждали, поскольку немецкие расположения были нам известны и мы могли либо атаковать их, либо обойти, и я заверил своих партизан, что если они наберутся терпения, то при вступлении в Париж регулярные части будут впереди нас, а не позади, что, конечно, предпочтительнее.

Однако они не оценили этого преимущества. Правда, один из подпольных командиров был со мной согласен и заявил, что простая вежливость требует пропустить войска вперед, а к тому времени, как мы достигли Туссю-ле-Нобля, где произошел короткий, но ожесточенный бой, был получен приказ, запрещающий как партизанам, так и корреспондентам двигаться вперед, пока не пройдет вся колонна.

В тот день, когда мы наступали на Париж, шел сильный дождь, и через час после выхода из Рамбуйе все промокли до нитки. Мы двигались через Шеврез к Сен-Реми-ле-Шеврез, где до того разъезжали наши патрули и где нас хорошо знали местные жители, у которых мы собирали сведения и с которыми распили не один стакан арманьяка, чтобы заглушить недовольство наших партизан, уже тогда бредивших Парижем. В те дни я убедился, что единственный способ

прекратить спор — это выставить бутылку все равно чего, было бы крепко.

Пройдя через Сен-Реми-ле-Шеврез, где нас восторженно приветствовал местный мясник, участвовавший в предыдущих операциях и с тех пор бывший немного не в себе, мы допустили небольшую ошибку — оказались раньше главной колонны в деревне Курсель. Там нам сообщили, что впереди нас нет ни одной машины, и, к великому возмущению наших людей, которые желали идти, как им казалось, кратчайшим путем в Париж, мы возвратились в Сен-Реми-ле-Шеврез на соединение с бронетанковой колонной, следовавшей на Шатофор. Местного мясника наше возвращение сильно встревожило. Но когда мы объяснили ему ситуацию, он опять стал восторженно нас приветствовать, и мы, наскоро выпив по маленькой, решительно двинулись к Туссю-ле-Ноблю, где, как я знал, колонне предстояло сражаться.

Я знал, что здесь немцы окажут сопротивление — и прямо впереди, и справа от нас, у Ле-Крист-де-Сакле. У них был подготовлен ряд оборонительных огневых точек между Шатофором и Туссю-ле-Ноблем, а также дальше, за развилкой дорог. За аэродромом, ближе к Бюку,

стояли их 88-миллиметровые орудия, державшие под обстрелом весь этот участок дороги. По мере приближения к Траппу, где действовали танки, беспокойство мое нарастало.

Французские бронечасти действовали превосходно. Не доходя Туссю-ле-Нобля, где, как мы знали, немцы с пулеметами прятались в копнах пшеницы, танки развернулись и прикрыли нас с обоих флангов, и нам было видно, как они катят вперед по сжатому пшеничному полю, точно на маневрах. Немцев никто не видел до тех пор, пока они уже после прихода танков не стали выходить из своих укрытий с поднятыми руками. Вот как надо использовать бронесилы, тактика которых вызывает столько споров. И зрелище это было великолепное.

И против тех самых танков и четырех 88-миллиметровых орудий, которые были у немцев за аэродромом, французы тоже хорошо себя показали. Их артиллерия находилась позади, на другом поле, и, когда германские орудия — четыре из них подвезли только ночью и оставили без всякого укрытия — стали обстреливать колонну, на них обрушилась французская механизированная артиллерия. В грохоте германских снарядов, 20-миллиметровок и пулеметного огня не слышно

было собственного голоса, но командир партизан, тот, что обрабатывал данные о расположении немцев, крикнул мне по-французски прямо в ухо: «Соприкосновение прекрасное. В точности там, где мы указали. Прекрасно!»

На мой вкус, это было даже слишком прекрасно — я вообще не любитель соприкосновения, — к тому же, когда у самой дороги разорвался 88-миллиметровый снаряд, меня сбило с ног. Соприкосновение — дело очень шумное. Поскольку наша колонна здесь задержалась, наиболее энергичные из партизан стали помогать ремонтировать дорогу, которую бронемашины размесили в кашу, и это отвлекло их внимание от окружающего концерта. Они засыпали ямы кирпичом и черепицей от разрушенного дома, передавали по цепи куски бетона и обломки стен. Дождь лил не переставая, и к тому времени, когда соприкосновение кончилось, в колонне было двое убитых и пять раненых, один танк сгорел, а из семи вражеских танков мы вывели из строя два и подавили все их 88-миллиметровые пушки.

— C'est un bel accrochage! — ликовал командир партизан.

Это значит приблизительно «здорово мы с ними схлестнулись» или «знатно мы их прижали»,

а технически употребляется в тех случаях, когда две машины сцепятся бамперами.

Я крикнул:

— Здорово, здорово!

Услышав это, молоденький французский лейтенант, который, судя по его виду, не успел принять участия в особенно многих accrochages, но мог иметь их на счету и сотни, сказал мне:

— А вы, черт возьми, кто такой и что вы тут делаете в нашей колонне?

— Я военный корреспондент, мосье, — ответил я.

Лейтенант заорал:

— Не пропускать никаких военных корреспондентов, пока не пройдет колонна! А главное — не пропускать вот этого.

— Есть, мой лейтенант, — сказал военный полицейский. — Я за ним послежу.

— И этот партизанский сброд задержите, — приказал лейтенант. — Ни одного из них не пропускать, пока не пройдет вся колонна.

— Мой лейтенант, — сказал я, — весь сброд будет убран с глаз долой, как только закончится этот небольшой accrochage и колонна двинется дальше.

— Какой еще небольшой accrochage? — вопро-

сил он, и в голосе его мне определенно послышалась неприязнь.

Тут, поскольку обогнать колонну нам все равно бы не разрешили, я избрал тактику ускользания и зашлепал по мокрой дороге в какой-то трактир. Там сидело множество партизан, они орали песни и развлекались с прелестной молодой испанкой из Бильбао, которую я в последний раз видел на знаменитом пропускном пункте возле города Коньер. Это тот город, который мы брали у немцев всякий раз, как из него уходил один из их танков, а стоило нам отойти с дороги, как они брали его обратно. Испанка эта с пятнадцати лет следовала за войсками и предшествовала войскам, и ни она, ни партизаны не обращали на accrochage ни малейшего внимания.

Один партизанский командир по имени К предложил: «Выпейте этого превосходного белого вина». Я как следует потянул из бутылки, а в ней оказался невероятно крепкий ликер, отдающий апельсинами и называемый «Гран Марнье».

Мимо окна пронесли носилки с раненым.

— Вот, глядите, — сказал один партизан, — воинские части все время допускают потери. Почему нам не разрешают пройти вперед как разумным людям?

— Ладно, ладно, — сказал другой партизан в американской полевой форме и с нарукавной повязкой французских сил Сопротивления. — А тех товарищей, что были убиты вчера на дороге, ты забыл?

Еще кто-то сказал:

— Все равно сегодня войдем в Париж.

— Давайте немного вернемся и попытаем счастья через Ле-Крист-де-Сакле, — сказал я. — Здесь понаехало много начальства, нас не пропустят вперед ни на шаг, пока не пройдет колонна. И дороги разворочены. Легковые машины мы бы еще могли протолкнуть, но грузовик завязнет, тогда что делать?

— Можно пробраться по одной из боковых дорог, — сказал командир партизан К. — Что это за новая мода — плестись в хвосте колонны?

— По-моему, лучше вернуться в Шатофор, — сказал я. — Так получится намного быстрее.

На перекрестке у Шатофора мы встретились с полковником Б. и командиром А., которые отделились от нас еще до того, как мы попали в accrochage, и рассказали им, какое замечательное получилось соприкосновение. В поле все еще стреляла артиллерия, и наши два доблестных офицера успели позавтракать на какой-то ферме.

Французские солдаты из колонны жгли ящики от снарядов, использованных артиллерией, и мы сняли мокрую одежду и посушили ее у костров. Подходили немецкие пленные, и офицер из колонны попросил нас послать партизан туда, где только что сдалась в плен группа немцев, прятавшихся в копнах пшеницы. Партизаны доставили их шикарно, по-военному, живыми и невредимыми.

— Но ведь это идиотство, мой капитан, — сказал старший из конвоя. — Теперь кому-то придется их кормить.

Пленные сказали, что работали в Париже в разных учреждениях, а сюда их привезли только вчера, в час ночи.

— И вы верите в эту чепуху? — спросил старший из партизан.

— Это возможно. Вчера днем их здесь не было, — отвечал я.

— Претит мне эта армейская канитель, — сказал старший из партизан. Ему был сорок один год, у него было худое, острое лицо с ясными голубыми глазами и редкая, но очень хорошая улыбка. — Эти немцы замучили и расстреляли одиннадцать человек из нашего отряда. Меня они били и пинали ногами и расстреляли бы, если бы

знали, кто я. А теперь нам предлагается охранять их бережно и уважительно.

— Они не ваши пленные, — объяснил я. — Их захватила армия.

Дождь превратился в легкий подвижный туман, потом небо расчистилось. Немцев отправили в Рамбуйе на большом немецком грузовике, который партизанскому начальству хотелось — и не без основания — на время убрать из отряда. Сообщив поенному полицейскому на перекрестке, где грузовик может нас снова найти, мы поехали за колонной дальше.

Мы нагнали танки на одной из боковых дорог, идущих параллельно магистрали Версаль–Париж, и вместе с ними спустились в лесистую долину, а потом выехали в зеленые поля, среди которых высился старинный замок. Здесь танки снова развернулись, как овчарки, охватывающие с боков отару овец. Пока мы возвращались посмотреть, свободна ли дорога через Ле-Кристде-Сакле, они уже побывали в деле, и мы проехали мимо сожженного танка и трех немецких трупов. Один из немцев попал под гусеницы и расплющился так, что ни у кого не могло остаться сомнения в мощи бронесил при надлежащем их использовании.

На шоссе Версаль–Виллакубле колонна проследовала мимо разбитого аэродрома Виллакубле к развилке на Порт-Кламар. Здесь колонна задержалась, и какой-то француз, подбежав к нам, сообщил, что на дороге, ведущей в лес, появился небольшой германский танк. Я стал просматривать дорогу в бинокль, но ничего не увидел. Тем временем германская машина, которая оказалась не танком, а джипом, защищенным легкой броней, на котором были установлены пулемет и 20-миллиметровая пушка, развернулась в лесу и на полной скорости помчалась в нашу сторону, стреляя по развилке.

Все стали по ней палить, но она снова развернулась и умчалась в лес. Арчи Пелки, мой шофер, выстрелил по ней два раза, но не был уверен, что попал. Двое людей были ранены, их отнесли под прикрытие углового дома для оказания первой помощи. Теперь, когда снова началась стрельба, партизаны воспрянули духом.

— Работы еще хватит. Еще будет работка, — сказал партизан с острым лицом и голубыми глазами. — Хорошо хоть немножко этой сволочи здесь пока осталось.

— Вы как думаете, придется нам еще воевать? — спросил меня партизан К.

— Без сомнения, — ответил я. — Их и в самом Париже еще достаточно.

Для меня лично военной задачей в это время было попасть в Париж живым. Достаточно мы подставляли головы под пули. Париж вот-вот будет взят. Теперь во время уличных боев я искал укрытия — как можно более надежного и чтобы знать, что кто-то прикрывает меня с лестницы, если я стою в дверях фермы или в подъезде квартирного дома.

Колонна теперь наступала так, что любо-дорого было смотреть. Вот впереди завал из срубленных деревьев. Танки обходят их или раскидывают, как слоны, разбирающие бревна. А не то вгрызаются в баррикаду из старых автомобилей и мчатся дальше, волоча за собой какую-нибудь развалюху, зацепившуюся за гусеницы. Танки, столь уязвимые и робкие в тесных, пересеченных изгородями районах, где с ними легко расправляются и противотанковые пушки, и базуки, и всякий, кто их не боится, здесь крушили все вокруг, как стадо пьяных слонов в туземной деревне.

Впереди нас, слева, горел немецкий склад боеприпасов, разноцветные зенитные снаряды рвались в несмолкаемом стуке и хлопанье 20-миллиметровых. Когда жар еще увеличился,

стали рваться самые крупные снаряды, создавая впечатление бомбардировки. Я потерял из виду Арчи Пелки, но потом оказалось, что он двинулся к горящему складу, вообразив, что там идет бой.

— Там никого нет, Папа, — сказал он. — Просто горят какие-то боеприпасы.

— Никуда один не ходи, — сказал я. — Прикажешь тебя искать? А если бы нужно было трогаться?

— Хорошо, Папа. Виноват, Папа. Понятно, Папа. Только я, мистер Хемингуэй, пошел туда с frere, с моим братом, потому что он сказал, что там идет бой.

— О, черт, — сказал я. — Вконец испортили тебя партизаны. Мы на большой скорости проехали по дороге, где рвался склад боеприпасов, и Арчи, у которого ярко-рыжие волосы, шесть лет службы в армии, четыре французских слова в запасе, выбитый передний зуб и frere из партизанского отряда, весело смеялся над тем, как громко взлетало в небо все это имущество.

— Ох, и хлопает, Папа! — кричал он. Его веснушчатое лицо сияло от радости. — А Париж, говорят, город что надо. Вы там бывали?

— Бывал.

Теперь мы ехали под гору, и я знал это место и

знал, что мы увидим за следующим поворотом.

— Мне frere кое-что о нем порассказал, пока колонна стояла, — сказал Арчи, — только я не совсем понял. Одно понял ясно: город — во! И что-то он еще толковал насчет того, что едет в Панаму. Ведь к Панаме Париж не имеет отношения?

— Нет, Арчи, — сказал я, — французы называют его Paname, когда очень его любят.

— Понятно, — сказал Арчи. — Compris. Все равно как девушку можно назвать не по имени, а еще как-нибудь. Верно?

— Верно.

— А я-то все думаю, что это frere мне толкует. Это выходит вроде как они меня зовут Джим. Меня в части все называют Джим, а имя-то мое Арчи.

— Может быть, они тебя любят, — сказал я.

— Они хорошие ребята, — сказал Арчи. — В такой хорошей части я еще никогда не служил. Дисциплины никакой. Это точно. Пьют без передыху. Это точно. Но ребята боевые. Убьют не убьют — им наплевать. Compris?

— Да, — сказал я. Больше я в ту минуту ничего не мог сказать: в горле у меня запершило, и пришлось протереть очки, потому что впереди, внизу, жемчужно-серый и, как всегда, прекрас-

ный, раскинулся город, который я люблю больше всех городов в мире.

Солдаты и генерал

Пшеница созрела, но сейчас здесь некому было ее убирать. След гусениц танка пролег через поле к борозде, где в кустах стояли танки и откуда были видны лесистая местность и холм, который им предстояло взять завтра. В этой лесистой местности и на холме не было ни души между нами и немцами. Мы знали, что у них здесь есть пехота и от пятнадцати до сорока танков. Но дивизия продвигалась так быстро, что оторвалась от остальной колонны, и вся местность, расстилавшаяся перед нами, с ее мирными холмами, долиной, крестьянскими домиками, с полями и фруктовыми садами вокруг, и город с серыми стенами, шиферными крышами зданий и остроконечным шпилем колокольни представляли собой открытый левый фланг. И все это было смертоносно.

Дивизия не продвинулась дальше своей цели. Она дошла до нее, до этой высоты, где мы теперь стояли, точно в срок, когда ей и следовало дойти. Она брала ее день за днем, а потом неделя за неделей, и вот уже месяц, как она наступала. Никто не различал больше отдельных дней, и

история, свершающаяся ежедневно, уже для нас не существовала. Все расплылось в усталости и пыли, в трупном запахе скота, запахе только что взрытой толом земли, скрежете танков и бульдозеров, стрельбе автоматических винтовок и пулеметов, в прерывистой сухой болтовне немецких автоматов, в торопливой дроби немецких ручных пулеметов и в вечном ожидании, чтобы подтянулись остальные.

Все в памяти слилось в одно сражение на смертоносной низине, поросшей кустарником, которое потом перешло на высоту и через лес опять на равнину, минуя города, одни разрушенные и другие совсем не пострадавшие от обстрела, а потом опять наверх на эту пересеченную лесистую сельскую местность, где мы сейчас находились.

Теперь история — это старые консервные банки из продовольственного пайка, заброшенные доты, сухие листья на ветках, нарезанных для маскировки. Это — сожженные немецкие машины, сожженные танки «шерман», много сожженных немецких «пантер» и мало сожженных «тигров», мертвые немцы на дорогах, в кустах и садах, немецкое снаряжение, разбросанное повсюду, немецкие лошади, бродившие по полям,

и наши раненые и наши мертвые, которых везли нам навстречу связанными по двое на крышах эвакуационных джипов. История — это дойти до места назначения вовремя и ждать там, когда подтянутся остальные.

Сейчас в этот ясный летний день мы стояли и смотрели туда, где завтра дивизия будет драться. Это был один из первых дней по-настоящему хорошей погоды. Небо было высокое и голубое, а впереди, слева от нас, наши самолеты бомбили немецкие танки. Сверкая серебром на солнце, крошечные П-47 шли пара за парой высоко в небе и описывали круги, прежде чем, перевернувшись через крыло, начать бомбить с пикирования. Когда они снижались, становясь большеголовыми и громоздкими в пике, появлялись вспышки с дымом и раздавался тяжелый грохот. А П-47 взмывали и кружили, идя на новый заход, а потом пикировали впереди дыма, стлавшегося за ними, который оставляли их пушки. Над островком леса, на который пикировали самолеты, взметнулось яркое пламя, за ним столб черного дыма, а самолеты продолжали бомбить и бомбить.

— Это они ударили по фрицевскому танку, — сказал танкист. — В один из наименее…

— Вы видите его в бинокль? — спросил танкист

в шлеме. Я сказал:

— С нашей стороны его закрывают деревья.

— Ага, деревья, — сказал танкист. — Если бы мы пользовались прикрытием, как эти проклятые колбасники, гораздо больше парней дошло бы до Парижа или Берлина, или куда мы там идем.

— Домой, — сказал другой танкист, — вот куда я иду. Во всяком случае, я иду туда. Во все остальные места вход нам воспрещен. Мы никогда не входим в города.

— Легче, — сказал высокий боец. — Всему свое время.

— Скажи, корреспондент, — обратился ко мне другой танкист. — Никак не могу понять. Ответишь, а? Что ты делаешь здесь, ведь тебе здесь не положено быть? Ты делаешь это ради денег?

— Конечно, — ответил я, — ради больших денег. Колоссальных.

— Мне это не понятно, — сказал он серьезно. — Я понимаю, что это можно делать, потому что ты должен это делать. Но ради денег — не понятно. Нет таких денег, за которые я стал бы делать это.

Немецкий снаряд с дистанционным взрывателем щелкнул над нами и приземлился где-то справа от нас, оставив в воздухе клуб черного дыма.

— Эти гады колбасники пускают свои штучки слишком высоко, — сказал боец, который не стал бы делать этого за деньги. В этот момент немецкая артиллерия ударила по холму за городом, слева от нас, где залег один из батальонов первого из трех пехотных полков дивизии. Склон холма запрыгал в воздухе взвивающимися темными фонтанами от бесчисленных взрывов.

— Теперь мы на очереди, — сказал один из танкистов. — Они нащупали нас.

— Если они начнут стрелять, ложись под танк с задней стороны, — сказал высокий танкист, который говорил другому, что всему свое время. — Это самое надежное место.

— Эта махина выглядит несколько тяжеловато, — сказал я ему. — А вдруг ты начнешь отступать в спешке?

— Я крикну тебе, — осклабился он.

Наши 105-миллиметровые орудия открыли ответный огонь, и немцы прекратили обстрел. Аэростат медленно кружил над нами. Другой отнесло правее.

— Они не любят стрелять, когда эти штучки в воздухе, — сказал высокий танкист, — потому что они засекают их огневые точки, а потом наша артиллерия и авиация задают им жару.

Мы пробыли здесь некоторое время, но немецкая артиллерия только изредка постреливала по холму, который удерживал батальон. Мы так и не начали атаку.

— Вернемся назад и посмотрим, где остальные, — предложил я.

— О'кей, — сказал Кимбраф, который вел мотоцикл, захваченный у немцев. На нем мы с ним и разъезжали. — Пошли.

Мы попрощались с танкистами, повернули назад, пересекли пшеничное поле, сели на мотоцикл (я на заднее сиденье) и выехали на пыльную дорогу, взбитую танками в густые облака серого порошка. В коляске мотоцикла лежали боеприпасы, фотопринадлежности, запчасти, захваченные у немцев, бутылки с бензином, ручные гранаты, несколько автоматов. Все это принадлежало ефрейтору (теперь сержанту) Джону Кимбрафу из Литл-Рока, штат Арканзас.

Содержимое коляски могло бы иллюстрировать фантастическое представление о хорошо вооруженном партизане, и я часто думал, как Ким собирается развернуться, если в одной из наших поездок по территории, неизвестно кому принадлежащей, нам не удастся предпринять обходной маневр. Хотя Ким многосторонний

человек и я уважаю его способность к импровизации, все-таки на меня находил страх при мысли, что он начнет отстреливаться тремя автоматами, несколькими пистолетами, карабином и еще немецким ручным пулеметом одновременно, не рассеивая при этом достаточно огня. Но потом я решил, что он собирается вооружать местное население по мере нашего продвижения по неприятельской территории. Это оказалось вполне реальным на один случай. Мне за мое предвидение полагалась бы еще одна нашивка и, думаю, этому несколько перевооруженному парню — тоже.

Мы поехали по дороге назад к городу, который взяли в тот день, и остановились у кафе напротив церкви. По дороге с лязгом и скрежетом проходили танки, и шум удалявшегося танка тонул в нарастающем гуле следующего за ним. У танков были открыты башни, и бойцы небрежно отвечали на приветствия деревенских мальчишек, махавших рукой каждой машине. Старый француз в черной фетровой шляпе, накрахмаленной рубахе, в черном галстуке и в пыльном черном костюме с букетом цветов в правой руке стоял у входа в церковь и церемонно приветствовал каждый танк, поднимая свой букет.

— Кто этот человек? — спросил я хозяйку кафе, когда мы стояли в дверях кафе, пропуская танки.

— Он немного не в себе, — сказала она, — но он — исключительный патриот. Он здесь с самого утра, с того времени, когда вы вошли в город. Он ничего не ел с тех пор. Дважды родные приходили за ним, но он остался здесь.

— Он и немцев приветствовал?

— О нет, — сказала хозяйка. — Он человек огромного патриотизма, но с некоторых пор, понимаете, несколько помешался.

В кафе сидели три солдата перед опорожненным наполовину графином сидра и с тремя стаканами на столике.

— Этот кровопиец, — сказал один из них, небритый, высокий, худой и несколько захмелевший парень, — этот проклятый кровопиец сидит в шестидесяти милях от фронта. Он всех нас угробит.

— О ком это ты говоришь? — спросил Ким солдата.

— У, этот кровопиец! Генерал!

— Как далеко, ты говоришь, он находится? — спросил Ким.

— В шестидесяти милях и ни на дюйм ближе. В шестидесяти милях, на которых мы проливали кровь. Мы все мертвы. Разве он знает об этом?

Разве ему есть до этого дело?

— Знаешь, где он сейчас находится? В трех тысячах ярдов отсюда, — сказал Кимбраф. — Может быть, он уже прошел вперед. Мы встретили его по дороге, когда ехали сюда.

— Ты дурак, — сказал небритый солдат. — Что ты знаешь о войне? Этот кровопиец в шестидесяти милях отсюда и ни на дюйм ближе. Посмотри на меня! Я когда-то пел, выступал с очень хорошими оркестрами, да, очень, очень хорошими. А моя жена мне изменяет. Мне не надо даже проверять. Она мне сама сказала. А вот там все, во что я верю.

И он показал рукой на противоположную сторону дороги, где пожилой француз все еще поднимал свои цветы, приветствуя проходящие танки. Священник в черном шел по кладбищу позади церкви.

— В кого ты веришь? В этого француза? — спросил другой солдат.

— Нет. Я не верю в этого француза, — сказал солдат, который выступал с хорошими оркестрами. — Я верю в то, что представляет священник. Я верю в церковь. А моя жена была неверна мне больше чем один раз, много раз. Я не дам ей развода, потому что я верю в это. Вот почему она не

захотела подписать мои документы. Вот почему я не унтер-офицер артиллерии. Я закончил унтер-офицерскую школу, а она не подписала документов, а в эту самую минуту она изменяет мне.

— Он и петь может, — сказал мне другой американский солдат. — Я слышал однажды ночью, как он поет. Здорово поет.

— Не могу сказать, что ненавижу свою жену, — сказал солдат, который выступал с хорошими оркестрами. — Она изменяет мне сейчас, сию минуту, а мы здесь и только что взяли этот город. Не могу сказать, что я ненавижу ее, хотя она испортила мне жизнь, и из-за нее я не унтер-офицер. Но я ненавижу генерала. Я ненавижу этого бездушного кровопийцу.

— Пусть поплачет, — сказал другой солдат. — Это ему помогает.

— Послушай, — сказал третий солдат. — У него трагедия дома, у него личные неприятности. Но послушай, что я тебе скажу. Это — первый город, в который я вошел. Пехота берет их, а чаще проходит мимо, а потом, когда мы возвращаемся назад, оказывается, что в город вход воспрещен и он наводнен военной полицией. Здесь, в этом городе, нет ни одного полицейского. Это неспра-

ведливо, что мы не может войти в город.

— Позже… — начал я. Солдат, который выступал с очень хорошими оркестрами, влез в разговор.

— Здесь не может быть никаких позже, — сказал он, — этот кровопиец убьет нас всех. И делает он это все для того, чтобы прославиться, и потому, что он не понимает, что солдаты — люди.

— Он не может сказать ничего, кроме того, что мы на передовой, а я могу, — сказал Ким. — Ты же не знаешь, что делает дивизионный и получает ли он приказы, как ты и я.

— Хорошо. Тогда ты отпусти нас с передовой. Если ты все знаешь, отпусти нас. Я хочу домой. Если бы я был дома, может быть, ничего бы не произошло. Может быть, моя жена никогда бы мне не изменила. Правда, мне теперь наплевать на все. Мне на все наплевать.

— Почему же ты тогда не заткнешься? — спросил Кимбраф.

— Я заткнусь, — сказал эстрадный певец. — И не произнесу ни слова о генерале, который убивает меня каждый день.

В ту ночь мы поздно добрались до продвинувшегося вперед штаба дивизии. Оставив солдат в кафе в только что взятом городе, мы последовали за танками до того места, где они были остановле-

ны минами, завалом на дороге и сильным огнем противотанковых орудий.

В дивизии кто-то сказал:

— Генерал хочет тебя видеть.

— Я пойду помоюсь.

— Нет. Иди сейчас же. Он беспокоился о тебе. Генерал лежал в прицепе в старом сером шерстяном белье.

Его лицо, все еще красивое, когда он отдохнет, было серым, осунувшимся и бесконечно усталым. Только глаза были веселые, и он произнес своим добрым, ласковым голосом:

— Я беспокоился о тебе. Что тебя так задержало?

— Мы напоролись на танки, и я вернулся окружным путем.

— Каким?

Я сказал ему.

— Расскажи, что ты видел сегодня там-то и там-то. — И он назвал подразделения пехоты.

Я рассказал ему.

— Люди очень устали, Эрни, — сказал он. — Им надо отдохнуть. Даже одной ночи хорошего отдыха было бы достаточно. Если бы они могли отдохнуть четыре дня… только четыре дня. Но это все старая песня.

— Ты сам устал, — сказал я. — Поспи. Я пойду. Тебе надо поспать.

— Генерал не должен быть усталым, — сказал он. — И уж конечно, больным. Я не так устал, как они.

В этот момент зазвонил телефон, он поднял трубку и назвал пароль.

— Да, — сказал он. — Да. Как ты там, Джим? Нет. Я всех их уложил спать на эту ночь. Я хочу, чтобы они немного поспали. Нет. Я атакую утром, но на штурм не пойду. Я собираюсь пройти город. Ты же знаешь, что я не верю в штурм городов. Тебе следовало бы уже это знать. Нет. Я выйду ниже… Да, правильно.

Он вылез из-под одеяла и подошел к огромной карте, держа трубку в руке, и я смотрел на его подтянутую фигуру в сером шерстяном белье, вспоминая, каким он был блестящим генералом до того, как дивизия побывала в действии.

Он продолжал говорить по телефону: «Джим?.. Да. У тебя будет тяжелый участок. Придется потрудиться. Ты же знаешь, что были кой-какие разговоры. Да. Понимаю. Когда ты соединишься со мной, я дам тебе свою артиллерию, если понадобится… Да. Безусловно. Совершенно верно… Конечно, нет. Я это и имею в виду, иначе бы

не стал говорить… Точно. Хорошо… Спокойной ночи».

Он повесил трубку. Его лицо было серым от усталости.

— Эта дивизия — наш левый фланг. Они хорошо дрались, но очень долго пробирались через лес. Когда они соединятся с нами и пройдут вперед, я думаю, у нас будет четырехдневный отдых. Пехоте он очень нужен. Я рад, что люди отдохнут.

— Теперь тебе надо было бы поспать, — сказал я.

— Я должен работать сейчас. Остерегайся ты этих уединенных дорог и береги себя.

— Спокойной ночи, сэр, — сказал я. — Зайду рано утром.

Все думали, что у дивизии будет четырехдневный отдых, и на следующий день много было разговоров о душе, о красивых девушках из Красного Креста и о Витней Борн, которая играла в фильме «Преступление без страсти», и мы всё были так обрадованы предстоящим отдыхом, что не обратили внимания на то, что этот фильм был очень старый. Но все вышло иначе. Немцы устроили сильное контрнаступление, и сейчас, когда я нишу эту статью, дивизия все еще находится на передовой.

Война на «Линии Зигфрида»

Многие будут вам рассказывать, как они первыми оказались в Германии и первыми прорвали «линию Зигфрида», — и многие ошибутся. Эту корреспонденцию цензура не станет задерживать, пока там разбираются со всеми претензиями. Мы ни на что не претендуем. Никаких претензий, понятно? Абсолютно никаких. Пусть себе решают, а тогда посмотрим, кто пришел туда первым. Я имею в виду — какие части, а не какие именно люди.

«Линию Зигфрида» прорвала пехота. Прорвала в холодное дождливое утро, когда даже вороны не летали, не говоря уже о самолетах. За два дня до этого, в последний солнечный день, закончился наш парад бронетанковых войск. Парад был замечательный, от Парижа до Ле-Като, с жестоким сражением у Ландреси, которое мало кто видел и в котором почти никто не уцелел. Потом форсировали проходы в Арденнском лесу, где местность напоминает иллюстрации к сказкам братьев Гримм, только гораздо сказочнее и мрачнее.

Потом в холмистой, лесистой местности парад продолжался. Временами мы на полчаса отстава-

ли от отступающих мотомехчастей противника. Временами почти, догоняли их. Временами обгоняли, и тогда слышно было, как позади бьют наши 50-миллиметровки и 105-миллиметровые самоходные пушки, и смешанный огонь противника сливался в оглушительный грохот, и поступало сообщение: «Вражеские танки и бронетранспортеры в тылу колонны. Передайте дальше».

А потом внезапно парад кончился, лес остался позади, мы стояли на высокой горе, и все холмы и леса, видные впереди, были Германией. Снизу, со дна глубокой долины, послышался знакомый глухой грохот — взорвали мост, — и было видно черное облако дыма и взлетевших в воздух обломков, а чуть дальше — два вражеских бронетранспортера удирали вверх по белой дороге, ведущей в немецкие горы.

Впереди них снаряды нашей артиллерии вздымали желто-белые облака дыма и дорожной пыли. Один из транспортеров забуксовал, став поперек дороги. Второй, на повороте дороги, два раза дернулся, как раненое животное, и замер. Еще один снаряд поднял фонтан дыма и пыли рядом с поврежденной машиной, и, когда дым рассеялся, на дороге стали видны трупы. Это был

конец парада, и мы спустились по лесной дороге к речке и переехали ее вброд по плоским камням и поднялись на другой берег, в Германию.

В тот вечер мы миновали брошенные старые доты, которые многие на свое горе приняли за «линию Зигфрида», и проехали еще хороший кусок в гору. На следующий день миновали вторую линию бетонированных дотов, охранявших развилки дорог и подступы к главному Западному валу, и в тот же вечер достигли высшей точки возвышенности перед Западным валом, с тем чтобы утром начать атаку.

Погода испортилась. Шел дождь, дул ледяной ветер, и впереди нас высилась темная, поросшая лесом гряда Шнее Эйфель, где жил дракон, а позади на ближайшем холме стояла немецкая трибуна, с которой командование наблюдало за маневрами, долженствовавшими доказать, что прорыв Западного вала неосуществим. Мы готовились атаковать его в том самом пункте, который немцы выбрали, чтобы в показном бою подтвердить его неприступность.

Все нижеследующее рассказано словами капитана Хоуорда Блаззарда из Аризоны. Его рассказ даст вам некоторое представление о том, как шли бои.

«С вечера мы ввели в город третью роту. Противника там, в сущности, не было. Шесть фрицев, мы их застрелили. (Речь идет о городке, или, вернее, деревушке, из которой утром, началась наступление — в гору, под обстрелом, по ровному сжатому полю пшеницы, уставленному копнами, на штурм главных укреплении Западного вала, скрытых в густом еловом лесу на горе по ту сторону поля.)

Полковник из Вашингтона, округ Колумбия, вызвал всех трех батальонных командиров, начальника разведки и начальника оперотдела штаба и изложил план завтрашнего прорыва. В пункте, где мы будем прорываться (заметьте стиль — не «попытаемся прорваться», а «будем прорываться»), нам полагалось иметь одну танковую роту и одну роту самоходных противотанковых пушек, но дали нам всего один танковый взвод (пять танков). Самоходок должны были дать двенадцать, а дали девять. Вы помните, как тогда было, а горючего не хватало, и все прочее.

Теперь дело представлялось так (на войне то, как оно представляется и как бывает на самом деле, — очень разные вещи, такие же разные, как то, какой представляется жизнь и какая они есть на самом деле). Третья рота, вступившая в

город накануне, наступает на правом фланге и сковывает противника огнем.

Вторая рота выступает рано, еще до 8 утра, она передвигается на танках и самоходках. Пока она подходила, мы ввели самоходки в город и наконец в 12.30 получили свой танковый взвод. Пять штук. Не больше и не меньше.

Первая рота так отстала, что никак не могла подоспеть. Вы помните, что творилось в тот день, (много, много чего творилось!) Поэтому полковник снял одну роту из первого батальона и подкинул ее нам, чтобы у нас было для атаки три роты.

Это было примерно в час дня. Мы с полковником пошли по левой развилине, чтобы слева смотреть, как начнется атака. Началась она отлично. Вторая рота погрузилась на танки и самоходки, они продвинулись под самый гребень и развернулись веером. Все как полагается. И только они достигли гребня, третья рота, на правом фланге, открыла огонь из пулеметов и 60-миллиметровых минометов, чтобы отвлечь внимание от второй.

Танки и самоходки полезли дальше вверх, и тут их встретили огнем зенитки (немецкие зенитные орудия, стреляющие почти так же быстро, как

пулеметы, использовались для стрельбы прямой наводкой по наступающим наземным войскам,). Мы знали, что у них там есть и 88-миллиметровые, но те пока молчали. Когда стали стрелять пулеметы и зенитки, наши солдаты соскочили с танков, все как полагается, и пошли дальше, и шли хорошо, пока не оказались на большом голом поле, за которым начинался лес.

И вот тут-то заговорили 88-миллиметровые — это уж вдобавок к зениткам. Одна самоходка наскочила на мину — слева, помните, у той узкой дороги, перед тем как ей войти в лес, — и танки попятились. Один танк и одна самоходка вышли из строя, и все дали задний ход. Знаете, как это бывает, когда они начинают пятиться.

Солдаты стали возвращаться назад через поле, таща несколько раненых, несколько охромевших. Знаете, как они выглядят, когда возвращаются. Потом стали возвращаться танки, и самоходки, и люди прямо толпами. Не могли они удержаться на этом голом поле, и те, что не были ранены, стали звать санитаров для раненых, а вы знаете, как это всех выводит из равновесия.

Мы с полковником сидели возле дома и видели весь бой и как хорошо он начался. Мы уж думали, что они прошли. А потом началась эта петрушка.

И вдруг несутся пешком четыре танкиста и орут как оглашенные, что все пропало.

Тут я обратился к полковнику — я служил в третьем батальоне давно — и говорю:

— Сэр, разрешите мне пойти туда, я бы дал этим мерзавцам под зад и захватил цель.

А он говорит:

— Вы — начальник разведки штаба, оставайтесь на месте.

Прищемил мне, значит, хвост. Очень это было досадно.

Посидели мы там еще минут десять-пятнадцать, а раненые все шли, а мы все сидели, и я уж стал подумывать, что мы этот бой проиграем. А потом полковник сказал:

— Пошли. Надо их завести. Не допущу, чтобы это дерьмо сорвало атаку.

И мы двинулись в гору и встречали кучки людей — вы знаете, как они сбиваются в кучки, и можете себе представить, какой вид был у полковника, когда он шагал в гору со своим револьвером сорок пятого калибра. Там наверху, где начинается спуск, есть такой узенький карниз. Под прикрытием этого карниза собрались все танки и самоходки, и вторая рота растянулась там вроде как стрелковой цепью, и все они были

как мерные, и атака выдохлась.

Полковник поднялся в гору, стал над карнизом, где они все залегли, и говорит:

— А ну-ка, ударим по этим фрицам. Ну-ка, перебьем эту сволочь. Ну-ка, перевалим на ту сторону и выполним задачу.

Он поднял свою пушку, пальнул раза три в сторону, откуда фрицы вели огонь, и говорит:

— Доберемся до этих треклятых фрицев! Вперед! Чтобы ни одного человека здесь не осталось!

Они тряслись от страха, но он все уговаривал их и убеждал, и скоро сначала несколько человек, а потом и почти все зашевелились. А уж когда они зашевелились, тут полковник, и я, и Смит (сержант Джеймс Дж. Смит из Туллахомы, штат Теннесси) пошли вперед, и атака возобновилась, и мы вошли в лес. В лесу было скверно, но шли они теперь хорошо.

Когда мы вошли в лес (лес этот саженый, еловый, очень густой, снаряды расщепляли и ломали деревья, и обломки пролетали в полумраке леса, как копья, а люди теперь кричали и перекликались, чтобы не поддаться жути лесных потемок, и стреляли, и убивали немцев, и шли все вперед!), танкам там было не пробраться, и они вышли на опушку. Они стали было стрелять в лес, но скоро

пришлось это прекратить, потому что вторая рота продвинулась лесом далеко вперед.

Мы с полковником и со Смитом продолжали идти впереди и нашли между деревьями проход, куда можно было ввести самоходку. Продвигались мы теперь хорошим темпом и вдруг увидели рядом с собой блиндаж, и оттуда в нас стали стрелять. Мы решили, что там сидят какие-нибудь фрицы. (Блиндаж этот был полностью замаскирован — обложен дерном и засажен елями. Это был подземный форт, вроде тех, что строили на «линии Мажино», с автоматической вентиляцией, взрывоустойчивыми дверями, койками на глубине пятнадцати футов и запасными выходами на тот случай, чтобы, если противник минует блиндаж, атаковать его с тыла; а находилось в нем пятьдесят эсесовцев с заданием пропустить наступающие части, а потом ударить им в спину.)

Нас там всего и было, что полковник, Смит и Роже, молодой француз, который с нами не расставался с самого Сен-Пуа. Фамилии его я так и не узнал, но это был замечательный француз. Другого такого бойца я не запомню. Так вот, фрицы стали стрелять в нас из блиндажа. Тогда мы пошли вперед, решили их оттуда выгнать.

С нашей стороны у них была амбразура, но ее не было видно, очень густо все кругом было засажено. У меня была всего одна граната, я ведь не думал, что придется заниматься таким делом. Подошли мы к блиндажу ярдов на десять, а амбразуры все не видно. Холмик в лесу — и все.

Стреляли они как-то беспорядочно. Полковник и Смит шли в обход правее. Роже шагал прямо на амбразуру. Огня не было видно.

Я крикнул Роже, чтобы ложился, и тут они в него попали. Тогда только я увидел эту проклятую дыру и швырнул в нее гранату, но края у нее скошенные, сами знаете, и граната ударилась о край и выскочила обратно. Смит схватил француза за ноги и стал оттаскивать его в сторону — он был еще жив. Слева в щели сидел немец, тут он встал, и Смит застрелил его из своего карабина. Как быстро все это произошло — судите по тому, что в эту секунду граната взорвалась, и мы все пригнулись.

Потом нас стали сильно обстреливать с поля — того, которое мы перешли, прежде чем вступить в лес, — и Смит сказал:

— Полковник, вы бы спустились в эту щель, немцы подходят.

Они стреляли из копен пшеницы, что были

ближе всего к опушке, и из кустарника, который языком выдавался в поле. Стреляли оттуда, где должен бы быть наш тыл.

Полковник уложил одного фрица из револьвера. Смит — двоих из карабина. Я стоял по другую сторону блиндажа и застрелил того, который был позади нас на дороге, шагах в пятнадцати. Мне пришлось выстрелить три раза, прежде чем он остановился, да и то я его не убил — когда наконец подошла самоходка, он лежал посреди дороги и, увидев самоходку, вроде бы попробовал отползти, но самоходка прошла по нему и расплющила его в блин.

Остальные немцы пустились наутек через поле, с ними особых хлопот не было. Стрельба на дальнюю дистанцию. Троих мы, я знаю, убили и нескольких ранили, только они ушли.

Ручных гранат у нас больше не было, а те сволочи все сидели в блиндаже, сколько мы им ни орали, чтобы выходили. Тогда мы с полковником остались ждать, а Смит пошел влево, нашел самоходку и привел ее — ту самую, что переехала фрица, в которого я три раза стрелял из своего маленького немецкого револьвера.

На разговоры немцы по-прежнему не отвечали, и тогда мы подвели самоходку впритык к сталь-

ной двери, которую к тому времени отыскали, и наша пушечка ударила по ней раз шесть и выбила-таки ее к черту, и уж тут им сразу захотелось выйти. Слышали бы вы, как они вопили, и стонали, и стонали, и вопили: «Kamerad!»

Самоходка глядела дулом прямо в дверь, и они стали выходить, и такого вы в жизни не видели. Каждый был ранен в шести-семи местах обломками бетона и стали. Всего их вылезло восемнадцать, а изнутри неслись жалостные крики и стоны, одному обе ноги отрезало стальной дверью. Я спустился туда посмотреть, что там делается, и вытащил чемодан, в котором было несколько кварт виски, три ящика сигар и револьвер для полковника.

Один из пленных, унтер-офицер, был еще ничего, то есть не так чтобы совсем ничего, но ходить мог. Остальные только лежали и стонали.

Унтер-офицер показал нам, где находится следующий блиндаж. Теперь мы уже знали, как они выглядят — могли и сами обнаружить по тому, как над ними возвышается почва. Так что забрали мы свою самоходку и прошли по дороге еще ярдов семьдесят пять до второго блиндажа — вы знаете которого — и приказали этому типу крикнуть им, чтобы сдавались. Поглядели бы вы на этого

немца! Он был из вермахта, из регулярной армии, и все повторял: «Битте, СС». Он хотел сказать, что там засели те, самые поганые, и они убьют его, если он велит им сдаваться. Все-таки он крикнул им, чтобы выходили, но они не вышли, даже не ответили. Тогда мы подвели самоходку к задней двери, в точности как в тот раз, и заорали: «Выходи!» — а они не выходят. Тогда мы саданули по двери раз десять, и тут уж они вышли — сколько их осталось. Вид у них был жалкий. Все до одного изранены — смотреть страшно.

Все до одного были эсесовцы. Один за другим они падали на колени посреди дороги — думали, что их тут же расстреляют. Но нам пришлось их разочаровать. Вышло их человек двенадцать. Остальных разорвало в клочья или изранило насмерть. По всему блиндажу валялись руки, ноги, головы.

Пленных у нас набралось много, а стеречь их было некому — только полковник, да я, да Смит, да самоходка, и мы просто сидели и ждали, пока что-нибудь прояснится. Через некоторое время появился санитар и осмотрел того молодого француза Роже. Он так и пролежал там все время, а когда к нему подошли, чтобы перевязать, сказал:

— Mon colonel, je suis content[40]. Я счастлив, что умираю на германской земле.

К нему пришпилили карточку с надписью «Свободная Франция», но я сказал: «К черту!» — и переписал на карточке: «Третья рота».

Как вспомню этого француза, так опять руки чешутся убивать немцев...»

Можно бы рассказывать еще и еще. Но пожалуй, на сегодня хватит — больше вам не выдержать. Я мог бы рассказать вам, как действовала первая рота, как действовали два других батальона. Мог бы рассказать, если б вы могли это выдержать, что было у третьего блиндажа, и у четвертого, и еще у четырнадцати. Все они были взяты.

Если это вас интересует, расспросите кого-нибудь, кто там был. Если захотите и я еще не забуду, я с удовольствием расскажу вам когда-нибудь, каково было в этих лесах в последующие десять дней: о контратаках и о германской артиллерии. Это очень, очень интересно, если только запомнить как следует. Вероятно, в этой истории есть даже эпический элемент. Когда-нибудь вы, безусловно, увидите ее на экране.

Надо полагать, она вполне годится для экра-

---

[40] Примечания: 40
Мой полковник, я доволен *(фр.)*.

низации, потому что я помню, как полковник сказал мне:

— Эрни, у меня то и дело появлялось такое чувство, будто я смотрю фильм категории Б, и я все говорил себе: «Вот сейчас мой выход».

Единственное, что, вероятно, будет нелегко изобразить в фильме, это эсэсовцев — как они с почерневшими от взрыва лицами стоят на коленях, захлебываясь кровью и держась за живот, или из последних сил отползают с дороги, чтобы не попасть под танк, хотя в кино это, возможно, получится еще более реалистично. Но за такую ситуацию несут вину инженеры — когда они проектировали эту взрывоустойчивую дверь, им в голову не пришло, что к ней снаружи подойдет 105-миллиметровая самоходка и станет стрелять в нее в упор.

При составлении спецификации это не было предусмотрено. И порой, когда я наблюдаю такие печальные картины и вижу, как идут насмарку такие тщательные приготовления, мне начинает казаться, что лучше было бы для Германии, если бы она вообще не начинала этой войны.

После войны (1946–1960)

Предисловие к антологии «Сокровище свободного мира»

Теперь, когда война окончена и мертвые мертвы и мы получили то, что получили, теперь самое время опубликовать такую книгу, как эта.

Позади осталась та пора, когда послушание, сознательное приятие дисциплины, разумное мужество и решительность были важнее всего; теперь настало время потруднее, когда мы должны уже не просто бороться, но обязаны осмыслить наш мир.

Но чтобы осмыслить мир, надо его познать. И познавать не только то, что нам хочется. Это для нас всегда успешно сделают другие. Мы должны исследовать наш мир с беспристрастием врача. Работа будет тяжелой, и нам придется прочесть много неприятного. Но в этом сегодня первейший долг человека.

Позднее, когда мы накопим достаточно надежных знаний о нашем мире, долг заставит нас возражать, протестовать, даже восставать и бунтовать, но при этом надо будет непрестанно работать, чтобы найти возможность для всех

людей жить в мире на этой земле.

Мы вынуждены были сражаться. Вынуждены убивать, калечить, жечь и разрушать. Для страны, чью территорию никогда не бомбили, мы с лихвой перевыполнили норму по бомбам, сброшенным на других. Вероятно, мы угробили больше гражданского населения в чужих странах, чем успели погубить наши враги в своих чудовищных злодеяниях, которые мы так осуждаем. На самом же деле для женщин и мужчин одинаково малоприятно, сожгут ли их заживо или расстреляют.

Мы вели войну самым жестоким и беспощадным образом против безжалостных и беспощадных врагов: разгромить их было абсолютно необходимо. Теперь одних мы разгромили, а других принудили к капитуляции. Сейчас мы самая сильная держава на свете. И хорошо бы нам не стать самой ненавистной. Такое легко может случиться, если мы не научимся понимать нужды мира и уважать права, привилегии и обязанности всех остальных стран и народов, и тогда, со всей нашей мощью, мы станем такой же опасностью для мира, какой был фашизм.

Мы изобрели пращу, способную убить всех гигантов, включая и нас самих. Только дураки могут

надеяться, что Советский Союз не сумеет создать и усовершенствовать то же самое оружие.

Настало время, когда ни один народ — ни в малейшей степени — не должен мыслить категориями грубой силы. Наступил период, когда ни одному народу не следует ни за что вызывать к себе ненависть других народов; задаваться, распихивая остальных. Отныне нельзя оставаться несправедливой нацией.

В новом мире всем придется делать уступки. Уступки станут столь же необходимы, как раньше борьба. Ни одни страна не должна без достаточных на то прав удерживать владычество над территорией или другим народом, если мы хотим долгого мира. В этой связи возникают проблемы, которые невозможно смотреть в данном предисловии. Но мы, во всяком случае, обязаны изучать эти проблемы — серьезно, беспристрастно, не закрывая глаза на какие бы то ни было обстоятельства.

У статей, включенных в эту книгу, есть одно преимущество над ними не довлеет факт использования атомной энергии в военных целях. Нам следует изучить и осмыслить главные проблемы нашего мира, какими представлялись они до Хиросимы, если мы хотим в дальнейшем понять,

как некоторые из этих проблем изменились и как их можно справедливо решить теперь, когда часть мира овладела новым оружием. Как никогда Прежде, мы должны изучить эти вопросы с самым пристальным «манием. Нам следует помнить: нравственные проблемы ни не удалось решить с помощью оружия. Оружием можно знать какое-то решение, да только нет гарантий, что это знание будет справедливым. Противника можно стереть с земли. Но если вы действовали несправедливо, то следующий кандидат на уничтожение — вы сами. В Германии наш военный суд приговорил к повешению пятидесятилетнюю женщину за то, что она была в толпе, терзавшей американских летчиков, сбитых над немецкой территорией. Зачем ее вешать? Почему не сжечь ее, раз уж мы сшили творить мучеников?

Ведь немцы знают, что американские летчики убивали пятидесятилетних женщин: возвращаясь с задания, наши пилоты нередко переходили на бреющий полет и обстреливали деревни в Германии. Насколько мне известно, за такие вещи мы не повесили ни одного пилота. Мирные жители в Германии, попав под такой обстрел, испытывали то же самое, что и гражданское население под немецкими пулями в Испании.

Да и американцы в деревнях испытали бы то же самое, если бы немцы сумели их обстрелять.

Представьте себе, что вы на самолете спустились пониже: на земле часто происходило что-нибудь комическое. Особенно если наблюдать сверху. Лучше всего взрывались санитарные машины (доказывая тем самым, что немцы перевозили в них боеприпасы). Ну просто масса смешного, если, конечно, преимущество в воздухе на вашей стороне. Тогда вам смешно. Я и сам охотно допускаю, что можно подстрелить что угодно без всяких последствий (правда, об этом не принято говорить, чересчур отдает войной). Но только не ждите после этого, чтоб люди, побывавшие под обстрелом, оставались спокойными, если вы попадете к ним в руки.

В печать попали слова командующего авиацией Харриса о том, что бы он хотел сделать с немцами. Мы воевали с немецким народом точно так же, как с их армией. Немцы сражались против всех англичан, как против их армии. Немецкая армия напала на русский народ, и русский народ нанес ответный удар. Такая уж штука война, и любой другой способ ее вести — курам на смех.

Но все-таки секрет будущего мира не в том, чтобы вешать шестидесятилетних женщин, сгоряча

участвовавших в убийстве летчиков. Повесить и расстрелять надо тех, кто хладнокровно обрек людей на голод, пытки и смерть. Повесить или расстрелять следует тех, кто планировал войну раньше и намерен планировать ее вновь. Смерть тем, кто сознательно совершал военные преступления. С эсэсовцами и убежденными наци следует поступать так, как они того заслуживают. Но не надо творить мучениц из шестидесятилетних женщин, которые в гневе бросились убивать носителей силы, столь жуткой, что никакой сдерживающей мысли или чувства у этих женщин и остаться не могло.

Чтоб выиграть войну, приходится делать такое, что немыслимо в дни мира, что зачастую ненавистно даже тем, кто в ней участвует. Ненавистно по крайней мере до поры до времени. Потом люди привыкают к этому ужасу. Некоторым даже нравится. И все готовы сделать что угодно, лишь бы покончить с войной. Уж раз вы ввязались в войну, необходимо любыми средствами ее выиграть.

Военные ради престижа и определенных гарантий безопасности для людей своей профессии хотели бы воевать по определенным правилам. Авиация разрушила все эти старые правила и привела нас к настоящей войне, когда не армия

сражается против армии, а один народ против другого.

Агрессивная война — величайшее преступление против самых источников добра, которое еще есть в мире… И не надо думать, будто война, какой бы оправданной она ни была, может быть не преступной. Спросите об этом пехоту, спросите мертвых.

Мы дрались в этой войне и выиграли ее. Так не будем же кашками и лицемерами, не станем мстить и делать глупости. Лучше позаботимся, чтоб наши враги не сумели снова затеять войну. Нам придется перевоспитать их. Нам придется самим выучиться жить по справедливости и в мире со всеми странами и народами на нашей земле. Для этого мы должны многому научиться и перевоспитать многих. Но в первую очередь перевоспитать самих себя.

Сан-Франсиско-де-Паула. Куба. Сентябрь 1945 г.

Эрнест Хемингуэй

Письмо К. Симонову

20 Июня 1946 г.

Дорогой Симонов!

…Книга Ваша пришла вчера вечером. Я читал ее сегодня и напишу Вам в Москву, когда кончу ее… Мне следовало бы прочитать ее сейчас же, как только она была переведена, но тогда я только что вернулся с фронта и не в состоянии был читать книг о войне. Как бы хороши они ни были. Уверен, что Вы поймете, что я хочу сказать. После первой мировой войны, в которой я участвовал, я не мог писать о ней почти девять лет. После испанской войны я должен был писать немедленно, потому что я знал, что следующая война надвигается быстро, и чувствовал, что времени остается мало. В эту войну у меня сильно пострадала голова (три раза), и меня мучили головные боли. Но в конце концов я снова взялся за перо, и дело пошло, но только и после 800 страниц рукописи романа я все еще не добрался до войны. Но если со мной ничего не случится, он захватит и войну. Надеюсь, он мне удастся.

Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и повидать, как

здорово вы деретесь, но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что я не говорю по-русски, и, во-вторых, потому, что я считал, что буду полезнее в уничтожении «кочерыжек» (так мы прозвали немцев) на другой работе. Почти два года я провел в море на тяжелых заданиях. Потом отравился в Англию и перед вторжением летал с Королевским воздушным флотом как военный корреспондент, участвовал в высадке в Нормандии и потом остальную кампанию провел с 1-й пехотной дивизией. В Королевском воздушном флоте я хорошо, но бесполезно провел время. В 4-й дивизии, в составе 22-го пехотного полка я старался быть полезным, зная французский язык и страну, и имел возможность работать в авангардных отрядах маки. Хорошо было с ними, и Вам бы это понравилось. Помню, что когда мы раньше армии вошли в Париж и армия вслед за нами заняла город, Андре Мальро пришел повидать меня и спросил, сколько человек было у меня под командой. Я ему сказал, что больше двухсот не бывало, а обычно человек от 16 до 60. Он успокоился и был очень доволен, потому что, сказал он, под его командой было 2000 человек. А вопроса о литературном престиже мы при этом

не касались.

Это лето наступления из Нормандии в Германию было лучшим летом моей жизни, несмотря на войну. Позднее в Германии, в снегах Эйфеля, лесу Гюртген и во время наступления Рундштедта дело было жаркое, хотя и было очень холодно. И до этого мне приходилось попадать в трудные переделки, но освобождение Франции и особенно Парижа радовало меня как никогда и ничто в прошлом. С юношеских лет мне привелось участвовать в отступлениях, в отражении атак и обеспечении отхода, в победах, одержанных без резервов, необходимых для преследования, и т. п., и я никогда не испытывал того чувства, которое приносит с собой военный успех.

Вот уже с осени 1945-го я пишу с таким усердием и почти без перерыва, и недели, месяцы проносятся так быстро, что не успеешь оглянуться, как умрешь.

Надеюсь, Вы довольны Вашей поездкой по Америке и Канаде. Я очень хотел бы говорить по-русски и поездить с Вами повсюду, потому что там есть и кого повидать, и что посмотреть, и что сделать. Только мало кто из тамошних чудесных людей говорит по-русски. Мне хотелось бы познакомить Вас с нашим полковником (а теперь

генералом) Лэнхемом, бывшим командиром 22-го пехотного (это был мой близкий друг), и командирами 1-го, 2-го, 3-го батальонов (если они живы), и с многими ротными и взводными, и многими чудесными рядовыми полка. 4-я пехотная дивизия, начиная со дня высадки в секторе Юта и до самого дня победы, насчитывала 21 205 ранений на 14 037 человек ее состава. Мой старший сын служил в 3-й пехотной дивизии, в которой было 33 547 ранений при том же составе в 14 037 человек. Но они воевали в Сицилии и Италии до того, как их высадили в Южной Франции. Сын был выброшен в авангардном парашютном десанте, а позднее тяжело ранен и захвачен в плен осенью в Вогезах. Он хороший парень, капитан, и Вам бы он понравился. Он назвался «кочерыжкам» сыном профессионального лыжника из Австрии (а он светлый блондин) и сказал, что уехал в Америку после гибели отца, заваленного лавиной. Но когда «кочерыжки», наконец, доискались, кто он такой, они отправили его в лагерь заложников. Но в конце концов он был нами освобожден.

Чертовски досадно, что Вы так и не смогли сюда приехать. Переведены ли на английский язык Ваши стихи и военные дневники? Я бы очень хотел их прочесть. Мне понятно то, о чем Вы говорите.

Как по Вашим словам, и Вам понятно, о чем я говорю. В конце концов мир уже достаточно стар для того, чтобы писатели научились понимать друг друга. Народ везде такой хороший, понятливый и доброжелательный, и, конечно, все прекрасно поняли бы друг друга, если бы существовало истинное взаимопонимание вместо повторных махинаций Черчилля, который делает сейчас то же, что он делал в 1918–1919 гг., чтобы сохранить то, что может быть сохранено сейчас только войной. Простите, что я заговорил о политике. Я знаю ходячее мнение, что в этой области я способен только на глупости. Но я знаю, что никто не препятствует дружбе наших стран…

Есть в Советском Союзе молодой (теперь, должно быть, старый) человек по имени Кашкин. Говорят, рыжеволосый (теперь, должно быть, седой). Он лучший из всех критиков и переводчиков, какие мною когда-либо занимались. Если повстречаете его, пожалуйста, передайте ему мои лучшие пожелания. Был ли переведен на русский язык роман «По ком звонит колокол»? Я читал статью о нем Эренбурга, но о переводе не слышал. Его можно было бы издать с небольшими изменениями или пропуском некоторых имен. Мне бы хотелось, чтобы Вы прочли его. Он не о той войне,

какую мы пережили за эти несколько лет. Но как рассказ о малой партизанской войне — и то неплохо; и там есть место о том, как мы убиваем фашистов, которое должно Вам понравиться.

Желаю удачи и счастливого пути
Ваш друг Эрнест Хемингуэй

Из письма Хемингуэя Милтону Вольфу

Мне кажется, что следовало бы заняться вопросом о доле американских денег, вложенных во франкистскую Испанию… Эти деньги вкладываются с целью помочь Франко удержаться у Власти. Каждый отлично понимает, почему англичане хотят видеть у власти именно его. Мне кажется, что кто-то обязан взяться по-настоящему за разоблачение тех, кто стоит за спиной Франко. Это — работа исследователя, которую необходимо провести крайне тщательно и скрупулезно. Думаю, ты — именно тот человек, который должен заняться этим. Не важно, имеет ли это отношение к Франко или же к кому-либо другому, вскормленному ими.

Как же, черт побери, можно позволить оставаться у власти человеку, сформировавшему дивизию для борьбы на Восточном фронте, вот чего я не понимаю! Ответ один — он должен будет уйти! Они попытаются заменить его каким-нибудь другим жуликом, но вряд ли попытаются создать республику. В то же время, как мне кажется, мы должны хорошо знать, кто именно вкладывает деньги в Испанию с целью «защи-

тить» ее от республики.

Эрнест.

Финка-Вихия, Сан-Франциско-де-Пауло. Куба. Июль 26, 1946.

Предисловие к роману «Прощай, оружие!» (1948 г.)

Эта книга писалась в Париже, в Ки-Уэст, Флорида, в Пигготе, Арканзас, в Канзас-Сити, Миссури, в Шеридане, Вайоминг; а окончательная редакция была завершена в Париже, весной 1929 года.

Когда я писал первый вариант, в Канзас-Сити с помощью кесарева сечения родился мой сын Патрик, а когда я работал над окончательной редакцией, в Оук-Парке, Иллинойс, застрелился мой отец. Мне еще не было тридцати ко времени окончания моей книги, и она вышла в свет в день биржевого краха. Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, может быть, он уже больше не мог терпеть. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений.

Я помню все эти события, и все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего, и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге и которую я сам сочинял изо дня в день. Никогда еще я не был так счастлив, как сочиняя все это — страну, и людей, и то, что с ними происходило. Каждый день я пе-

речитывал все с самого начала и потом писал дальше и каждый день останавливался, когда еще хорошо писалось и когда мне было ясно, что произойдет дальше.

Меня не огорчало, что книга получается трагическая, так как я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешен. Но убедиться, что можешь сочинять, и притом настолько правдиво, что самому приятно читать написанное и начинать с этого каждый свой рабочий день, — было радостью, какой я никогда не знал раньше. Все прочее пустяки по сравнению с этим.

У меня уже вышел один роман в 1926 году. Но когда я за него принимался, я совершенно не знал, как нужно работать над романом: я писал слишком быстро и каждый день кончал только тогда, когда мне уже нечего было больше сказать. Поэтому первый вариант был очень плох. Я написал его за полгода, и потом мне пришлось все переписывать заново. Но, переписывая, я многому научился.

Мой издатель Чарльз Скрибнер, который превосходно разбирается в лошадях, знает все, что, вероятно, допустимо знать об издательском деле, и, как ни странно, кое-что смыслит в книгах,

спросил меня, как я отношусь к иллюстрациям и согласен ли я, чтобы моя книга вышла иллюстрированным изданием. На такой вопрос нетрудно ответить: если только художник не такой же мастер своего дела, как писатель — своего (или лучший), ничто не может быть ужаснее для писателя, чем видеть живые в его памяти места, людей и вещи изображенными на бумаге кем-то, кто ничего этого не знает.

Напиши я роман, действие которого происходит на Багамских островах, я хотел бы, чтобы иллюстрации к нему сделал Уинслоу Хомер[41], но чтобы при этом он ничего не иллюстрировал, а просто нарисовал бы Багамские острова и то, что он там видел. Будь я Мопассаном (чего можно пожелать каждому, живому и мертвому), я взял бы в качестве иллюстраций к своим книгам рисунки и картины Тулуз-Лотрека и кое-какие пленэры Ренуара среднего периода, а нормандские пейзажи вовсе не позволил бы иллюстрировать, потому что никакому художнику не сделать это лучше.

Можно и еще придумывать, кого бы ты хотел взять в иллюстраторы, будь ты тем или другим писателем. Но писателей этих уже нет и этих ху-

---

[41] Примечания: 41
Уинслоу Хомер (1836–1910) — американский художник.

дожников тоже нет, как нет и Макса Перкинса, и многих умерших в прошлом году. Нынешний год хорош уже тем, что, какие бы потери ни ждали нас в этом году, он не будет хуже, чем прошлый год, или 1944-й, или начало зимы и весна 1945-го. То были урожайные годы по части потерь.

Когда мы встречали этот год в Сан-Вэлли, Айдахо, с шампанским, купленным в складчину, кто-то затеял игру, состоявшую в том, что нужно было проползать на спине под натянутой веревкой или под деревянной палкой так, чтобы не коснуться ее животом, носом, шнурами тирольской куртки или еще чем-нибудь. Я сидел в уголке с мисс Ингрид Бергман, попивая складчинское шампанское, и я сказал ей: «Дочка, этот год будет худшим из худших». (Эпитеты опускаются.)

Мисс Бергман спросила, почему я так думаю. Для нее пока все годы были хорошими, и ей трудно было со мной согласиться. Я сказал, что недостаточный запас слов и плохая дикция мешают мне объяснить подробнее, но есть много разрозненных примет, которые не предвещают ничего хорошего, а это зрелище богачей и весельчаков, ползающих не то под палкой, не то под натянутой веревкой, еще укрепляет мои дурные предчувствия. На том мы и покончили.

Итак, эта книга впервые вышла в свет в 1929 году, в тот самый день, когда разразился крах на нью-йоркской бирже. Иллюстрированное издание должно появиться нынешней осенью. За это время умер Скотт Фицджеральд, умер Том Вулф, умер Джим Джойс (чудесный товарищ, непохожий на официального Джойса, выдуманного биографами, тот, что однажды в подпитии спросил меня, не кажутся ли мне его книги чересчур провинциальными); умер Джон Бишоп, умер Макс Перкинс. Умерло и много таких, кому следовало умереть; одни повисли кверху ногами у какой-то бензоколонки в Милане, других повесили, худо ли, хорошо ли, в разбомбленных немецких городах. А сколько умерло безвестных, безымянных и часто очень любивших жизнь.

Называется эта книга «Прощай, оружие!», а кроме первых трех лет после того, как она была написана, в мире почти все время где-нибудь да идет война. Многих тогда удивляло — почему этот человек так занят и поглощен мыслями о войне, но теперь, после 1933 года, быть может, даже им стало понятно, почему писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет

собой война. Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе, надеюсь, даже очень пристрастен. Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражаются на войне, самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, — свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.

Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили ему это, и позаботился бы о том, чтобы все было сделано по возможности гуманно и прилично (ведь среди расстреливаемых могут попасться разные люди) и чтобы все тела были преданы погребению. Можно было бы даже похоронить их в целлофане или использовать какой-нибудь другой современный синтетический материал. А если бы под конец нашлись доказательства, что

я сам каким-либо образом повинен в начавшейся войне, пусть бы и меня, как это ни печально, расстрелял тот же стрелковый взвод, а потом пусть бы меня похоронили в целлофане, или без, или просто бросили мое голое тело на склоне горы.

Итак — вот вам книга спустя без малого двадцать лет и вот вам предисловие к ней.

Финка-Вихия, Сан-Франциско-де-Паула, Куба, 30 июня 1948 г.

Письмо молодому писателю

Благодарю за письмо и за предоставленную возможность прочитать рассказ.

Я ничем не могу тебе помочь, мальчик. Ты пишешь лучше, чем я, когда мне было девятнадцать. Но то, как ты пишешь, чертовски мне напоминает мою собственную прозу. В этом нет ничего дурного. Но таким образом ты ничего не достигнешь.

Когда я был в твоем возрасте, я подражал Киплингу. Я думал, что свет не производил лучшего мастера короткого рассказа (и продолжаю считать образцом несколько его коротких рассказов). Но прошло время, и я понял, что мне необходимо попытаться сломать свой прежний стиль и создать новый. Только так стиль становится твоим собственным, звучит по-твоему. В этом вся трудность.

Почему бы тебе не начать все сначала и не почитать Киплинга, такие его три вещи, как «Конец пути», «Необыкновенное приключение Мэреби Джакса», «След зверя»; «Пышку» и «Дом Телье» Мопассана; «Шлюпку» и «Голубой отель» Стива Крейна; «Происшествие на мостике у Совиного

ручья» Амброза Бирса; «Простую душу» Флобера и «Госпожу Бовари»?

Этого тебе на некоторое время хватит. Если ты все это читал, то перечти. Почитай рассказ Томаса Манна «Непорядки и раннее горе», его «Будденброков». Просмотри всего позднего Манна.

А затем взгляни на то, что ты пишешь, не моими глазами, а своими собственными, и стиль пусть будет тоже собственный, подсказанный не мной, а теми писателями, о которых я упомянул. Они все писали хорошо. Но ты пиши по-своему.

Не обижайся на меня и не говори: «Вот, мол, Хемингуэй — такой-сякой». Начни новую жизнь. И мне пожелай удачи.

Не знаю, долго ли мы еще здесь пробудем, ведь я давно должен был уехать в Африку. При всех обстоятельствах уже то большое счастье, что тебе девятнадцать лет. В любой момент я начал бы все с начала, если бы мне могло быть столько же. А вместо этого я должен высоко держать марку в свои пятьдесят три года. Только дураки считают, что у нас легкое ремесло.

В свободное время буду всегда рад видеть тебя. И это так же верно, как то, что ты все должен решать сам. Это твоя задача, ты и сам об этом пишешь, и рассказ тоже — твой.

Твой друг Эрнест Хемингуэй

Интервью Дж. Плимптону

— Вам приятны те часы, которые вы отдаете писательскому труду?

— Очень.

— Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Придерживаетесь ли вы строгого расписания?

— Когда я работаю над романом или рассказом, то пишу каждое утро. Начинаю как можно раньше, с первыми лучами солнца. Никто не мешает, прохладно, даже холодно, но начинаешь писать и понемногу согреваешься. Останавливаешься тогда, когда не все выжал из себя, и знаешь, что должно произойти дальше. Носишь в себе это продолжение, переживаешь его до следующего дня, пока снова не берешься за перо. Начнешь, скажем, в шесть часов утра и работаешь до полудня. Когда кончаешь, чувствуешь себя одновременно и опустошенным, и наполненным до краев, как это бывает после встречи с любимой. И уже ничто не может иметь значения для тебя до наступления следующего дня, когда ты снова принимаешься за работу. Труднее всего дождаться этого следующего дня.

— И вы можете принудить себя оторваться от письменного стола, хотя ваши мысли целиком во власти того, над чем работаете?

— Конечно, могу. Нужна известная дисциплина, и она вырабатывается.

— Прочитывая написанное накануне, делаете ли вы исправления? Или исправления делаются после окончания вещи?

— Я всегда поправляю то, что писал накануне. Когда закончишь всю вещь, то, естественно, снова ее перечитываешь. Получишь перепечатанное на машинке — опять вносишь исправления. Наконец, последняя возможность для переделки — это корректура. Надо быть благодарным за все эти возможности.

— Много ли вы делаете исправлений?

— Это зависит от обстоятельств. Последнюю страницу в «Прощай, оружие!» я переделывал тридцать девять раз, пока она меня не удовлетворила.

— Какие это исправления? Что именно вас затрудняло?

— Я ищу более точные слова.

— Скажите, перечитывание написанного — это своего рода «зарядка»?

— Перечитывая, находишь отправную точку

для дальнейшей работы. И где-то всегда возникает зарядка.

— Но бывают же дни, когда вовсе нет вдохновения?

— Конечно, бывают. Но если вы остановились, зная, что у вас будет дальше, то сможете продолжать. А раз так, значит, все в порядке. Вдохновение придет.

— Торнтон Уайлдер указывает на некие мнемонические приемы, побуждающие писателя к работе. По его словам, вы как-то сказали ему, что предварительно затачиваете двадцать карандашей.

— Не думаю, чтобы передо мной когда-либо лежало такое количество карандашей. Исписать за день хотя бы семь отточенных карандашей — это уже много.

— Где у вас были наиболее благоприятные условия для работы? Судя по количеству написанных книг, таким местом надо считать отель «Амбос Мундос». Или окружающая обстановка мало влияет на вас?

— Отель «Амбос Мундос» в Гаване — прекрасное место для работы. Восхитительное. Или, во всяком случае, оно было таким. Но я везде хорошо работал. Этим я хочу только сказать, что способен

работать в самых различных условиях. Телефон и посетители — вот губители нашей работы.

— Вы как-то сказали, что могли хорошо писать только тогда, когда были влюблены. Не поясните ли вы это немного подробней?

— Ну и вопрос! Писать можно всегда, если люди оставляют вас в покое и не отрывают от работы. Или, точнее, если вы будете безжалостны к ним, когда они вам мешают. Когда влюблен, пишешь, конечно, лучше всего. Тем не менее, если вы не возражаете, я бы предпочел не распространяться на эту тему.

— Что вы скажете о материальной обеспеченности? Может ли это быть помехой для хорошей работы?

— Если материальное благополучие пришло довольно рано и вы любите удовольствия жизни так же, как и свою писательскую работу, то требуется большая сила воли, чтобы удержаться от соблазнов. Но когда писательский труд стал вашим самым большим пороком и самым большим наслаждением, тогда только смерть разлучит вас с ним. И вот тогда материальное благополучие, которое избавляет вас от забот, конечно, большая поддержка. А заботы подрывают способность писать.

— Можете вы вспомнить, когда именно вы решили стать писателем?

— Нет. Я всегда хотел быть писателем.

— Филипп Янг в своей книге, посвященной вам, полагает, что травма, которую вы получили в 1918 году от тяжелого артиллерийского ранения на фронте, сыграла большую роль в вашем решении стать писателем. Помнится, в Мадриде вы однажды вскользь упомянули об этом. Правда, затем вы говорили, что, по вашему мнению, в арсенале художника не приобретенные, а врожденные качества.

— Очевидно, в тот год в Мадриде у меня голова была не совсем в порядке. Единственное, что говорит в мою пользу, это то, что я лишь мимоходом коснулся книги мистера Янга и его травматической теории литературного творчества. Вероятно, две контузии и повреждение черепа, полученное в том же году, отразились на моих высказываниях, сделав их не совсем разумными. Поэтому позвольте отложить разговор на эту тему до следующей травмы. Согласны?

— Что бы вы считали лучшей интеллектуальной подготовкой для того, кто хочет стать писателем?

— Прежде всего ему придется пойти и пове-

ситься, так как он обнаружит, что писать хорошо невероятно трудно. Тогда его следует безжалостно вытащить из петли и заставить всю жизнь пытаться писать как можно лучше. Во всяком случае, для начала у него будет рассказ о повешении.

— А что вы скажете о тех, кто преподает в учебных заведениях? Не считаете ли вы, что многие писатели, занимающиеся преподаванием, тем самым компрометируют свою литературную профессию?

— Писатель, который обладает способностью не только писать, но и преподавать, может делать и то и другое. И многие серьезные писатели доказали это. У меня, я знаю, нет таких способностей. Но я восхищаюсь теми, у кого они есть. Хотя и считаю, что академическая среда лишает жизненного опыта и, вероятно, ограничивает познание окружающего мира, а познание мира налагает на писателя большую ответственность и делает его труд еще более нелегким. Попытка написать вещь немимолетного значения требует полной отдачи сил, даже если вы работаете только несколько часов в день. Писателя можно сравнить с колодцем. Существуют различные колодцы, так же как и разные писатели. Весьма

важно иметь в колодце свежую воду, и лучше в меру регулярно черпать из него, чем выкачать до дна и ожидать, пока он снова наполнится. Но я вижу, что отклонился от заданного вопроса, впрочем, сам-то вопрос был не очень интересным.

— Посоветовали бы вы молодому писателю работать в газете? Помогла ли вам ваша работа в газете «Канзас-Сити стар»?

— В газете «Стар» вас заставляли учиться писать простые повествовательные предложения. А это полезно каждому. Газетная работа не повредит молодому писателю и даже может помочь ему, если он вовремя оставит ее. Я прошу извинения, что говорю такие избитые истины. Но когда вы задаете банальные вопросы, вы рискуете получить и банальные ответы.

— Считаете ли вы ценным общение с другими писателями?

— Конечно.

— Когда в двадцатые годы вы жили в Париже, было ли у вас «групповое чувство», связывавшее вас с другими писателями и художниками?

— Нет, у нас не было группового чувства. Мы уважали друг друга. Я почитал многих художников, некоторые из них были моего возраста, другие — старше. Это Грис, Пикассо, Брак и Моне,

который был тогда еще жив. Любил я нескольких писателей — Джойса, Эзру и хорошее в Гертруде Стайн.

— Ощущали вы непосредственное влияние других писателей, которое отразилось бы на вашем творчестве?

— Нет, не ощущал после того, как Джойс написал «Улисс». Его влияние было косвенным. В те времена многие слова были заперты для нас на замок и мы боролись за каждое слово. Пример Джойса изменил положение и указал нам на возможность избавления от ограничений.

— В последние годы вы как будто избегаете общества писателей. Почему?

— Это довольно сложно. Чем больше отдаешься писательству, тем больше становишься одиноким. Большинство моих лучших и старейших друзей умерло. Другие уехали. Вижусь я с ними редко, но переписываюсь, поддерживаю старые связи, как в давние дни, когда вместе сидели в кафе. Мы обмениваемся шутливыми, иногда даже забавно непристойными, легкомысленными письмами. И это почти так же хорошо, как и видеться друг с другом. Но все больше остаешься теперь один, потому что надо писать, а времени не так уж много, и если его растрачиваешь, то

чувствуешь, что совершаешь непростительный грех.

— Кого из своих предшественников вы особенно цените? У кого вы учились?

— Марк Твен, Флобер, Стендаль, Бах, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, Эндрю Марвел[42], Джон Донн[43], Мопассан, Киплинг в его лучших произведениях, Торо[44], капитан Марриот, Шекспир, Моцарт, Кеведо, Данте, Вергилий, Тинторетто, Хиеронимус Босх, Брейгель, Патинье[45], Гойя, Джотто, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Сан Хуан де ля Круз, Гонгора… Понадобится целый день, чтобы вспомнить всех. И это походило бы скорее на то, будто я похваляюсь эрудицией, которой у меня нет, чем пытаюсь вспомнить всех, кто оказал влияние на мою жизнь и работу. Такой вопрос не назовешь скучным. Это очень важный и серьезный вопрос. Я назвал некоторых худож-

---

[42] Примечания: 42

Марвелл Эндрю (1621–1678) — английский поэт, один из любимых поэтов Хемингуэя.

[43] Примечания: 43

Донн Джон (1572–1631) — английский поэт.

[44] Примечания: 44

Торо Генри Дейвид (1817–1862) — американский писатель, мыслитель.

[45] Примечания: 45

Патинье (Патинир) Иоахим (между 1475 и 1480–1524) — нидерландский живописец.

ников, и я даже начал бы с них, потому что у них я учился писать не меньше, чем у писателей. Вы спросите, каким образом? Чтобы объяснить, потребовался бы еще один день. Однако я думаю, что должно быть ясно, чему мы учимся у композиторов, познавая гармонию и контрапункт.

— Вы играли на каком-нибудь музыкальном инструменте?

— Да, на виолончели. Моя мать забрала меня на год из школы, чтобы я учился музыке и постигал контрапункт. Она думала, что у меня есть способности, но я оказался совершенно бесталанным. Дома мы часто исполняли камерную музыку: кто-нибудь из знакомых играл на скрипке, сестра на альте, а мать на рояле… Ох уж эта виолончель — я играл на ней хуже всех на свете.

— Вы иногда перечитываете авторов, которых назвали в нашем перечне? Твена, например?

— Твена можно читать раз в два-три года. Его помнишь хорошо. Каждый год читаю Шекспира и обязательно «Короля Лира». Читая такие книги, ободряешь себя.

— Значит, чтение — ваше всегдашнее занятие и удовольствие.

— Я очень много читаю. И забочусь о том, чтобы у меня всегда были книги.

— А рукописи вы читаете?

— Тут надо быть осторожным, так как если не знаешь автора рукописи, то могут быть всякие неприятности. Несколько лет назад один человек возбудил против меня судебное дело, обвиняя меня в том, что сюжет романа «По ком звонит колокол» я заимствовал из его неопубликованного киносценария. Этот человек утверждал, что когда он на каком-то вечере в Голливуде читал свой сценарий, то там присутствовал я или, во всяком случае, тот, кого называли «Эрни». Этого оказалось достаточным, чтобы возбудить дело с иском в миллион долларов. Одновременно он же возбудил дело против двух режиссеров, также обвиняя их в краже сюжетов из того же неопубликованного сценария. Нам пришлось явиться в суд, который признал претензии этого человека несостоятельными.

— Помогало ли вам наполнять ваш «колодец» близкое знакомство с произведениями тех авторов, которых вы упомянули в своем перечне? Или же это сказывалось лишь на развитии писательской техники?

— Они были необходимы, чтобы научиться видеть, слышать, думать, чувствовать и писать. А колодец наполняете вы сами, в нем то, что вы из

себя выжали. Никто не знает, что в нем, и меньше всех — вы сами. Вы лишь чувствуете, полон ли он, или ждете, пока не наполнится.

— Согласны вы с тем, что в ваших романах есть символика?

— Полагаю, что имеются какие-то символы, поскольку критики все время их находят. Но я не люблю, когда меня расспрашивают об этом. И без того достаточно тяжело писать романы и рассказы, а тут еще вдобавок просят объяснить их… Кроме того, это лишит работы истолкователей. Если пять-шесть или даже более хороших истолкователей могут прокормиться этим, то почему я должен мешать им? Читайте то, что я пишу… И все, что вы при этом обнаружите, явится мерой вашего восприятия.

— Подобные вопросы действительно вызывают досаду…

— Я и раньше считал и теперь считаю, что писателю весьма вредно говорить о том, как он пишет. Он пишет, чтобы его читали. И тут не требуется никаких объяснений или диссертаций. Вы, допустим, убеждены в том, что у автора сказано значительно больше, чем можно понять при первом чтении; но если это и так, то писатель все же не должен что-то объяснять или составлять

путеводитель по трудным местам своей работы.

— В связи с этим я припоминаю, что вы также предупреждали об опасности для писателя рассказывать о том, над чем он работает, так как он может, попросту говоря, «проболтаться». Но почему же? Я спрашиваю только потому, что многие писатели — на память приходят Марк Твен, Оскар Уайльд, Джеймс Тэрбер, Линкольн Стеффенс, — проверяя свои вещи на слушателях, тем самым отшлифовывали их.

— Я не могу поверить, чтобы Твен когда-либо «проверял» на своих слушателях «Гекльберри Финна». Если бы он сделал это, то они, вероятно, заставили бы его выкинуть хорошие места и добавить то, что не украсило бы книгу. Уайльд, по словам людей, знавших его, лучше рассказывал, чем писал. Стеффенс — то же самое. Впрочем, иногда трудно было поверить и тому, что он писал, и тому, что он говорил, хотя я слышал, что потом многие свои рассказы Стеффенс переработал. Если бы Тэрбер мог говорить так же, как писал, то он должен был стать одним из величайших, во всяком случае, наименее скучным из рассказчиков. Я знаю человека, который превосходно — увлекательно и озорно — рассказывает о своей профессии. Это матадор Хуан Бельмонте.

— Много ли усилий потребовалось для совершенствования и развития вашего своеобразного стиля?

— Этот вопрос требует долгого и утомительного ответа. То, что дилетанты называют стилем, вначале обычно только неуклюжая попытка сделать что-то, чего не делалось прежде, — ведь ни один большой художник не бывает похож на своих предшественников. Сперва люди видят лишь одну нескладицу. Потом думают, что эта нескладица и есть стиль, и начинают подражать. Это прискорбно.

— Вы как-то писали мне, что могут быть поучительны обстоятельства, в которых были написаны некоторые вещи. Относится ли это к рассказу «Убийцы» (вы говорили, что этот рассказ, а также «Десять индейцев» и «Сегодня пятница» написаны вами в один день) и, быть может, к вашему первому роману «И восходит солнце»?

— Давайте посмотрим. «И восходит солнце» я начал в Валенсии 21 июля, в день своего рождения. Мы с Хэдли, моей первой женой, приехали пораньше в Валенсию, чтобы достать хорошие

билеты на feria[46], которая открывалась через три дня. Каждый писатель в моем возрасте уже написал роман, а мне еще было трудно написать абзац. Итак, я начал книгу в день своего рождения и писал ее по утрам в кровати. Затем мы уехали в Мадрид, где я продолжал работу. В Мадриде в это время не было feria. В нашей комнате в отеле стоял стол, и я роскошно располагался писать у себя за столом или в пивной на ближайшем углу, где было довольно прохладно. Потом в Мадриде стало очень жарко, и мы укатили в Андай, что на франко-испанской границе. Остановились в маленьком дешевом отеле на красивом отлогом берегу моря, и тут я хорошо поработал. Так что когда мы приехали в Париж, то в комнате над лесопилкой на улице Норт-Дам-де-Шан я закончил первый набросок романа — спустя, следовательно, шесть недель после того, как начал его. Я показал этот набросок Натану Ашу[47], роману, и он сказал мне: «Хем, что вы имеете в виду, говоря, что написали роман? Гм, роман. Хем, вы пишете путевые записки». Я был не очень обескуражен его замечанием и потому, перерабатывая

[46] Примечания: 46
Ярмарка, где устраиваются бои быков *(исп.)*.

[47] Примечания: 47
Аш Натан (1902–1964) — американский писатель.

роман, оставил в нем описание путешествия (это были страницы, где рассказывалось о поездке на рыбную ловлю и в Памплону).

А рассказы, о которых вы упомянули, действительно были написаны в один день, 16 мая, в Мадриде. Первым был написан рассказ «Убийцы», его я и раньше пытался писать, но он у меня не получался. После завтрака, устроившись, чтобы согреться, на кровати, я написал «Сегодня пятница». У меня был такой запал, что я подумал, не схожу ли я с ума, и в то же время в голове у меня было еще полдюжины рассказов. Одевшись, я отправился в Fornos, старинное кафе матадоров, выпил там кофе и, вернувшись обратно, написал «Десять индейцев». От этого рассказа мне стало очень грустно, я выпил немного бренди и лег спать. Поесть я забыл. Но тут один из официантов принес мне тушеную треску, жареное мясо с картошкой и бутылку Valdepeñas. Хозяйка пансиона, где я тогда жил, постоянно огорчалась тем, что я мало ем, она-то и послала ко мне официанта. Помню, здесь же, в кровати, я принялся за еду, запивая ее вином. Официант предложил принести еще бутылку, сказав, что сеньора хозяйка хочет знать, буду ли я писать ночью. Я ответил, что на время прекращаю работу. «А почему бы вам не написать

еще рассказ?» — спросил официант. «Я только что закончил один», — объяснил я. «Чепуха, — сказал официант, — сможете и еще полдюжины написать». — «Попытаюсь завтра», — пообещал я. «Надо сегодня, — настаивал он. — Как вы думаете, для чего же хозяйка прислала вам еду?» — «Я устал», — сказал я. «Ерунда (сказано было покрепче), устали после каких-то трех маленьких, жалких рассказиков. Прочитайте мне один из них». — «Оставьте меня в покое, — попросил я. — Как я могу писать, когда вы здесь торчите?» Потом я сидел в кровати, пил Valdepeñas и думал, какой я молодец, черт возьми: первый же рассказ вышел у меня таким хорошим, как я мечтал.

— Как воплощается у вас замысел рассказа? Изменяется ли в процессе работы тема, сюжет или характер героя?

— Иногда знаешь рассказ. А иногда создаешь его, не имея ясного представления, каким он выйдет. Тогда в процессе работы все изменяется. Эти поиски создают движение, которое рождает рассказ. Порой движение такое медленное, что кажется, будто его и вовсе нет. Но когда работаешь, всегда есть изменения и всегда движение.

— Сказанное вами относится и к работе над романом или, прежде чем начать его, вы состав-

ляете план, которого твердо придерживаетесь?

— Роман «По ком звонит колокол» был такой задачей, которую приходилось решать каждый день. В основном я знал, что должно происходить в романе. Но то, что происходило, придумывалось каждый день.

— Верно ли, что «Зеленые холмы Африки», «Иметь и не иметь» и «За рекой в тени деревьев» были начаты как рассказы и потом разрослись в романы? Если это так, то, значит, обе литературные формы настолько близки, что писатель без труда может переходить от одной к другой?

— Нет, это неверно. «Зеленые холмы Африки» не роман. Я сделал попытку написать абсолютно правдивую книгу, чтобы увидеть, уступает ли описание страны, в которой я прожил месяц, если это точно рассказать, выдумке и воображению. Вслед за тем я написал два рассказа: «Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». Оба они придуманы на основе знаний и опыта, приобретенных во время тех же долгих путешествий и охоты. А один месяц своего пребывания в тех местах я попытался дать в виде точного описания в «Зеленых холмах Африки». Что касается «Иметь и не иметь» и «За рекой в тени деревьев», то они были начаты как рассказы.

— Сравниваете ли вы себя с другими писателями?

— Нет. Я делал попытки писать лучше, чем некоторые уже ушедшие от нас писатели, чья ценность для меня несомненна. В течение уже долгого времени я просто стараюсь писать как можно лучше. Иногда мне посчастливится, и я пишу лучше, чем могу.

— Вы, видимо, полагаете, что с годами творческая сила писателя ослабевает? В «Зеленых холмах Африки» вы говорите, что американские писатели по достижении определенного возраста превращаются в старую матушку Хаббардс.

— Люди, знающие свое дело, делают его, пока у них голова работает. В моей книге, которую вы упомянули, если посмотрите внимательней, то обнаружите, что я там болтаю об американской литературе со скучным австрийцем, который привязался ко мне, когда у меня вовсе не было желания беседовать с ним. Я точно воспроизвел беседу, но вовсе не для того, чтобы привести бессмертные высказывания. Их и так более чем достаточно.

— Мы еще не коснулись вопроса о создании литературного образа. Герои ваших книг, все без исключения, взяты из действительной жизни?

— Конечно, нет. Только некоторые. В большинстве случаев выдумываешь героев своих произведений, основываясь на собственном знании и понимании людей.

— Скажите, а как происходит превращение взятого из жизни человека в вымышленный литературный образ?

— Если бы я объяснил, как это иногда делается, то это стало бы пособием для юристов, возбуждающих дела о клевете.

— Различаете ли вы в литературном произведении, как это делает Э. М. Форстер, образы «плоские» и «объемные»?

— Если вы только описываете кого-либо, то изображение будет, как на фотографии, плоское и, с моей точки зрения, неудачное. Если же вы наполните его тем, что о нем знаете, образ становится объемным.

— Каких своих героев вы вспоминаете с особенной любовью?

— Многих. Список получился бы очень длинный.

— Перечитываете ли вы свои книги и не возникает ли у вас при этом желания вносить исправления?

— Я иногда читаю свои книги, чтобы ободрить

себя, когда мне тяжело писать. И каждый раз я вспоминаю, как это всегда было трудно, порой почти невыносимо.

— Какие имена вы даете своим героям?

— Самые лучшие, какие только знаю.

— Заглавие придумывается во время работы над рассказом?

— Нет. Окончив рассказ или книгу, я составляю список заглавий, иногда их набирается до сотни. Затем начинаю вычеркивать. Бывает, что вычеркиваю все до одного.

— А рассказ, где заглавие явно подсказывается текстом, например «Белые слоны»?

— Все равно заглавие приходит позже. Однажды я встретил девушку у Прюнье, куда зашел поесть устриц перед завтраком. Я знал, что недавно она сделала операцию. Мы разговаривали — не об операции, конечно, — а по дороге домой мне пришел в голову рассказ. Завтрак был наскоро проглочен, и почти весь этот день я просидел над рассказом.

— Значит, когда вы не пишете, вы всегда наблюдаете, ищете материал, который можно использовать?

— Конечно. Если писатель перестает наблюдать, то он конченый писатель. Но наблюдает он

бессознательно, не думая о том, как это может быть использовано. Однако позже все, что писатель увидел, отстаивается в огромном запасе его знаний и наблюдений. Если это представляет интерес, то могу рассказать о своей работе, которую строю по принципу айсберга, у которого на поверхности только одна восьмая часть, а остальные семь восьмых скрыты под водой. Все, что вы знаете, вы можете опустить, и это только усилит ваш айсберг. Если же писатель опускает то, чего не знает, но должен знать, то тогда у него в рассказе появляются трещины и дыры.

«Старика и море» можно было растянуть на тысячу страниц, описав каждого обитателя деревни, рассказав, как он живет, как родился, учился, женился и т. д. Другие писатели делают это неплохо и даже превосходно. В литературном творчестве вы ограничены тем, что уже хорошо сделано до вас. Поэтому я пытался найти что-нибудь еще. Прежде всего я старался устранить все лишнее, передавая читателю мысли, поступки и переживания так, чтобы он или она почувствовали, что прочитанное ими стало частью их жизненного опыта и как бы происходило на самом деле. Это очень трудно, и я трачу очень много сил на это.

Во всяком случае, на этот раз со «Стариком и

морем» мне повезло: мне удалось выразить нечто такое, что никто и никогда не передавал. Удаче немало способствовало и то, что мне посчастливилось встретить хорошего человека и хорошего мальчика, а в последнее время писатели забыли о существовании таких людей. Затем океан стоит того, чтобы рассказать, что такое человек. Да, мне повезло. Я видел марлинов и знаю их, поэтому не включил их в повесть. В тех же водах я встречал кашалотов, их бывало более пятидесяти в стаде; я как-то даже загарпунил одного длиной почти в шестьдесят футов, но упустил его. И это я не включил. Я также не включил ни одной из тех историй, что слышал в рыбацкой деревне. Но то, что я знал все это, и создает подводную часть айсберга.

— Случалось ли вам описывать что-нибудь такое, чего вы сами лично не знали?

— Странный вопрос. Очевидно, вы имеете в виду описание того, что я сам не испытал? В таком случае ответ на заданный вами вопрос будет, конечно, утвердительный. Писатель не описывает, если он сколько-нибудь хороший писатель. Он придумывает или создает, черпая из своего личного опыта, а иногда он, кажется, обладает самыми неожиданными знаниями, ко-

торые выплывают из позабытого национального или родового опыта. Кто учит домашних голубей летать? Откуда у сражающегося быка храбрость, а у охотничьей собаки нюх?

— В какой степени вы исходите из пережитого, создавая свои произведения? Скажем, аварии самолетов, в которые вы попадали в Африке?

— Это зависит от переживания. Одна часть вашего «я» с самого начала видит событие только со стороны. Другая очень активно участвует в нем. Думаю, что не существует правила, указывающего, когда следует садиться писать о пережитом. Это связано с возможностями того или иного человека и с его способностью восстанавливать в памяти события. Опытному писателю полезно, конечно, попасть в аварию на самолете, который загорелся. Он очень быстро узнает несколько важных вещей. Но насколько это пригодится ему, зависит прежде всего от того, останется ли он в живых.

— Можете ли вы сказать, что ваши книги написаны с дидактической целью?

— Дидактика — это то слово, которое неправильно употребляли и испортили. «Смерть после полудня» — поучительная книга.

— Говорят, что в своем творчестве писатель

выражает всего одну или две мысли. Относится ли это и к вам?

— Кто сказал это? Заявление весьма наивное. У человека, сказавшего это, вероятно, в голове всего одна или две мысли.

— Считаете ли вы важным, чтобы романист находился во власти сильного чувства?

— Писателю, у которого отсутствует чувство справедливости и несправедливости, лучше заняться редактированием ежегодника для школы умственно отсталых детей, чем писать романы.

— И в заключение еще один вопрос. Как плодотворно работающий писатель что вы считаете основой своего мастерства? Почему вы отталкиваетесь не от самого факта, а скорее от некоего представления о нем?

— Что ж тут непонятного? Из того, что происходит или уже существует, из всего, что вы знаете, а также и не знаете, вы своей творческой фантазией создаете нечто похожее на существующее в жизни. Но это не изображение действительности, а что-то совершенно новое, более истинное, чем все живое и подлинное. И если вы сделаете это хорошо, то созданное вами тоже становится живым и обретает бессмертие.

Речь при получении Нобелевской премии

Члены Шведской академии, дамы и господа!

Не будучи мастером произносить речи, не искушенный в риторике и ораторском искусстве, я хочу поблагодарить за эту премию тех, кто распоряжается щедрым даянием Альфреда Нобеля.

Всякий писатель, знающий, какие великие писатели в прошлом этой премии не получили, принимает ее с чувством смирения. Перечислять этих великих нет нужды — каждый из присутствующих здесь может составить собственный список, сообразуясь со своими знаниями и своей совестью.

Я не считаю возможным просить посла моей родины прочитать речь, в которой писатель высказал бы все, что есть у него на сердце. В том, что человек пишет, могут оказаться мысли, ускользающие при первом восприятии, и бывает, что писатель от этого выигрывает; но рано или поздно мысли эти проступают совершенно отчетливо, и от них-то, а также от степени таланта, которым писатель наделен, зависит, пребудет ли

его имя в веках или будет забыто.

Жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве. Писательские организации могут скрасить его одиночество, но едва ли повышают качество его работы. Избавляясь от одиночества, он вырастает как общественная фигура, и нередко это идет во вред его творчеству. Ибо творит он один, и, если он достаточно хороший писатель, его дело — изо дня в день видеть впереди вечность или отсутствие таковой.

Для настоящего писателя каждая книга должна быть началом, новой попыткой достигнуть чего-то недостижимого. Он должен всегда стремиться к тому, чего еще никто не совершил или что другие до него стремились совершить, но не сумели. Тогда, если очень повезет, он может добиться успеха.

Как просто было бы создавать литературу, если бы для этого требовалось всего лишь писать по-новому о том, о чем уже писали, и писали хорошо. Именно потому, что в прошлом у нас были такие великие писатели, современный писатель вынужден уходить столь далеко, за пределы доступного ему, туда, где никто не может ему помочь.

Ну вот, я уже наговорил слишком много. Все,

что писатель смеет сказать людям, он должен не говорить, а писать. Еще раз благодарю.

Беседа Хемингуэя с молодежью в Хейли

Вопрос. Мистер Хемингуэй, как Вы начали писать книги?

Ответ. Я всегда стремился писать. Начал с заметок в школьной газете. Первая моя самостоятельная работа тоже была связана с журналистикой. После окончания средней школы я поехал в Канзас-Сити и стал сотрудником газеты «Стар». Это была обычная репортерская работа. Кто кого застрелил? Кто совершил ограбление и где именно? Где? Когда? Как? О причинах событий — почему? — мы не писали никогда.

Вопрос. Хочу спросить о книге «По ком звонит колокол». Я знаю, что Вы были в Испании, но что Вы там делали?

Ответ. Я поехал туда как корреспондент североамериканского газетного объединения, чтобы писать о гражданской войне, к тому же захватил с собой несколько санитарных машин для республиканцев.

Вопрос. Когда Вы начинаете писать книгу, скажем «Старик и море», как у Вас возникает ее

замысел?

Ответ. Я слышал о человеке, с которым случилась подобная история с рыбой. Мне рассказывали, что произошло в лодке на море, когда он сражался с рыбой. И вот я взял человека, которого знаю уже двадцать лет, и представил его себе в таких же обстоятельствах.

Вопрос. Как вы создали свой собственный стиль? Вы имели в виду коммерческий успех — спрос у публики?

Ответ. Я стремился возможно более полно описывать жизнь такой, как она есть. Подчас это было очень трудно. Я и писал коряво; вот эту мою «корявость и назвали моим особенным стилем. Все мои ошибки и шероховатости очень легко заметить, но их назвали моим стилем.

Вопрос. Сколько времени Вам требуется для того, чтобы написать книгу?

Ответ. Это зависит от книги и от того, как идет работа. Хорошая книга пишется примерно года полтора.

Вопрос. Сколько часов в день Вы посвящаете работе?

Ответ. Я встаю в шесть и стараюсь не работать позже двенадцати.

Вопрос. Двенадцати ночи?

Ответ. Нет, двенадцати дня.

Вопрос. Случалось Вам испытывать неудачу?

Ответ. Неудачи встречаются ежедневно, если работа не ладится. Неудач не бывает, только когда начинаешь писать впервые. Тогда все написанное представляется замечательным и чувствуешь себя прекрасно. Кажется, что писать очень легко, и делаешь это с большим удовольствием. Но думаешь о себе, а не о читателе. Ему твои писания особого удовольствия не доставят. Позже, когда научишься писать для читателя, писательский труд больше не кажется легким. В конце концов от любой написанной вещи в памяти остается только ощущение того, как трудно было ее писать.

Вопрос. Когда Вы были молоды и только начинали писать, Вы боялись критики?

Ответ. Бояться было нечего. Вначале я ничего не зарабатывал своими сочинениями. Просто писал, как умел. Был уверен, что пишу так, как надо. И если кому-нибудь не нравились мои произведения, меня это не касалось. Я знал, что потом мои книги научатся ценить по-настоящему. Критика меня не занимала, я с ней практически не сталкивался. Когда делаешь первые шаги в литературе, тебя не замечают. Это счастливый

удел начинающих.

Вопрос. Случается ли Вам предвидеть заранее неудачу?

Ответ. Если предвидеть неудачу заранее, она тебя постигнет. Конечно, отдаешь себе отчет в том, что произойдет в случае неудачи, и стараешься избежать ее. Разумный человек не может поступать иначе. Но берясь за любое дело, обычно не думаешь о неудаче заранее.

Вопрос. Случалось ли Вам подвергаться запугиванию в связи с тем, что Вы писали или собирались написать?

Ответ. Как же, мне не раз грозили смертью после выхода моих книг.

Вопрос. Составляете ли Вы заранее план всей книги или делаете только предварительные замётки?

Ответ. Ни то и ни другое, я просто начинаю писать. Художественное произведение — это фантазия на основе тех знаний, которыми располагаешь. Если придумать хорошо, получается более убедительно, чем когда пытаешься воссоздать факты по памяти. Если бы беллетристы не занялись в свое время художественной литературой, из них бы вышли отличные выдумщики.

Вопрос. Сколько книг Вы написали?

Ответ. Кажется, тринадцать. Это не очень много. Но я долго работаю над каждой книгой. К тому же не пишу непрерывно и часто оставляю работу, чтобы заняться чем-нибудь для своего удовольствия.

Кроме того, было слишком много войн, и я надолго отрывался от литературной работы.

Вопрос. О Вашей книге «Прощай, оружие!». Сколько лет или месяцев Вы ее писали?

Ответ. Я начал писать ее зимой в Париже, ранней весной продолжал работу на Кубе и в Ки-Уэсте во Флориде, а потом в Пиготе в Арканзасе, где тогда жили родители моей жены; потом мы переехали в Канзас-Сити, где родился один из моих сыновей. Закончил я роман осенью в Бигхорне, штат Вайоминг. Первый вариант я написал за восемь месяцев, пять месяцев переписывал его заново. Всего тринадцать месяцев.

Вопрос. Случалось ли Вам разочаровываться в написанном и бросать работу над начатой книгой?

Ответ. Иногда разочаровывался, но никогда не бросал работу. Деваться-то некуда! От работы можно убежать, но скрыться от нее нельзя.

Вопрос. Ставите ли Вы своих героев в безвыходное положение?

Ответ. Стараюсь не ставить, в противном случае можно и самому остаться не у дел.

Вопрос. У Вас много рассказов об Африке. Почему Вы так любите этот континент?

Ответ. Есть страны, которые нравятся, другие — терпеть не можешь. Мне нравится Африка. Здесь, в Айдахо, есть места, которые напоминают Африку и Испанию. Вот почему тут поселилось так много басков.

Вопрос. Много ли Вы читаете?

Ответ. Да, я все время что-нибудь читаю. После рабочего дня мне не хочется думать о написанном, и я принимаюсь за чтение.

Вопрос. Изучаете ли Вы людей, с которыми сталкиваетесь, чтобы сделать их персонажами своих книг?

Ответ. Я не стремлюсь выискивать людей специально для этой цели. Как правило, я оказываюсь там, куда меня забрасывает жизнь. Есть вещи, которые делаешь потому, что так хочется, другие приходится делать потому, что так нужно. И в том и в другом случае жизнь сталкивает с людьми, о которых потом пишешь.

Вопрос. Вам нравятся кинофильмы, сделанные по Вашим книгам?

Ответ. Как правило, они отвратительны. Един-

ственный ИЗ голливудских фильмов, который мне понравился, — это «Убийцы». Остальные я не смог досмотреть до конца, за исключением «Старика и моря». Эту картину снимали под моим наблюдением.

Вопрос. Что натолкнуло Вас на мысль написать «Прощай, оружие!»?

Ответ. Ребенком я попал в Италию, там меня захлестнула война.

Вопрос. Вы ходите в кино?

Ответ. Да, я видел много фильмов. Из картин последнего года мне больше всего понравились «Мост через реку Квай» и «Вокруг света за 80 дней». Действие фильма «Вокруг света» развивается поначалу неинтересно и медленно, но потом начинаешь ощущать одну его удивительную особенность — он становится похожим на мечту. Это неповторимое ощущение может вызвать только хороший фильм.

Вопрос. Вы видели фильм «Прощай, оружие!»?

Ответ. Последний?

Вопрос. Да, тот, в котором играет Рок Хадсон.

Ответ. Нет, не видел, но, насколько мне известно, постановщики изгадили роман.

Вопрос. Вы предоставили им права на экранизацию?

Ответ. У меня никто не спрашивал разрешения на съемку этого фильма. Я не получал за него никаких денег.

Вопрос. После того как книга написана, Вы перечитываете ее?

Ответ. Да. Сегодня я перечитал и переписал четыре главы. Сначала пишешь будто в запале, как во время спора, потом, успокоившись, вносишь исправления.

Вопрос. Сколько времени Вы обычно проводите за работой?

Ответ. Не больше шести часов. После этого слишком переутомляешься и начинаешь писать хуже. Когда я пишу книгу, я стараюсь работать каждый день, за исключением воскресенья. В воскресенье я не пишу. В воскресенье ничего не выходит. Иногда я пытался писать в воскресенье, но из этого все равно не получалось ничего хорошего.

Интервью о революции на Кубе парижскому еженедельнику «Ар»

Восстание против Батисты — это первая революция на Кубе, которую следует действительно считать революцией.

Движение Кастро вызывает большие надежды. Я верю в дело кубинского народа. На Кубе уже бывали перемены правительства. Но это была лишь смена караула. Первой заботой вновь пришедших было обкрадывать народ.

Некоторые среди приближенных Батисты были стоящими и честными людьми. Но большинство среди них были ворами, садистами и палачами. Они пытали детей, иногда с такой жестокостью, что им не оставалось ничего другого, как прикончить свои жертвы.

Суды и казни, предпринятые Кастро, необходимы. Если правительство не расстреляет этих людей, они все равно будут истреблены мстителями. Результатом окажется эпидемия вендетт в городах и деревнях. Что произошло бы с этими людьми, если бы их помиловали? Народ узнает вершителей зла и рано или поздно заставит их

расплатиться.

Движение Кастро обязано своим успехом тому, что оно обещало покарать виновных в злодеяниях.

Я высказываюсь за революцию Кастро, ибо она пользуется поддержкой народа. Я верю в его дело.

Лев мисс Мари
(из африканского дневника)
Часть первая

Главные действующие лица

Мисс Мэри, жена автора, новичок в охоте на диких животных, слишком маленького роста, чтобы справиться с поставленной задачей, но достаточно высокая для противоборства с огромным бродячим львом.

С.Д., егерь Лойтокитокского[48] района. Его звали Денис Зафиро. Инициалы соответствуют начальным буквам шутки времен сафари — «Сумасшедший Джин».

Кэйти, туземец из племени камба и старший в группе охотников, лукав и очень опытен, суетлив, как старушка, суров, как старшина с тридцатилетней выслугой.

Нгуи, ружьеносец автора, «брат» и «свой человек», «бандит», он «охотился, подобно гончей» и обладал массой других достоинств.

Осведомитель, спившийся добровольный шпион из племени масаи, к которому автор был

---

[48] Примечания: 48

Лойтокиток — населенный пункт в Кении.

очень привязан, хотя, возможно, его следовало повесить.

Чаро, ружьеносец Мэри, еще более хрупкий, чем она, старее старого, покалечен леопардом, чрезмерно храбр и одержим желанием поскорее покончить со львом.

Арап Маина, один из проводников С.Д., который давно, еще до того, как ему перевалило за шестьдесят и он получил эту должность, относился к числу «неуловимых» — браконьеров, охотившихся за слоновой костью.

Не все шло гладко во время этого сафари, потому что многое изменилось в Восточной Африке. Белый охотник долгие годы был моим другом. Я относился к нему с уважением, а он верил в меня, чего я вряд ли заслуживал. Однако доверие его доставалось дорого. Он учил меня, предоставляя возможность действовать самостоятельно, а потом указывал на мои ошибки. Когда я совершал ошибку, он разбирал ее вместе со мной. И если я не повторял ее, он начинал доверять мне чуточку больше прежнего. Он был очень сложным человеком и отличался исключительным мужеством, всеми благими человеческими слабостями и удивительно тонким и очень критическим пониманием людей. Он был безгранично предан

семье и дому и все же предпочитал жить вдали от родных. Он любил свой дом, жену и детей, но в душе оставался кочевником. Теперь он уезжал от нас, потому что должен был вернуться к себе на ферму…

— Есть проблемы? — спросил он.

— Мне не хотелось бы попасть впросак со слонами.

— Ничего. Научишься.

— Добавишь что-нибудь?

— Помни, любой из моих людей знает больше тебя, но ты должен принимать решения и заставить их следовать им. Доверь все заботы о лагере Кэйти. Постарайся держаться молодцом.

Есть люди, которым нравится приказывать, и в своем стремлении заполучить бразды правления они с нетерпением ждут завершения всех формальностей передачи им власти. Я тоже люблю командовать — это идеальный сплав свободы и рабства. Можно наслаждаться свободой, а как только становится слишком опасно — прикрыться своими моральными обязательствами. Вот уже несколько лет я распоряжаюсь лишь самим собой, и мне это надоело, ведь я прекрасно знаю свои слабые и сильные стороны, и поэтому у меня было мало свободы и много моральных

обязательств. За последнее время я с отвращением прочел различные книги о себе самом, написанные людьми, которые все-то знают о моем скрытом «я», стремлениях и мотивах. Читать эти книги — все равно что читать рассказ о сражении, в котором ты участвовал, написанный кем-то, кто не только не был очевидцем, но порой и родился-то уже после того, как сражение закончилось. Авторы подобных книг, писавшие о моей жизни, исходили из твердого убеждения, что я никогда ничего не чувствовал.

В то утро мне хотелось, чтобы мой большой друг и учитель мистер Уилсон Гаррис[49] отказался от тех необычных, стенографически сдержанных выражений, с помощью которых мы общались друг с другом. Мне нужно было задать ему самые невероятные вопросы, но более всего хотелось получить от него подробный, исчерпывающий инструктаж, вроде тех, какие получают английские летчики. Я знал — установившиеся в наших отношениях правила столь же обязательны,

[49] Примечания: 49

В действительности Филипп Персивал, белый охотник. Двадцать лет назад он помогал Эрнесту Хемингуэю в его первом сафари, после которого были написаны «Зеленые холмы Африки» и «Снега Килиманджаро». Единственное вымышленное имя в этом дневнике. — *Прим. Мэри Хемингуэй.*

сколь и кодекс местных обычаев уакамба[50] Я сам, через личный опыт должен был преодолевать свое невежество. Но с этого момента не будет никого, кто мог бы поправить ошибку, и в то утро к моей радости от получения власти примешивалось чувство глубокого одиночества.

Долгое время Уилсон Гаррис и я звали друг друга Старик. Поначалу, более чем двадцать лет назад, когда я обращался к нему так, мистер Гаррис не возражал, коль скоро это отступление от правил хорошего тона делалось без свидетелей. Но после того, как мне стукнуло пятьдесят и я перешел в разряд старейшин, он и сам с готовностью стал называть меня Стариком, что превратилось в своего рода комплимент, без которого, бывало, становилось не по себе. Не могу представить, или, точнее, я не хотел бы дожить до дня, когда в узком кругу мне пришлось бы назвать Старика мистером Гаррисом или же он обратился бы ко мне по фамилии.

Итак, в то утро мне хотелось о многом порасспросить его, многое разузнать. Но в силу обычая мы по-прежнему молчали. Я чувствовал себя ужасно одиноким, и он, конечно, понимал это…

---

[50] Примечания: 50
Народность в Восточной Африке.

— Без проблем тебе было бы скучно, — сказал Старик — Ты ведь не ремесленник, а те, кого теперь называют белыми охотниками, в основном всего лишь ремесленники, они говорят на местном языке и идут проторенными кем-то другим дорогами. Ты неважно знаешь язык. Зато ты и твои сомнительные спутники освоили все известные тропы и можете проложить новые. Если не подберешь подходящее слово на местном наречии камба, говори по-испански. Это всех приводит в восторг. Или пусть говорит мисс Мэри. У нее с дикцией получше, чем у тебя.

— Да иди ты к черту.

— Пойду, заодно и тебе займу местечко, — сказал Старик.

— Как же все-таки быть со слонами?

— Выбрось их из головы. Огромные глупые животные. Говорят, безвредные. Вспомни, как ты расправляешься с другими зверюгами. А это тебе даже не поросшие шерстью мастодонты. Ни одного с бивнями в два витка.

— Кто тебе рассказал?

— Кэйти, — сказал Старик. — Он рассказывал, ты стрелял их тысячами после окончания сезона охоты. Не считая саблезубых тигров и бронтозавров.

— Сукин сын, — сказал я.

— Нет. Он почти поверил. У него есть какой-то журнал о животных, и картинки в нем выглядят очень убедительно. По-моему, он то верит, то не верит. В зависимости от того, можешь ли ты подстрелить цесарку и вообще как ты стреляешь.

— Это была статья о доисторических животных с хорошими иллюстрациями.

— Да. Прекрасные картинки. И ты здорово укрепил свои позиции белого охотника, когда сказал ему, что приехал в Африку лишь потому, что кончилась твоя лицензия на отстрел мастодонтов и ты перебил всех саблезубых тигров.

— И что ты ему ответил? Честно.

— Я сказал, что это святая правда, и ты беглый браконьер, охотник за слоновой костью из Ролинса, штат Вайоминг, приехавший сюда засвидетельствовать почтение мне, человеку, который некогда дал тебе, босому мальчишке, путевку в жизнь, и я буду присматривать за тобой, пока тебе не разрешат вернуться домой и не выдадут новую лицензию на отстрел мастодонтов.

— Старик, пожалуйста, подскажи, как быть со слонами. Ведь в случае чего мне придется отгонять их.

— Точно так же, как ты разделывался с ма-

стодонтами, — сказал Старик. — Постарайся просунуть ствол во второй виток бивня. Целься в лобную кость, точно в семнадцатую морщину, если считать от первой морщины на лбу. А лбы у них чертовски высокие. Очень крутые лбы. Если сробеешь, стреляй прямо в ухо. Ничего сложного.

— Спасибо, — сказал я.

— Не стоит благодарности. Лучше расскажи подробнее об охоте на саблезубых тигров. Кэйти говорил, ты ухлопал сто пятнадцать штук, пока эти негодяи не отняли у тебя лицензию.

— Подходишь поближе, — сказал я. — Лучше всего на расстояние вытянутой руки. Потом пронзительно свистишь.

— И тут-то ты даешь ему понять, почем фунт лиха.

— Ты читаешь мои мысли, — сказал я.

— Должно быть, ты хотел закончить на языке камба, — сказал он. — Старик, пожалуйста, постарайся не делать глупостей. Мне бы хотелось гордиться тобой, а не читать о тебе в сатирических газетах. Я знаю, ты сделаешь все для безопасности Мемсаиб. Но будь и сам поосторожнее. Постарайся быть умницей.

— Ты тоже постарайся.

— Я старался много лет, — сказал он. И потом

добавил: — Настал твой черед.

Так оно и было. Безветренным утром последнего дня предпоследнего месяца года настал мой черед.

— Я хочу вернуть грузовик и прислать другой, получше, — сказал Старик. — Этим они не очень довольны.

Он всегда говорил «они». Они — это туземцы вату. Когда-то их называли боями. Таковыми они и оставались для Старика. Ведь он знал их всех, а то и их отцов, мальчишками. Двадцать лет назад я тоже называл их боями и никто из нас не сомневался, что я имел на это право. Пожалуй, и теперь они бы не обиделись, назови я их так. Но времена изменились. У каждого из нас были свои обязанности и свое имя. Не знать его было признаком неучтивости и пренебрежения. Кроме того, у всех были особые прозвища, обидные и необидные. Старик по-прежнему ругался по-английски или на суахили, и им это нравилось. Я не имел права ругать кого-либо и никогда не стал бы этого делать. После экспедиции в район озера Магади у нас появились свои секреты и свои маленькие тайны. Секретов было много, постепенно из них складывалось взаимопонимание, и порой, услышав смех ружьеносца, достаточно

было взглянуть на него, чтобы понять, в чем дело, и тогда мы оба начинали безудержно хохотать до коликов в животе.

— Над чем это вы смеетесь, психи? — спрашивала меня жена.

— Над странными и смешными вещами, — отвечал я. — А некоторые из них просто ужасны.

— Расскажешь мне как-нибудь?

— Конечно.

Она прилежно изучала суахили и с каждым днем говорила все правильнее и свободнее, и я постоянно обращался к ней за помощью. Туземцам нравился ее суахили, но иногда я замечал у них улыбку в уголках глаз и складках губ, которая тут же таяла. Они искренне любили мисс Мэри, и стоило мне отказаться от того, чего всем нам, негодным, очень хотелось, сказав при этом, что это могло бы повредить мисс Мэри, как отказ тотчас принимался. Еще задолго до отъезда Старика мы разделились на две группы: хороших и негодных. Была, правда, еще и третья группа — анаке, или мванаке, неиспорченные юноши, которым по закону камба еще не полагалось пить пиво. Они были нашими союзниками, то есть союзниками негодных. Особенно во всем, что касалось моей «невесты».

Дебба, моя так называемая невеста, очень красива, очень молода, более чем хорошо развита, лучшая танцовщица нгома,[51] и мы с Нгуи были к ней неравнодушны. Один парень из группы хороших однажды заявил с невинным видом о том, что он серьезно подумывает, не сделать ли ее своей второй женой. И этого было вполне достаточно, чтобы мы с Нгуи, случайно вспомнив его слова, разразились хохотом.

После отъезда Старика встречаться с осведомителем приходилось мне. Это был высокий, исполненный чувства собственного достоинства человек в длинных брюках, чистой темно-синей спортивной рубашке с белыми поперечными полосами, накинутом на плечи платке и мягкой шляпе с загнутыми кверху полями. При этом все вещи были словно с чужого плеча. Черты его смуглого лица отличались утонченностью, и, возможно, некогда он был даже красив. Он говорил по-английски довольно правильно, хотя медленно и с акцентом.

— Доброе утро, брат мой, — сказал он и снял шляпу. — Доброе утро, госпожа.

— Доброе утро, Реджинальд, — сказал я. Мисс

---

[51] Примечания: 51
Национальный танец.

Мэри встала и вышла из палатки. Она недолюбливала осведомителя.

— Мемсаиб недовольна мной? — спросил Реджинальд.

— Не больше, чем обычно.

— Я должен сделать ей подходящий подарок, — сказал Реджинальд. — У меня важные новости. Человек по имени Майкл — агент «Мау-мау».[52]

— Правда? — сказал я. — Как тебе удалось узнать это?

— Я подслушал разговор возле магазина, принадлежащего масаи. Очень важный разговор. Два вождя договорились.

— Большая редкость, — сказал я. — Что-нибудь еще?

— Третья шамба[53] пьянствует.

— А первая и вторая?

— Меня туда не пускают.

— Почему? Из-за пьянства?

— Мой брат знает, что я не пьяница. Меня не пускают из-за пристрастного ко мне отношения.

---

[52] Примечания: 52

«Мау-мау» — тайное религиозно-политическое движение, зародившееся в конце 40-х годов в Кении. Его основными целями были возврат земель, захваченных у африканцев колонизаторами, и установление самоуправления.

[53] Примечания: 53

Деревня, поселение.

Старое недоразумение.

— Как поживает вдова?

— Ее нет уже три дня. Теперь в шамбе забыли о морали. Она уехала в Лойтокиток и до сих пор не вернулась. Брат мой, не найдется ли у тебя немного волшебного лекарства, о котором в «Ридерс дайджест» писали, что оно возвращает человеку силу молодости?

— Есть такое средство. Но у меня его нет.

— Если бы мне удалось достать его, я бы сначала выпил сам, потом узнал его секрет, стал бы торговать им и разбогател.

— А рог носорога не годится?

— Сначала нужно отделить его от носорога, а это трудно и опасно. Я верный осведомитель департамента охоты и ни за что не пойду на это. Убивать носорога незаконно, кроме того, очень дорого и, к сожалению, как выяснилось, бесполезно.

— Я не знал. Китайцы покупают рог.

— Должно быть, им известен какой-то секрет, — сказал он. — Они очень скрытный народ. Но поверьте вашему преданному осведомителю, это бесполезно.

— Очень жаль.

— Да, брат мой. Прискорбно.

— Папа, мы когда-нибудь поедем? — Мисс Мэри позвала меня из нашей палатки. — Все готовы и ждут только тебя.

— Сейчас иду, — отозвался я.

— Хотелось бы поскорее, — сказала она. — Попусту растрачиваем утро.

— Неси все в машину.

— Брат мой, раз нет лекарства и тебе пора ехать, не предложишь ли ты мне чего-нибудь выпить?

— В лечебных целях и по долгу службы?

— Конечно. Иначе я бы не согласился.

— А я бы не дал, — сказал я. — Наливай сам. Реджинальд налил себе стакан и выпил. Плечи его распрямились, и он как бы даже помолодел.

— Завтра я добуду больше информации, брат мой, — сказал он. — Мое почтение госпоже.

Он официально поклонился и вышел. Я отправился к охотничьей машине.

У каждого есть свои таинственные страны, которые мы придумываем себе в детстве. Порой во сне мы вспоминаем о них или даже отправляемся туда в путешествие. Ночью страны эти почти столь же прекрасны, как в детстве. Но это лишь если тебе повезло, и ты увидел их во сне.

В Африке, когда мы жили на небольшой равнине, в тени высокого терновника на краю топи,

у подножия огромной горы, у нас тоже были такие страны. Мы уже повзрослели физически, но во многих отношениях, я уверен, все еще оставались детьми…

В то время у нас с Мэри была одна великая таинственная страна — холмы Чиулус. С.Д. называл ее краем, где не ступала нога белой женщины, в том числе и мисс Мэри. Изо дня в день мы видели Чиулус, далекие, голубые, с классическим изломом вершин, какой бывает только у манящих до боли в сердце холмов. Мы предприняли несколько безуспешных и комических попыток добраться до них. Из-за непроходимой топи и скопления застывших глыб лавы, перекрывших все окольные пути, добраться к холмам, по крайней мере теперь, нам оказалось не под силу. Взамен Мэри почему-то выбрала район, где водились геренук,[54] а я — Лойтокиток, в 14 милях вверх по склону Килиманджаро, неподалеку от границы колонии… Мэри тоже удивлялась моему выбору, пока сама не побывала там…

Ночью я несколько раз слышал ворчание какого-то льва, вышедшего поохотиться. Мисс Мэри крепко спала, и дыхание ее было ровным.

---

[54] Примечания: 54
Жирафовая газель.

Я не спал и думал о разном, в основном о том, скольким мы с Мэри обязаны Старику, С.Д., департаменту охоты и всем остальным.

Что касается мисс Мэри, то меня беспокоил только ее рост — пять футов и два дюйма — ненамного выше высокой травы и кустарника. Пожалуй, ей не следует надевать свитер, каким бы холодным ни было утро, так как приклад манлихера слишком длинен для нее и, если плечи укутаны, поднимая ружье, она может непроизвольно спустить курок. Я не спал и думал обо всем этом, и еще о льве мисс Мэри, и о том, как поступил бы Старик, и о его недавней ошибке, и о том, сколько раз, охотясь на львов, он оказывался прав. Наверняка это бывало чаще, чем мне просто доводилось видеть льва.

Позже, еще до наступления рассвета, когда первый утренний ветерок перебирал подернутые серой золой угли костра, я натянул высокие ботинки, накинул халат и пошел будить Нгуи в его походной палатке.

Он проснулся в мрачном настроении, и я вспомнил, что он никогда не улыбался до восхода солнца, и порой ему требовалось несколько часов, чтобы вернуться из дальнего далека, где он побывал во сне.

Стоя возле потухшего костра, мы обменялись несколькими фразами.

— Ты слышал льва?

— Ндио, бвана.

Ответ был вежливый, но в то же время грубый, мы оба знали это. «Ндио, бвана» — фраза, которой африканец всегда отвечает на вопрос белого человека, когда хочет отделаться от него и одновременно сохранить рамки приличия.

— Сколько львов ты слышал?

— Одного.

— М'узури, — сказал я, давая понять, что так-то оно лучше и он не обманул, сказав, что слышал льва. Он сплюнул, понюхал табак и предложил мне. Я взял щепотку и положил под верхнюю губу.

— Это был большой лев Мемсаиб? — спросил я, почувствовав на десне восхитительное острое пощипывание табака.

— Хапана, — ответил он. Это означало абсолютное отрицание.

— Ты уверен? — спросил я.

— Уверен, — сказал он по-английски.

— Куда же он девался?

— Кто знает?

Услышав наши голоса, проснулся повар, а за

ним и все, кто постарше и у кого чуткий сон.

— Дай нам чаю, — сказал я Муэнди и поздоровался с ним и со всеми, кто проснулся.

— Мы с тобой пойдем и проверим, где лев пересек проложенную машиной колею, — сказал я Нгуи.

— Я сам пойду, — сказал Нгуи. — Вы можете одеваться.

— Сначала выпей чай.

— Не стоит. Чай потом. Это молодой лев.

— Принеси завтрак, — сказал я повару. Он встал в веселом расположении духа и подмигнул мне.

— Пига симба, — сказал он, — мы приготовим льва на ужин.

Кэйти стоял возле костра и улыбался своей кривой, вялой, скептической улыбкой. Он сворачивал чалму в темноте и забыл подоткнуть один конец. Глаза его тоже выражали сомнение. В них не было ни тени предчувствия серьезной охоты на льва.

— Хапана симба кубва сана, — сказал Кэйти. И взгляд его был насмешливым и уверенным. Он твердо знал — это не тот крупный лев, которого мы слышали раньше. «Анаке», — пошутил он. На языке камба это означало — лев достаточно взрослый, чтобы стать воином, жениться и

иметь детей, но слишком молод, чтобы пить пиво. Шутка эта, да еще сказанная на камба, была признаком дружеского расположения, тем более в такую рань, когда дружелюбие отличается весьма низкой температурой…

Нгуи отправился осмотреть колею, проложенную охотничьей машиной по свежей траве. Он шел имитируя надменный строевой шаг, которому некогда обучился на службе в Королевских африканских стрелках. Он вовсе не хотел подчеркнуть свое презрение к кому-либо. Просто это было его естественное отношение к бессмысленному поручению, данному к тому же в столь раннее время суток. Мне бы следовало вернуть его, но я должен был доложить Мэри точную обстановку. Ей нужны были доказательства, а не мнения… Никто не мог представить себе, как много значил для нее этот лев. Насколько я помнил, последнее время я только и занимался охотой на львов. В Африке в памяти удерживались лишь события последнего месяца. За это время мы повидали и обвиненных в тяжких преступлениях львов Селенгаи, и львов Магади, и львов этой местности, против которых вот уже четыре раза подряд выдвигались различные обвинения, и этого нового льва-пришельца, пока еще разгули-

вавшего без fiche[55] или dossier[56] Того самого льва, чей кашель мы слышали ночью, перед тем как он отправился на поиски добычи. Но нужно было доказать мисс Мэри, что это другой лев, а вовсе не тот мародер, за которым она столько времени охотилась и на совести которого лежало множество тяжелейших преступлений. Мы не раз шли за ним по огромным следам с глубоким рубцом на левой задней лапе, и он неизменно исчезал в высокой траве, уходившей к поросшей густым лесом топи или к непроходимому кустарнику у подножия холмов Чиулус. Шкура и густая грива льва были такими темными, что он казался черным, и, когда он уходил в недосягаемые для мисс Мэри заросли, видна была лишь его огромная, медленно раскачивающаяся из стороны в сторону голова. На него охотились не один год, и он, вне всякого сомнения, был не из тех львов, что позируют перед объективами туристов.

Я оделся и, сидя в предрассветной мгле у разгоревшегося костра, пил чай и ждал возвращения Нгуи. Он шел по полю, перекинув через плечо копье, осторожно ступая по все еще влажной от

---

[55] Примечания: 55
Ярлык *(фр.).*

[56] Примечания: 56
Досье *(фр.).*

росы траве.

— Симба думе кидого, — сказал он, сообщив, что это был небольшой лев-самец. — Анаке, — сказал он, повторяя шутку Кэйти. — Хапана м'узури для Мемсаиб.

— Спасибо, — сказал я. — Я не стану будить мемсаиб.

— М'узури, — сказал он и отошел к разведенному поваром костру.

Мы оба знали, как тяжело давалась Мэри охота в течение нескольких дней, и ей не повредило бы выспаться вволю. Она устала больше, чем сама подозревала.

Самые достоверные сведения о нашем черногривом льве должен будет принести Арап Маина. Масаи, живущие вверх по склону западных холмов, сообщили, что лев задрал там двух коров, а одну утащил с собой. Масаи порядочно натерпелись от этого льва. Он все время появлялся в новых местах и никогда не возвращался к добыче, как это делали другие львы. Арап Маина считал, что лев этот однажды вернулся к остаткам своей добычи, отравленным предыдущим егерем, но по счастливой для него случайности не погиб, и одного этого урока оказалось достаточно — он решил никогда не возвращаться к жертвам.

Пожалуй, этим можно было объяснить его стремление к перемене мест, но не беспорядочные налеты на деревни масаев. В эту пору, особенно после бурных непродолжительных ноябрьских дождей, равнина покрылась сочной травой и у источников и в зарослях было много всевозможных животных. Арап Маина, Нгуи и я надеялись, что огромный лев спустится с холмов в долину, где он сможет поохотиться вдоль границ топи.

Масаи могут быть довольно ехидными. Скот для них не просто богатство, а кое-что поважнее. Как-то раз осведомитель рассказал мне, что один из вождей нелестно отзывался о том, что у меня уже дважды была возможность убить этого льва, а я выжидал, пока такой случай представится женщине. Я просил сообщить вождю, что если бы его молодые воины были настоящими мужчинами, а не проводили все свое время в баре в Лойтокитоке, то не возникло бы нужды ждать, пока я убью льва. И все же я позабочусь об этом, как только лев объявится в округе, а если вождь еще и пришлет своих людей, я пойду с ними на льва с копьем. Я просил вождя заглянуть в лагерь и потолковать со мной.

Однажды утром он появился в лагере с тремя старейшинами, и я послал за осведомителем, что-

бы тот переводил. Мы прекрасно побеседовали. Вождь объяснил, что осведомитель неправильно понял его слова. Бвана егерь (С.Д.) всегда убивал только тех львов, которых следовало убивать, был очень храбрым и опытным человеком, и масаи вполне доверяли ему. Он также хорошо помнил, как последний раз во время засухи бвана егерь убил льва, а потом бвана егерь и я вместе с его воинами убили львицу, которая нанесла им большой ущерб.

Я ответил, что все это совершеннейшая правда и что долг бваны егеря, а теперь и мой, убить любого льва, если тот досаждает ослам, овцам, козам или людям. Мы всегда будем поступать именно так. Вера Мемсаиб требует, чтобы она убила этого льва до Рождества. Ведь мы приехали из далекой страны, принадлежим к племени, которое ее населяет, и таков закон нашей религии. До наступления Рождества вождь увидит шкуру этого льва.

Мы пожали друг другу руки, и они ушли. Рождество было не за горами, и меня немного беспокоил названный мной срок… Как и всегда, постфактум я был слегка шокирован своим красноречием и испытывал привычное подавленное состояние из-за взятых обязательств…

Дикий лев, лев-мародер и лев, позирующий перед туристскими фотокамерами в национальных заповедниках, отличаются друг от друга так же разительно, как старый гризли, который будет идти следом по вашей линии капканов, ломать их, срывать крыши с ваших шалашей, пожирать ваши запасы и при этом ни разу не попадется вам на глаза, отличается от медведей, выходящих пофотографироваться на дорогу в Йеллоустоун-Парк. Правда, и в заповедниках каждый год медведи нападают на людей, и, если туристы выходят из машин, они могут нажить себе кучу неприятностей. Порой им достается даже, когда они остаются в машинах, а некоторые медведи становятся действительно опасными, и их приходится уничтожать.

Львы — жители заповедников — привыкли к тому, что их кормят и фотографируют. Случается, они выходят за пределы заповедника и, забыв о страхе перед двуногими, легко попадают на мушку новоиспеченным спортсменам и их женам, которыми, как правило, руководит какой-нибудь профессиональный охотник. Но в нашу задачу не входило критиковать других за то, как они охотятся на львов. Нам нужно было выследить, вернее, сделать так, чтобы мисс Мэри выследила

умного, опасного льва, на которого велась охота не один год, и притом сделать это не нарушая определенных этических норм. Уже много дней мисс Мэри охотилась в соответствии с этими суровыми нормами. Чаро, которого из-за случайных просчетов трижды калечил леопард, любил мисс Мэри и не раз терял терпение, считая, что я заставляю ее придерживаться слишком строгих и отчасти смертельно опасных правил. Но не я их выдумал. Я научился им у Старика, а Старик хотел, чтобы его последняя охота на льва, последнее сафари прошло так, как в былые времена, до той поры, пока еще «эти проклятые автомобили», как он их называл, не развратили и не упростили охоту на диких животных.

Лев этот дважды ускользал от нас, и оба раза я мог без особого труда уложить его, но выжидал, потому что он принадлежал Мэри. В последний раз ошибку допустил Старик. Ему так хотелось помочь Мэри убить льва до своего отъезда, что он поспешил и ошибся, как это порой случается, когда очень сильно чего-нибудь хочешь.

Поздно вечером мы сидели у костра, и Старик курил трубку, а Мэри записывала что-то в дневник, которому она доверяла все, чем не хотела делиться с нами: горести, разочарования, то

новое, что ей довелось познать и чем не хотелось хвастаться, победы, которые от разговоров могли лишь утратить свой блеск. Она писала в обеденной палатке при свете газовой лампы, а Старик и я сидели у костра в пижамах, халатах и противомоскитных ботинках.

— Это чертовски смышленый лев, — сказал Старик. — Будь Мэри чуть выше ростом — сегодня он не ушел бы от нас. Но сам виноват.

Мы оба знали о его ошибке, но избегали говорить о ней.

— Мэри убьет его. Но запомни одно. Я не думаю, чтобы он был очень смелым. Для этого он слишком сообразителен. Но если его ранить, у него хватит храбрости на все. Смотри не допусти этого.

— Сейчас я стреляю вполне прилично. Старик промолчал. Он думал. Потом он сказал:

— Лучше, чем прилично. Не обольщайся, но и не теряй уверенности. Он непременно ошибется, и ты убьешь его. Хорошо бы у одной из львиц началась течка. Тогда он не будет привязан к логову. Правда, в это время они обычно ждут потомство...

— Какую же ошибку он допустит?

— Сам увидишь какую, но обязательно допу-

стит. Жаль, я должен уехать раньше, чем Мэри убьет его. Позаботься о ней как следует. Дай отдохнуть и ей, и этому проклятому льву. Не преследуй его слишком настойчиво. Пусть станет немного увереннее.

— Что-нибудь еще?

— Если сумеешь, помоги и Мэри набраться уверенности на отстреле животных для кухни.

— Я хотел научить ее подкрадываться к животным на расстояние в пятьдесят ярдов и, может быть, постепенно сокращать его до двадцати.

— Что ж, пожалуй, — сказал Старик. — Все остальное мы уже испробовали.

— Я думаю, это поможет. Потом она будет стрелять и с большего расстояния.

— Она ужасно стреляет, — сказал Старик. — И дадут ли ей что-либо эти два дня?

— По-моему, я все правильно рассчитал.

— По-моему, тоже. Только когда она будет стрелять в льва, забудь о своих двадцати ярдах.

— Ладно, — сказал я. — Разве что мы сами наткнемся на него на таком расстоянии.

— Я не буду волноваться, — сказал Старик. — Но, пожалуйста, обдумай все тщательно.

— Я сделаю все так, как ты меня учил.

— Не знаю, так ли уж это здорово, — сказал

Старик.

Около четырех часов я послал за Нгуи, а когда он пришел, попросил его позвать Чаро, взять ружье и сказать Матоке, чтобы он подогнал охотничью машину.

— Прихвати еще кого-нибудь помочь нести тушу, — сказал я. — Тебе можно есть гну?

— Да. Но лучше пофу.

— Я знаю. Но антилоп канна сейчас нет. Уже две недели я не встречал ни одной.

— А импала?

— Подстрелим импалу или томми и одну антилопу гну.

— М'узури.

Мэри писала письма, и я сказал ей, что послал за машиной, а потом пришли Чаро и Нгуи. Они вытащили из-под коек зачехленные ружья, и Нгуи собрал двустволку. Они нашли патроны, пересчитали их и проверили литые пули для спрингфилда и манлихера. Это были первые волнующие мгновения предстоящей охоты…

— На кого мы будем охотиться?

— Нам нужно мясо. Хочу провести эксперимент, потренировать тебя перед охотой на льва. Мы как-то говорили об этом со Стариком. Попробуй подстрелить гну с двадцати ярдов. Ты и Чаро

подкрадетесь к ней вдвоем.

— Уж не знаю, сумею ли я подобраться так близко.

— Ты наденешь что-нибудь для маскировки. Только не свой свитер. Возьми его с собой и, если станет прохладно, наденешь по дороге домой. И раз уж это необходимо, засучи рукава сейчас. Пожалуйста, дорогая.

У мисс Мэри была привычка: перед тем как выстрелить, она обязательно закатывала правый рукав охотничьей куртки. Возможно, она хотела лишь подвернуть манжеты. Но движение это могло спугнуть животное за сто ярдов или даже дальше.

— Ты ведь знаешь, я больше так не делаю.

— Хорошо. Я вспомнил про свитер, потому что из-за него приклад может оказаться слишком длинным для твоей руки.

— Ладно. А если в то утро, когда мы найдем льва, будет холодно?

— Да я всего лишь хочу посмотреть, как ты стреляешь без свитера. Проверить, мешает ли он тебе.

— Все ставят со мной какие-то эксперименты. Просто так я уже не могу ни на кого поохотиться.

— Можешь, дорогая. Как раз сейчас тебе это и

предстоит.

Мэри стояла у самого края зарослей, откуда можно было стрелять, и мы видели, как Чаро опустился на колено, а Мэри подняла винтовку и наклонила голову. Мы услышали выстрел и почти одновременно удар пули в кость и увидели, как черный самец гну подскочил вверх и тяжело рухнул набок. Другая антилопа рванулась с места, а мы, крича во все горло, поспешили к Мэри с Чаро, туда, где посреди луга возвышалась черным бугром огромная туша.

Когда мы один за другим высыпали из охотничьей машины, Мэри и Чаро уже стояли рядом с гну. Чаро вынул нож. Он был счастлив. Вокруг все повторяли: «Пига м'узури. Улипига м'узури сана, Мемсаиб. М'узури, м'узури сана».

Я обнял Мэри и сказал:

— Прекрасный выстрел, крошка, и подкралась ты очень близко. А теперь помоги ему, выстрели вот сюда, где начинается ухо.

— Может быть, лучше в лоб?

— Нет, пожалуйста, под левую мочку.

Она жестом показала всем отойти, сняла затвор с предохранителя, подняла винтовку, тщательно прижала приклад щекой, глубоко вдохнула, выдохнула, сделала упор на левую ногу и выстре-

лила. Пуля вошла точно в то место, где левое ухо срасталось с черепом. Ноги гну обмякли, а голова слегка откинулась. Даже мертвый, он выглядел величественно, и я снова обнял Мэри и отвел ее в сторону, чтобы она не видела, как Чаро вонзит нож в сонную артерию (только после этого магометанам можно будет есть мясо самца).

— Отправляйся в машину, котенок, и глотни из фляжки с джином. Я помогу им погрузить тушу в кузов.

— Пойдем, выпей со мной. Я только что накормила своей винтовкой восемнадцать человек, и я люблю тебя и хочу выпить. Не правда ли, мы с Чаро подкрались очень близко?

— Восхитительно близко. Лучшего нельзя было и ожидать.

Фляжка «Джинни» лежала в одном из карманов старой испанской патронной сумки, и в ней была пинта «Гордон'с», который я купил у Салтана Хамуда. Она была названа так в честь другой, старой, знаменитой серебряной фляжки, которая однажды во время войны протекла по швам на высоте в бог знает сколько тысяч футов, да так, что мне показалось, будто меня ранили в зад. Старую фляжку так и не удалось толком починить, но мы назвали эту плоскую бутыль в честь

старой, высокой, плотно прилегавшей к бедру фляжки, где на закручивающемся серебряном колпачке было выбито имя девушки, но не было ни названий сражений, свидетелем которых она являлась, ни имен тех, кто пил из нее и кого уже не было в живых. Названия сражений и имена погибших даже при убористой гравировке покрыли бы обе стороны старой фляжки. Но новая, хотя и невзрачная, была нам не менее дорога.

Мэри отпила из нее глоток, потом выпил я, и Мэри сказала:

— Знаешь, Африка — единственное место, где неразбавленный джин на вкус не крепче воды.

— Немножко покрепче.

— В фигуральном смысле слова. Я сделаю еще глоточек, если можно.

Джин был действительно очень хорош на вкус, чистый и приятно согревающий, и вовсе не как вода, и после него все казалось прекрасным. Я протянул Мэри бурдюк с водой, она сделала большой глоток и сказала;

— Вода тоже прекрасна. Несправедливо сравнивать ее с джином.

Я подошел к заднему борту машины, откинутому для облегчения погрузки гну… Втиснутый в кузов, самец уже не выглядел так величественно

и лежал там с остекленевшими глазами, огромным брюхом, несуразно вывернутой головой и вывалившимся, как у повешенного, серым языком. Нгуи, который вместе с Матокой поднимал его с самой тяжелой стороны, сунул палец в пулевое отверстие чуть повыше лопатки. Я кивнул, мы подняли борт, закрепили его, и я взял у Мэри бурдюк, чтобы вымыть руки.

— Пожалуйста, выпей еще, Папа, — сказала она. — Почему ты такой мрачный?

— Я не мрачный. Но выпить мне все-таки дай. Хочешь еще поохотиться? Нам нужно подстрелить томми и импалу[57] для Кэйти, Чаро, Муэнди, для тебя и меня.

— Я хотела бы убить импалу. Но стрелять мне уже сегодня не хочется. Не стоит портить этот выстрел. Я уже попадаю как раз туда, куда целюсь.

— И куда же ты целилась, малышка? — спросил я, пересилив себя. Мне очень не хотелось задавать этот вопрос, и, спрашивая, я сделал глоток, чтобы он прозвучал как можно безразличнее.

— Прямо в центр лопатки. Точно в центр. Ты же видел отверстие.

Большая капля крови скатилась из крошечного

---

[57] Примечания: 57
Африканская антилопа.

отверстия над лопаткой и застыла под ней. Я заметил ее, когда неуклюжая черная антилопа лежала в траве, и передняя половина туловища еще жила, хотя и не двигалась, а задняя уже омертвела.

— Хорошо, малышка, — сказал я. — Может быть, все-таки постреляешь еще?

— Нет. Теперь стреляй ты. Тебе тоже надо тренироваться.

«Да, — подумал я. — Может быть, и надо». Я сделал еще глоток джина.

— Отдай мне фляжку, — сказала Мэри. — Сегодня я больше не стреляю, Я так счастлива, что мой выстрел тебе понравился. Хорошо бы Старик был с нами.

Но Старика с нами не было, и, стреляя в упор, она все же попала на четырнадцать дюймов выше, чем целилась, случайно сразив животное удачным попаданием в хребет. Так что причины для беспокойства все еще оставались.

В лагере я нашел мисс Мэри, когда она, сидя на стуле под самым большим деревом, записывала что-то в дневник. Она подняла на меня глаза и улыбнулась, чему я очень обрадовался.

— Мне хорошо, — сказала она. — Утро такое прекрасное, я наслаждаюсь им и наблюдаю за

птицами. Ты когда-нибудь видел такую великолепную сизоворонку? Я была бы счастлива просто так наблюдать за птицами.

— А может быть, тебе еще чего-нибудь хочется?

— Нет. Как по-твоему, могли бы мы до наступления жары отправиться в район, где водятся геренук, и немного поохотиться? Мне кажется, теперь я разбираюсь в этом чуточку больше.

Но район, где водились геренук, по-прежнему оставался труднодоступным. Мэри нисколечко не подросла, а кустарник не стал ниже. Она охотилась очень старательно, а Нгуи и я держались как можно дальше от нее, так далеко, что я волновался. Правда, накануне я не видел здесь ни одного носорога, и свежих следов мы не обнаружили. Мэри ужасно переживала, что ей не доверяют охотиться самостоятельно, и я расширил границу безопасности настолько, насколько мог отважиться. Потом я вспомнил обещание, данное Старику, и, рискуя попасть в немилость Мэри, сократил дистанцию. Но она, похоже, не возражала, и мы с Нгуи подошли еще ближе, так, чтобы исключить всякий риск. Немного погодя мы увидели след носорога, и я отправил Нгуи к машине, а сам с двустволкой пошел рядом с

Мэри. Район этот был более надежен, чем район Магади, но все же достаточно опасен, чтобы заставить меня попотеть. Чаро и я услышали легкий звук, напоминающий тихое ворчание или шорох взлетающей куропатки. Я обернулся и увидел Нгуи. Он стоял на крыше охотничьей машины и показывал рукой влево от нас. Потом Чаро тронул мисс Мэри за руку, и все мы пошли вправо, стараясь держаться по ветру, и, выйдя на небольшое открытое место, подождали, пока подъехала машина.

— Думе! — сказал Нгуи. — Большой самец. А рог короткий и широкий.

— Можно взглянуть? — спросила Мэри.

Чаро и Нгуи помогли ей забраться на крышу, и в зарослях она увидела носорога, огромного и серого, почти белого от высохшей болотной грязи. Голова его была поднята, уши подались вперед, носом он старался поймать приносимые ветром запахи.

— Хочешь его сфотографировать?

— Нет. Он слишком далеко, чтобы казаться страшным.

— Мы не можем пригласить его подойти поближе. В этих зарослях на охотничьей машине от него не уйти. Я найду тебе другого там, где он

будет преследовать нас на открытой местности.

— Всякий раз что-нибудь мешает охоте на геренук. Мы сейчас поблизости от одного из лучших мест.

Я был напуган, как и всегда, когда Мэри охотилась в густых зарослях и рядом оказывался носорог. Я знал нрав носорогов, они бросаются на запах, но зато глупы и их легко обмануть. Они почти слепые, но некоторые видят чуть-чуть получше, и, когда они мчатся через заросли, подобно взбесившемуся локомотиву, это производит сильное впечатление. Убить носорога нетрудно, но как-то раз я попал одному прямо в сердце, и он пронесся на полной скорости еще ярдов сто, прежде чем повалился замертво. Охотясь в одиночку, я был совершенно спокоен, потому что пуля всегда могла остановить носорога, даже если она не попадала в кость. Но в густых зарослях никогда не знаешь, где находится второй носорог, а именно он и представляет смертельную опасность. Итак, я смотрел на одетое в невероятную броню, глупое, злое и несимпатичное животное, которое в своем покрытии из белой высохшей грязи все же выглядело удивительно прекрасным и воинственным, как сбитый с курса танк. «Всю жизнь им приходится быть начеку с задраенным

башенным люком», — подумал я.

— Ты уверена, что фотография не получится? — спросил я.

— Уверена, — сказала мисс Мэри. — Для этого надо подойти поближе.

На том мы и порешили и перебрались подальше, на более открытую местность, где продолжили охоту на геренук. На этот раз мне было решительно наплевать, будут ли меня упрекать в том, что я играю роль няньки или вооруженной до зубов гувернантки, и оставался точно на положенном месте и действовал так, как учил Старик. Я уже давно понял, почему белым охотникам так хорошо платили и зачем они меняли место расположения лагеря: чтобы клиенты охотились там, где их можно было надежно защитить. Я знал — Старик никогда не позволил бы мисс Мэри охотиться здесь и не потерпел бы никакого сумасбродства. Но я также помнил, как женщины почти всегда влюблялись в своих белых охотников, и надеялся, что произойдет чудо, я стану героем в глазах своей подопечной и из бесплатного и действующего на нервы телохранителя превращусь в охотника-возлюбленного собственной жены…

Во время этого последнего этапа заранее об-

реченной на неудачу охоты на геренук — разве что газели посходили бы с ума или женщины научились ходить на ходулях — я пребывал в том отрешенном состоянии, какое бывает, когда не выспишься или выпьешь до завтрака. К тому времени, как мы прочесали весь район и повернули к лагерю, движения мои стали почти автоматическими и я полностью самоустранился от выполнения своих обязанностей. Казалось вполне естественным, что за это меня следовало отчитать и, уж конечно, не так должен был бы вести себя белый охотник, этот женский угодник со стальными нервами. Но вопреки обыкновению мисс Мэри была очень признательна мне и сказала, что охота прошла прелестно, и я вел себя молодцом, и к ней относился с пониманием, и держался не слишком близко, и носорог прекрасно выглядел в своей белой броне, и что, помимо всего прочего, нам не очень-то нужна эта газель геренук. Главное — это охота, а убивать совсем не обязательно, и как хорошо, что геренук счастливы и находятся в безопасности. Мне трудно было представить, как могут быть счастливы геренук, питаясь полувысохшим кустарником, день и ночь находясь в окружении врагов. Последний убитый мной самец геренук, обладатель, по са-

мой скромной оценке, роскошной пары рогов, был таким старым, таким измученным, таким чахлым от всяких мерзких гнойных заболеваний, что его шкура ни на что не годилась, а мясо пришлось сжечь. Мы не хотели, чтобы стервятники разносили его болезни. Но в своем отрешенно-сонном состоянии я был в восторге от хорошей охоты и надеялся, что лев спустится в долину и станет наконец чуть увереннее и мы сможем с ним покончить.

Когда я проснулся, облака спустились с холмов Чиулус и повисли черной тучей вдоль склона горы. Солнце еще не взошло, но уже чувствовался ветер, который приносит дождь. Я крикнул Муэнди и Кэйти, и к тому времени, как дождь, пронесшись по долине и прорвавшись сквозь деревья, обрушился на нас сплошным белым неистовым занавесом, мы уже вколачивали колышки, отпускали и натягивали тросы и рыли канавы. Дождь был сильным, и ветер яростным. Какое-то мгновение казалось, что он сорвет основную спальную палатку, но мы вбили дополнительные колышки с подветренной стороны, и она устояла. Потом порывы ветра стихли. Дождь лил всю ночь и почти весь следующий день.

Приятно было читать в обеденной палатке

под звук тяжелых ударов дождя, и я немного выпил и ни о чем не беспокоился. Все вокруг на какое-то время вышло из-под моего контроля, и я наслаждался отсутствием ответственности, восхитительным состоянием инертности, когда не надо было никого убивать, преследовать, оберегать, строить козни, защищать или участвовать в чем-либо, и с удовольствием предавался чтению. Мы перечитали почти все запасы из чемодана с книгами, но подчас нам все еще попадались скрытые сокровища. Здесь же были и двадцать томов Сименона на французском языке, которые я не читал. Если вам случится мокнуть под дождем в Африке, когда вы стоите лагерем, то знайте, что в этой ситуации нет ничего лучше Сименона. С ним мне было безразлично, сколько времени будет лить этот дождь. Из каждых пяти томов Сименона три были хорошими, но заядлый книголюб может проглотить и плохие в такую погоду. Я начинал все подряд, делил книги на плохие или хорошие (для Сименона не существует промежуточной оценки), а потом, перебрав с полдюжины книг и разрезав страницы, приступал к чтению, с удовольствием перекладывая все свои проблемы на Мегрэ, вместе с ним по-

смеиваясь над глупостью Quai des Orfevres,[58] и восхищаясь его проницательностью и истинным пониманием французов, что доступно лишь людям его национальности, коль скоро французы оградились от понимания самих себя неким туманным законом sous peine de travaux force a la pertuite.[59]

Мисс Мэри смирилась с дождем, ставшим еще монотоннее, но ничуть не слабее, забросила письма и читала какую-то интересную для нее книгу. Это был «Государь» Макиавелли.[60] «Что, если дождь зарядит дня на три или четыре?» — спрашивал я себя. С такими запасами Сименона я мог продержаться около месяца, особенно если отвлекаться от чтения и размышлять о чем-нибудь после каждой книги, страницы или главы. Захваченный непрерывным дождем, я мог думать и между параграфами — не о Сименоне, а о разных

---

[58] Примечания: 58

Главное управление полиции *(фр.)*.

[59] Примечания: 59

Подделка денежных знаков карается пожизненными каторжными работами (на полях рукописи Эрнеста Хемингуэя пометка: «Дословно с французской денежной купюры»).

[60] Примечания: 60

Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469–1527) — итальянский политический деятель и историк. В трактате «Государь» (1532 г.) сформулировал теорию дипломатического искусства, в основе которой лежит абсолютизация силы.

других вещах — и полагал, что легко и с пользой протяну целый месяц, даже если кончится все спиртное и мне придется пользоваться нюхательным табаком Арапа Маины или перепробовать всевозможные отвары из лекарственных деревьев и растений, которые нам довелось узнать.

— Это компания грубых шутников, — сказала мисс Мэри. — Вы с С.Д. шутите очень грубо, и Старик не отстает. Я тоже шучу грубовато. Но не так, как вы.

— Некоторые шутки хороши лишь в Африке, потому что за ее пределами люди не могут представить себе ни этой страны, ни ее животных. Это мир животных, а среди них есть хищники. Люди, не встречавшие хищников, не понимают, о чем идет речь. Равно как и те, кому не приходилось убивать, чтобы добыть себе пищу. И они не знакомы с племенами и не знают, что для них естественно и обычно. Я выражаюсь очень туманно, малышка, но я постараюсь и напишу об этом так, чтобы все стало понятно. Правда, придется слишком многое объяснять из того, что людям трудно себе даже представить.

— Я знаю, — сказала Мэри. — Лгуны тоже пишут книги, а как ты можешь тягаться с лгуном? Как соперничать с тем, кто пишет, как охотился

и убил льва, которого привезли в лагерь в грузовике, и неожиданно лев ожил? Как доказать правду человеку, который утверждает, что Большая Руаха[61] кишит крокодилами? Но тебе это ни к чему.

— Нет, — сказал я. — Я и не собираюсь. Но не надо винить вралей. Ведь что такое на самом деле писатель, если не прирожденный враль, который все выдумывает, исходя из собственных или чужих знаний? Я писатель, а значит, и я лгун и выдумываю, основываясь на том, что знаю сам или слышал. Я враль.

— Но ты не стал бы врать С.Д., или Старику, или мне, что выкинул лев, леопард или буйвол.

— Нет. Но это в узком кругу. Человек, который пишет роман или рассказ, — выдумщик ipso facto.[62] Он создает правду, и это его единственное оправдание, поскольку вымысел его кажется правдоподобнее, чем все, что произошло на самом деле. Именно так можно отличить хорошего писателя от плохого. Однако если он пишет от первого лица и объявляет это художественным произведением, то критики попытаются дока-

---

[61] Примечания: 61
Река в Восточной Африке.

[62] Примечания: 62
По самому факту *(лат.).*

зать, что ничего подобного с ним не происходило. Это так же глупо, как утверждать, что Дефо никогда не был Робинзоном Крузо, а следовательно, и книга никуда не годится. Прости меня за лекцию. Но в дождливый день мы можем это себе позволить…

— Совсем недавно ты сказал, что все писатели чокнутые, а теперь называешь их лгунами.

— Неужели я назвал их чокнутыми?

— Да. Вы с С.Д. говорили именно так.

— Старик был при этом?

— Да. Он сказал, что все инспектора по охране животных — чокнутые и с ними вместе все белые охотники, а белые охотники свихнулись из-за инспекторов, писателей и автомобилей.

— Старик всегда прав.

— Он советовал мне не обращать внимания на вас с С.Д., потому что вы оба с приветом.

— Так оно и есть, — сказал я. — Но никому об этом не говори.

— Ты правда считаешь всех писателей чокнутыми?

— Только хороших.

— Но ты рассердился, когда этот человек написал книгу о том, какой ты ненормальный?

— Да. Потому что он мало что знал обо мне и

ничего не смыслил в писательстве.

— Ужасно сложно, — сказала мисс Мэри.

— А я и не стараюсь объяснять. Я попробую написать что-нибудь и показать тебе, как это получается.

— Старику всегда хотелось это понять. Он сказал, что ты есть и всегда был с приветом, и все же он полностью верит тебе, и я тоже должна верить. Иной раз мне делается грустно. Но я не унываю, и мне нравится наша жизнь. Можно я приготовлю тебе выпить? Ты читай. Совсем не обязательно разговаривать со мной.

— А тебе хочется читать?

— Да. Я не прочь. И мы оба выпьем и будем слушать дождь.

— Когда он кончится, мы прекрасно проведем время.

— Мы и сейчас прекрасно его проводим, и меня только беспокоит, что все звери вымокнут.

Итак, я какое-то время сидел и перечитывал «La Maison du Canal»[63] и думал о том, каково животным мокнуть под дождем. Гиппопотамы сегодня порадуются, зато достанется другим зверям, особенно кошачьим. У животных так много

---

[63] Примечания: 63
«Дом на канале» *(фр.).*

всяких хлопот, что дождь страшен лишь тем, кто сталкивается с ним впервые, а значит, появился на свет за время, прошедшее с прошлого дождя. Интересно, думал я, охотятся ли в такой ливень крупнейшие из кошачьих? Наверное, им приходится это делать, чтобы жить. В дождь легче подкрасться к добыче, но льву, леопарду да и гепарду, должно быть, не по душе так мокнуть во время охоты. Возможно, гепарду это и не очень страшно, ведь он сродни собакам и его шкура приспособлена для сырой погоды. Змеиные норы зальет водой, и повсюду будут змеи, и после дождя появится много термитов.

Я думал, как повезло нам на этот раз в Африке, потому что мы достаточно долго охотились в одном районе и знали здесь каждое животное, и все змеиные норы, и всех живущих в них змей. Когда я впервые приехал в Африку, мы постоянно спешили, переезжали с места на место, охотились ради трофеев. Если нам попадалась кобра, то это было целое событие, как будто мы где-нибудь на дороге в Вайоминге наткнулись на гремучую змею. Теперь же мы узнали много мест, где водились кобры. По-прежнему мы встречали их чисто случайно, но они жили в одном районе с нами, и мы могли заняться ими позже. Когда

мы случайно убивали змею, то это была змея, жившая в определенном месте и охотившаяся в своем районе, равно как и мы. Именно благодаря С.Д. нам была предоставлена привилегия узнать великолепный уголок страны, да к тому же выполнить работу, которая оправдывала бы наше присутствие здесь, и я всегда испытывал к нему чувство глубокой признательности за это.

Время, когда я стрелял животных ради трофеев, давным-давно прошло. Я по-прежнему любил охотиться, но теперь я убивал, чтобы добыть мясо или подстраховать мисс Мэри, я стрелял в зверей, которые оказывались «вне закона», и я убивал их ради общего блага, или, как это принято называть, в целях борьбы с животными-мародерами, хищниками и вредителями. Для трофея я подстрелил одну антилопу, а для пищи — сернобыка в районе Магади, рога которого оказались так красивы, что вполне сгодились в качестве трофея, и еще в один критический момент — единственного буйвола, который тоже пошел на мясо и чьи рога стоило оставить в память о той опасности, которая однажды грозила Мэри и мне. Сейчас я с удовольствием вспомнил этот случай… С воспоминаниями о подобных мелочах всегда приятно засыпать и думать о них ночью, когда не спится,

и, если необходимо, можно вызывать их в памяти, когда тебе становится худо.

— Помнишь то утро с буйволом, малышка? — спросил я.

Она посмотрела на меня из-за обеденного стола и сказала:

— Не спрашивай меня о таких вещах. Я думаю о льве.

Итак, теперь, как только кончится дождь, нас ждет ее лев да еще леопард, которого я дал слово достойно выследить и убить к определенному дню.

Это были единственные занесенные в книгу обязательства. Я знал, будет множество трудностей и заминок. Но эти два дела за нами…

Несмотря на мерный шум дождя, я спал плохо и дважды просыпался в холодном поту от кошмаров. Последний сон был особенно страшен, и я протянул руку под москитной сеткой и нащупал бутылку воды и фляжку с джином. Я втащил их к себе, а затем подоткнул сетку под одеяло и надувной матрац койки. В темноте я сложил подушку так, чтобы лечь на нее затылком, нашел маленькую подушечку с хвойными иголками и положил ее под шею. Потом нащупал возле ноги пистолет и электрический фонарик и открутил

пробку на фляжке.

В темноте под тяжелый стук дождя я сделал глоток джина. Он был чистый и приятный на вкус, и я успокоился. Я понимал, что не могу пить во время охоты на льва мисс Мэри, но завтра мы вряд ли будем охотиться в такую мокрень. Сегодняшняя ночь почему-то была скверной. Я избаловался после стольких хороших ночей и решил, что кошмары мне больше не угрожают. Теперь я понял — это не так. Возможно, палатка была слишком плотно закрыта от дождя и мне не хватало воздуха. Возможно, я мало двигался днем. Я снова сделал глоток, и джин показался еще вкуснее… «Так себе кошмар, ничего особенного, — подумал я. — Бывали и похуже». Одно я знал: с теми, что подолгу вымачивают тебя в холодном поту, я разделался, и теперь остались только плохие или хорошие сны, и почти каждую ночь они были хорошими.

Неподалеку от пестревшего на фоне деревьев лагеря, дым костров которого поднимался высоко над верхушками, а белые и зеленые палатки выглядели по-домашнему уютно, из разбросанных по саванне лужиц пили воду куропатки. Пока Мэри оставалась в лагере, мы с Нгуи отправились подстрелить несколько штук для нашего повара.

Куропатки сидели нахохлившись у самой воды или прятались в невысокой траве, там, где рос репейник. Они шумно взмывали вверх, и попасть в них было несложно, если стрелять быстро, влет. Это были средние куропатки, похожие на маленьких пухлых, обитающих в пустыне голубей. Мне нравилась их странная манера летать, как голуби или обыкновенные пустельги, и то, как красиво они раскидывали свои длинные стреловидные крылья, когда парили в воздухе. Такая стрельба в упор не шла ни в какое сравнение с охотой рано утром в период засухи, когда они вереницей спускались к воде и мы с С.Д. стреляли лишь в замыкающих и платили по шиллингу штрафа всякий раз, когда на один выстрел падало больше одной птицы. Подкрадываясь к ним вплотную, ты лишался удовольствия слышать тот гортанный воркующий гам, с которым плыла по небу переговаривающаяся стая. Мне также не хотелось стрелять вблизи от лагеря, и я ограничился четырьмя парами, которых хватило бы нам с Мэри на два раза или на приличное угощение, случись кому-нибудь заглянуть к нам в гости.

Не всем в лагере нравились куропатки. Я тоже предпочитал им более мелкую дрофу, чирка, бекаса или быстрокрылую ржанку. Но и куропатки

хороши на вкус и прекрасно пойдут на ужин.

Моросящий дождь опять прекратился, но к подножию горы спустились туман и облака.

Мэри сидела в обеденной палатке со стаканом кампари с содовой.

— Много настрелял?

— Восемь. Мне это напомнило стрельбу по голубям в клубе.

— Они взлетают куда быстрее голубей.

— Я думаю, это так кажется, потому что они мельче и громко хлопают крыльями. Ни одна птица не взлетает быстрее настоящего голубя.

— Подумать только! Я рада, что мы здесь, а не в клубе.

— Я тоже. Не знаю, смогу ли я вернуться туда.

— Вернешься.

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, и нет.

— Есть уйма вещей, к которым и я бы не смогла уже вернуться.

— Хорошо бы нам вовсе не пришлось возвращаться. Было бы славно не иметь никакой собственности, никакого имущества и никаких обязательств. Я хотел бы, чтобы у нас были лишь снаряжение для сафари, хорошая охотничья машина да пара приличных грузовиков.

— Все знакомые валом повалят к тебе поохо-

титься на дармовщину, — сказала мисс Мэри. — Я превращусь в самую гостеприимную хозяйку палатки в мире. Я знаю, как это будет. Люди станут прибывать в собственных самолетах, и пилот выскочит из кабины и откроет дверцу, а гость скажет: «Держу пари, ты ни за что не угадаешь, кто я. Бьюсь об заклад, ты меня не помнишь. Ну, кто я?» В один прекрасный момент кто-нибудь скажет именно так, и тогда я попрошу Чаро дать мне мою двустволку и пальну ему прямо в лоб. И Чаро сможет освежевать его, — добавила она.

— Они не едят людей.

— Когда-то уакамба ели. Это было в те самые времена, которые вы со Стариком называете добрыми. Ты тоже отчасти уакамба. Ты бы съел человека?

— Нет, — сказал я. — Решительно нет.

— Рада за тебя, — сказала мисс Мэри. — Ради таких стоит жить. Знаешь, я за всю свою жизнь не убила ни одного человека. Помнишь, когда я хотела быть с тобой во всем на равных, я так ужасно переживала, что не убила ни одного фрица?

— Очень хорошо помню.

— Теперь, пожалуй, я произнесу речь о том, как я убью женщину, которая украдет твою любовь. Я знаю, ты слышал эту речь неоднократно. Но

мне она нравится. Мне полезно выговориться, а тебе послушать.

— О'кей. Начинай.

— Ага, — сказала мисс Мэри. — Так, по-твоему, ты будешь лучшей женой моему мужу, нежели я? Ах так, значит, вы идеально подходите друг другу и ему с тобой лучше, чем со мной? Ты думаешь, вы чудненько заживете вместе и он наконец удостоится любви женщины, разбирающейся в политике, психоанализе и истинном смысле слова «любовь»? Что ты знаешь о моем муже и о том, что мы пережили и что у нас общего?

— Правильно! Правильно!

— Дай мне высказаться. Послушай, ты, растрепа, тощая там, где следует быть формам, и заплывшая жиром, где у породистых женщин его быть не должно. Послушай, ты, женщина. Я застрелила ни в чем не повинного оленя с расстояния в добрых триста сорок ярдов и съела его, не испытав при этом никаких угрызений совести. Я убила конгони[64] и гну, на которую ты похожа. Я охотилась и убила огромного и прекрасного сернобыка, который красивее всякой женщины, и рога у него почище, чем у любого мужчины. На

---

[64] Примечания: 64

Крупная антилопа, распространенная в Восточной Африке.

моем счету больше убийств, чем у тебя флиртов, и вот что я тебе скажу: ты исчезнешь, растворишься в своем сладкоречивом снадобье миллис[65] и уберешься из этой страны, или я прикончу тебя.

— Великолепная речь. Ты бы никогда не отважилась произнести ее на суахили, не правда ли?

— Мне незачем произносить ее на суахили, — сказала мисс Мэри. Как обычно, произнеся речь, она чувствовала себя немного Наполеоном после Аустерлица. — Речь эта предназначена только для белых женщин и, уж конечно, вовсе не относится к твоей невесте, коль скоро она претендует лишь на место второй жены. Моя речь направлена против любой белой дряни, которая возомнит, что с ней ты будешь счастлив больше! Против выскочек.

— Очаровательная речь. И с каждым разом она звучит все яснее и убедительней.

— Это совершеннейшая правда, — сказала мисс Мэри. — Именно так я и поступлю. Правда, я старалась, чтобы она не прозвучала слишком резко и вульгарно. Надеюсь, тебе не пришло в голову, что сладкоречивое снадобье имеет какое-нибудь

---

[65] Примечания: 65

Игра слов. Так называлась кукурузная водка, которую Дебба — «невеста» — иногда приносила в лагерь для Эрнеста Хемингуэя. — *Прим. Мэри Хемингуэй.*

отношение к водке-миллис?

— Нет, не пришло.

— Вот и хорошо.

— Я так хочу, чтобы мой лев объявился и в нужный момент у меня хватило роста разглядеть его в зарослях, — сказала мисс Мэри. — Знаешь, как много он для меня значит?

— Думаю, да. Это знают все.

— Кое-кто считает меня ненормальной. Но ведь в старину люди отправлялись на поиски Чаши Грааля или Золотого Руна, и никто не сомневался в их здравом уме. Настоящий огромный лев ничуть не хуже и куда опаснее любой чашки или овечьей шкуры, какими бы священными или золотыми они ни были. У каждого есть что-нибудь, чего ему по-настоящему хочется, а для меня важнее всего мой лев. Я знаю, с каким терпением вы все относились к моей охоте. Но после дождя я обязательно встречусь с ним. Не дождусь, когда наконец услышу ночью его рык.

— У него великолепный рык. И скоро ты его встретишь.

— Непосвященные никогда не поймут меня. А он сторицей воздаст мне за все.

— Понимаю. Ты ведь не ненавидишь его, правда?

— Нет. Я люблю его. Он прекрасен и очень сообразителен, и мне не нужно объяснять тебе, почему я должна его убить.

— Нет. Конечно же нет.

— Старик знает. Он и мне все объяснил. Он даже рассказал мне о той ужасной женщине, и как всем пришлось стрелять в ее льва сорок два раза. Да что об этом говорить, все равно никто никогда не поймет.

— Мы понимаем, а тем, кому это непонятно, мы можем только посочувствовать.

Этой ночью, когда все уже легли, но еще не успели заснуть, мы слышали рычание льва. Лев находился где-то к северу от лагеря, и рык его, поначалу негромкий, постепенно набирал силу и закончился вздохом.

— Я лягу к тебе, — сказала Мэри.

Я обнял ее, и мы лежали, прижавшись друг к другу в темноте, и слушали рев льва.

— Его ни с кем нельзя перепутать, — сказала Мэри. — Хорошо, что мы вместе, когда он так рычит.

Лев, глухо ворча, уходил на северо-запад. Невозможно описать рычание дикого льва. Можно лишь сказать: я слушал, а лев рычал. Ничего общего с шумом, который издает перед началом

фильма лев «Метро-Голдвин-Майер». От рыка дикого льва цепенеет все внутри.

— У меня будто все оборвалось, — сказала Мэри. — Он настоящий владыка ночи.

Мы слушали, и вскоре откуда-то издалека, с северо-запада донесся новый рык, только теперь он закончился кашлем.

— Надеюсь, он поохотится удачно, — сказал я Мэри. — Не думай о нем слишком много, постарайся уснуть.

— Я должна и хочу думать о нем. Он мой лев, и я люблю и уважаю его, но я вынуждена убить его. Он для меня важнее всего, не считая тебя и наших помощников.

— Но тебе нужно отдохнуть, дорогая. Может быть, это он нарочно рычит и не дает тебе спать.

— Что ж, пусть он мешает мне, — сказала Мэри. — Раз я собираюсь его убить, он имеет на это право. Я люблю его, и мне нравится все, что он делает.

— Тебе надо поспать хотя бы немножко. Ему бы не понравилось твое поведение.

— Ему наплевать на меня. А мне на него нет. Ты должен понять.

— Я понимаю. Но тебе необходимо хорошенько выспаться, малышка. Потому что завтра утром

все и начнется.

— Я буду спать. Пусть только он поговорит еще немного.

Ей очень хотелось спать, и я подумал, что эта девочка, ни разу в жизни не испытавшая желания убить кого бы то ни было, пока во время войны судьба не свела ее с сомнительными личностями вроде меня, слишком долго охотилась на львов, следуя безукоризненно честным правилам охоты, а это без должной страховки со стороны настоящего профессионала было не очень-то разумным делом и могло кончиться для нее плохо, и, возможно, все именно к этому и шло. Вскоре лев снова зарычал и кашлянул три раза. И кашель докатился от его логова к нам и заполнил палатку.

— Теперь я пойду спать, — сказала Мэри. — Надеюсь, он кашлял просто так, или, может, он простудился?

— Не знаю, дорогая.

Потом она уснула. Я устроился на краю раскладушки и пытался услышать льва. Он молчал примерно до трех часов, пока его охота не увенчалась успехом. После этого заговорили гиены, а лев ел и время от времени угрюмо ворчал. Львиц его не было слышно. Одна, как я знал, ждала

потомство и предпочитала держаться от него подальше, а вторая была ее подругой. Я подумал, что найти его, когда рассветет, будет трудно, уж слишком сырая погода, а впрочем, всегда есть шанс.

Задолго до рассвета Муэнди принес чай и разбудил нас. «Ходи», — сказал он и поставил чай на столик у входа в палатку. Я отнес чашку в палатку для Мэри и оделся на улице. Небо затянуло облаками, и звезд не было видно.

В темноте Чаро и Нгуи пришли за ружьями и патронами, а я взял свой чай и сел за столик. Рядом один из боев разводил костер. Мэри умывалась и одевалась, она все еще не отошла от сна. Я вышел за пределы лагеря. Земля по-прежнему оставалась очень сырой. Правда, за ночь немного подсохло, и, конечно, будет суше, чем накануне. Но все же я сомневался, что нам удастся проехать на машине к месту, где охотился лев. Там слишком сыро, особенно за болотом.

Болотом эту местность назвали явно по ошибке. Вот подальше на полторы мили в ширину и почти четыре мили в длину лежало настоящее папирусное болото. А в районе так называемого болота топь окружали большие деревья. Многие из них росли на сравнительно высоких местах

и были очень красивыми. Полоса леса кольцом охватывала настоящее болото, но в некоторых местах слоны, добывая пропитание, устроили завалы, и участки эти стали почти непроходимыми. В том лесу жили несколько носорогов и всегда можно было встретить одного-двух, а то и целое стадо слонов. Захаживали туда и стада буйволов. Глубоко в лесной чаще жили леопарды, охотившиеся за пределами леса. Здесь же укрывался и наш лев, который время от времени спускался в долину в поисках добычи.

Этот лес с огромными высокими деревьями и множеством завалов служил западной границей открытой долины с редкими рощицами и роскошными полянами, окаймленными на севере солончаками и бугристой, скованной застывшей лавой местностью, за которой начиналось еще одно бескрайнее болото, отделявшее наш район от холмов Чиулус. К востоку лежала миниатюрная пустыня — район, где водились геренук, а еще дальше на восток громоздились поросшие кустарником холмы, поднимавшиеся лесенкой к склонам горы Килиманджаро… Лев имел обыкновение охотиться ночью в долине или в поросших высокой травой прогалинах, а потом, насытившись, удаляться на запад в вы-

тянувшийся полосой лес. По нашему плану мы должны были обнаружить его в момент, когда он будет расправляться с добычей, и осторожно подкрасться или, если повезет, перехватить его по пути к лесу. Если же он станет увереннее в себе и не уйдет глубоко в лес, мы сможем пойти по его следу до того самого места, где он, напившись воды, устроится на отдых…

Когда Мэри собралась, машина уже ждала нас. Матока сидел за рулем, а я проверил все ружья. Облака по-прежнему низко лежали на склонах горы, и, хотя постепенно рассветало, солнце еще не показалось. Я посмотрел в прицел моей винтовки, но было слишком темно, чтобы стрелять.

— Как ты себя чувствуешь, малышка? — спросил я.

— Прекрасно. Как, по-твоему, я должна себя чувствовать?

— Глотнула немного, чтобы прояснилось в голове?

— Конечно, — сказала она, — а вы?

— Да, мы как раз ждем, пока прояснится.

— Мне уже и так светло.

— А мне нет.

— Тебе нужно заняться глазами. Чаро взял для меня достаточно патронов?

— Спроси его сама… Ты просила меня напомнить, чтобы ты закатала правый рукав.

— Ни о чем я тебя не просила.

— Может быть, ты будешь злиться на льва, а не на меня?

— Я никогда не злюсь на льва. Теперь тебе достаточно светло?

— Куенда куа симба, — сказал я Матоке, а потом позвал Чаро: — Встань сзади и смотри внимательно.

Мы тронулись. Дорога подсохла, и колеса не буксовали. Дверцы мы сняли, и я свесил обе ноги за порожек. Холодный утренний воздух с горы обжигал лицо. Приятно было чувствовать в руках тяжесть винтовки. Я приложил приклад к плечу и несколько раз прицелился. Даже несмотря на большие очки с желтыми стеклами, мне все еще не хватало света, чтобы стрелять наверняка. Но до места нашего назначения было минут двадцать езды, и с каждой минутой становилось светлее.

— Похоже, будет достаточно светло, — сказал я.

— Я так и знала, — сказала Мэри. Я обернулся. Она сидела, необыкновенно величественная, и жевала жвачку.

Мы ехали вдоль импровизированной взлетной

полосы. Повсюду было много животных, и трава по сравнению со вчерашним утром, похоже, поднялась на целый дюйм. Появились и белые цветы; росли они очень густо, и от этого целые поля казались белыми. В выбоинах дороги все еще было много воды, и я жестом велел Матоке держаться в стороне от колеи, чтобы не попасть в лужи с застоявшейся водой. Шины заскользили по цветущей траве. Постепенно светало.

Справа от нас, сразу же за двумя очередными болотистыми прогалинами, высоко на деревьях Матока заметил птиц и показал рукой в их сторону. Если птицы все еще на деревьях, значит, лев пока не оставил своей добычи. Нгуи тихонько постучал ладонью по брезентовому верху машины, и мы остановились… Он спрыгнул на землю и, крадучись, стараясь, чтобы его не было видно из-за кузова, обошел автомобиль. Потом тронул меня за ногу и показал налево в направлении леса.

Огромный черногривый лев, туловище которого казалось почти таким же черным, а голова и плечи слегка покачивались, неторопливо бежал к высокой траве.

— Ты видишь его? — спросил я Мэри шепотом.

— Вижу.

Лев уже вошел в траву, и теперь видна была лишь голова и верхняя часть туловища, потом только голова; примятая трава выпрямлялась и плотно смыкалась за ним. Очевидно, он услышал машину или еще раньше направился к лесу и увидел нас на дороге.

— Тебе нет смысла преследовать его там, — сказал я Мэри.

— Я все это знаю, — сказала она. — Если бы мы выбрались пораньше, то застали бы его у добычи.

— Было недостаточно светло, чтобы стрелять. А если бы ты ранила его, мне пришлось бы преследовать его в лесу.

— Нам пришлось бы.

— К черту это «нам».

— Тогда как же ты намерен заполучить его?

— Я хочу, чтобы он стал еще увереннее и привык к тому, что мы проезжаем мимо и даже не приближаемся к его добыче. — Я остановился и обратился к Нгуи: — Садись, Нгуи. Поехали, Матока. — Потом, когда машина медленно двинулась вперед по дороге и я чувствовал рядом двух друзей, следивших за усеявшими верхушки деревьев грифами, я сказал:

— Как, по-твоему, поступил бы Старик? Пре-

следовал бы его в высокой траве и лесной чаще и завел тебя туда, где из-за своего роста ты ничего бы не увидела? Что же нам все-таки нужно? Убить тебя или льва?

— Не пугай Чаро своим криком.

— Я не кричу.

— Прислушайся как-нибудь к себе со стороны.

— Слушай, — прошептал я.

— Не говори мне «слушай» и не шепчи. И не нужно мне вашего «самостоятельно и когда все поставлено на карту».

— Вот уж точно охота на львов с тобой порой превращается в истинное удовольствие. И многие из нас не оправдали твоего доверия?

— Старик, и ты, и не помню, кто еще. Возможно, и С. Д. Коль скоро ты ас среди охотников на львов, знаешь все на свете, то почему птицы не спустились к добыче, раз лев ее оставил?

— Потому что одна, а то и обе его львицы продолжают расправляться с тушей или лежат неподалеку от нее.

— И мы не пойдем взглянуть?

— Только издалека, с дороги, да так, чтобы никого не вспугнуть. Пусть все они чувствуют себя уверенно.

— Ну вот что, я уже немного устала от этой фра-

зы: «Пусть они станут увереннее». Если уж ты не можешь изменить свою точку зрения, постарайся по крайней мере разнообразить свой лексикон.

— Ты давно охотишься на этого льва, дорогая?

— Похоже, всю жизнь, а я могла бы убить его три месяца назад, если бы вы с С.Д. позволили мне. У меня был для этого удобный случай, а ты не дал мне им воспользоваться.

— Тогда мы не знали, что это тот самый лев-мародер. Засуха могла пригнать его из Амбозели. У С.Д. есть совесть.

— Совесть у вас как у разбойников с большой дороги, — сказала мисс Мэри. — Может быть, если на обратном пути мы опять проедем мимо него, он наконец привыкнет к охотничьей машине?.. Недурно было бы позавтракать.

Именно этих слов я и ждал.

Арап Маина считал, что этой ночью лев не собирался охотиться. Я рассказал ему, каким сытым он выглядел утром, когда уходил в лес. Я спросил его также, не нужно ли мне приготовить для льва приманку, привязать ее к дереву или прикрыть ветками и попробовать привлечь его. Но Арап Маина сказал, что лев слишком умен для этого. Однажды мы уже приготовили для него приманку, и он ушел из этой местности. Потом

он долгое время оставался с молодой львицей. Он был очарован ею и не обращал на нас никакого внимания. Лев был большим и красивым, и мы, не зная о нем ничего, приняли его за одного из тех львов, которых обычно фотографируют туристы, и решили, что он случайно вышел за пределы национального заповедника и что охота на него будет просто убийством. Он лежал на открытом месте под деревом, и львица соблазняла его. Казалось, нам представляется прекрасная возможность пофотографировать, но, когда мы подбросили поближе к дереву кусок мяса, лев и львица скрылись за полосой леса и больше не возвращались. Это и был тот шанс, которым, по мнению Мэри, мы не дали ей воспользоваться. Но С.Д. не хотел рисковать и убивать безвинного льва, и я полностью соглашался с ним.

Так или иначе, теперь львы не испытывали недостатка в пище, ведь трава подросла и с холмов Чиулус спускалось все больше животных, и Арап Маина не сомневался, что лев мисс Мэри пробудет здесь по крайней мере недели две, если только его не вспугнуть. Конечно, придут и другие львы. Но спутать его с ними нельзя. Если мы убьем его, масаи будут довольны, а если какой-нибудь другой лев станет нападать на

скот, что мало вероятно при таком обилии диких животных, то мы с Арапом Маиной убьем и его.

В Африке много времени тратится на разговоры. Так бывает везде, где люди неграмотны. Но стоит начаться охоте, и никто не проронит ни слова. Вы понимаете друг друга молча, и в жару язык присыхает к нёбу. Но вечером, пока вы разрабатываете план охоты, разговорам обычно нет конца, и очень редко все проходит так, как вы задумали, особенно если план слишком сложен.

Той ночью лев доказал, что все мы ошибались. Ночью мы слышали его рев к северу от нашей взлетной полосы. Потом рычание доносилось уже издалека. Потом мы слышали рык других львов, и это было менее впечатляюще. Затем какое-то время было тихо, мы услышали гиен, и по тому, как они звали друг друга, по их дребезжащему смеху я понял, что какой-то лев настиг свою жертву. Чуть позже мы слышали схватку львов. И как только она стихла, начались вопли и хохот гиен.

— Ты и Арап Маина обещали тихую ночь, — сказала Мэри сонным голосом.

— Кто-то кого-то убил, — сказал я.

— Что ж, для этого мы и приехали в Африку, — сказала Мэри.

— Я расскажу тебе, что, по-моему, они делают.

— Ты и Арап Маина расскажете это друг другу утром, а я должна спать и встать рано. Я хочу хорошенько выспаться и быть в форме.

Часть вторая

Главные действующие лица

Мисс Мэри, которая встречает своего льва при далеко не идеальных обстоятельствах, чем ставит всех в опасное положение.

С.Д., главный егерь района, который готовит мисс Мэри к решающей схватке со львом.

Гарри Стил, обремененный тяжелыми заботами служащий кенийской полиции, который, когда начинается охота, оказывается очень кстати.

Нгуи, ружьеносец Эрнеста, который, когда подходит время праздновать, становится скорее товарищем по оружию.

Чаро, ружьеносец мисс Мэри, который пытается внушить ей, что чему быть, того не миновать.

Я сидел у костра в старой, купленной когда-то в Айдахо пижаме, поношенных противомоскитных ботинках из Гонконга, теплом шерстяном

халате из Пендлтона, штат Орегон, и пил «виски с содовой», добавляя к виски из подаренной мистером Сингхом бутылки кипяченую воду горного ручья, пропущенную через сифон из Найроби.

«Чужой я здесь», — подумал я. Но виски возразило, а в это время суток правда всегда на его стороне. Виски может быть правым или ошибаться, но оно сказало, что я не чужой, и я знал — ночью с ним лучше не спорить. В любом случае мои ботинки у себя дома, потому что они сшиты из страусиной кожи, и я вспомнил лавку сапожника в Гонконге, где нашел эту кожу. Нет, нашел ее не я. И тогда я стал думать о том, кто же нашел эту кожу, и о тех временах, а потом о разных женщинах и о том, каково бы им было в Африке и как мне повезло, что я знал прекрасных женщин, влюбленных в Африку. Я знавал и невыносимых женщин, из тех, что приезжали сюда лишь развлечься, и настоящих стерв, и нескольких алкоголичек, для которых Африка была просто-напросто еще одним местом для безудержного распутства и пьянства. Стервы охотились только за мужчинами, хотя, случалось, постреливали и в других животных, а алкоголички жаловались, что не могли не пить, лишь только поднимались выше уровня моря. Но и на уровне моря они на-

пивались ничуть не меньше.

У алкоголиков всегда находился повод — какая-нибудь необыкновенная трагедия, но те, кого я знал, были пьяницами и прежде. Белые самцы-пьяницы в Африке так же утомительны, как и бывшие алкоголики. За редким исключением, я не знаю никого скучнее бывшего алкоголика. По сравнению с ним все прочие достопримечательности: бывший фальшивомонетчик, сводник в отставке, исправившийся карточный шулер, бывший полицмейстер, бывший министр-лейборист, бывший неудавшийся посол в какой-либо из стран Центральной Америки, стареющий чиновник службы нравственного перевооружения,[66] временно исполняющий обязанности премьер-министра Франции, бывшая коронованная особа, бывший политический радиокомментатор, удалившийся от дел миссионер, страстный рыболов, напичканный статистическими данными, лишенный духовного сана священник — ослепительно интересные и обаятельные личности.

Я вспомнил одного бывшего алкоголика, которого встретил последний раз в Найроби. Он

[66] Примечания: 66

Нравственное перевооружение — движение за изменение мира путем изменения жизни; основано в 1938 г. американским евангелистом Фрэнком Бухманом.

очень обрадовался, увидев меня, и тут же предложил выпить. Они обычно торчат в барах в часы, когда там и так полно народу, занимают место какого-нибудь честного выпивохи и, потягивая свой томатный сок или ячменный отвар с мускатным орехом, бросают по сторонам взгляды, в которых сочетается убежденность сторонника «нравственного перевооружения», отрешенность аиста марабу и любопытство фешенебельного владельца похоронного бюро, превысившего свой банковский кредит.

— Хем, старина, — сказал мой «большой друг». — Дружище. Что будешь пить?

— То же, что и ты.

— Но это всего лишь ячменный отвар с мускатом.

— То, что нужно. Бармен, ячменный отвар с мускатом и двойной розовый джин.

— Я бы не стал их смешивать, дружище.

— Будь по-твоему. Выпью отдельно. Что слышно о старине Стивенсе?

— Плохо. Плохо. Хуже не бывает. Дрожит как лист. Отправился на озеро Тана и подстрелил великолепного буйвола. Говорит, двести фунтов, не меньше. Сам знаешь, как они привирают.

— Конечно.

— Промазал в слона с двадцати ярдов. С ним покончено. Сомневаюсь, чтобы он объявился снова.

— Есть что-нибудь от Дорча?

— И ему конец. Не знаю даже, где он и с кем. Трагический случай. Встретил его как-то на Ямайке. Смотрит невидящим взглядом. Думал, я твой брат.

— Бедняга Дорч. Можем мы что-нибудь для него сделать?

— Ты мог бы ему помочь.

— Надо подумать. Старина Дорч всегда нравился мне.

— Однако он пропал. Совсем угас. Боюсь, не отличит день от ночи.

— Это не удивительно, если он на Ямайке: здесь может быть ночь, в то время, когда там день.

— Точно. Только он уже не на Ямайке. Вернулся в Лондон.

Принесли ячменный отвар с мускатом, и я выпил. Напиток был пьянящий, но не очень крепкий.

— Неплохо. Теперь я понимаю тебя. — Я сделал глоток розового джина. — С ячменным отваром он на голову выше виски. Забыл, как оно застревает в горле.

— Теперь ты в норме? — спросил мой «милый старый друг».

— Вполне.

— Выглядишь ты лучше, чем мне рассказывали.

— Великолепно. Как бродячая сука.

— Я слышал, ты тут немного повеселился.

— Хочешь сказать, напился?

— Да нет. Просто немного погулял. Знаешь, виски действительно ужасная отрава.

— Кто тебе сказал?

— Старший официант.

— Верно. Я был здесь с молодым С.Д. Мы действительно отмечали кое-что.

— Годовщину?

— Нет. Одно событие.

— Можешь поделиться?

— Нет.

— Извини. Я не хотел быть навязчивым.

— Слышал что-нибудь о старине Хормонсе?

— Конец ему. И трех месяцев не протянет. Может быть, уже все кончено.

— Мы бы знали. Ты ведь получаешь «Телеграф» авиапочтой? Сообщение о его смерти наверняка было бы в газете.

— Твоя правда. Это моя любимая газета. Полно

сообщений о ветеранах. Пропили свою жизнь.

— Не совсем так. Я бы не сказал, что старина Хормонс всю жизнь провел за бутылкой.

— Нет, — сказал он. — Нужно быть справедливым.

— «Темпест».[67] не был рассчитан на пьяниц. Он весил семь тонн и шел на посадку почти со скоростью «спитти».[68]

— Не совсем так, дружище. Не совсем так.

— Совсем не так. Я просто хотел напомнить тебе.

— Какие были времена, — сказал он. — Какие парни! Удивительно, как быстро они угасают теперь. А все эта отрава! Доказанный факт. Тебе еще не поздно бросить, старина Хем.

— По правде говоря, мне еще чертовски рано бросать. Мне это нравится и помогает. Ну что, ты будешь? А то мне пора бежать.

— То же самое. Послушай, ты не обиделся?

— Нисколько.

— Найдешь меня, если смогу быть чем-то по-

---

[67] Примечания: 67

«Темпест» — бомбардировщик среднего радиуса действия, находился на вооружении ВВС США в период Второй мировой войны.

[68] Примечания: 68

«Спитти» (сокр. от «Спитфайтер») — истребитель ВВС США периода второй мировой войны.

лезен?

— Обязательно.

— Должно быть, ты и этот мальчишка, К. Д., что ли, отмечали здесь нечто особенное?

— Помянули слона, грозу мраморного карьера, откуда в Найроби поставляют камни для надгробий.

— Представляю себе зрелище. Ты бы прихватил меня в следующий раз? Сколько потянули бивни?

— Еще не взвешивал.

— Для такого спектакля нужно, конечно, разрешение департамента охоты. Наверное, там я и увижу эти бивни.

— Пожалуй, я попридержу их немного. Боюсь, ты меня неправильно понял.

— Ясно, — сказал он. — Но будь осторожен, дружище. Может, прихватишь меня как-нибудь?

— Полагаюсь на тебя, Фредди, — сказал я. Я заплатил за выпитое, и он сунул что-то в карман моей куртки.

— Что это?

— Прочти. Не повредит.

Это было три месяца тому назад душным полднем в переполненном баре «Нью-Стэнли», и теперь, сидя у костра, я думал: «Господи, пожалей

выпивох, но, пожалуйста, спаси нас от бывших пьяниц, от проповедей за или против. Избавь».

Мы с Мэри очень обрадовались, когда С.Д. вернулся в лагерь. Он тоже был рад, потому что за это время стал почти что членом семьи и в разлуке нам всегда недоставало друг друга. Он любил свою работу и почти фанатически верил в ее важность. Он любил животных и хотел заботиться о них и опекать, и я думаю, это единственное, что он ценил; это да еще, пожалуй, очень строгий и сложный моральный кодекс.

Он был немного моложе старшего из моих сыновей, и если бы в середине тридцатых годов я осуществил свой план и отправился на год-другой работать в Аддис-Абебу, то познакомился бы с ним, когда ему было двенадцать, потому что в то время он дружил с пареньком, у родителей которого я должен был остановиться. Но я не поехал. Вместо меня туда отправились вояки Муссолини. Приятеля, у которого я собирался остановиться, перевели на другую дипломатическую работу, и я упустил возможность познакомиться с двенадцатилетним С.Д. Когда мы встретились, у него за плечами уже была долгая, очень трудная и неблагодарная война да еще прекрасно начатая карьера в британском протекторате,

которую он вынужден был оставить. Он командовал нерегулярными войсками, а это, если быть откровенным, самое неблагодарное занятие на войне. Если операция проведена успешно, так, что у вас почти нет потерь, а противнику нанесен большой урон в живой силе, то в штабе ее расценивают как неоправданную и предосудительную бойню. Если же вы вынуждены вести бой в скверных условиях со значительно превосходящими силами противника и при этом побеждаете, но представляете длинный список убитых, то в штабе критически замечают: «У него слишком большие потери». Честному человеку командование нерегулярными войсками не сулит ничего, кроме неприятностей. Сомневаюсь, чтобы по-настоящему честный и талантливый солдат мог ожидать от этой службы что-либо, помимо гибели.

Ко времени нашей встречи С.Д. успешно служил в другой британской колонии. Он не ожесточился и не думал о прошлом. Но он терпеть не мог дураков и английской белой швали, вроде тех чиновников, что время от времени наезжали в колонии. Таких много, и, должно быть, они успешно справляются со своими обязанностями, а иначе они бы никогда не закончили тех мала-

хольных учебных заведений, где их выпекают. Но проводить с ними свободное от работы время не очень-то весело. Шуток они не понимают, и для С.Д. это было невыносимо. Он любил пошутить, как и все храбрые люди, был хорошо воспитан, а потому знал, что острые словечки можно употреблять даже в самом изысканном кругу.

Однажды за спагетти он рассказал нам, как некий вновь прибывший конторский очкарик отчитал его за то, что, вернувшись после объезда, в котором не обошлось без перестрелки, он позволил себе несколько непристойных слов, кои могла услышать жена молодого чиновника. Я знал жену и думаю, что, если бы ее супруг следовал в жизни тем принципам, которые провозглашал в своих звучных выражениях С Д., их браку это пошло бы только на пользу.

Я объяснил это С.Д., а Мэри дала ему список слов, которые надо произнести в присутствии жены, но тайком от мужа, и тогда она начнет расспрашивать его об их значении, и, возможно, тот перейдет от слов к достойным похвалы действиям. Мы представили себе смущение супруга, когда он попытается найти им благопристойное толкование. Это были вполне доброжелательные и давным-давно узаконенные в языке слова, и С.Д.

было приятно слушать Мэри, произносившую их очень четко.

Мне очень не хотелось, чтобы подобные люди докучали С.Д. Описывать их бесполезно, все равно никто не поверит. Чиновники старой закалки, так называемые Паке Саиб — европеец-начальник, — давно описаны и высмеяны другими…

С.Д. мучала бессонница, и ночами он часто читал, лежа в постели. Дома, в Кайадо, у него была очень неплохая библиотека, да и я возил с собой огромный рюкзак с книгами, и мы, расставив книги по пустым коробкам, соорудили в обеденной палатке нечто вроде библиотеки.

В Найроби, недалеко от отеля «Нью-Стэнли», был превосходный книжный магазин, другой находился дальше, вниз по Гавернмент-роуд. Всякий раз, попадая в город, я покупал почти все новые книги, которые казались интересными. Чтение — лучшее лекарство от бессонницы для С.Д. Но и оно не помогало, и частенько я всю ночь видел свет в его палатке.

Мэри и С.Д. оживленно беседовали о городе Лондоне, который я знал в основном понаслышке, а если и бывал там, то лишь при чрезвычайных обстоятельствах, и потому с радостью предоставил им возможность поболтать без меня. Они

говорили о самых разных районах города, которые я не знал вовсе. Так что я мог слушать их болтовню и думать о Париже. Этот город я знал в любых обстоятельствах. Но я так любил его, что мог говорить о нем только со знакомыми той поры. В те старые добрые времена у каждого из нас было свое кафе, где можно было работать и где мы не знали никого, кроме официантов. Мы хранили эти кафе в секрете. Они были лучше клубов, и нам даже приносили туда почту, которую нежелательно было получать на домашний адрес. Как правило, каждый имел два или три тайных кафе. В одном ты работал и просматривал газеты. Адрес этого кафе ты не давал никому. Ты отправлялся туда рано утром и, пока убирали твой столик в углу, возле самого окна, выпивал, сидя на террасе, кофе со сливками и булочкой, а потом перебирался внутрь и работал, а вокруг подметали, мыли и наводили лоск. Приятно было смотреть, как работают другие, и от этого самому хорошо работалось. Когда в кафе появлялись первые посетители, ты расплачивался и шел вниз по набережной, туда, где можно было позавтракать. Для ленча тоже были свои тайные места и тихие ресторанчики, где собирались знакомые.

Лучше всех такие рестораны удавалось отыс-

кивать Майку Уарду. Он знал и любил Париж больше других. Мы с Майком рыскали в поисках тайных ресторанчиков с хорошим, как правило пьяницей, поваром, двумя-тремя сортами доброго легкого вина и с хозяевами, едва сводившими концы с концами и готовыми в любой момент продать свое заведение или разориться. Нам не нужны были уединенные рестораны, которые начинали процветать и становились популярными. Именно так получалось с ресторанами, которые находил Чарли Суини. К тому времени, как он приглашал нас в свой ресторан, секрет становился столь широко известным, что приходилось подолгу ждать свободного столика.

Зато с тайными кафе у Чарли все обстояло благополучно, и здесь он соблюдал полнейшую секретность. Конечно же, это касалось только наших запасных, или, как мы их называли, полуденных и предвечерних кафе. В это время дня порой хотелось перекинуться с кем-нибудь двумя-тремя словами, и тогда я отправлялся в его запасное кафе или он в мое. Туда мы могли приходить с девушками. Девушки обязательно где-то работали, иначе их считали легкомысленными. Только дураки имели постоянных девушек. Днем девушка была ни к чему, так же как ни к чему были

все ее проблемы. Если же она хотела быть твоей, она непременно должна была работать, и тогда все ночи принадлежали ей. Вот когда она была по-настоящему нужна, и ты водил ее вечерами в разные ресторанчики и дарил ей всевозможные вещицы. Я никогда не пытался хвастать своими подружками перед Чарли, у которого всегда были красивые, послушные и прекрасно воспитанные девушки, и все они обязательно работали. В то время моей девушкой была моя консьержка. Это была первая молодая консьержка в моей жизни, и приключение казалось мне очень волнующим. Главное ее достоинство было в том, что она все время работала и не могла выходить не только в общество, но и вообще никуда. Когда мы с ней познакомились, она была влюблена в кавалериста из Garde republicaine[69] — этакого украшенного плюмажем из конского хвоста усача со знаками офицерского различия на груди, казарма которого находилась неподалеку от нашего дома. Он дежурил всегда в одно и то же время и вообще был красавцем мужчиной, и при встрече мы обращались друг к другу не иначе как по всей форме: «Monsieur».

---

[69] Примечания: 69
Республиканская гвардия (фр.) — парижская жандармерия.

Я не был влюблен в свою консьержку, но в ту пору ночами чувствовал себя очень одиноко, и, когда она впервые поднялась по лестнице, открыла мою дверь, в которой торчал ключ, и проскрипела по ступенькам, ведущим на мой чердак, где возле окна с очаровательным видом на Монпарнасское кладбище стояла моя кровать, а затем сняла войлочные туфли, легла рядом и спросила, люблю ли я ее, я преданно ответил: «Конечно!»

— Я знала, — сказала она, — я так давно знала это.

Она сказала, что никогда не смогла бы по-настоящему полюбить кавалериста из Garde republicaine. Я ответил, что считаю месье симпатичным человеком, un brave homme et tres gentil,[70] и что, должно быть, он здорово смотрится верхом на лошади. Но она возразила, сказав, что она не лошадь, и к тому же с ним было много хлопот.

Итак, пока они говорили о Лондоне, я вспоминал Париж и думал, что все мы росли по-разному, и это счастье, что нам удается ладить друг с другом, и я хотел бы, чтобы С.Д. не было одиноко по

---

[70] Примечания: 70
Славный и очень приятный человек *(фр.).*

ночам, и что мне дьявольски повезло с женой, и что я исправлюсь и постараюсь быть хорошим мужем.

— Вы ужасно молчаливы сегодня, генерал, — сказал С.Д. — Мы нагоняем на вас тоску?

— С молодыми не бывает скучно. Мне нравится их беззаботная болтовня. Забываешь, что стар и никому не нужен.

— Чушь, — сказал С.Д. — О чем это вы думали с таким псевдоглубокомысленным видом? Философствуете или гадаете о завтрашнем дне?

— Когда я стану гадать о завтрашнем дне, в моей палатке всю ночь будет гореть свет.

— Снова химера, генерал, — сказал С.Д.

— Не нужно грубых слов, С.Д., — сказала Мэри. — Мой муж деликатный и легкоранимый человек. Они вызывают у него отвращение.

— Рад, что хоть это вызывает у него отвращение, — сказал С.Д. — Есть, значит, положительная черта в его характере.

— Он тщательно скрывает ее. О чем ты думал, дорогой?

— О кавалеристе из Garde republicaine.

— Видите, — сказал С.Д., — я всегда говорил — есть в нем нечто возвышенное. И проявляется весьма неожиданно. Что-то от Пруста. Скажите,

этот кавалерист был очень привлекателен? Хочу расширить свой кругозор.

— Папа и Пруст жили в одной гостинице, — сказала мисс Мэри. — Но Папа почему-то утверждает, что в разное время.

— Бог его знает, как оно было на самом деле, — сказал С.Д. Сегодня вечером он был вполне счастлив и раскован, и Мэри с ее восхитительной способностью все забывать тоже выглядела счастливой и беззаботной. Она могла неожиданно поссориться со мной, но через пару дней совершенно искренне забыть обо всем. Она обладала избирательной памятью, которая, правда, далеко не всегда срабатывала в ее пользу. Память прощала ее, а заодно и меня. Она была ужасно чудной, и я очень любил ее. В данный момент я находил у нее только два недостатка. Она была слишком хрупкой для настоящей охоты на львов и имела слишком доброе сердце, чтобы убивать, и вот почему, решил я, стреляя в животное, она либо вздрагивала, либо излишне поспешно спускала курок. Я находил это очаровательным и никогда не злился. Зато злилась она, потому что умом понимала, почему мы должны были убивать, и позднее даже вошла во вкус, решив, что никогда не поднимет руки на таких прекрасных

животных, как импалу, а будет убивать лишь отвратительных и опасных зверей. За шесть месяцев непрерывной охоты она научилась любить этот спорт, постыдный по своей сути, но достойный, если заниматься им честно, и все же ее сердце помимо воли заставляло Мэри стрелять мимо цели. Я любил ее за это, и это так же верно, как и то, что я никогда не полюбил бы женщину, которая могла работать на бойне, умерщвлять заболевших кошек и собак или убивать лошадей, которые сломали ногу на скачках.

— Как звали кавалериста? — спросил С.Д. — Альберт?

— Нет. Месье.

— Он хочет сбить нас с толку, мисс Мэри, — сказал С.Д.

Они вернулись к разговору о Лондоне. И я тоже стал думать о Лондоне, и город больше не казался мне неприятным, разве что уж очень шумным и необычным. Я понял, что совершенно не знаю Лондона, и снова стал думать о Париже, но еще обстоятельнее, чем прежде. В действительности же меня, равно как и С.Д., беспокоил лев мисс Мэри, просто мы по-разному старались отвлечься.

Ночью я несколько раз слышал рев льва. Я уже засыпал, когда Муэнди потянул за одеяло на моей

койке.

— Чай, бвана.

Снаружи была кромешная тьма, но кто-то разводил костер. Я разбудил Мэри и предложил ей чаю, но она неважно себя чувствовала. Ее мучили колики.

— Если хочешь, мы все отменим, дорогая.

— Нет. Мне скверно, но, может быть, после чая станет получше.

— Можно промыть желудок. А лев пусть отдохнет еще денек.

— Нет. Я пойду. Попробую взять себя в руки и быть молодцом.

Я вышел, умылся холодной водой из кувшина, промыл глаза борной кислотой, оделся и сел у костра. С.Д. брился возле своей палатки. Потом он оделся и подошел ко мне.

— Мэри совсем худо.

— Бедный ребенок.

— Она все равно хочет идти.

— Понятно.

— Как спалось?

— Хорошо. А тебе?

— Очень хорошо. Что, по-твоему, он делал ночью?

— По-моему, он просто расхаживал взад-вперед

и громко ворчал.

— Он очень разговорчив.

— Да.

Мы стали ждать Мэри. Она вышла из палатки, спустилась по тропинке к отхожему месту, вернулась и тут же снова пошла вниз.

— Как самочувствие, дорогая? — спросил я, когда она подошла к костру с чашкой чая в руке.

— Я совершенно разбита. Есть у нас какое-нибудь лекарство?

— Да. Но после него чувствуешь себя вялым… Ей явно нездоровилось, и я видел, что у нее начался новый приступ.

— Дорогая, подождем еще одно утро, пусть он отдохнет. Так будет даже лучше. Ты успокоишься и подлечишься. С.Д. может остаться с нами еще пару дней.

С.Д. отрицательно помахал рукой. Но Мэри ничего не заметила.

— Это твой лев, и ты не торопись, придешь в норму — тогда пойдем; чем дольше мы не будем его беспокоить, тем он будет увереннее. Сегодня утром нам лучше остаться в лагере…

Я подошел к машине и сказал, что все отменяется. Потом я нашел Кэйти, он сидел у костра. Похоже, он все понимал и был очень тактичен

и вежлив.

— Мемсаиб заболела.

— Я знаю.

— Наверное, спагетти. А может быть, дизентерия?

— Нет, — сказал Кэйти. — Скорее, спагетти.

Чуть позже, когда лев по нашим расчетам уже должен был бросить приманку, если только он вообще клюнул на нее, мы с С.Д. отправились в его лендровере осматривать окрестности. Звери привыкли к лендроверу, и мы подумали, что лев, если и заметит нас, едва ли встревожится, как при виде знакомого силуэта охотничьей машины. Много лет назад я обнаружил, может быть ошибочно, что львы близоруки и различают только силуэты. Я проверил свою теорию и впоследствии, до того как Серенгети стал заповедником, на пари фотографировал диких львов с близкого расстояния и окончательно убедился в своей правоте. В ту пору я относился к львам без должного уважения, и Старик всегда находился поблизости на случай, если моя теория подведет. Теперь я знал и уважал львов гораздо больше, но мнения своего не изменил. Впрочем, С.Д. так или иначе хотел ехать на своем лендровере, и моя теория была ни при чем.

Мисс Мэри сказала, что хочет отдохнуть. Я дал ей раствор хлоридита, и она обещала пить больше чая. Я было остался с ней, но она терпеть не могла болеть и, коль скоро это случилось, предпочитала оставаться одна.

— Ты поезжай с С.Д. Пожалуйста. Муэнди присмотрит за мной. Только не спугните льва. Раз уж я заболела, пусть отдохнет немного.

Я обещал, что мы даже не подойдем к приманке. Мы с С.Д. сели в лендровер, а Нгуи со старшим проводником — высоким статным усачом с военной выправкой — устроились сзади. Старший проводник прекрасно знал свое дело и был фанатически предан С.Д. Он так же был предан мисс Мэри, и мне всегда казалось, что он считает меня недостаточно хорошей для нее парой. Ему бы хотелось видеть ее замужем по крайней мере за генерал-губернатором. Когда проводник и Нгуи были вместе, Нгуи обычно держался довольно резко.

За ночь трава стала вдвое выше. Стояло прекрасное утро, прохладное, ясное и почти без ветра. Трава была трех видов, один из которых, похожий на сорняк, рос быстрее других. Охотничий сезон был в самом разгаре, и повсюду, как в парке, виднелись следы колес.

Оказавшись почти напротив того места, где лежала приманка, мы заметили справа следы крупного льва; они пересекали колею и вели к лесу, который начинался слева, за высохшим полем. Следы были свежие, даже не покрытые росой. Похожая на сорняк трава была примята, и на сломанных стеблях виднелся свежий сок. В высокой траве на уровне лопаток льва роса облетела и остались сухие места.

— Как давно?

— Час, — сказал Нгуи. — Немного больше.

Он взглянул на старшего проводника, и тот кивнул.

— Очень свежие, — сказал он по-английски.

— Он оставался там лишний час, С.Д., — сказал я.

— Он почти наш, Папа, — сказал С.Д. — Нам не нужно ехать к приманке. Там пусто. Сегодня вечером мы подбросим ему что-нибудь в другом месте.

— Хорошо, Мэри не знает, что он прошел здесь среди бела дня.

— Это очень хорошо, — сказал С.Д. — Теперь мы переиграли его.

— Еще пару дней…

— Ты говорил, вы одолеете его сами.

— Придется — так одолеем.

— Не злись. Ведь ты хотел бы, чтобы я был с вами?

— Что зря говорить.

— Что ж, давай рассуждать здраво. Допустим, мисс Мэри попадет в него, но он к вам не выйдет. Если он выйдет, я допускаю, что ты убьешь его, но тебе надо думать о жене, а она должна стоять на месте, потому что стоит ей побежать, и он бросится вслед. Все это прекрасно. Ты, как подобает герою, уложишь его прямо у своих ног. Или он прихватит тебя за одно место и нарушит все твои планы. Кажется, так говорят американцы.

— Совершенно верно. Только теперь они говорят «и ты будешь по уши в дерьме».

— Я непременно запишу это.

— Бесполезно. В следующий раз, когда тебе достанутся американцы, они выдадут что-нибудь другое. Специальные люди выдумывают подобные выражения. Их называют темачами.

— О'кей, — сказал С.Д. — Ты мой темач. И вот ты по уши в дерьме.

— Спасибо.

— Я не философ. Я стратег.

— Черта с два. Ты эмоциональный, мгновенно принимающий решения тип, который и жив-то

только потому, что стреляет в два раза быстрее, чем Уайет Эрп и Док Холлидей вместе взятые.

Лендровер остановился в тени зеленых и желтых деревьев с длинными раскидистыми ветвями, впереди лежали серые, растрескавшиеся от солнца грязевые отмели, за которыми начиналось зеленое папирусное болото и еще дальше — зелено-бурые холмы.

— Ладно, — сказал С.Д. — Ничего нового я не услышал. Итак, я стреляю быстрее тебя. Рад, что ты признаешь это. Зато ты у нас бесцеремонная, старомодная, почти героическая личность, человек, который косит львов почище лучников под Креси.[71] Но предположим, мисс Мэри ранила льва, а он оказался чуть умнее и, вместо того чтобы выйти, укрылся в чаще леса, и тебе придется отправиться по следу и выковыривать его оттуда, а все твои чудо-выстрелы лишь поднимут пыль под его пятками.

— Тогда ты знаешь, что мне остается.

— И тебе это по душе?

— Нет, даже если ты будешь со мной.

---

[71] Примечания: 71

Креси-ан-Понтье — населенный пункт в северо-восточной Франции, в районе которого во время Столетней войны 1337–1453 гг. 26 августа 1346 г. английские войска разгромили французскую армию. Особо отличились английские лучники.

— Но нам иногда приходится это делать.

— Я пойду за ним с зарядом картечи, а ты встанешь там, где он скорее всего может появиться, и Арап Маина напротив, и мисс Мэри, хочет она того или нет, — на крыше грузовика. Нгуи пойдет со мной и выследит его, если только успеет.

— Ну и как тебе это нравится?

— Годится.

— Что, если все начнется за полчаса до наступления темноты?

— Может быть, хватит каркать?

— Ладно, — сказал С.Д. — Я просто позволил себе порассуждать.

— Надо помочь ему стать самоуверенным, и тогда он выйдет в любое время.

— Ничего не имею против. Как по-твоему, мы заслужили пива?

— Пива? Неужели прихватил?!

Я попросил у Нгуи бутылку. Она была завернута в мокрую тряпку и сохранила прохладу ночи, и мы сидели в лендровере в тени деревьев, пили пиво и смотрели на высохшую серую низину, черные силуэты гну и стадо серо-белых на этом фоне зебр, которые торопливо пересекали низину в направлении поросших травой подножий холмов Чиулус. В то утро холмы были темно-синего цве-

та и казались очень далекими. А позади, почти сразу за нашим лагерем, возвышалась огромная гора с тяжелой, ослепительно сверкающей на солнце снежной шапкой.

— Мисс Мэри может охотиться на ходулях, — сказал я. — Тогда она легко увидит его в высокой траве.

— Что ж, правилами охоты это не запрещается.

— Или Чаро мог бы нести стремянку, вроде тех, что стоят в библиотеках.

— Прекрасная мысль, — сказал С.Д. — Мы бы подбили верхнюю ступеньку подушечкой, и она смогла бы сидеть на ней с винтовкой и отдыхать.

— Ты думаешь, это сооружение будет достаточно мобильным?

— Чаро позаботится об этом.

— Роскошное зрелище, — сказал я, — еще бы приспособить там электровентилятор.

— Всю конструкцию можно выполнить в форме электрического вентилятора, — засмеялся С.Д. — Но тогда получится транспортное средство, а это уже незаконно.

— А если катить эту штуковину так, чтобы мисс Мэри бегала в ней, как белка в колесе, будет законно?

— Все, что катится, относится к транспортным средствам, — рассудил С.Д.

— Я тоже хожу покачиваясь.

— Значит, и ты — транспортное средство. Я арестую тебя и посажу месяцев на шесть, а потом вышлю из колонии.

— Нужно быть осторожным, С.Д.

— Скромность и осторожность — наш девиз, не так ли? Есть еще что-нибудь в этой бутылке?

— Поделим осадок.

— Пара любителей осадка в голубом просторе.

— Холмы Чилис голубые.

Они и на самом деле были очень голубыми и очень красивыми.

— Чиулус, — поправил С.Д. — Что это за «непокоренная голубая даль», о которой поют ваши летчики?

— Это о Вызове, который природа бросает Человеку.

— Я знаю одну красавицу стюардессу, так вот она-настоящий Вызов Человеку.

— Очень может быть, что про нее они и поют.

Когда мы вернулись в лагерь, Мэри чувствовала себя гораздо лучше. Правда, она ослабла и ей все еще нездоровилось, и вполне естественно, что настроение У нее было скверное. В Африке

она почти всегда была в прекрасном расположении духа, и мы не ссорились с тех самых пор, когда стояли лагерем под огромным фиговым деревом недалеко от Магади, и я, включив на полную громкость коротковолновый приемник, уснул под репортаж с чемпионата по бейсболу. Что и говорить, это могло вызвать раздражение, особенно если учесть, что надо было хорошенько выспаться и отдохнуть, потому что на рассвете нам предстояло охотиться на льва, которого Мэри начала выслеживать уже тогда, а вместо этого я преспокойно спал с включенным радио, а Мэри всю ночь ворочалась. Кто-то (конечно же, я) сломал антенну. Злые, мы отправились на свидание, на которое лев почему-то не явился. Пару недель спустя я все-таки узнал результат чемпионата. На сей раз я вытащил свою раскладушку из палатки и спал на улице. Это было славно. Но Мэри заметила совершенно справедливо, что я бросил ее на милость любого случайно забредшего зверюги. В конце концов мы сошлись на том, что поставили раскладушку снаружи, но поперек входа, так, чтоб звери могли войти только через меня…

На этот раз Мэри сердилась на меня, и я знал — ничто не поможет мне замолить все грехи, которые я, должно быть, совершил за свою жизнь.

В таких случаях оставалось только не замечать или делать вид, что не замечаешь ее настроения, и тогда спустя некоторое время, тебя, может быть, вновь сочтут достойным членом рода человеческого. Правда, не следует слишком обольщаться, потому что тебя еще могут обвинить во всех зверствах, совершенных по отношению к предыдущей жене Некоторым образом эти преступления (по правде говоря, я на их счет придерживался несколько иного мнения, но мисс Мэри располагала достоверной информацией, полученной непосредственно от бывшей супруги) можно было считать если не искупленными покаянием, то, во всяком случае, прощенными за сроком давности. Но не тут-то было. Они были свежи как новости, полученные с утренней почтой, если здесь могла быть утренняя почта. Зверства эти не блекли и не тускнели, подобно ужасам Первой мировой войны, и независимо от того, сколько раз ты был осужден и наказан за них, всегда оставались свежими в памяти, как первая штыковая атака бельгийских новобранцев.

Итак, это был один из дней, когда я слышал только: «Ты не отдашь мне эту книгу? Я ее читаю».

Или: «Разве ты не знаешь, что в лагере совер-

шенно нет мяса? А все из-за твоего безразличия и беспомощности. Все уже жалуются на твое легкомыслие. Мы ведь можем позволить себе иметь немного мяса для боев, не так ли, С.Д.?»

Или: «Ты взял маленькие конверты из ящика? А?»

Все это сопровождалось демонстрацией усердия и очевидного трудолюбия, чтобы показать, что в лагере есть еще деловой человек, способный серьезно, а не спустя рукава относиться к своим обязанностям. Затем начинались частые походы в зеленую палатку, установленную, что правда, то правда, без учета возможности возникновения дизентерии, вдалеке, потому что ближе не нашлось тени или укрытия, если не считать нескольких деревьев, под которыми расположился лагерь. Я страшно переживал болезнь Мэри и не обижался на ее плохое настроение, но ничего не мог поделать. Лучше всего было убраться с ее глаз, но в полдень в Африке негде спрятаться, кроме как в тени, и я уселся на стул в обеденной палатке с откидным полотнищем. Ветерок продувал палатку насквозь, и здесь было прохладно и уютно. Хорошо бы подняться по дороге вверх, по склону горы, в Лойтокиток, посидеть в задней комнате закусочной и бара мистера Сингха, по-

читать и послушать, как гудит лесопилка. Но это уже расценивалось бы как дезертирство.

Потом наконец состоялся один из тех ленчей, когда хозяйка одновременно жертвенно величава и мила с гостями, а мужу впору есть на кухне. Тень моих прошлых, настоящих и будущих грехов зловеще лежала на столе, и даже кетчуп и сыр с горчицей не могли поправить положения. Мои подлинные грехи доставили мне в свое время немало удовольствия; те, что действительно на мне, а не те, в которых меня обвиняли, и я никогда не стал бы сокрушаться о содеянном, потому что мог бы совершить их заново. Я не каялся в своих грехах публично, и сегодня они меня не очень-то беспокоили. Я знал, что мы хорошо подготовили льва для мисс Мэри и что, когда спадет жара, я должен буду добыть и разделать мясо и подстрелить приманку. С.Д. должен писать свой месячный отчет. А Мэри поможет его отпечатать.

Состояние Мэри начинало беспокоить нас. Мы с С.Д. считали, что у нее, помимо дизентерии, было отравление птомаином.

Я подошел узнать, как она себя чувствует, и Мэри спросила, не привезли ли мы продукты для лагеря. Привезли, ответил я, и рассказал, что

именно.

— Ты хорошо стрелял?

— Средне.

— Ты можешь восторгаться своей пальбой, если хочешь.

— Я всего-навсего набил немного мяса для лагеря.

— Зачем тогда так много говорить об этом? Неужели все не были восхищены, удивлены и потрясены твоими великолепными выстрелами?

— Они промолчали. Арап Маина поцеловал меня.

— Должно быть, ты напоил его?

— Не было нужды. Он сам нашел фляжку.

— Ты, наверное, тоже пьян?

— Нет. Решительно нет.

— С.Д. еще не принес печатать свой отчет.

— Еще один сукин сын, — сказал я. — Лагерь просто кишит ими. У тебя температура?

— Нет. Только сильные колики и ужасное недомогание.

— Как ты думаешь, ты сможешь пойти завтра?

— Я пойду, как бы я себя ни чувствовала.

Я пошел к С.Д. Он сидел под откидным полотнищем своей палатки и писал отчет. У нас был уговор о ненарушении уединения, и я решил

уйти.

— Постой, — сказал С.Д. — Чего ради мы торчим в лагере?

— Лично я стараюсь подбодрить мисс Мэри. Но похоже, ей это не нужно.

— Бедная девочка.

— Завтра она подстрелит шельмеца.

— Она все-таки собирается пойти утром?

— Да, при всех регалиях.

— Здорово, — сказал С.Д. — Очаровательная мисс Мэри.

И на следующий день мисс Мэри убила своего льва.

В день, когда Мэри убила своего льва, была прекрасная погода. Правда, кроме погоды, ничего прекрасного в нем не было. Ночью распустились белые цветы, и на рассвете, когда солнце еще не поднялось, казалось, будто на покрытые первым снегом луга через туман пробивается нежный лунный свет. Мэри проснулась и собралась задолго до восхода солнца. Правый рукав ее охотничьей куртки был закатан, и она тщательно проверила все патроны в своем манлихере. Она сказала, что чувствует себя неважно, и это была правда. Она сдержанно ответила на наши приветствия, и мы с С.Д. старались не шутить. Я

не знал, что она имела против С.Д., быть может, ей не нравилась его беспечность перед лицом несомненно серьезной опасности. То, что она сердилась на меня, было вполне оправданно. Если у Мэри плохое настроение, думал я, и она чувствует себя скверно, она будет стрелять с той беспощадностью, на какую редко бывает способна. Некоторые люди стреляют легко и непринужденно, другие стреляют с невероятной быстротой, но при этом владеют собой настолько, что их выстрелы точны, как первый надрез опытного хирурга; третьи стреляют автоматически и наверняка, если только что-нибудь не помешает выстрелу. Казалось, этим утром мисс Мэри будет стрелять с мрачной решимостью, презрением ко всем, кто не относится к делу с должной серьезностью, под защитой своего плохого самочувствия, на которое всегда можно сослаться, если промахнешься, преисполненная непреклонного стремления победить или погибнуть. Это был новый подход. И он мне нравился.

Торжественные и мрачные, мы собрались возле охотничьей машины и ждали, пока рассветет настолько, чтобы можно было ехать. В такую рань Нгуи, как правило, пребывал в зловещем расположении духа, так что он был торжествен,

мрачен и угрюм. Чаро тоже был торжествен и мрачен, но не унывал. Он походил на человека, который собирается на похороны, но не очень-то сокрушается об усопшем. Матока, как всегда, был весел и с нетерпением вглядывался в отступающую темноту.

Все мы были охотниками, и нам предстояло великолепное дело — охота. Об охоте написано множество всякой мистической чепухи, но она, возможно, значительно древнее самой религии. Одни рождаются охотниками, другие нет. Мисс Мэри была охотником, и при этом храбрым и очаровательным, но она занялась охотой слишком поздно, и многие вещи явились для нее откровением.

Все мы были свидетелями происходивших в Мэри перемен. В течение нескольких месяцев мы, подобно квадрильям начинающего матадора, следили, как она настойчиво и серьезно овладевала новой наукой. Если матадор был серьезен, то и квадрильи относились ко всему очень серьезно. Они знали все слабые стороны матадора, и усердие их так или иначе вознаграждалось. Не раз теряли они веру в своего матадора и обретали ее вновь. И вот теперь, сидя в машине, я с нетерпением ожидал наступления рассвета, и

все это напоминало мне начало корриды.

Наш матадор был торжествен, состояние это передалось и нам, потому что мы по-настоящему любили его. Наш матадор был нездоров. И мы обязаны были во всем его поддерживать. Но пока мы сидели и ждали, чувствуя, как проходит сонливость, мы были счастливы, как могут быть счастливы только истинные охотники в ожидании нового, полного неожиданностей дня. Именно таким охотником и была Мэри. Подготовленная, обученная и воспитанная на чистых, добродетельных принципах Старика, передавшего ей, своей последней ученице, основы охотничьей этики, которые он безуспешно старался вложить в других женщин, Мэри твердо знала, что охота на льва — это не просто убийство. Старик в конце концов открыл в хрупком женском теле Мэри дух боевого петуха, дух верного, но поздно пробудившегося охотника, у которого был только один недостаток: никто не мог предсказать, куда полетит ее пуля. Теперь она овладела этикой охотника, но рядом были только я и С.Д., и ни одному из нас она не доверяла так, как Старику.

Итак, сегодня был день ее корриды, которая уже столько раз откладывалась.

Когда стало достаточно светло, Матока кивнул мне и мы медленно тронулись в путь по усыпанным белыми цветами лугам. Возле самого леса, слева от которого начиналось поле с высокой высохшей травой, Матока бесшумно остановил машину. Он молча повернулся к нам, и я увидел у него на щеке прямой как стрела шрам и несколько рубцов. Я проследил за его взглядом. Прямо на нас шел огромный лев, его громадная черногривая голова, казалось, плыла по неподвижному желтому полю.

— Что, если мы тихонечко повернем в лагерь? — шепнул я С.Д.

— Согласен, — прошептал он в ответ.

Пока мы говорили, лев повернул назад и двинулся к лесу. Видно было лишь, как колышется высокая трава.

Только в лагере, уже после завтрака, Мэри поняла нас и согласилась, что мы поступили правильно. И все-таки коррида вновь была отложена, а она так долго и с таким нетерпением ждала ее начала, что не смогла пересилить своего предвзятого отношения к нам. Меня очень огорчало ее плохое самочувствие, и я хотел бы, чтобы она отвлеклась, если может. Но никакие разговоры об ошибке, которую наконец совершил лев, не по-

могали. Ни я, ни С.Д. не сомневались, что теперь ему от нас не уйти. Он ничего не ел всю ночь и лишь утром отправился искать приманку. Сейчас он снова вернулся в лес. Целый день он пролежит голодный в своем укрытии, а рано вечером, если только его ничто не вспугнет, вновь выйдет на поиски пищи. По нашим расчетам он должен повести себя именно так. В противном случае на следующий день С.Д. во что бы то ни стало уедет и нам с Мэри придется обходиться своими силами. Но лев неожиданно изменил тактику и допустил серьезную ошибку, и теперь я был уверен в успехе. Возможно, я был бы не против устроить засаду вдвоем с Мэри, но мне нравилось охотиться с С.Д., и к тому же я опасался, что, останься мы одни — какая-нибудь нелепая случайность может привести к трагедии. С.Д. очень правдоподобно нарисовал мне эту картину. Я льстил себя надеждой, что Мэри непременно уложит льва с первого выстрела, и он опрокинется в прыжке, рухнет замертво и застынет, как застывают только подкошенные пулей львы. А в крайнем случае, если он попытается подняться, я прикончу его двумя выстрелами, и амба. Мисс Мэри наконец убьет своего льва и будет счастлива, а я лишь чуть-чуть помогу ей, и, зная это, она навеки проникнется

ко мне беспредельной любовью, и да будет так.

Арап Маина со старшим проводником отправились на разведку. Я хотел было пойти с С.Д., но смышленый лев мог уловить запах двух белых людей и заподозрить неладное. Некоторые утверждают, что у львов отсутствует обоняние, но, по-моему, они ошибаются. Мы остались в лагере, обсудили свои планы, побалагурили и разошлись. С.Д. принялся за отчет, а я пошел к мисс Мэри, но ей по-прежнему нездоровилось, и она не нуждалась ни в чьем обществе. Я обошел лагерь и возле палаток со снаряжением увидел Кэйти и повара. Мы поболтали немного. Ночью Кэйти слышал, как со стороны леса доносился рев нашего льва. Он также слышал рев других львов, охотившихся к северу от лагеря, как ему казалось, в районе солончаков. Кэйти не сомневался, что огромный лев теперь в наших руках, и я сказал, что мое виски того же мнения и мисс Мэри непременно подстрелит льва, если не в полдень, то вечером. Он улыбнулся и промолчал. А потом сказал: «М'узури».

Все, кто рано встал, легли поспать, а я устроился в обеденной палатке и стал читать книгу об одном человеке, который в свое время героически командовал подводной лодкой, был страшно ве-

зучим, а под конец очень непокорным и написал эту полную ложной скромности и горечи книгу. В тот год вышло много книг о беглецах, альпинистах, водолазах, бывших летчиках, подводниках всех национальностей, искателях приключений в Африке, людях «Мау-мау» и одна необычайно хорошая книга полковника Линдберга,[72] читая которую можно было ясно представить себе Линдберга-человека и вместе с ним совершить опасный, удивительный и интересный перелет через Атлантику. Было также множество историй о тех, кто побывал в японском плену, правдивые и невероятные рассказы о слонах и о тех, кто на них охотился. В общем, что касается книг, то год был урожайный. Художественная литература в основном была никудышной, если не считать книг о тошнотворных личностях, страдавших сердечными приступами или задержанных английской полицией, да еще профессорах и преподавателях американских университетов, которые добивались или не добивались осуществления своих идеалов, а в конце пути все оказывались сломленными какими-то комиссиями. Чеймберс выплескивал свои помои, человек

[72] Примечания: 72

Линдберг Чарлз — американский авиатор, в 1927 г. впервые совершил перелет через Атлантику.

по имени Маккарти собирал сторонников и подвергался критике, некий Лорд выступил не то за, не то против некоего Хисса...[73] Трудно было разобраться во всем этом. Но нам, читателям, не было дела до этих хиссов, маккарти и чеймберсов. Особенно здесь, в Африке.

Как раз в этот момент новенький лендровер, более крупная и скоростная модель, какой мы до сих пор не видели, пересек поле белых цветов, которое всего месяц назад было полем пыли, а неделю назад полем грязи, и въехал в расположение лагеря. За рулем сидел краснолицый, среднего роста человек, одетый в выгоревшую, цвета хаки форму кенийской полиции. Он весь был покрыт дорожной пылью, и только в уголках глаз виднелись белые, оставленные улыбкой морщинки.

Он вошел в обеденную палатку, снял фуражку и спросил:

— Есть кто-нибудь дома?

Через открытую, завешанную миткалью стенку

---

[73] Примечания: 73

Хисс Элджер — американский дипломат. В 1948 г. бывший член Компартии США, ренегат Уиттекер Чеймберс выступил на заседании Комитета по расследованию антиамериканской деятельности и обвинил Хисса в принадлежности к «красной» шпионской организации. В 1951 г. Э. Хисс был заключен в тюрьму. Делом Хисса, в частности, воспользовался для развертывания свое-то крестового похода на инакомыслящих и пресловутый сенатор Джозеф Маккарти.

палатки, обращенную к горе, я видел, как подъехал автомобиль.

— Все дома, — сказал я. — Как поживаете, мистер Гарри?

— Я в полном порядке.

— Садитесь, я приготовлю вам что-нибудь выпить. Вы ведь сможете остаться на ночь?

Гарри Стил был застенчив, утомлен работой, добр и неумолим. Он любил и понимал африканцев, и ему платили за то, что он насаждал закон и выполнял приказы. Он был столь же обходителен, сколь и суров, и его также нельзя было назвать мстительным, злопамятным, недалеким или сентиментальным. Он не держал ни на кого зла даже в этой кишащей злом стране, и я не помню, чтобы он когда-либо показал себя мелочным человеком. Он следил за соблюдением закона в условиях коррупции, ненавистничества, садизма и глубокой истерии; он постоянно работал на износ и никогда не стремился к продвижению по службе, так как знал, что он нужнее на своем месте. Мисс Мэри однажды назвала его передвижным человеком-крепостью.

Сегодня он выглядел как уставшая крепость, и я вспомнил о нашей первой встрече, когда он был для меня всего лишь безликим человеком,

сидевшим за рулем автомобиля, который не ответил на оклик после наступления комендантского часа, и С.Д. приказал мне: «Стреляй в того, что за рулем». Я взял его на мушку, но на всякий случай окликнул еще раз, и это оказался Гарри Стил с тремя «Мау-мау», перешедшими на сторону властей. Он не обиделся на нас и даже похвалил С.Д. за расторопность. Но он был единственным из всех, в кого я чуть было не выстрелил с расстояния в двенадцать ярдов и кто воспринял это совершенно спокойно.

Я знал, что на прошлой неделе он потерял своего сержанта, к которому относился так же, как я к Нгуи; сержанта искалечили, а потом разрубили на куски. Мы не вспоминали об этом, и вовсе не потому, что так требовали правила хорошего тона или мы боялись пасть духом, просто не стоило говорить о смерти тех, кого любим и кто нам по-настоящему дорог. Если бы он хотел поделиться с нами, то заговорил бы об этом сам…

— Хорошо проводите время?

— Очень.

— Я кое-что слышал. Что за история с леопардом, которого вам пришлось подстрелить накануне Рождества?

— Это для фоторепортажа в журнале «Лук».

Мы снимали для него в сентябре. С нами был фоторепортер, и он сделал уйму снимков, а я написал к ним подписи и небольшую статью. Они поместили роскошную фотографию леопарда. Я действительно убил его, только это не моя заслуга.

— Как так?

— Мы охотились на крупного льва, и он оказался крепким орешком. Это было по ту сторону Эуазо Нгиро[74], за Магади[75], под откосом горы.

— Далековато от моего района.

— Мы пытались обложить льва, и мой приятель вместе с ружьеносцем забрался на каменистый холмик посмотреть, не видно ли его поблизости. Лев предназначался Мэри, потому что мы с ним уже убили по одному. Поначалу я ни черта не понял, когда вдруг услышал выстрел, а потом увидел что-то рычащее и барахтающееся в пыли. Это был леопард. Слой пыли оказался таким глубоким, что он был окружен ею, словно облаком. Леопард продолжал рычать, и никто не знал, в каком направлении он выскочит из этого облака Мой приятель, Мейито Менокаль,

---

[74] Примечания: 74
Река в Кении.

[75] Примечания: 75
Город в Кении.

дважды выстрелил в него с холма, я тоже пальнул в крутящийся клубок, нырнул в сторону и встал справа от него, с той стороны, куда должен был бы броситься леопард. Наконец из пыли на какое-то мгновение показалась голова леопарда, продолжающего яростно рычать. Я выстрелил ему в шею, и пыль начала оседать. Все это напоминало перестрелку близ салуна, как когда-то на Диком Западе. Только что у леопарда не было винтовки, зато он находился так близко, что мог покалечить любого из нас. Фотограф снял Мейито с леопардом, потом всех нас, потом меня с леопардом. Это был леопард Мейито, потому что именно он попал в него первый и второй раз. Но лучше всех получилась моя фотография, и журнал хотел ее напечатать, а я сказал нет, разве что я сам, один, убью стоящего леопарда. И до сих пор я трижды терпел неудачу.

— Я и не знал, что правила охоты так строги.

— К сожалению, так. Это тоже закон. Сначала кровь и длительная погоня.

— Неудивительно, что я не совсем понимаю вас с С.Д.

— Было бы странно, если бы вы понимали, Гарри. Попробуйте как-нибудь спросить С.Д., понимает ли он сам себя.

— А разве вы его не понимаете?

— Черта с два. Его моральные принципы слишком сложны для меня.

— Бог мой, у всех есть свои бзики, — сказал Гарри. — Но вы писатель. Писатели должны все понимать. Так сказано в словаре.

— Африка — это загадка, Гарри.

— Вы знаете, — сказал он, — мне это тоже приходило в голову. Возможно, я бы и сам додумался до этого. Но как хорошо, что вы так толково все объяснили.

Я частенько предчувствую события, которые никогда не происходят. Но мне и в голову не приходило, что день этот будет еще хуже, чем обещал. Арап Маина и старший проводник сообщили, что выше по источнику, возле самой отмели, охотились две львицы и молодой лев. Наша приманка осталась нетронутой, если не считать следов, оставленных гиенами, и разведчики тщательно замаскировали ее. На деревьях вокруг приманки сидели грифы, и они обязательно привлекут льва, но птицы не могли добраться до останков зебры, которые были спрятаны так, чтобы лев смог их учуять. Он не ел и не охотился ночью, и, поскольку он голоден и его никто не вспугнул, вечером мы почти наверняка застанем

его на открытом месте. Все шло нормально, и мое предчувствие исходило от чего-то другого.

— Как ты себя чувствуешь, дорогая? — спросил я Мэри.

— Мне очень жаль, мой мальчик, — сказала она. — Я посижу с вами за ленчем, но мне действительно плохо.

— Сегодня прекрасный день, и лев наверняка должен выйти из укрытия.

— Я знаю. Это-то и плохо. Чувствую себя ужасно. Я так больше не могу. Вокруг такие красивые цветы, и гора великолепна, а мне так скверно…

Мы пообедали, и Мэри была весела и добра к нам. Если не ошибаюсь, она даже спросила меня, не положить ли мне еще холодного мяса. А когда я сказал: «Спасибо, я съел достаточно», заметила, что мне это будет только на пользу и что всем, кто пьет, нужно как следует есть. Это была не просто старейшая из истин, а идея, которую мы все почерпнули из статьи в «Ридерс дайджест». Этот номер «Дайджеста» к тому времени уже покоился в зеленой палатке. Я ответил, что намерен баллотироваться на выборах, выдвинув пьянство в качестве предвыборной платформы, и не хочу подводить своих избирателей. Черчилль, если верить рассказам, пил в два раза больше

меня и только что получил Нобелевскую премию по литературе. Я всего-навсего хотел добрать до разумного уровня, тогда и я мог бы надеяться на получение премии: чем черт не шутит.

С.Д. сказал, что я вполне достоин премии и должен получить ее уже за одно хвастовство, поскольку Черчилль был награжден, по крайней мере частично, за свое красноречие. Гарри сказал, что он не очень внимательно следил за присуждением премий, но, по его мнению, мне следовала премия за мою работу в области религии и за заботу о туземцах. Мисс Мэри предположила, что если бы я еще и писал что-либо хотя бы изредка, то, может быть, получил бы ее даже и за литературное произведение. Слова ее глубоко тронули меня, и я обещал, как только она убьет своего льва, бросить все и начать писать хотя бы для того, чтобы доставить ей удовольствие. Гарри поинтересовался, не собираюсь ли я писать о загадочности Африки на языке суахили, и предложил достать мне книгу о диалектах, которая окажет мне неоценимую помощь. Мисс Мэри сказала, что у нас уже есть эта книга, но все-таки лучше, если я попробую писать на английском. Я предложил переписать некоторые параграфы из книги для приобретения навыка

свободного письма с использованием диалектов суахили. Мисс Мэри заметила, что я не смогу без ошибок не только написать, но и произнести ни одной фразы на суахили, и, как это ни печально, я вынужден был с ней согласиться.

— Старик, С.Д. и Гарри прекрасно говорят на суахили, а ты позоришь нас. Не понимаю, как можно так плохо говорить на каком бы то ни было языке.

Я хотел возразить, что много лет назад я чуть было не научился говорить на суахили вполне прилично, но сделал глупость и, вместо того чтобы остаться в Африке, уехал в Америку, где всячески старался заглушить свою ностальгию. А когда я наконец собрался вернуться, началась война в Испании, и, хорошо это или плохо, я оказался вовлеченным в гущу происходивших в мире событий и сумел освободиться лишь теперь. Вырваться оказалось не так-то просто, так же как не просто было разорвать цепи обязательств, которые плетутся легко и незаметно, как паутина, но держат покрепче стальных канатов…

Сейчас они веселились и шутили, подтрунивая друг над другом, и я тоже попробовал было пошутить, но очень сдержанно и кающимся тоном, в надежде вновь завоевать расположение мисс

Мэри и подбодрить ее на случай, если лев все же объявится. Я пил сухой балмеровский сидр, который, как выяснилось, оказался прекрасным напитком, и С.Д. успел пополнить его запасы в магазинах Кайадо. Напиток был очень легким и освежающим и никак не сказывался на реакции, столь необходимой на охоте.

Двоюродный брат Мэри, очень приятный человек, подарил нам две квадратные, обтянутые мешковиной подушечки, набитые хвоей. Ложась спать, я всегда подкладывал эту подушку под голову. Запах хвои напоминал мне о Мичигане, где я провел свое детство, и мне бы очень хотелось иметь корзину с душистой травой, чтобы ночью ставить ее себе в кровать под москитную сетку. Вкус сидра также напоминал мне о Мичигане, и я вспоминал яблочный пресс и дверь, запиравшуюся только на крючок, и деревянную задвижку, и запах мешков из-под яблок, когда их раскладывали для просушки после пресса, а потом накрывали ими глубокие бочки, на которых мужчины, привозившие яблоки, оставляли причитающиеся за отжим деньги. За плотиной яблочного пресса был глубокий пруд, и в нем, если набраться терпения, всегда можно было поймать форель. Поймав рыбину, я убивал ее,

прятал в большую плетеную корзину, стоявшую в тени, сверху наваливал слой листьев папоротника, а потом шел к прессу, снимал с гвоздя на стене оловянную кружку и, приподняв с одной из бочек тяжелые мешки, зачерпывал полную кружку сидра и выпивал ее. И вот теперь сидр да еще эти подушки напомнили мне Мичиган…

Сидя за столом, я радовался, что Мэри стало получше, и надеялся, что лев еще до наступления сумерек выйдет из укрытия и Мэри убьет его и будет счастлива. И еще я надеялся заполучить в ближайшее время леопарда, и тогда мы все сможем расслабиться и развлечься, а уж мы-то знали, как это делать. Вот только покончим со львом мисс Мэри… Я знал по крайней мере о трех леопардах в этом районе, и очень может быть, что их здесь еще больше, и если я буду охотиться с умом, то непременно выслежу хотя бы одного, а если нет, то придется вернуться к фиговому дереву, месту нашей прежней стоянки, где точно обитал леопард, считавший себя властелином округи. Я собирался отправиться туда вместе с Нгуи и, возможно, прихватить одного из ружьеносцев Старика. Нам не потребуется разбивать лагерь, просто будем охотиться, пока не выследим его. Если бы я мог задержаться там еще на денек, я

обязательно убил бы леопарда. Но в Африке не существует «если…».

Ленч закончился. Настроение у всех было прекрасное, и мы решили вздремнуть, и я пообещал разбудить Мэри, когда настанет время отправиться на свидание со львом.

Мэри заснула сразу же, как только легла. Задняя стенка палатки была откинута, и с горы через палатку дул приятный прохладный бриз. Обычно мы спали лицом к открытому входу, но я переложил подушки на другую сторону, чтобы свет падал сзади, скинул ботинки и брюки и, подложив под голову набитую хвоей подушечку, улегся читать. Я читал очень хорошую книгу Джералда Хэнли.[76] В этой книге рассказывалось про льва, который доставил много неприятностей и поубивал практически всех персонажей. С.Д. и я по утрам, сидя в зеленой палатке, черпали из этой книга вдохновение. Там осталось, правда, еще несколько чудом не убитых львом героев, но и их ожидал не самый веселый поворот судьбы, так что мы не беспокоились. Хэнли прекрасно писал, и книга получилась великолепная и очень вдохновляющая, особенно если читать ее

[76] Примечания: 76

Хэнли Джералд (р. 1916) — английский писатель, автор книги «Год льва» (1953).

во время охоты на львов. Мне случалось видеть льва, несшегося с невероятной быстротой, и надо сказать, я до сих пор нахожусь под впечатлением этого зрелища. И в тот день я старался читать эту книгу как можно медленнее, уж больно хороша она была, и мне не хотелось расставаться с ней. Я все еще надеялся, что лев убьет главного героя или Старого майора, уж слишком благородными и благовоспитанными людьми они были, а я так привязался ко льву, и мне очень хотелось, чтобы он убил кого-нибудь из этих представителей высшего света. Впрочем, лев вполне успешно справлялся со своими обязанностями и только-только убил очередного весьма симпатичного и важного персонажа, и тогда я решил продлить удовольствие, отложил книгу, натянул брюки, надел, не зашнуровывая, ботинки и пошел взглянуть, не проснулся ли С.Д. У входа в его палатку я кашлянул, как обычно кашлял возле обеденной палатки наш разведчик.

— Входите, генерал, — сказал С.Д.

— Нет, — сказал я. — Дом человека — его крепость. Ты созрел для встречи с дикими зверями?

— Слишком рано. Мэри спала?

— Она еще спит. Что читаешь?

— Линдберга. Дьявольски интересно. А ты?

— «Год льва». Страшно переживаю за него.

— Скоро месяц, как ты читаешь эту книгу.

— Полтора месяца.

Поболтав с С.Д., я отправился проведать Мэри.

— Хочешь поехать с нами, малышка? Мы собираемся проехаться в новом большом лендровере Гарри и посмотреть, как дела.

— Мне нездоровится.

— Ладно. Мы будем осторожны, чтобы не вспугнуть его, и, если он покажется, вернемся за тобой.

— Я никуда не гожусь, — сказала она. — Мне так скверно.

— Постарайся отдохнуть и не принимай все так близко к сердцу.

— Как я могу спокойно отдыхать, когда мой лев вот-вот выйдет из укрытия, а меня там не будет!

— Мы вернемся за тобой, если он выйдет.

— А он тем временем скроется в лесу.

Новый лендровер стоял в тени дерева, и С.Д. с Гарри уже ждали меня. Я сел вместе с ними на переднем сиденье. С.Д. был за рулем, и мы плавно тронулись через поле белых цветов к посадочной площадке. С.Д. свернул на поросшую цветами колею и вел машину вдоль взлетной полосы по направлению к Килиманджаро, а потом развер-

нулся и поехал назад. Цветы доставали до ступиц колес. Был конец дня, и, когда мы ехали вверх по полосе, гора казалась огромной и белой на фоне темно-зеленых деревьев нашего лагеря. Теперь же мы ехали в сторону заходящего солнца, и гора осталась позади…

С.Д. весь светился от удовольствия, управляя новенькой машиной, и мы на полной скорости съехали с полосы и выскочили на так называемую Великую северную дорогу — наезженную колесами колею, которая шла параллельно лесу и вела через грязевые отмели к источнику и болоту буйволов. Нгуи и старший проводник С.Д. сидели сзади, и все мы внимательно высматривали льва.

— Если он вышел, — сказал я Гарри, — действительно вышел, то нужно искать его там, вон в тех деревьях справа.

Мы поехали очень медленно, в полной тишине, затаив дыхание. Солнце висело слева, прямо над начинавшимися за лесом холмами. Старший проводник наклонился вперед и положил руку на плечо С.Д. Он не проронил ни слова, пристально вглядываясь в заросли, и С.Д. очень осторожно остановил машину.

— Вот он, Гарри, — еле слышно проговорил он.

— Я вижу.

Увидев его, я не поверил своим глазам. Нгуи тоже замер от удивления. Лев лежал на термитнике и смотрел в другую сторону. Это был серый бугор с широкой площадкой наверху, и лев возлежал на ней, словно отлитое изваяние. Термитник находился в тени высокого терновника, и никогда еще лев не казался мне таким огромным и черным. Большая голова его была абсолютно черной, и грива спадала черными космами на спину и темно-серые бока. Я никогда не видел таких львов, разве что на картине и в древнегреческой скульптуре. Как он здесь оказался? Ведь он всегда был таким осторожным и разумным. Почему же он вдруг вот так выставил себя на всеобщее обозрение?

Ветер дул в нашу сторону, и лев не слышал и не видел нас.

С.Д. тихонечко переключил скорость, развернул машину и, как только мы отъехали достаточно далеко, на полном ходу помчался к лагерю.

— Какого дьявола он забрался туда? — спросил я С.Д.

— Он стал уверен в себе. Он наконец-то стал уверен в себе и забрался туда, чтобы посмотреть на свои владения. Это он здесь владыка.

— Чертовски хороший лев, — сказал Гарри. — Теперь я понимаю, почему Мемсаиб так хочется заполучить именно его. Он и правда убивает скот или вы выдумали это, чтобы поддержать ее боевой дух?

— Он убивает скот, — сказал я.

В лагере я бросился поднимать Мэри, а тем временем ружьеносец достал из-под коек ее винтовку в мою двустволку, проверил патроны и побежал к большому лендроверу.

— Он там, малышка, там. И теперь он твой.

— Уже поздно. Почему ты не убил его? Чертовски поздно.

— Не думай ни о чем. Давай побыстрее в машину.

— Я должна надеть ботинки. Я помог ей натянуть ботинки.

— Где моя проклятая шляпа?

— Вот твоя проклятая шляпа. Иди к ближайшему лендроверу, только не беги. Думай лишь о том, как подстрелить его.

— Не давай мне столько советов. Оставь меня в покое.

Мэри, С.Д. и Гарри сели на переднее сиденье, и Гарри повел машину. Нгуи, Чаро, проводник и я устроились сзади. Я проверил патроны в стволе и

магазин винтовки, потом патроны, которые были рассованы по карманам, и счистил охотничьим ножом грязь с глазка прицела. Мэри держала свою винтовку прямо перед собой, и я видел сверкающий черный ствол и прихваченную скотчем опущенную прицельную рамку, ее затылок и ее злополучную шляпу. Солнце стояло прямо над холмами, и мы, миновав поросшее цветами поле, выехали на знакомую, параллельную лесу дорогу. Где-то справа находился наш лев.

Вскоре показался высокий округлый конус термитника, но льва на нем не было. Машина остановилась, и все вышли, только Гарри остался за рулем. Львиные следы вели вправо, в направлении группы деревьев, возвышавшихся над низким кустарником. С той же стороны стояло одинокое дерево, под которым лежала завалена ветками приманка. Льва не было и там. Птицы тоже не добрались до приманки и сидели высоко на деревьях. Я обернулся на солнце: не пройдет и десяти минут, как оно скроется на западе, за далекими холмами. Нгуи забрался на термитник и внимательно огляделся вокруг. Он еле заметным движением руки показал направление и быстро спустился.

— Йуко хапа, — сказал он. — Он там. М'узури

мотокаа.

Мы с С.Д. снова посмотрели на солнце, и он подал Гарри знак рукой, чтобы тот подъехал. Мы сели в машину, и С.Д. объяснил Гарри, как нужно ехать.

— Но где же он? — спросила Мэри.

С.Д. дотронулся до локтя Гарри, и тот остановил машину.

— Машину оставим здесь, — сказал С.Д. Мэри. — Он должен быть в кустарнике под теми деревьями. Папа возьмет на себя левый фланг и не даст ему удрать обратно в лес. Мы с вами пойдем прямо на него.

Когда мы подошли к месту, где укрылся лев, солнце еще стояло над холмами. Нгуи шел следом за мной, а справа от нас, немного впереди, С.Д., Мэри и за ними Чаро. Они шли прямо к деревьям, вокруг которых рос редкий кустарник. Теперь я уже видел льва и продолжал пробираться влево, двигаясь наискосок от него. Солнечные лучи пробивались через кустарник и освещали льва; он казался то огромным и черным, то темно-серым с золотым отливом и внимательно следил за нами. Он следил за нами, а я думал о том, какое неудачное он себе выбрал укрытие. С каждым шагом я все больше и больше отрезал ему путь

к спасению, к лесу, который уже столько раз выручал его. У него не было иного выбора, кроме как броситься на меня или на Мэри и С.Д., если он будет ранен, или попытаться добраться до следующего островка деревьев и густого кустарника, находившегося в четырехстах пятидесяти ярдах к северу. А чтобы сделать это, он должен будет пересечь открытую плоскую равнину. Я решил, что уже достаточно удалился влево, и стал двигаться прямо на льва. Кустарник доставал ему до бедра, и я видел, как его голова повернулась было ко мне и тут же снова качнулась в сторону Мэри и С.Д. Голова была огромная и черная, но, когда он повернул ее, она не показалась мне слишком большой для его туловища. Оно было тяжелое, крупное и длинное. Я не знал, насколько близко С.Д. подведет Мэри ко льву. Я не следил за ними. Я смотрел на льва и ждал выстрела. Я был теперь на достаточном расстоянии, чтобы уложить его, если он кинется в мою сторону, и я не сомневался, что, окажись лев ранен, он бросится именно сюда, так как ближайшее укрытие находилось за моей спиной. «Мэри скоро выстрелит, — думал я. — Она не может подойти ближе». Я взглянул на них краешком глаза, не поднимая головы, стараясь не выпустить льва из виду. Мэри уже хотела стре-

лять, но С.Д. остановил ее. Они стояли на месте, и я решил, что Мэри мешали ветки кустарника. Я следил за львом и видел, как изменилась его окраска, когда солнце коснулось кромки холма. Было еще достаточно светло, чтобы стрелять, но мы знали, что здесь темнеет быстро. Лев сделал еле заметное движение вправо и снова посмотрел на Мэри и С.Д.; на какое-то мгновение я увидел его глаза. Мэри по-прежнему не стреляла. Потом лев сделал еще одно едва уловимое движение, и я услышал винтовку Мэри и сухой жесткий удар пули. Мэри попала в него. Лев метнулся глубже в кустарник и затем выскочил с противоположной стороны в направлении ближайшего островка густой растительности. Мэри продолжала стрелять, и я был уверен: ее пули достигали цели. Лев удалялся длинными прыжками, его большая голова раскачивалась из стороны в сторону. Я выстрелил — и позади него взметнулся ком грязи. Я качнулся в ритме его движения и, поймав льва в прицеле, снова выстрелил, но снова опоздал. Грохнула двустволка, и я увидел поднятые выстрелом фонтанчики грязи. Я выстрелил еще раз, взяв немного вперед, и такой же фонтанчик поднялся впереди льва. Он бежал тяжело делая отчаянные усилия, но с каждым прыжком уда-

лялся все дальше и дальше, и, когда я наконец поймал его в прицеле, он был едва различим и, казалось, вот-вот достигнет укрытия. Я подался немного вперед, целясь чуть повыше головы, и спустил курок — не было никакого фонтанчика, и я увидел, как лев, опустив голову, скользнул вперед, пропахав передними лапами грязь; только потом мы услышали шлепок пули. Нгуи хлопнул меня по спине и обнял. Лев попытался подняться, но С.Д. выстрелил, и он опрокинулся набок.

Я подошел к Мэри и поцеловал ее. Она была счастлива, но что-то смущало ее.

— Ты выстрелил раньше, чем я, — сказала она.

— Зря ты так, малышка. Ты стреляла первой и попала в него. Когда я мог выстрелить, ведь мы все ждали тебя?

— Ндио. Мемсаиб пига, — сказал Чаро. Он все время стоял за спиной Мэри.

— Конечно же, ты попала в него. Оба раза, только первый, наверное, в лапу.

— Но убил его ты.

— Все мы старались не дать ему добраться до зарослей, он же был ранен.

— Но ты стрелял первым. Ты и сам это знаешь.

— Ничего подобного. Спроси С.Д.

Лев лежал далеко от нас, и, по мере того, как

мы приближались, он казался все более крупным и безжизненным. Солнце скрылось, и темнело очень быстро. Во всяком случае, стрелять уже было нельзя. Я чувствовал себя совершенно выжатым и уставшим. Мы с С.Д. были мокрые от пота.

— Конечно же, ты попала в него, Мэри, — сказал ей С.Д. — Папа выстрелил не раньше, чем лев выскочил на открытое место. Ты дважды попала в него.

— Почему ты не дал мне выстрелить, когда он стоял не двигаясь и смотрел на меня?

— Тебе мешали ветки, они могли изменить направление полета пули и ослабить удар. Поэтому я заставил тебя выждать.

— А потом он шевельнулся.

— Все правильно, иначе ты бы не выстрелила.

— Но я действительно попала в него первой?

— Абсолютно точно. Никто не стал бы стрелять в него раньше тебя.

— А ты не обманываешь, чтобы успокоить меня? Чаро уже неоднократно был свидетелем подобных сцен.

— Пига! — сказал он с убежденностью. — Пига, мемсаиб. Пига!

Я легонько шлепнул Нгуи ладонью и взглядом

показал на Чаро.

— Пига, — резко выпалил Нгуи. — Пига, Мемсаиб. Пига мбили.

С.Д. прибавил шагу и пошел рядом со мной.

— Ты-то чего взмок? — спросил я.

— На сколько же выше ты целился, сукин ты сын?

— Фута полтора-два. Я стрелял как из лука.

— Когда пойдем обратно, посчитаем шаги.

— Никто не поверит.

— Мы поверим. И это самое главное.

— Пойди к ней и заставь ее поверить, что она попала в него.

— Она верит боям. Ты перебил ему позвоночник.

— Знаю.

— Слышал, как долго возвращался звук попавшей пули?

— Слышал. Пойди поговори с ней. А вот и Гарри с машиной.

Лендровер остановился за нами. Теперь мы все стояли возле льва, льва мисс Мэри, и она уже не сомневалась в этом и смотрела на него; он был удивительный: длинный, темный и красивый. Тело его облепили верблюжьи мушки, желтые глаза еще не потухли. Я провел рукой по его гу-

стой черной гриве. Гарри вышел из лендровера, подошел к Мэри и пожал ей руку. Мэри опустилась на колено рядом со львом.

— Прекрасный экземпляр, — сказал Гарри. — Никогда не видел такого крупного и такого темного льва.

По равнине со стороны лагеря к нам приближался грузовик. Они услышали выстрелы, и Кэйти с остальными людьми отправился на поиски, оставив в лагере двух сторожей. Они пели песню льва, и, когда они спрыгнули на землю, Мэри уже окончательно перестала сомневаться в том, кто убил льва. Мне не раз случалось видеть убитых львов и праздновать победу. Но ничего подобного я не встречал. Я хотел, чтобы Мэри испытала все до конца Я понял, что она уже успокоилась, и пошел к островку деревьев и густого кустарника, куда так стремился лев. Ему это почти удалось, и я представил себе, как бы оно было, если бы С.Д. и мне пришлось отправиться в заросли, чтобы выманить его оттуда. Пока не стемнело, я хотел посмотреть на все собственными глазами. Ему оставалось всего ярдов шестьдесят, и, когда мы добрались бы сюда, стало бы совсем темно. Я представил себе, что могло произойти, и пошел назад праздновать и фотографироваться. Фары

грузовика и лендровера были направлены на Мэри и льва, и С.Д. снимал их. Нгуи принес мне из лежавшей в лендровере сумки для патронов фляжку «Джинни», я сделал небольшой глоток и отдал фляжку Нгуи. Он тоже сделал глоток, покачал головой и снова передал ее мне.

— Пига, — сказал он, и мы оба засмеялись. Я сделал длинный глоток и почувствовал, как усталость незаметно выходит из меня, подобно змее, оставляющей свою кожу. До той минуты я еще не осознавал по-настоящему, что лев убит. Я чисто механически воспринял это, когда мой невероятный, как из лука, выстрел поразил его и бросил на землю и Нгуи хлопнул меня по спине. Но потом было беспокойство Мэри и ее разочарование, и, пока мы шли ко льву, мы чувствовали себя такими бесстрастными и отрешенными, какими можно быть лишь после окончания атаки. Сейчас, когда вокруг все праздновали и фотографировались (проклятая и неизбежная процедура в такое позднее время, без вспышки, без профессионалов, которые могли бы со знанием дела увековечить на пленке льва мисс Мэри), глядя на ее сияющее в свете фар счастливое лицо и на огромную голову льва, которую она не смогла бы даже поднять, гордясь ею и любя льва,

чувствуя себя опустошенным, видя искаженную шрамом улыбку Кэйти, наклонившегося, чтобы потрогать поразительную черную гриву льва, слушая воркующих, словно птицы, мужчин, каждый из которых гордился нашим львом; нашим, принадлежавшим всем нам и Мэри, потому что она несколько месяцев охотилась за ним и сама попала в него, говоря казенным языком, самостоятельно и в решающий момент, любуясь этим нашим львом и ею, счастливой, и сияющей, и похожей при свете фар на маленького, не такого уж смертоносного, всеми любимого ангела, я постепенно расслабился и тоже стал веселиться.

Чаро и Нгуи рассказали Кэйти, как было дело, и он подошел ко мне, пожал руку и сказал:

— М'узури сана, бвана. Шайтани ту.

— Просто повезло, — сказал я, и, бог свидетель, так оно и было.

— Нет, не повезло, — сказал Кейти. — М'узури. М'узури. Шайтани мкубва сана.

И тогда я вспомнил, что именно в этот полдень я предрекал смерть льва, и что теперь все позади, и Мэри победила, и я поговорил с Нгуи, Матокой, ружьеносцем Старика и другими о нашей религии, и они качали головами и смеялись, а Нгуи предложил мне сделать еще глоток из фляжки.

Сначала они хотели было подождать, пока мы вернемся в лагерь и выпьем пива, но потом уговорили меня выпить с ними сейчас же. Сами они лишь коснулись бутылки губами. Мэри, закончив фотографироваться, встала с земли, попросила фляжку и передала ее С.Д. и Гарри. От них фляжка снова перешла ко мне, и я выпил еще, а потом лег рядом со львом и очень тихо заговорил с ним по-испански, и попросил у него прощения за то, что мы убили его, и, лежа рядом с ним, я попробовал нащупать раны. Их было четыре. Мэри попала ему в лапу и в ляжку. Поглаживая его по спине, я нашел место, где моя пуля угодила ему в хребет, и еще дыру побольше, оставленную пулей С.Д., которая попала в бок, прямо под лопатку. В это время я не переставая говорил с ним по-испански, но плоские твердые верблюжьи мушки стали перебираться с него на меня, и тогда я нарисовал указательным пальцем рыбу на земле перед ним и стер изображение ладонью.

По дороге в лагерь Нгуи, Чаро и я молчали. Я слышал, как Мэри спросила С.Д., действительно ли я стрелял после нее, и С.Д. ответил, что лев этот принадлежит только ей. Она первой попала в него, но охота не всегда проходит идеально, и раненое животное нужно обязательно убить, и

нам чертовски повезло, и она должна быть довольна. Но я знал — радость Мэри была недолгой, потому что все получилось не совсем так, как она надеялась и мечтала, чего опасалась и ждала все эти месяцы. Я страшно переживал за нее и понимал, что никому нет до этого дела, но для нее это сейчас самое главное событие в мире. Случись нам начать все сначала, и мы ничего не смогли бы изменить. Никто не дал бы ей подойти ближе, чем С.Д., но такой прекрасный стрелок, как он, мог себе это позволить. Если бы раненый лев бросился на них, С.Д. успел бы выстрелить всего один раз. Его двустволка бьет наверняка и насмерть только вблизи и совершенно бесполезна, если стрелять с расстояния в двести или триста ярдов. Оба мы прекрасно понимали это и даже в шутку не касались этой темы. Стреляя в льва с такого расстояния, Мэри подвергала себя большой опасности, и малейшая ошибка могла стоить ей жизни. Теперь было не время говорить об этом, но Нгуи и Чаро отлично все понимали, и кто знает, скольких бессонных ночей стоила мне эта мысль. Решив дать бой в густых зарослях, где у него были все шансы прикончить одного из нас, лев сделал выбор и едва не победил. Он не был ни глупым, ни трусом. Он просто хотел дать

бой в выгодной для себя позиции. Мы вернулись в лагерь, поставили стулья вокруг костра, сели, вытянув ноги и расслабившись. Нам недоставало только Старика, и именно Старика не было с нами. Я велел Кэйти дать боям пива и ждал начала празднества. Праздник начался неожиданно, он обрушился на нас, словно пенящийся ревущий поток, несущийся после ливня по сухому руслу ручья. Едва они решили, кто понесет мисс Мэри, как неистовая стремительная вереница танцующих людей уакамба вынырнула из-за палаток. Все они пели песню льва. Высокий повар и водитель грузовика принесли стул, поставили его недалеко от костра, а Кэйти, танцуя и хлопая в ладоши, усадил на него Мэри, и они подняли ее и стали танцевать — сначала вокруг нашего костра, потом двинулись к палаткам со снаряжением и вокруг лежавшего на земле льва, и дальше, вокруг костра повара, и костра сторожей, и вокруг машин и повозки с дровами, и по всему лагерю. Все, кроме пожилых мужчин, разделись по пояс. Я смотрел на белокурую головку Мэри и на черные сильные красивые тела людей, которые несли ее над собой, приседая и притопывая в танце, и протягивая к ней руки.

Это был превосходный бешеный танец льва, и

под конец они опустили стул рядом с ее складным стульчиком, стоявшим у костра, и по очереди пожали ей руку. Праздник окончился.

Ночью я внезапно проснулся и долго не мог уснуть. Вокруг была мертвая тишина. Потом я услышал ровное легкое дыхание Мэри и успокоился — нам больше не придется каждое утро настраивать ее против льва. Я снова огорчился, что лев умер не так, как хотела и планировала Мэри. После празднования и настоящего, неистового танца, когда она видела, как любят и как привязаны к ней друзья, ее чувство разочарования немного притупилось. Но после стольких дней охоты оно наверняка вернется. Она и не подозревала, какой опасности подвергалась. А может быть, она прекрасно все знала, просто я ничего не замечал. Ни я, ни С.Д. не хотели говорить ей об этом, потому что слишком хорошо представляли себе степень риска, и мы недаром так взмокли этим прохладным вечером. Я хорошо помнил глаза льва, когда он взглянул на меня, отвернулся, а затем посмотрел на Мэри и С.Д. и больше уже не отрывал от них взгляда. Я лежал в кровати и думал о том, что лев, рванувшись с места, может в три секунды покрыть расстояние в сто ярдов. Он бежит, низко пригнувшись

к земле, быстрее любой борзой, и не прыгает, пока не достигнет своей жертвы. Лев Мэри весил добрых четыреста фунтов, и он мог легко перепрыгнуть через высокий терновник, неся в пасти корову. На него охотились не один год, и он был далеко не глуп. Но мы усыпили его бдительность и вынудили совершить ошибку. Я был рад, что перед смертью он успел поваляться, свесив хвост и удобно вытянув огромные лапы, на высоком круглом термитнике и еще раз взглянуть на свои владения, и голубой лес, и ослепительно белые снега на вершине горы. Мы с С.Д. хотели, чтобы Мэри уложила его с первого выстрела или чтобы он бросился на нас, если будет ранен. Но он решил поступить по-своему. Первая пуля была для него не более чем острым, внезапным укусом. Вторая, та, что прошла через ляжку, пока он бежал к густым зарослям, где собирался дать бой, стеганула как следует. Мне не хотелось думать, что он почувствовал, когда в него попала моя пуля, пущенная на бегу и издалека, которой я надеялся сбить его на землю и которая случайно перебила ему хребет. Пуля весила двести двадцать гран, и мне ни к чему было представлять себе, какую она могла причинить боль. Я никогда не ломал позвоночника и не мог этого знать. Хорошо, что

С.Д. тут же прикончил его своим великолепным выстрелом. Сейчас лев мертв, и нам будет жаль окончившейся охоты. Правда, останься он в живых — и сегодня мне пришлось бы охотиться на него без С.Д., вдвоем с Мэри, и не было бы никого, кто блокировал бы его с той стороны, где вчера стоял я. Лев был так ловок, что всегда мог выкинуть что-нибудь неожиданное.

Мэри по-прежнему дышала ровно, а я смотрел, как вспыхивали угли, когда бриз шевелил золу, и радовался, что страх за Мэри уже позади. Я ничем не смогу облегчить ее разочарования, когда она проснется. Может быть, оно пройдет само по себе. А если нет, когда-нибудь она убьет другого крупного льва. Но только не теперь, думал я, пожалуйста, только не теперь.

Я попытался заснуть, но стал думать о льве и о том, что бы мне пришлось предпринять, если бы он добрался до зарослей, и вспомнил, как вели себя в такой ситуации другие люди, а потом подумал: к черту все. Это мы обсудим с С.Д. и Стариком. Мне очень хотелось, чтобы утром Мэри проснулась и сказала: «Я так рада. Я убила своего льва». Но на это было мало надежды, а время — три часа утра. Кажется, Скотт Фицджеральд писал, что где-то-где-то в душе всегда что-то-что-

то около трех часов утра. Порывшись в памяти, я вспомнил эту цитату.

Там было: «В темных глубинах души время всегда останавливается в три часа утра, и так изо дня в день».

Проснувшись посреди африканской ночи и сидя в кровати, я думал о том, что ничегошеньки не знаю о душе. О ней много говорят и пишут, но кто знает, что это такое? Я не знаю никого, кто слышал что-либо о душе, хотя бы существует ли она вообще. Это очень странное поверье, и, пожалуй, я не смог бы объяснить его толком Нгуи и Матоке, даже если бы сам сумел в нем разобраться. До того как я проснулся, я видел сон, и во сне у меня было туловище лошади, а голова и плечи — человека, и я удивлялся, почему раньше никто не замечал этого. Сон был очень последовательный, как раз о том моменте, когда мое туловище постепенно изменялось и превращалось в тело человека. История эта показалась мне вполне правдоподобной и поучительной; интересно, что все подумают, когда утром я расскажу ее? Сейчас я не спал, и сидр был прохладен и свеж, но я по-прежнему ощущал мышцы, которые снились мне, когда мое тело еще оставалось лошадиным. Однако все это не помогло мне разобраться с ду-

шой, и я попытался представить себе, что же это такое, с помощью доступных для меня понятий. Возможно, родник прозрачной свежей воды, не пересыхающий в засуху и не замерзающий зимой, ближе всего к тому представлению о некоей душе, о которой столько говорится. Помню, когда я еще был мальчишкой, в чикагской бейсбольной команде «Уайт сокс» играл Гарри Лорд, подачи которого достигали третьей стартовой линии, и так до тех пор, пока питчер из команды противника не падал замертво или наконец темнело и матч прекращали. Я был тогда очень молод и все воспринимал слишком серьезно, но я хорошо помню, как темнело (в то время в парках не было фонарей) и Гарри все еще подавал мячи, а толпа орала: «Лорд, Лорд, спаси свою душу!» Пожалуй, это и было мое ближайшее общение с душой. Когда-то я думал, что в детстве меня лишили души, но потом она снова вернулась. В ту пору я был очень эгоистичен, и много слышал и читал о душе, и возомнил, что она имеется и у меня. И тут я подумал: а если кто-нибудь из нас, мисс Мэри или С.Д., Нгуи, Чаро или я, был бы убит львом, вознеслись бы наши души куда-либо? Я не мог в это поверить и решил, что мы просто были бы мертвы, возможно, даже мертвее льва, а

ведь никто не беспокоился о его душе. В худшем случае предстояло бы путешествие в Найроби и расследование, хотя все было бы проще, ведь Гарри Стил присутствовал на охоте, а он сам полицейский. Но я твердо знал, что погибни я или Мэри, и это скверно отразилось бы на карьере С.Д. Да и С.Д. страшно не повезло бы, будь он убит сам. И уж конечно, окажись убитым я, это нанесло бы непоправимый вред моему писательству. Чаро и Нгуи смерть явно пришлась бы не по вкусу, а для Мэри она бы явилась большой неожиданностью. Пожалуй, лучше держаться подальше от смерти, и хорошо, что нет больше необходимости изо дня в день играть с нею.

Но какое это имеет отношение к темным глубинам души, в которых «время всегда останавливается в три часа утра, и так изо дня в день»? Есть ли душа у мисс Мэри и С.Д.? Насколько мне известно, у них нет религиозных убеждений. Но если у кого и есть душа, так это у них. Чаро истинный магометанин, и нам придется поверить, что душа у него есть. Значит, остаемся только Нгуи, я и лев.

Однако сейчас три часа утра, и я вытянул свои недавно еще лошадиные нога и решил встать, выйти, посидеть возле тлеющего костра и на-

сладиться остатком ночи и первыми лучами рассвета. Я натянул противомоскитные ботинки, надел купальный халат, подпоясался портупеей и вышел к погасшему костру. С.Д. уже сидел там в своем кресле.

— Ты почему не спишь? — спросил он тихо.

— Мне приснилось, что я лошадь. Как наяву.

— Ты слушался объездчика? Или тебя отправили на племенную ферму?

— Что-то было и про ферму. Но я проснулся.

— Мне снились жуткие кошмары.

— Какие?

— Я их не запоминаю.

— По-моему, мы постепенно приближаемся к слабонервно-раздражительному типу людей.

— Ты может быть. Я — никогда.

— Ты домашний, преданный, этакий немногословный тип.

— Разве? — сказал С.Д. — И кому же это я предан?

— Мужу мисс Мэри.

— Этому ублюдку? Кем ты был во сне? Лошадиной задницей?

— Нам будет недоставать охоты на старого шельмеца.

— Да…

Мы сидели и смотрели на костер: он разгорался, и пламя ярко освещало палатки и деревья. Была половина четвертого или без четверти четыре, а то и четыре часа. Я рассказал С.Д. о Скотте Фицджеральде и о вспомнившейся мне цитате и спросил, что он об этом думает.

— Когда не спится, любой час ночи кажется отвратительным, — сказал он. — Не понимаю, почему он выбрал именно три часа. Хотя звучит неплохо.

— По-моему, это страх, беспокойство и угрызения совести.

— Мы оба прошли через это, не так ли?

— Конечно, по пустякам. Но мне кажется, он имел в виду свою совесть и отчаяние.

— Тебя никогда не охватывает отчаяние, правда, Эрни?

— Пока что нет.

— Значит, не суждено, иначе бы ты давно испытал его.

— Я бывал на волосок от него, но всякий раз одерживал верх.

Позже, гораздо позже, я пошел в палатку взглянуть, не проснулась ли Мэри. Но она по-прежнему крепко спала. Она проснулась, глотнула чая и снова заснула.

— Дадим ей поспать, — сказал я С.Д. — Ничего страшного, если мы начнем свежевать его и в половине десятого. Ей нужно как следует выспаться.

С.Д. читал книгу Линдберга, а я в то утро не испытывал ни малейшего желания читать «Год льва» и принялся за книгу о птицах. Это была хорошая новая книга «Птицы Восточной и Северо-Восточной Африки», и, охотясь все время на одного зверя, сосредоточив на нем все свое внимание, я многое упустил, потому что недостаточно наблюдал птиц.

Не будь животных, мы бы вполне довольствовались наблюдением птиц, но я непростительно пренебрегал ими. С Мэри дело обстояло иначе. Она всегда видела птиц, которых я даже не замечал, и сосредоточенно рассматривала их, пока я сидел на своем складном стуле и просто любовался окрестностями. Читая эту книгу, я понял, каким был легкомысленным и сколько потерял времени даром.

Дома, сидя в тени возле бассейна, я с наслаждением смотрел, как ныряют за насекомыми райские птички и вода бросает зеленый отсвет на их серо-белые грудки. Я любил наблюдать за голубями, свивающими гнезда в тополях, и за

поющими пересмешниками. Осенью и весной я с волнением смотрел на хлопоты перелетных птиц и радовался, когда видел, как маленькая выпь пьет из бассейна или ищет в сточной канаве древесных лягушек. Сейчас здесь, в Африке, вокруг лагеря всегда было много красивых птиц. Они сидели на деревьях и на колючих ветках терновника и просто разгуливали по земле, а я едва замечал эти движущиеся цветные пятнышки, в то время как Мэри любила и знала их всех. Я не мог понять, почему относился к птицам так глупо и равнодушно, и мне было стыдно.

Долгое время для меня существовали лишь хищники, животные, питающиеся падалью, и птицы, пригодные в пищу или для охоты. Я попытался вспомнить, сколько птиц я знал, и перечень получился такой длинный, что я немного успокоился и решил больше наблюдать птиц у нашего лагеря и чаще спрашивать о них Мэри, а главное, научиться замечать их, а не смотреть мимо. «Смотреть на вещи и не видеть их — большой порок, — думал я, — и поддаться ему очень легко. Именно с этого начинается все плохое, и мы недостойны жить в этом мире, если не умеем его видеть». Я попробовал проанализировать, как могло случиться, что я перестал замечать

маленьких птиц близ лагеря, и решил, что отчасти тому виной чтение, которое отвлекало меня от мыслей о серьезной охоте, и отчасти, конечно же, виски; а как иначе расслабиться, когда возвращаешься в лагерь? Я восхищался Мейито, который почти не пил, потому что хотел запомнить все увиденное в Африке. Но мы с С.Д. были не против выпить, и я знал — это не просто привычка или способ уйти от действительности. Мы умышленно притупляли восприимчивость, такую сверхчувствительную, какая возможна лишь на фотопленке, и если бы она постоянно оставалась на этом уровне, то стала бы невыносимой. «Ты придумываешь себе весьма благородное оправдание, — подумал я, — ведь ты прекрасно понимаешь, что вы с С.Д. пьете, потому что вам это нравится, и Мэри это тоже нравится, и вам так весело бывает выпить вместе. Лучше пойди и посмотри, не проснулась ли она».

Итак, я вернулся в палатку, а Мэри все еще спала. Во сне она всегда была прекрасна. Лицо ее не было ни счастливым, ни несчастным. Оно просто было. Но сегодня его черты казались особенно изящными. Мне так хотелось бы сделать Мэри счастливой, но единственное, что я мог придумать, — это не будить ее.

Часть третья

Главные действующие лица

Мисс Мэри, чье отсутствие позволяет Эрнесту предпринять несколько рискованных авантюр или просто идти на поводу у своих слабостей.

Нгуи, великолепно справляющийся с обязанностями ружьеносца, когда преследуют леопарда, но, к сожалению, отсутствующий, когда преследуемым становится сам Эрнест.

Чаро, слишком старый, чтобы еще раз попробовать на себе клыки леопарда, и слишком храбрый, чтобы удержаться от риска.

Мистер Сингх, хозяин небольшой винной лавки в Лойтокитоке, чья утонченная дипломатия подкрепляется пистолетом.

Я оказался один на один с грустью мисс Мэри. Я не был одинок, ведь со мной оставались мисс Мэри, и лагерь, и наши друзья, и огромная гора Килиманджаро, которую все называли Кибо, и животные, и птицы, и поля вновь распустившихся цветов, и гусеницы, взявшиеся откуда-то из-под земли и набросившиеся на цветы. На гусениц слетелись орлы; их было столько, что они

удивляли нас не больше, чем цыплята. Бурые орлы, в коричневых штанах из перьев, и другие, белоголовые орлы, расхаживали вместе с цесарками, деловито пожирая гусениц. Гусеницы на время примирили всех птиц. Европейские аисты тоже прилетели полакомиться гусеницами, и по всему пространству усыпанной белыми цветами саванны медленно передвигались с места на место большие стаи аистов…

У каждого человека, в теории, может быть лишь один-единственный прекрасный город или великое произведение искусства, которые в его восприятии наделены особой чистотой. Это всего-навсего теория, и я с ней не согласен. Все, что я любил, я всегда наделял этой особой чистотой, но до чего хорошо, когда удается передать свое восприятие кому-нибудь еще; и тогда чувствуешь себя не таким одиноким. Мэри любила мою Испанию и Африку и постигала все тайны так легко, что почти не замечала этого. Я никогда не раскрывал ей своих секретов и объяснял лишь чисто технические или комические стороны вещей, получая величайшее удовольствие от ее собственных открытий. Смешно ждать, чтобы любимая тобой женщина любила все то, что близко тебе самому. Но Мэри любила море, и ей

понравилось жить на небольшом катере и ловить рыбу. Ей нравилась живопись, и она полюбила западную часть Соединенных Штатов, когда мы впервые побывали там вместе. Она никогда не притворялась, и это был большой дар, потому что я долгое время общался с великой притворщицей, а жизнь с настоящей притворщицей заставляет мужчину мрачно смотреть на многие вещи, и он теряет желание разделять с женщиной что-либо и даже начинает лелеять мечту об одиночестве.

Этим утром, пока жара набирала пары, а прохладный ветер с горы все еще не подул, мы прокладывали новую лесную тропу через оставленные слонами завалы. Прорубив путь сквозь особенно трудные участки и выбравшись на открытую местность, мы увидели первую большую стаю настоящих европейских аистов, черных и белых, на красных ногах, и они так усердно трудились над гусеницами, как будто это были немецкие аисты, получившие соответствующий приказ. Мисс Мэри нравились аисты, и она была рада увидеть их, поскольку нас обоих очень беспокоила одна статья, где говорилось, что аисты вымирают, и вот теперь мы убедились, что у них, как и у нас, просто хватило здравого смысла перебраться в Африку; но и аисты не рассеяли ее

грусть, и мы отправились дальше к лагерю. Я не знал, как подступиться к грусти мисс Мэри. Казалось, ее не трогали ни орлы, ни аисты, против которых даже я не мог устоять, и тогда я начал понимать, как ей было тоскливо.

Нгуи заметил что-то неладное, достал из испанской кожаной сумки для патронов фляжку и протянул ее мне. Я передал фляжку Мэри, которая с довольно мрачным видом смотрела на аистов.

— Не слишком ли рано ты пьешь? — спросила она. Я с надеждой заметил, что она оставила фляжку у себя.

— По-моему, нет, — сказал я. — Немного для аппетита.

Она все еще держала фляжку, и мне показалось, я слышал, как она открыла ее. Нгуи незаметно кивнул.

— Залей свою проклятую грусть, и я тоже сделаю глоток.

— Я уже выпила немного, — сказала она и вернула мне фляжку. — О чем это ты думал все утро? Ты был так необычно молчалив.

— О птицах, и о разных местах, и о том, какая ты славная.

— Очень любезно с твоей стороны.

— Я делал это не ради гимнастики души.

— Скоро я приду в себя. Не так-то просто провалиться в преисподнюю и снова выбраться оттуда.

— Этот вид спорта войдет в олимпийскую программу.

— В таком случае ты бы, наверное, победил.

— Конечно. Я же должен думать о тех, кто на меня ставит.

— Все, кто ставил на тебя, уже на том свете, как и мой лев. Ты, должно быть, пристрелил их всех в один прекрасный день, когда пребывал в особенно хорошем расположении духа.

— Взгляни, вот еще одно поле, сплошь покрытое аистами.

— Да, — сказала она. — Взгляни, вот еще одно поле, сплошь покрытое аистами.

Африка — опасное место для затяжной грусти, особенно когда в лагере всего два человека, а после шести часов вечера быстро темнеет, даже если грусть эта вызвана охотой на льва мисс Мэри, убитого не совсем так, как нам бы хотелось… Мы сидели в палатке одни за столом, и тысячи насекомых рвались в завешенную сеткой дверь, к гибельному огню керосиновой лампы, а мы говорили о том, какое это счастье, что вот уже больше пяти месяцев мы не видели ни одного

зануды и что, очень может быть, это рекордный срок, ведь в этом мире зануды так быстро переезжают с места на место. Конечно же, мы встречали их всякий раз, когда обстоятельства вынуждали нас выбираться в город. Но никого из них мы не принимали у себя и не сидели с ними за одним столом. Мы говорили также о том, как важно не делить пищу с врагами. В целях самообороны с ними можно выпить, но делить с ними пищу глупо, и за это следует наказывать так же строго, как и за неудачное самоубийство. Приятно было думать о том, что целых пять месяцев мы ни разу не разделили хлеб-соль ни с одним из богатых зануд, и я знал: в значительной степени мы обязаны этим «Мау-мау». В тот вечер в палатке мисс Мэри вновь была счастлива; мы почти всегда были счастливы, когда нам удавалось оставаться вдвоем.

Утром Нгуи и я охотились на леопарда. Это был новый день, как всегда неожиданный и непохожий на другие дни охоты. Никто из нас не верил в приманки, и я было вспомнил, как однажды леопард все же польстился на мертвого бабуина, но больше он к нему не возвращался. Вряд ли стоило винить леопардов, я лично относился к этой привычке с восхищением. Я шел домой по

мокрой от росы траве и думал о всевозможной чепухе, которую читал сам или слышал об охоте на леопардов.

Теперь, когда они стали благородными животными (охраняемыми государством), а не просто зверьем, которое, как в былые времена, убивали ради шкуры, белые охотники создали им славу действительно страшных животных. Это были крупные кошки. Возможно, самые лучшие, быстрые и сильные из всех кошек такого размера, и, раненные, они становились очень опасными. Старик неоднократно вдалбливал мне это. Он думал, я недостаточно серьезно воспринимаю леопардов, потому что я разбирался в кошках и любил их. Львица тоже была кошкой, притом настоящей, и мне всегда казалось, я могу читать ее мысли. Кошек считают таинственными животными, но это не так, особенно если в вас есть хотя бы немного кошачьей крови. У меня ее было много, слишком много, чтобы пойти мне на пользу, но зато это здорово помогало в общении с кошачьей породой. Была во мне и медвежья кровь, и я мог читать мысли медведя, беседовать с ним и заставить вести себя благоразумно. Медведям нравился мой запах, а мне их, и не было такого медведя, с которым я не смог бы подружиться.

Возвращаясь домой утром, положившим начало новому дню, и чувствуя приятную прохладу промокших полуботинок и влажную ткань шаровар цвета хаки на икрах, забавно было думать о разных кошках и медведях. Лев-самец никогда не казался мне настоящей кошкой. В нем текла какая-то другая кровь, и из основных кошачьих черт в нем были только две — лень и внезапная страшная скорость. Гепард тоже мало походил на кошку. В нем текла кровь собаки, и его манера бежать скорее напоминала бег борзой. Леопард же, напротив, был настоящей и великолепной кошкой. Белые охотники рассказывали клиентам, что их невозможно или почти невозможно встретить на открытой местности, разве что они выйдут на приманку. Конечно же, благодаря этим россказням встреча с леопардом на открытой местности превращалась для клиента в редчайшее и огромное событие, воздававшее должное как репутации белого охотника, так и необыкновенной везучести клиента.

Нынешние белые охотники, проводившие сафари, развешивали по деревьям приманки для леопарда, обычно тушу небольшого самца антилопы, бородавочника или любого другого животного, и оставляли гнить. Вечером они объ-

езжали приманки, рассаживали клиентов по заранее подготовленным укрытиям, и с наступлением темноты, когда сумерки быстро угасали и леопарды взбирались на деревья, клиенты стреляли, целясь в свои телескопические прицелы. В этом и заключалась современная охота на леопардов, и клиентов всячески уверяли, что другого способа не существует. Больше всего впечатлял тот миг, когда леопард каким-то чудом появлялся в развилине дерева, там, где была привязана приманка. Момент этот был столь загадочным, что навсегда врезался в память. Это, да еще злой взгляд и пятнистая шкура животного и производили мистическое впечатление. Все делал белый охотник, клиенту оставалось лишь спустить курок — и леопард падал замертво или, раненный, исчезал в зарослях, где его пожирали гиены.

Я думал обо всех леопардах, на которых случайно натыкался со времен своего первого приезда в Африку, и о том, что ни одного из них не убил с помощью приманки, и никогда не видел, как они бесшумно, в мгновение ока появляются в злополучной развилине дерева, и никогда не испытывал этого душещипательного, мистического для клиента ощущения. Приятно было вспомнить моего первого леопарда. Я увидел его

в Танганьике, когда в одиночестве прогуливался по берегу реки, так похожей на пересекающую луг, богатую форелью речушку у меня дома. Леопард задрал небольшого самца антилопы и лакомился им, припав к земле и по-кошачьи сжавшись. Он первый почуял или заметил меня, и какую-то сотую долю секунды я видел две слившиеся воедино формы, пятнистую и рыжевато-коричневую, да еще голову и глаза леопарда, смотревшего на меня с расстояния в двадцать футов. Я не успел заметить, был ли его взгляд злым, как не успел сделать и какие-либо иные литературные умозаключения, потому что леопард взвился в прыжке, который отнес его далеко от самца антилопы, прямо в траву, и потом, слегка изогнув хвост и приподняв голову, он бросился прочь по низкой траве, да так быстро, что я не успел даже вскинуть винтовку. Пока он несся по направлению к зарослям, я трижды выстрелил ему вслед, и всякий раз пуля поднимала комья сырой красной земли позади него. В ту пору я еще не умел вскидывать винтовку достаточно быстро, чтобы стрелять наперерез, и леопард казался мне самым проворным животным; его длинный прыжок и бешеная скорость произвели на меня тогда неизгладимое впечатление. К

тому же это был очень крупный леопард, и мне повезло, что я повстречал его именно при таких обстоятельствах.

В то время мне еще не доводилось видеть гепарда, и я не знал, что на открытой местности гепард бежит куда быстрее леопарда. Тогда мы были новичками в этой стране и охотились на гепардов. Теперь, узнав этих животных поближе, я ни за что не убил бы гепарда, но в то время мы были если не глупее, то, во всяком случае, невежественнее. Я тоже стрелял гепардов ради шкурок для шубы моей жены, а она умела одеваться…

Мэри спала, и мне незачем было ее будить. Я пошел в обеденную палатку, вынул из брезентового ведра холодную бутылку пива и сел читать… Я читал, пока в палатку не вошла мисс Мэри. Она прекрасно выглядела, весело поздоровалась со мной и спросила, почему я не разбудил ее раньше. Она чувствовала себя получше, но еще не совсем оправилась от болезни, и мы решили вызвать самолет и отправить ее в Найроби. Мэри была счастлива и с нетерпением ожидала предстоящую поездку, но в то же время не хотела расставаться с лагерем и нашей необычной жизнью здесь и сказала, что соскучилась по всему этому уже теперь, до отлета.

Нгуи и я охотились на леопарда в глухих местах заповедника и вдоль реки. Мы старались ступать бесшумно и внимательно осматривали ветви всех деревьев, где мог укрыться леопард. Мы охотились так, чтобы свет падал сзади. Ветер еще не поднялся, и, когда солнце было над самым пологим склоном горы, оно жгло нам спины…

Мы охотились спокойно, без напряжения, и я старался поставить себя на место крупного леопарда, в чьем распоряжении было полно диких животных, четыре шамбы с козами, собаками и цыплятами, лагерь с подвешенными на деревьях тушами, которые легко стащить, шесть или восемь стад бабуинов да к тому же, насколько ему было известно, никого в округе, кто охотился бы за ним, если, правда, не считать одного случая с месяц тому назад. Я решил, что, будь я на месте леопарда, я не был бы чересчур осторожен. В тот раз я заметил этого огромного леопарда на расстоянии примерно футов в тридцать. Шел проливной дождь, и он лежал вытянувшись на суку дерева, росшего на самом краю болота. Я был в очках, и дождь хлестал мне в лицо. Я хотел было протереть очки и вдруг, глядя через стекла, как сквозь залитое дождем ветровое стекло, я увидел глаза леопарда, прижатого дождем и

ветром к стволу дерева. Голова его показалась мне большой — размером с голову львицы, и мы смотрели прямо в глаза друг другу и очнулись одновременно. Вскидывая винтовку, я мгновенно, как при стрельбе по взлетающей птице, оттянув тугой затвор, взвел курок, а он, повернувшись так быстро, что его очертания расплылись в одно большое пятно, подобно змее, сполз по противоположной стороне ствола, показав мне лишь самый краешек своего пятнистого брюха. Я обежал дерево с правой стороны, и в ту же секунду одним прыжком он скрылся в высоких папирусных зарослях болота. Не будь дождя, я смог бы выстрелить навскидку. Не будь очков, я мог бы выстрелить, несмотря на дождь. Но как бы там ни было, выстрела не получилось, и самый крупный из попадавшихся мне леопардов оказался самым быстрым и смышленым из всех кошачьих…

Ранним утром, отправляясь на охоту, мы видели на небольшой лужайке гепарда, и, когда мы возвращались, он все еще лежал в траве. Гепард приподнял голову и внимательно следил за пасшейся неподалеку небольшой антилопой с подергивающимся хвостиком, уже успевшей стать его собственностью. Я посмотрел на его хорошенькую мордочку и порадовался, что больше

не охочусь на гепардов. Я вспомнил шубу, сшитую у Валентина из шкурок убитых мною гепардов, и как подбирали кольца шерсти вокруг шеи от разных шкурок, чтобы воротник правильно лежал на плечах женщины, и как прекрасно, как непохоже на другие пальто выглядела эта шуба одну осень в Нью-Йорке. И я подумал о том, что почти все женщины считают подобные подарки уклонением от выполнения взятых обязательств, ведь это не норка и не соболь, и такую шубу нельзя рассматривать как капиталовложение и нельзя перепродать. Это все равно что подарить подделку вместо настоящих драгоценностей. Подарив добротную, соответствующей длины шубу из темной дикой норки, мужчина может позволить себе кое-какие иллюзии, но никак не раньше; и я смотрел на гепарда и принадлежащую ему антилопу и надеялся, что как-нибудь вечером мне удастся подсмотреть, как он охотится вместе со своими братьями.

Теперь, когда я начал думать о той осени в Нью-Йорке и о том, чем кончила гепардовая шуба, мне не хотелось беспокоить ни этого гепарда, ни стадо животных, которые кормили его самого и двух его братьев. Мне доставляло большое удовольствие смотреть, как они охотятся, на

их невероятный последний рывок и видеть эти шкуры на их собственных спинах, а не на плечах какой-либо женщины.

После отлета мисс Мэри и Роя[77] я чувствовал себя очень одиноким. Я не хотел отправляться в город и знал, как хорошо мне будет наедине с туземцами, всевозможными проблемами и со страной, которую я любил, но мне было одиноко без Мэри, и я скучал по Рою и тосковал по самолету.

После дождя мне всегда бывает одиноко, но сейчас, к счастью, были письма, которые в первый момент, когда Рой только что привез их, ничего для меня не значили. Я разложил их по порядку, а заодно привел в порядок все бумаги. Здесь были «Ист Африкен стандартс», зарубежные издания «Таймс» и «Телеграф» на их напоминающей луковую шелуху бумаге, литературное приложение «Таймс» и рассылаемое авиапочтой издание «Тайма». Прочтя письма, я порадовался, что нахожусь в Африке…

Беренсон[78] был здоров, что уже прекрасно, и находился в Сицилии, что беспокоило меня,

---

[77] Примечания: 77
Марш Рой — пилот, друг супругов Хемингуэй.

[78] Примечания: 78
Беренсон Бернард — искусствовед, старый друг Эрнеста Хемингуэя.

и совершенно напрасно, поскольку ему лучше знать, что делать. У Марлен[79] были проблемы, но ее великолепно приняли в Лас-Вегасе, и она прилагала вырезки из газет… Эта девочка, которую я знал вот уже восемнадцать лет, а встретил впервые, когда ей самой было восемнадцать, которую я любил и другом которой был и которую продолжал любить, даже когда она дважды выходила замуж, и благодаря собственному уму четырежды наживала состояния, и, надеюсь, сумела их сохранить, и приобрела всевозможные блага и самые разнообразные носильные вещи, которые можно заложить или продать, и потеряла все остальное, написала мне письмо, полное новостей, сплетен и глубокой печали. Новости были настоящие, да и печаль неподдельная, и еще были обычные для всех женщин жалобы. Письмо это огорчило меня больше других, потому что она не могла приехать в Африку, где, пусть даже всего пару недель, ей было бы по-настоящему хорошо. Теперь, когда она не сумела приехать, я понял, что никогда больше не увижу ее, разве что муж пошлет ее ко мне с каким-либо деловым поручением. Она еще побывает во всех тех местах,

---

[79] Примечания: 79
Дитрих Марлен — киноактриса.

которые я обещал ей показать, но меня с ней не будет. Она может поехать с мужем, и они будут по-прежнему действовать друг другу на нервы. Он повсюду будет привязан к междугородному телефону, без которого не может обойтись, равно как я не могу обойтись без восхода солнца или Мэри — без ночных звезд. Она могла тратить деньги, и покупать вещи, и накапливать имущество, и обедать в очень дорогих ресторанах, и Конрад Хилтон открывал, отделывал или проектировал отели для нее и ее мужа во всех городах, которые мы некогда собирались посетить вместе. Теперь у нее не было проблем. Теперь, благодаря Конраду Хилтону, эта поблекшая красавица всегда сможет возлежать в удобном номере на расстоянии вытянутой руки — не далее — от междугородного телефона. А проснувшись ночью, отчетливо представит себе, что такое пустота и почем она сегодня, и станет пересчитывать собственные деньги, чтобы снова заснуть, и проснуться попозже, и хоть немного оттянуть свидание с очередным днем. Может статься, подумал я, Конрад Хилтон откроет отель в Лойтокитоке. Тогда она выберется сюда и увидит гору, и гостиничные гиды отвезут ее к мистеру Сингху, где она сможет купить копья в качестве сувенира

на память. И повсюду будут услужливые белые охотники с леопардовой лентой на шляпе, и на каждом ночном столике вместо гидеоновских библий[80] рядом с междугородным телефоном будут разложены экземпляры «Белого охотника», «Черного сердца» и «Нечто ценное» с автографами авторов, отпечатанные на специальной универсальной бумаге.

У пива было характерное, соответствующее племенным обычаям название; по-моему, среди прочих ритуальных напитков оно было известно как «Пиво, чтобы Спать в Постели Тещи», и здесь оно имело не меньшее значение, чем кадиллак в кругах вроде тех, где вращался О'Хара, если только таковые еще существуют. Я страстно желал, чтобы подобные круги не исчезли, и думал об О'Хара, толстом, как питон, проглотивший журнал, именуемый «Колльерс», и мрачном, как мул, которого укусила муха цеце, а он, ничего не замечая, продолжает слепо брести куда-то, и желал ему удачи и всяческого счастья. Я вспомнил, не без улыбки, его вечерний, с белой каймой галстук, в котором он появился в Нью-Йорке во время одного из своих выходов в свет, и нер-

[80] Примечания: 80

В 1899 г. было основано Общество Гидеона (библейский герой), члены которого занимались распространением Библии по гостиницам.

вознность хозяйки дома, когда она, представляя Джона гостям, высказала ему вежливое пожелание не развалиться на части. Как бы скверно ни оборачивались события, любой человек может утешиться, вспоминая О'Хара в пору его расцвета.

Я думал о наших планах на Рождество, которое я очень любил, и хорошо помнил, как встречал его в разных странах. Это Рождество обещало быть либо прекрасным, либо воистину ужасным, потому что мы решили пригласить всех масаи и всех уакамба, и такой нгома, если его не организовать правильно, мог положить конец всякому веселью. К тому же будет волшебное дерево Мэри... Я не знал, стоит ли рассказывать ей, что это в действительности не что иное, как разновидность сильнодействующего дерева марихуаны. И вот почему: во-первых, Мэри твердо решила выбрать именно это дерево, а кроме того, уакамба полагали, что это, как и необходимость убить льва, один из таинственных обычаев ее племени. Арап Маина доверительно сообщил мне, что с одного такого дерева мы с ним могли бы быть навеселе несколько месяцев и что если бы слон съел облюбованное мисс Мэри деревце, то он, слон, захмелел бы на несколько дней. Он

спросил также, приходилось ли мне видеть пьяного слона. «Конечно», — ответил я, хотя ничего подобного раньше даже и не слышал. Тогда он поведал мне, что только таких слонов бвана и могли убивать. Еще он сказал, что никогда не встречал бвану, который мог бы отличить пьяного слона от трезвого, и что, увидев слона, бвана очень волновались и даже не замечали, есть ли у него бивни. Все бвана, сказал он по секрету, пахнут так ужасно, что животные никогда не подпускают их близко, и что любой охотник, связавшийся с бваной, всегда мог легко определить его местонахождение, стоило только поймать его запах по ветру и затем двигаться против ветра, пока запах бваны не станет невыносимым.

— Это правда, бвана, — сказал он мне и, когда я посмотрел на него, добавил: — Брат, я назвал тебя так, не подумав и не желая обидеть. Ты и я пахнем одинаково, сам знаешь.

Положение белого в Африке всегда казалось мне глупым, и я вспомнил, как двадцать лет назад меня пригласили послушать миссионера-мусульманина, который объяснил нам, своей аудитории, преимущества темной кожи и недостатки пигментации белого человека. Сам я достаточно загорел, чтобы сойти за метиса.

— Посмотрите на белого человека, — сказал миссионер. — Он ходит под солнцем, и солнце губит его.

Стоит ему открыть свое тело солнцу, как оно сгорает, покрывается волдырями и гниет. Бедняга вынужден укрываться в тени и убивать себя алкоголем, коктейлями и смесями вроде «чота пег»,[81] потому что он в ужасе от мысли о предстоящем солнечном дне. Понаблюдайте за белым человеком и его мванамке,[82] его мемсаиб. Женщина, если она выходит на солнце, покрывается коричневыми пятнышками, как при проказе. Если она продолжает оставаться на солнце, то кожа слезает с нее, как с человека, прошедшего сквозь огонь… Бедняга белый боготворит лошадь. Но стоит его лошади попасть в местность, где водятся мухи, и она умирает, равно как и его собака.

— Бедный белый человек, — говорил миссионер, — кожа у него на ступне ненастоящая, потеряв ботинки, он погибает, ведь он не может ходить босиком. Им правят женщины. Даже во

---

[81] Примечания: 81

«Чота пег» — виски с содовой водой, которое пьют обычно с наступлением вечера. Название это перенесено в Кению из Индии английскими чиновниками.

[82] Примечания: 82

Женщина.

главе его племен попадаются женщины. Посмотрите на лицо мванамке на таллере времен Марии Терезии.[83] Вот такие мванамке и правят белым человеком. На протяжении целой человеческой жизни англичанами правила старуха, до сих пор на некоторых шиллингах можно видеть ее изображение. И все же белому не стыдно, что им правят женщины. Только немцами правили мужчины, и вы знаете, какие они, эти немцы. По сравнению с англичанами они все равно что морани[84] по сравнению с мтото[85]. Но и немец, как бы он ни был хорош, не может устоять против солнца — кожа его тоже становится красной, еще краснее, чем у англичанина.

— Белый человек краснеет, когда живет с нами и попадает под солнце, а когда он у себя на родине, то лицо у него цветом походит на лизунец. Лишенный пива и виски, он не может держать себя в руках и начинает ругать своего бога, младенца Христа. А теперь я расскажу вам

---

[83] Примечания: 83

Мария Терезия (1717–1780) — императрица т. н. Священной Римской империи.

[84] Примечания: 84

Молодой человек.

[85] Примечания: 85

Ребенок.

о младенце Христе, — продолжал миссионер. — В поклонении этому младенцу и проявляется инфантильность белого человека. Эта болезнь гложет мозг белого человека, подобно червю, и заглушить ее он может только пивом, виски и джином с содовой, и так, пока снова не начинает проклинать дитя, которое боготворит. Братья, у этого самого младенца была мать, но не было отца. Белый человек допускает это, о чем мне самому довелось услышать в так называемой «школе для обращенных», которую я посещал, дабы лучше познакомиться с их верой и успешнее противостоять ей. Родился младенец в семье плотника, достойного человека, которому в жизни выпал всего лишь один осел да еще жена, которая произвела на свет младенца Христа и при этом не спала со своим мужем. Клянусь вам, белые люди верят во все это. О предстоящем рождении младенца этой непорочной жене доложил человек с крыльями ндеге.[86] Настоящей ндеге, а не самолета. Птичьи крылья с перьями. И белый человек всему верит, а истинную религию считает языческой и ошибочной.

В то чудесное утро я не пытался вспомнить всю

---

[86] Примечания: 86
Птица, знамение.

проповедь миссионера. Это было давно, и я успел забыть ее наиболее яркие места…

Утром, когда Муэнди принес чай, я уже встал, оделся и сидел у потухшего костра в двух свитерах и шерстяной куртке. Ночь оказалась очень холодной, и я не знал, распогодится ли днем.

Птица, знамение.

— Развести костер? — спросил Муэнди.

— Небольшой, на одного человека.

— Вы бы поели, — сказал Муэнди. — Мемсаиб уехала, и вы забываете поесть.

— Я не хочу есть до охоты.

— Охота может быть долгой. Поешьте теперь.

— Мбебиа не проснулся?

— Все старые люди проснулись. Спят только молодые. Кэйти сказал, чтобы вы поели.

— Ладно, поем.

— Что вам принести?

— Фрикадельки из трески и мелко нарезанный жареный картофель.

— Съешьте печень антилопы и бекон. Кэйти сказал, мемсаиб велела вам принимать таблетки от лихорадки.

— Где таблетки?

— Вот. — Он достал пузырек. — Кэйти сказал, чтобы вы съели их при мне.

— Хорошо, — сказал я и проглотил таблетки.

— Что вы надели? — спросил Муэнди.

— Полуботинки и теплую куртку для начала и нательную рубашку на случай, если станет жарко.

— Я потороплю остальных. Сегодня очень хороший день.

— Да?

— Все так думают.

— Тем лучше. Мне тоже кажется, что день будет хорошим.

— Вам что-нибудь снилось?

— Нет, — сказал я. — Правда нет.

— М'узури, — сказал Муэнди. — Я расскажу Кэйти.

В полдень стало очень жарко, и, хотя мы ничего не подозревали, впереди нас ждала удача. Мы ехали по территории заповедника, внимательно осматривая деревья, на которых мог укрыться леопард. Леопард этот доставил много неприятностей, убить его меня просили жители шамбы, где он задрал семнадцать коз, и я охотился по поручению департамента охоты, так что, преследуя его, мы могли пользоваться машиной. Леопард, некогда официально считавшийся вредным животным, а теперь находящийся под

охраной государства, ничегошеньки не знал о своем переводе в другую категорию, а не то он никогда не убил бы семнадцать коз, из-за которых стал преступником и вновь оказался в прежнем положении. Семнадцать коз за ночь, пожалуй, многовато, тем более что больше одной ему все равно никогда не съесть…

Мы выехали на великолепную поляну. Слева от нас стояло высокое дерево, две толстые ветви которого расходились параллельно земле: одна влево и другая, более тенистая, вправо. Это было раскидистое дерево с густой кроной.

— Вот идеальное место для леопарда, — сказал я Нгуи.

— Ндио, — сказал он очень тихо. — Он как раз на этом дереве.

Матока поймал наш взгляд и, хотя он не мог нас слышать и не видел леопарда, остановил машину. Я вышел из машины, прихватив старый спрингфилд, который держал на коленях, и, встав твердо на ноги, увидел леопарда, длинного и тяжелого, распластавшегося на уходившей вправо толстой ветви дерева. Очертания его длинного пятнистого тела растворялись в тени дрожащих на ветру листьев. Он лежал на высоте в шестьдесят футов в идеальном для такого чудесного дня

месте, и с его стороны это было большей ошибкой, чем бессмысленное убийство семнадцати коз.

Я поднял винтовку, сделал глубокий вдох, выдохнул и выстрелил, целясь точно в загривок. Я взял высоко и промахнулся, и он, длинный и тяжелый, прижался к ветке, а я перевел затвор и выстрелил ему под лопатку. Послышался гулкий шлепок пули, и леопард, изогнувшись, как молодой месяц, упал, глухо стукнувшись о землю.

Нгуи и Матока хлопали меня по плечу, а Чаро жал руку. Ружьеносец Старика также жал мне руку и плакал, потрясенный зрелищем падающего леопарда. Минуту спустя я перезаряжал винтовку, и мы с Нгуи, от волнения прихватившим вместо дробовика ружье калибра 0,577, осторожно направились взглянуть на убийцу семнадцати коз, чья цветная фотография появилась на страницах центрального журнала задолго до его кончины, очистившей наконец мою совесть.[87] Но тела леопарда мы не нашли.

Там, где он упал, осталась лишь ложбинка да следы крови, которые вели к островку густых

---

[87] Примечания: 87

За три месяца до этого Эрнест Хемингуэй был сфотографирован для журнала «Лук» возле леопарда, фактически убитого его другом Мейито Менокалем, и, хотя Эрнест Хемингуэй участвовал в охоте (см. часть II), он запретил публиковать фотографию, пока сам не убьет леопарда. — *Прим. Мэри Хемингуэй.*

кустарниковых зарослей слева от дерева. Кусты стояли сплошной стеной, как мангровые заросли, и рукопожатий больше не было.

— Друзья мои, — сказал я по-испански. — Положение резко изменилось.

Оно действительно изменилось. Я знал, что делать дальше, Старик хорошо вымуштровал меня, но никогда нельзя предугадать, как поведет себя раненый леопард в густых зарослях. В таком случае у каждого леопарда свои повадки, но они обязательно нападают и при этом готовы на все. Вот почему первый раз я стрелял в загривок. Но теперь было слишком поздно анализировать промахи.

Больше всего меня беспокоил Чаро. Трижды его калечил леопард, и он был далеко не молод: никто не знал, сколько ему лет, но наверняка он годился мне в отцы. Чаро рвался в бой с одержимостью охотничьей собаки.

— Шел бы ты к дьяволу отсюда, залезь лучше на крышу машины.

— Хапана, бвана. Нет, — сказал он.

— Ндио, черт побери, ндио, — сказал я.

— Ндио. Хорошо, — сказал он, не добавив «ндио, бвана», что, как мы оба знали, звучало оскорбительно.

Нгуи заряжал винчестер крупной дробью. Мы еще ни разу не пользовались крупной дробью, а мне совсем не хотелось попасть в переделку, и я вытряхнул картечь, зарядил ружье свежими, прямо из коробки патронами с дробью № 8 и оставшиеся патроны рассовал по карманам. На близком расстоянии заряд мелкой дроби из плотно набитого дробовика не менее надежен, чем пуля, и я хорошо помнил, какое впечатление производит рана на теле человека, когда изнутри на кожаной куртке остается лишь сине-черный овал по краям небольшого отверстия, а весь заряд глубоко в груди.

— Квенда, — сказал я Нгуи, и мы пошли по кровавому следу. Я с дробовиком прикрывал прокладывающего путь Нгуи, а ружьеносец Старика стоял в кузове с ружьем калибра 0,577. Чаро не полез на крышу кабины, он сидел на заднем сиденье, держа наготове лучшее из наших копий.

Нгуи поднял из сгустка крови острый осколок кости и передал его мне. Это был обломок лопатки, и я сунул его в рот. Это невозможно объяснить. Я сделал это не задумываясь. Но теперь мы были связаны с леопардом более тесными узами, и я попробовал кость на зуб и почувствовал вкус свежей крови, мало чем отличающейся

от моей, и понял, что леопард не просто потерял равновесие. Нгуи и я шли по следам, пока они не скрылись в густой части зарослей. Листья здесь были ярко-зеленого цвета и блестели на солнце, и следы леопарда, отпечатавшись на земле, с каждым неровным прыжком уходили в толщу кустарника, и там, где он прополз, на листьях, на высоте его лопаток, остались капли крови.

Нгуи пожал плечами и покачал головой. Сейчас мы оба были сосредоточенными уакамба, и рядом не было ни одного умудренного жизненным опытом белого, который мог бы спокойно дать совет или яростно раздавать приказы, поражаясь тупости боев, и осыпать их проклятиями, словно непослушных гончих псов. С нами был лишь один, находящийся в ужасно неблагоприятном для него положении, раненый леопард, которого сбили выстрелом с высокой ветви дерева, и он, перенеся смертельное для любого из людей падение, занял оборону в укрытии, где, если ему удалось сохранить свою восхитительную, невероятную кошачью жизнеспособность, он мог изувечить каждого, кто рискнет отправиться за ним. Мне так хотелось, чтобы не было ни этих семнадцати коз, ни моего обязательства убить леопарда и сфотографироваться с ним для како-

го-либо из центральных журналов, и я с чувством удовлетворения укусил осколок лопаточной кости и подал рукой знак шоферу. Острый край расщепленной кости порезал мне щеку изнутри, и я почувствовал знакомый вкус моей крови, смешавшейся теперь с кровью леопарда.

Медленно и бесшумно подъехала машина, и никто не проронил ни слова. Нгуи показал на место, где укрылся леопард; мы с ним сели на крыло и на тихом ходу осторожно объехали островок зарослей. Следов, ведущих из островка, не оказалось, и стало ясно — леопард, если только он уже не умер, решил дать последний бой именно здесь.

Был разгар дня и очень жарко, и крохотный островок густых кустарниковых зарослей показался мне едва ли не более зловещим, чем все опасности, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Конечно, находись там вооруженный человек, это было бы значительно опаснее. Но тогда бы мы действовали иначе, и человек был бы убит или взят в плен.

Старик всегда учил меня не спешить, дать зверю время набраться уверенности и перед тем, как взяться за дело, выкурить по крайней мере одну трубку. Совет этот мало чем помог мне, ведь я не

курил, а пить при таких обстоятельствах просто не решился бы. Так что я, нарочно оттягивая время, велел Матоке поставить машину с противоположной стороны островка и дал ему и Чаро по копью. Если леопард выскочит с их стороны, им следовало завести мотор и сигналить: гудки мы услышим наверняка. Я также велел им громко разговаривать и вообще производить побольше шума. Но дольше тянуть было нельзя, и потому, как только Матока объехал заросли и заглушил двигатель, я сказал Нгуи и ружьеносцу Старика: «Квенда ква чуй» — «Мы идем к леопарду».

Пробраться к леопарду оказалось не так просто. У Нгуи были спрингфилд и отличное зрение. Ружьеносец Старика шел с ружьем, которое при выстреле опрокинуло бы его навзничь, правда, видел он ничуть не хуже Нгуи. Я взял видавший виды любимый, однажды сгоревший, трижды восстановленный, потрепанный, гладкий, привычный винчестер, который в деле был проворнее змеи и, оставаясь неразлучным со мной вот уже тридцать пять лет и верно храня молчание обо всех наших секретах, успехах и неудачах, стал таким близким другом и спутником, каким может стать только человек…

Мы прочесали запутанные, переплетающие-

ся корни зарослей от начала кровавых следов, обозначивших место входа леопарда в чащобу, в левом, западном направлении, пока не показалась машина, но леопарда не обнаружили. Мы повернули назад и, крадучись, заглядывая в темень низких корневых лабиринтов, прошли в противоположную сторону. Леопарда не было, и мы пробрались обратно, к поблескивавшим на темно-зеленых листьях свежим следам крови.

Ружьеносец Старика стоял у нас за спиной, держа наготове двустволку, а я, сидя на корточках, начал горизонтальный обстрел корневых лабиринтов патронами с дробью № 8. На пятом выстреле леопард яростно зарычал. Рык донесся из глубины зарослей, слева от следов крови на листьях.

— Ты его видишь? — спросил я Нгуи.

— Хапана.

Я перезарядил магазин и быстро дважды выстрелил в ту сторону, откуда услышал рычание. Леопард вновь зарычал и затем кашлянул два раза.

— Пига ту, — сказал я Нгуи, и он выстрелил в том же направлении.

Леопард зарычал еще раз, и теперь уже Нгуи сказал: «Лига ту».

Я дважды выстрелил на рык.

— Я его вижу, — шепнул ружьеносец Старика. Мы встали, и Нгуи тоже увидел его, а я по-прежнему нет.

— Пига ту, — сказал я.

— Хапана, — ответил он. — Квенда ква чуй.

И мы снова вошли в заросли, но на этот раз Нгуи знал, куда идти. Мы продвинулись не более чем на ярд и уткнулись в небольшой земляной бугор, из которого торчали корни. Мы пробирались на корточках, и Нгуи подсказывал мне, куда двигаться, слегка дотрагиваясь то до левой, то до правой ноги. Наконец я разглядел ухо леопарда и пятнышки на загривке и лопатке. Я выстрелил ему в шею, у самого основания, и тут же выстрелил еще раз; рыка не последовало, и мы, так же на корточках, выбрались из зарослей, я перезарядил ружье, и мы быстро обогнули островок с западной стороны и подошли к машине.

— Амекуфа, — сказал Чаро. — М'узури мкубва сана.

— Амекуфа, — сказал Матока. Они оба сумели разглядеть леопарда, а я нет. Они вышли из машины, и мы снова направились в заросли, и я велел Чаро держаться в стороне с копьем наготове. Но он сказал: «Нет, он мертв, бвана. Я видел,

как он умер».

Я с дробовиком прикрывал Нгуи, пока он прорубал себе путь, снося ножом корни и кусты, словно это были наши враги, а потом он и ружьеносец Старика вытащили леопарда и мы вместе забросили его в кузов. Леопард был хорош, пусть не больше того, что убил Мейито, но мы охотились на него по всем правилам, как подобает братьям, и весело, и без белых охотников, егерей и следопытов, и к тому же он был приговорен к смерти за бессмысленное убийство в деревне уакамба, и все мы были выходцами из этого племени и умирали от жажды.

Крытые листовым железом крыши Лойтокитока поблескивали на солнце, и, когда мы подъехали ближе, показались эвкалипты и спланированная на английский манер улица, омраченная тенью британского могущества. Улица вела к небольшому форту, тюрьме и пансионам, где могли отдохнуть отправлявшие британское правосудие чиновники и клерки, если у них не хватало средств вернуться на родину. Мы не собирались нарушать их покоя, хотя для этого пришлось отказаться от прекрасного зрелища — садов с декоративными каменными горками и текущего по проложенному руслу

порожистого ручейка, который ниже по течению превращался в речку.

В универсальной лавке толпились бойкие и ничего не покупающие женщины племени масаи, а чуть выше по улице их обманутые мужья попивали привезенный из Южной Африки херес «Голдн джип», держа в одной руке копье, а в другой бутылку… Я знал, где они собираются, и, стараясь не привлекать к себе внимания, прошел по узкой тенистой улице, заглянул в бар масаи, где сказал всем «соба», пожал несколько холодных рук и вышел, ничего не выпив. Пройдя восемь шагов, я свернул вправо, к мистеру Сингху. Мы обнялись, и я сначала пожал, а потом поцеловал руку миссис Сингх, что всегда доставляло ей большое удовольствие, поскольку она была из племени туркана,[88] а я здорово научился целовать ручки. Это напомнило мне о путешествии в Париж, о котором она никогда не слышала, но украшением которого могла бы стать. Потом я послал за боем-переводчиком из миссии, и он, войдя, снял свои миссионерские ботинки и отдал их одному из многочисленных, увенчанных опрятным тюрбаном и ядовито вежливых боев мистера Сингха.

---

[88] Примечания: 88

Племя, живущее в горном районе на плато Туркана в северо-западной части Кении.

— Как поживаете, мистер Сингх? — спросил я через переводчика.

— Ничего. Пока. Торгую потихоньку.

— А очаровательная мадам Сингх?

— Через четыре месяца должна родить.

— Felicidades[89], — сказал я и снова поцеловал ее ручку, только теперь в стиле Альварито Каро, маркиза Вилламера, города, который мы некогда заняли, но вынуждены были оставить…

— Что нового скажете, мистер Сингх?

— Ровным счетом ничего, — сказал мистер Сингх, — разве что в зале вас поджидает некий сомнительный субъект.

— Кто такой?

— Один из ваших братьев масаи. Его жена спуталась с кем-то из ваших людей, если вам это интересно.

— Нисколечко, — сказал я, и мистер Сингх остался доволен. Мы оба понимали, что в наших интересах давно уже следовало бы разобраться с этим малым.

Я вышел в салон для посетителей, где, опираясь одной рукой на не знавшее еще крови копье, а в другой держа бутылку «Таскера», стоял креп-

---

[89] Примечания: 89
Поздравляю (исп.).

ко сбитый коричнево-желтый масаи, которому перевалило за тридцать два, а он все еще носил спадающий на глаза головной убор морани.

— Как дела, Симеон? — спросил я, заметив по мелким капелькам пота на верхней губе, плечах и подмышках, что это была его первая бутылка.

— А ваши, сэр?

— Отлично.

— Мы приняли к сведению, что Мемсаиб убила опасного льва.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал я. — Пожалуйста, передайте старейшинам, что я приехал в город, дабы доложить об этом при первой же возможности.

— Поздравляю вас с последним чуи, сэр.

— Леопард — это пустяки.

— Вы застрелили его из пистолета или просто задушили?

— Тебя бы я мог пристрелить или просто повесить в один из прекрасных дней твоей жизни, а леопарда я убил из дробовика.

— Кажется, с ним охотятся на птиц.

— Точно.

— Очень странно.

— Сам ты немного странный, — сказал я. — Копье отравлено?

— Как и все копья масаи.

— Сунь его знаешь куда?

— Я вас не понимаю.

Я выразился точнее и почувствовал, как мистер Сингх принял вторую позицию леопарда, а мадам Сингх, достойная дочь племени туркана, достала из-под прилавка дротик.

Перед тем как выйти в салон, я расстегнул кобуру. Мистер же Симеон, как говорят французы, то ли страдал комплексом неполноценности, то ли разыгрывал спектакль, в чем я сомневался, но в этом случае он, имея длинное копье со стальным наконечником, делался непобедимым.

— Дайте мистеру Симеону жевательную резинку, — сказал я мадам Сингх, решив ускорить развязку. Я быстро опустил руку и слегка выгнул вверх бедро, на котором висела кобура, а миссис Сингх протянула коробку с жевательной резинкой. Она проделала это очень учтиво. Вообще-то все это выглядело нарочито и напоминало не совсем удачную комедию нравов, но мы имели честь знать Симеона еще с сентября, и потому я сказал:

— Симеон, может, лучше действовать, чем жевать резинку? Жена твоя жует резинку, когда некто спит с ней?

Но он не взял резинку и даже не пошевелился, и я повернулся к нему спиной и подождал, пока не ощутил холодок в паху, и не спеша направился к деревянной стойке и прилавку с галантереей. Я почувствовал, что покрылся испариной, и не без удовольствия заметил крупные капли пота под тюрбаном мистера Сингха. Такие же капли покрывали его щеки, чуть повыше бороды.

— Мистер Сингх, — сказал я. — Мы должны повысить уровень торговли в этом дука.

Я все еще опасался, что Симеон рискнет бросить копье от двери, но он по-прежнему колебался, и в этом была его большая ошибка.

— Это трудно, — сказал мистер Сингх. — Торговля здесь так многообразна…

Мы вошли в заднюю комнату, и мистер Сингх протянул мне бутылку «Белого вереска», и я налил нам обоим. Никогда еще шотландское мужество, разбавленное простой водой, не было таким приятным на вкус.

— Жаль, что вы не пьете, мистер Сингх.

— Я всегда сожалел об этом, — сказал он. — Могу я позволить себе одно замечание?

— Ну что за вопрос!

— По-моему, не все в нашем недавнем спектакле было так уж необходимо.

— Вы совершенно правы. Не откажите в критике. Рад буду выслушать.

— Мне кажется, упоминание о недостойном поведении жены подвергло опасности оба ваши фланга.

— И тыл.

— В Лойтокитоке так мало развлечений. Позвольте поблагодарить вас за эту забаву. Я держал его на мушке.

— Ого!

— У меня есть на то разрешение, — сказал он. — Или не у меня. Какая разница? Кому хочется оказаться на виселице в наше-то время?

Он повел плечом, и каким-то чудом в его левой руке оказался пистолет. Это был старый «уэбли».

— Восхитительно. А теперь обратно. Пистолет так же молниеносно исчез.

— Обычный эластичный шнур, — сказал мистер Сингх. — Нужно только, чтобы прочность и степень растяжения шнура точно соотносились с весом оружия.

— Просто замечательно.

Мистер Сингх передал мне бутылку, я налил совсем немного, и мы оба добавили воды.

— Если хотите, я могу служить вам бесплатно, как доброволец, — сказал мистер Сингх. — Я

теперь состою осведомителем сразу трех правительственных служб, которые совершенно не координируют информацию и плохо взаимодействуют.

— Не все так просто, как вам кажется, и эта империя существует не первый день.

— А вам она по душе?

— Я иностранец и гость и критикой не занимаюсь.

— Так вы хотите, чтобы я работал на вас?

— Это будут копии донесений для других служб?

— Нельзя сделать копию устной информации, разве что с помощью магнитофона. У вас есть магнитофон?

— С собой нет.

— Четырех магнитофонов достаточно, чтобы повесить половину Лойтокитока.

— У меня нет на это ни малейшего желания.

— У меня тоже. Кто тогда станет покупать в дука?

— Мистер Сингх, если бы мы делали все так, как положено, это вызвало бы экономическую катастрофу.

— Вместо нынешней катастрофы, — сказал мистер Сингх.

— А теперь мне пора вернуться к машине.

— Я провожу, если не возражаете. Три шага сзади и по левую руку.

— Пожалуйста, не беспокойтесь.

— Какое тут беспокойство!

Я попрощался с миссис Сингх, сказал ей, что мы подъедем на машине забрать три ящика «Таскера» и ящик кока-колы, и вышел на живописную главную и единственную улицу Лойтокитока.

Города с одной улицей вызывают то же чувство, что и небольшая лодка, узкий пролив, истоки реки или убегающая вверх по ущелью тропинка. Временами, после болота, пересеченной местности, пустыни и недоступных холмов Чиулус, Лойтокиток казался важной столицей, порой же он напоминал мне рю Ройаль. Сегодня это был просто Лойтокиток с оттенками Кода, Вайоминга в былые времена или Шеридана. Я внимательно, как на охоте, искал глазами Симеона, но под прикрытием мистера Сингха это была приятная беззаботная прогулка, и мы оба получили от нее удовольствие. Дойдя до универсальной лавки с широкими, как перед большим универмагом, ступенями, я подошел к охотничьей машине, вокруг которой толпились масаи, и сказал сидевшему за рулем Камау, что постерегу с винтовкой,

пока он зайдет в магазин. Но он предпочитал сам остаться с винтовкой. Я поднялся по ступенькам в переполненную лавку и пробрался к вытянутому буквой «г» прилавку, чтобы купить медикаменты и мыло…

Нгуи пошел к мистеру Сингху. Он купил красильный порошок, чтобы покрасить мои рубашки и охотничьи жилеты в цвета масаи.

В присутствии мистера Сингха Нгуи спросил меня на камба, не хочу ли я переспать с миссис Сингх, и я с восхищением отметил, что либо мистер Сингх великий актер, либо у него не было времени или возможности выучить камба…

Когда я снова подъехал к ступенькам лавки, у входа собралось несколько масаи. Они ждали, не подвезу ли я их на машине вниз с горы.

— А ну их всех… — сказал Нгуи. Это было его любимое английское выражение. Во всяком случае, единственное, которое он часто повторял, поскольку с некоторых пор английский считался языком палачей, правительственных чиновников, служащих и вообще всех бвана. Это был прекрасный язык, но в Африке он постепенно отмирал и его терпели, но не любили. Но так как Нгуи, считавшийся моим братом, употребил его, то я ответил ему тем же и сказал: «И худых, и

низких, и высоких...»

Нгуи посмотрел на назойливых масаи, которыми, родись он в былые и не столь уж отдаленные времена, он не отказался бы полакомиться, и сказал на камба: «Только высоких».

Я попросил Нгуи достать мои копья и с появлением луны собирался отправиться на охоту. Это, конечно, здорово смахивало на мелодраму, но таков уж наш Гамлет. Все мы были очень взволнованы. И возможно, я больше других, ведь, дав волю языку — моя обычная ошибка, — я теперь вынужден был охотиться с копьем и без собаки. Но у меня был пистолет, и это было очень приятно, я любил пистолет и ощущение его тяжести у пояса и продолжал спокойно читать. Ждать оставалось недолго. Не пройдет и десяти минут, как взойдет луна, и Нгуи, должно быть, уже смазывает копья. Он не умел точить их, зато Чаро, не поехавший в Лойтокиток, любил копья и все, что с ними связано, и ухаживал за ними не хуже, чем за ружьями. Но перед тем как отправиться на охоту, копье нужно проверить и смазать.

Я уже забыл, когда впервые начал охотиться с копьем. Помню, мы обучались владеть копьями на нашей первой стоянке в Селенгаи. Тогда я охотился на птиц с группой морани из племени

масаи, и это были лучшие из воинов — молодые, неизбалованные и совершенно неиспорченные. Мы познакомились с ними в джунглях на острове, расположенном между двумя рукавами высохшей реки, чуть дальше за Селенгаи. Они возвращались после какого-то обряда, состоявшегося в глубине острова. По ритуалу во время этого ежегодного обряда полагалось есть мясо, и после торжественной церемонии они были веселы и возбуждены, как хорошая футбольная команда сразу после мессы.

Я был один, да к тому же незваный гость в их стране, и не говорил на языке масаи, и они, разыгравшись, держались несколько воинственно. Но они никогда не видели дробовика и не понимали, как можно подстрелить летящую птицу, и, пока мы стояли и присматривались друг к другу, я, не сходя с места, выстрелил по двум шумно вспорхнувшим куропаткам, и, увидев, как птицы глухо рухнули в кустарник, они пришли в совершеннейший восторг. Они нашли и принесли птиц, и восхищенно поглаживали их, и с тех пор мы стали охотиться вместе. Нас было слишком много, чтобы охотиться на крупных зверей, но они высматривали усевшихся на деревьях цесарок, которых я ни за что бы не заметил. Крупные

птицы, нахохлившись, сидели высоко на ветках, и стоило им показать мне одну, как тут же рявкал дробовик, и птица, ударяясь о ветви, падала вниз, и затем раздавался последний глухой удар. Случалось, что и вторая птица, встревоженная выстрелом, взмывала вверх и, в последний раз мелькнув на фоне ясного неба, неожиданно, с таким же глухим стуком, падала на землю (однажды угодив прямо на одного из морани), и тогда мы обнимали друг друга.

В этом районе водились носороги, и я попытался объяснить, что нам следовало бы быть осторожнее, но морани решили, что я хочу убить носорога, а с дробовиком это практически невозможно, и тут они показали мне, на что способны их копья. Именно тогда, думаю, я и увлекся охотой с копьем. Меня беспокоил такой метод охоты на носорога, когда дробовик должен был взаимодействовать с копьями масаи, но я полагал, что, случись нам встретиться с носорогом, лучше всего стрелять по глазам или, для верности, в один глаз, а там — будь что будет. Потом я подумал, что носорог все равно едва видит, зато его нос действует безотказно, но, возможно, вторым выстрелом я смогу поразить и нос, если только у меня хватит духа не смазать пятки, а это со-

вершенно недопустимо на глазах у моих новых друзей, так что мы охотились весьма беззаботно.

Очевидно, в то время масаи в возрасте моих друзей не были обременены какими-либо обязанностями, кроме охоты, и мы отправлялись в лес всякий раз, как у меня было свободное время, и я попытался выучить язык масаи, а заодно и овладеть искусством охоты с копьем, к чему относился с большим уважением, и наш небольшой отряд истребителей куропаток и потенциальных борцов с носорогами был известен как «Честные Эрни»… Вскоре «Честные Эрни» должны были оставить меня. Я так и не узнал почему; каким-то образом это было связано с тем же ритуальным праздником, который однажды послужил нашей удачной встрече в лесу. Все они унесли на память по патрону дробовика и по одноцентовой монете с дырочкой, простреленной пулей из пистолета, причем каждый держал монету, крепко зажав ее между большим и указательным пальцем правой руки. Пожалуй, это было единственной традицией отряда, и нам так и не довелось сразиться с носорогом или подстрелить что-нибудь покрупнее цесарки. Я не успел толком научиться владеть копьем и осилил не более двенадцати слов на языке масаи, но время это не пропало для

меня даром.

Луна показалась из-за склона горы, и я пожалел, что со мной нет хорошей большой собаки и что я не сумел сдержать свой язык. Однако горевать об этом было поздно, и я проверил копья, надел бесшумные мокасины, поблагодарил Нгуи и вышел из палатки. Двое моих людей с винтовками и запасом патронов стояли на часах, над палаткой висел фонарь, и я, оставив позади огни лагеря, отправился в путь.

Приятно было ощущать в руке тяжесть копья. Чтобы рука не скользила, древко было обтянуто пластырем. Зачастую, когда пользуешься копьем, подмышки и предплечья покрываются обильным потом, и он стекает на черенок. Идти по скошенной траве было легко, и вскоре я почувствовал под ногой укатанную колею ведущей ко взлетной полосе дороги и чуть позже вышел на другую дорогу, которую мы величали Великим Северным путем. Это был мой первый самостоятельный ночной выход с копьем, и мне очень недоставало кого-нибудь из «Честных Эрни» или хотя бы большой собаки. Немецкая овчарка всегда предупреждает, не прячется ли кто-нибудь в очередном островке зарослей, она тут же забегает сзади и тычется мордой в ногу на уровне коленки.

Но как бы мне ни было страшно, охота ночью с копьем — это большое удовольствие, за которое надо платить, и, подобно всем истинным удовольствиям, оно, как правило, стоило того. Мэри, С.Д. и я позволяли себе много удовольствий, и некоторые из них потенциально могли дорого обойтись нам, но они всегда оправдывали риск. Отупение скучных, разлагающих будней куда опаснее, думал я, и вновь принялся осматривать всевозможные заросли и высохшие деревья, в которых, как мне казалось, обязательно должны быть змеиные норы, а мне бы не хотелось наступить на выползших на охоту кобр…

Еще в лагере я слышал двух гиен, но сейчас они стихли. Я слышал льва и решил держаться от него подальше… Кроме того, в этой местности водились носороги. Впереди, на равнине, я увидел в лунном свете какую-то спящую тушу. Это оказался самец гну, и я повернул в сторону от него и снова вышел на тропинку.

Вокруг было много ночных птиц и ржанок, и мне попалось несколько лисиц и зайцев, но глаза их не светились, как это бывало, когда мы проезжали на лендровере, — фонаря у меня не было, а лунный свет не давал отражения. Луна теперь стояла высоко и светила довольно ярко, и я шел

вдоль колеи, радуясь своей ночной прогулке, и совершенно не боялся встречи с любым зверем. Я посмотрел назад: огней лагеря не было видно, осталась лишь огромная квадратная, поразительно белая в лунном свете гора, и мне вовсе не хотелось никого убивать. Я мог бы, возможно, убить гну, но тогда мне пришлось бы свежевать тушу и сторожить ее от гиен или поднять лагерь, и вызвать грузовик, и быть в центре всеобщего внимания, и я подумал, что только шестеро из нас будут есть мясо гну, а к приезду мисс Мэри мне хотелось добыть что-нибудь получше.

Итак, я продолжал идти, прислушиваясь к движениям мелких животных и крику взлетавших из пыли птиц, и думал о мисс Мэри и о том, что она делает в Найроби, и как она будет выглядеть с новой прической, и что через день она опять будет со мной. К тому времени я почти дошел до места, где мисс Мэри убила своего льва, и отсюда услышал рычание леопарда, охотившегося слева от меня на краю большого болота. Я решил было пойти к солончакам, но там какое-нибудь животное непременно ввело бы меня в соблазн, и я повернул назад к лагерю и пошел по проторенной тропинке, любуясь горой и совершенно не думая об охоте.

Лежа в постели, приятно было вспомнить замечательных и уважаемых вралей и кое-что из их наиболее впечатляющих небылиц. Форд Мэдокс Форд был, пожалуй, величайшим вралем из всех известных мне штатских, и я думал о нем если не с любовью, то по крайней мере с уважением. Когда однажды поздним вечером в старой студии Эзры Паунда на рю Нотр-Дам-де-Шан я впервые услышал его поразительные и откровенные россказни, я был шокирован и даже оскорблен. Передо мной стоял человек, годившийся мне в отцы, самозваный мастер английской прозы, который врал так явно, что мне было стыдно. После того как Форд и его очередная подруга жизни, на которой он не мог жениться, потому что никак не мог толком развестись, ушли, я спросил, часто ли этот странный человек с тяжелым, противнее, чем у гиены, дыханием, плохо пригнанными зубами и напыщенными манерами, напоминающими пыхтение первых и неудачных моделей гусеничных бронемашин, так много врет людям, хорошо знакомым с предметом его разглагольствований…

В ту пору Эзра еще пытался воспитывать меня (занятие, которое он позже оставил как безнадежное), а я учил его боксировать. Правда, здесь

я был вынужден отступить, и он занялся игрой на фаготе. Я не мог слушать его игру на фаготе и попытался заинтересовать Эзру контрабасом или тубой — двумя не слишком сложными инструментами, которые, я полагал, он сможет осилить, но по тем временам ни один из нас не располагал средствами, чтобы купить столь громоздкие инструменты, так что мне просто пришлось умерить свои визиты в студию, и мы с Эзрой встречались каждый полдень во время игры в теннис.

В этом виде спорта мы одинаково не преуспевали. Мы играли на платном корте, расположенном как раз напротив места, где установлена гильотина и где устраивались по-прежнему любимые французами утренние представления, и потому время от времени тротуар оказывался свежевымытым. Накинув пальто, коим для меня лично служила подстежка от старого непромокаемого пальто из ткани «барберри», мы подходили к металлическим воротам корта и вызывали звонком консьержа.

В то время я мало что мог себе позволить, кроме работы — единственного занятия, доступного нам с самого рождения, да еще оплаты продуктов и жилья для моей жены и ребенка. Эзра также

был весьма небогатым человеком и одно время жил в Лондоне на бюджете, позволявшем ему одно утиное яйцо в день, так как он где-то вычитал, что утиные яйца были на семьдесят процентов питательнее куриных, и мы наслаждались нашим теннисом и играли в него, как нам казалось, с изяществом дикарей.

Итак, я думал обо всем этом и о веселых ночах в Гаване, которые сменялись дневной стрельбой по подбрасываемым в воздух глиняным мишеням.

Это были последние беззаботные месяцы за многие годы. Мне, как писателю и просто человеку, не верилось, что после Испании и Китая вновь разразится разрушительная война. Правда, мне повезло, и я успел по крайней мере написать одну книгу. Потом я перестал думать о Гаване, хотя, вспоминая Гавану, никогда не чувствуешь себя одиноким, и стал думать о гражданской войне в Испании. Эти воспоминания также прогоняют одиночество, правда, обычно после окончания войны я старался не думать и не вспоминать о ней, но временами это было невозможно.

Ночью я лежал и слушал, и пытался понять голоса ночи. Кое в чем Кэйти был прав, ночь для всех оставалась загадкой. Но я собирался разгадать ее, и по возможности самостоятельно.

Я не хотел делить это удовольствие с кем-либо. Можно делиться, когда речь идет о деньгах, но женщину ни с кем не делят, а я не стану делить ночь. Я не мог заснуть и не принимал снотворное, потому что хотел слушать ночь и еще не решил, идти ли на охоту с появлением луны. У меня не было достаточного опыта в обращении с копьем, чтобы охотиться в одиночку и не попасть в неприятную историю, и к тому же это был мой долг, и притом приятный, — оставаться в лагере, ожидая возвращения мисс Мэри… И я подумал, что добрая половина моей жизни, которую принято считать лучшей, — это ночи, проведенные с женщинами, получавшими или не получавшими удовольствие от любви; женщинами, всегда оставлявшими длинные сигаретные окурки и начинавшими свои предложения со слова «дорогой».

Слово это так приедается мужчине, а погасшие окурки пахнут так отвратительно, и я думал обо всех этих не вдохновляющих и ничего не дающих ни уму ни сердцу вещах и прислушивался к ночи, обыкновенной ночи, многообещающей и манящей, как блудница, но только не для меня. Я слишком долго не спал и, слушая, незаметно заснул.

Не было еще ни одной проведенной в одиночестве ночи, когда бы меня не посещали приятные или, напротив, изматывающие сны. Иногда их трудно запомнить, особенно если тебя разбудили выстрелы из стрелкового оружия, или телефон, или раздраженная жена; но обычно сны стоили того, и этой ночью мне приснилось, что я в кабачке или, вернее, в «гастхаусе», в кантоне Вод в Швейцарии. Со мной была моя первая и самая любимая жена — мать моего старшего сына, и, чтобы согреться, мы спали, крепко прижавшись друг к другу, как лучше всего спать любящим людям, особенно в холодную ночь. Фасад гостиницы и беседка были увиты ветвями глицинии или виноградника, и конские каштаны в цвету напоминали залитые воском канделябры. Мы собирались на рыбалку на Ронский канал, а за день до этого удили рыбу в Стокальпере. Стояла ранняя весна, и от талых вод обе речушки были молочного цвета. Моя первая и лучшая жена, как всегда, крепко спала, и я чувствовал тепло и аромат ее тела и цветущих каштанов, и голова ее лежала у меня на груди, и мы спали, доверчиво прижавшись друг к другу, как котята. Случалось, мне снились сны, вызванные наследием или последствиями скверной войны, и тогда по но-

чам мне хотелось лишь забытья или его сестры смерти… Но этой ночью во сне я спал счастливо, обняв свою любимую, и ее голова покоилась у меня на груди, и, проснувшись, я с изумлением думал о том, сколько возлюбленных, которым мы до поры до времени храним верность, может быть у мужчины, и еще о чудных рамках морали в различных странах, и о том, кто же все-таки может определить, что такое грех.

У Нгуи, что совершеннейшая правда, было пять жен и двадцать голов скота, хотя в этом мы сомневались. У меня, как полагалось в Америке, была одна законная жена, но все с уважением вспоминали мисс Полин[90], которая приезжала в Африку много лет назад, и наши друзья, особенно Кэйти и Муэнди, любили и восторгались ею и, по-моему, считали ее моей темноволосой женой-индианкой, а Мэри — белокурой женой-индианкой. Они не сомневались, что, пока мы с Мэри находимся в Африке, мисс Полин присматривает дома за шамбой, и я не говорил им о смерти мисс Полин, потому что это бы их опечалило. Никто также никогда не рассказывал им о другой жене, которая им наверняка не понравилась бы. Считалось

[90] Примечания: 90

Пфейфер Полин — американская журналистка, вторая жена Эрнеста Хемингуэя.

само собой разумеющимся, причем так думали даже наиболее консервативные и скептически настроенные старейшины, что если у Нгуи пять жен, то у меня, в силу различия в нашем финансовом положении, их должно быть по крайней мере двенадцать.

Полагали также, что я был женат и на мисс Марлен, которая, судя по полученным мною фотографиям и письмам, работала в принадлежащей мне небольшой увеселительной шамбе, именуемой Лас-Вегас. Они знали мисс Марлен как автора «Лили Марлен», и многие люди действительно думали, что это ее настоящее имя, и все мы сотни раз слушали на старом патефоне ее песню «Джонни», и следующей была мелодия «Рапсодия в стиле блюз», и мисс Марлен пела о «мотыльках вокруг огня».[91] Мелодия эта глубоко волновала нас, и, когда порой, находясь вдали от своей увеселительной шамбы, я пребывал в мрачном или подавленном состоянии, Моло, единокровный брат Нгуи, спрашивал: «Мотыльки вокруг огня»? И я просил поставить пластинку, и он заводил патефон, и все мы с удовольствием

[91] Примечания: 91

«Мотыльки вокруг огня» — слова из песни «Влюбляясь вновь», которую Марлен Дитрих исполняла в фильме «Голубой ангел». — *Прим. Мэри Хемингуэй.*

слушали красивый, глубокий, необыкновенный голос моей несуществующей жены, певшей в увеселительной шамбе, которой она так успешно и преданно заправляла.

Наверное, потому, что я не спал и сомневался, удастся ли мне вообще заснуть, я думал еще об одной знакомой, которую в то время очень любил. Это была длинноногая американка, широкоплечая, с обычной для американок пышной грудью, что особенно нравится тем, кто не познал прелестей небольшой, упругой, правильной формы груди. Но эта девочка, с красивыми ногами негритянки, была очень нежной, правда, она постоянно на что-нибудь жаловалась. Ночью, пока не спалось, думать о ней было довольно приятно, и я вспоминал ее, и коттедж, и Ки-Уэст, и охотничий домик, и всевозможные игорные заведения, где мы бывали, и пронизывающий утренний холод, когда мы вместе охотились, и порывистый ночной ветер, и вкус горного воздуха, и запах шалфея в те дни, когда она еще интересовалась охотой на что-либо, кроме денег. Человек никогда не бывает по-настоящему одинок; даже когда в предполагаемых темных глубинах души время останавливается в три часа утра, это лучшие часы человека, если только он не алкоголик и не стра-

шится ночи и того, что принесет грядущий день. В свое время я боялся ничуть не меньше, чем любой человек, а может быть, даже больше. Но с годами страх стал казаться мне своего рода глупостью, такой, как, например, превышение банковского кредита, получение венерического заболевания или пристрастие к наркотикам. Страх — порок молодости, и, хотя мне нравилось ощущать его приближение, что, впрочем, касалось всякого порочного чувства, все же испытывать его было недостойно взрослого мужчины, и единственное, чего следовало бояться, так это соприкосновения с настоящей и неминуемой опасностью, да и то ты не должен терять контроль над собой и делать глупости. При столкновении с настоящей опасностью от инстинктивного страха испытываешь покалывание в затылке, а если ты утратил подобную реакцию, значит, пора заняться чем-нибудь другим. Итак, я думал о мисс Мэри и о том, какой она была смелой все девяносто шесть дней охоты на льва, и это при том, что из-за небольшого роста она никак не могла толком выследить его и занималась новым для себя делом, не имея достаточного навыка и соответствующего снаряжения, и о том, как она силой своей воли заставляла всех нас вставать за час до рассвета, и о том, как одна-

жды Чаро, преданный и любивший мисс Мэри, но старый и уставший от схваток со львом человек, сказал мне: «Бвана, убей льва, и покончим с этим. Женщине не дано убить льва».

Но мы продолжали бесконечные преследования, и мисс Мэри убила своего льва, как того хотел во время своей последней охоты Старик, а потом охота приняла неудачный оборот, и Мэри подозревала всех нас.

В Африке всегда пребываешь в состоянии счастливой беззаботной грусти… Но из всех нас лишь один осведомитель испытывал угрызения совести. Он таскал с собой раскаяние, как носят бабуина на плече. Раскаяние — прекрасная кличка для скаковой лошади, но плохой попутчик в жизни человека. У меня была воистину восхитительная бабушка с лицом ангела, если только ангелы могут быть похожи на орлов, и однажды, проведя шесть дней у моей постели после того, как я, боксируя под чужим именем, получил сотрясение мозга (в ту пору никто не хотел платить денег, чтобы посмотреть, как дерется мальчишка по фамилии Хемингуэй), она, написав мне объяснительную записку за пропуск занятий в школе, сказала:

— Эрни, обещай мне делать только то, чего тебе

действительно хочется. Всегда поступай так. Я уже старая женщина, и я всегда старалась быть хорошей женой твоему деду, а ты сам знаешь, каким он подчас бывает. Но я хочу, чтобы ты запомнил, Эрни. Ты запомнишь, Эрни?

— Да, бабушка, я могу запомнить все, кроме шести раундов.

— Не в них дело, — сказала она. — Запомни-ка лучше вот что. Единственное, о чем я жалею, так это о том, чего я не сделала.

— Спасибо большое, бабушка. Я постараюсь запомнить.

Комментарии

Как прослыть ветераном войны, не понюхав пороха.
«Торонто стар уикли», 13 марта 1920 г.
Перевод Т. Тихменевой.

Мэр-болельщик.
«Торонто стар уикли», 13 марта 1920 г.
Перевод В. Погостина

Дикий Запад перебрался в Чикаго.
«Торонто стар уикли», 6 ноября 1920 г.
Перевод В. Погостина

Американская богема в Париже. Чудной народ.
«Торонто стар уикли», 25 марта 1922 г.
Перевод И. Кашкина

Вот он какой, Париж!
«Торонто стар уикли», 25 марта 1922 г.
Перевод И. Кашкина

Получившая премию книга — в центре нападок.
«Торонто стар уикли», 25 марта 1922 г.

Перевод В. Погостина

Революция и контрреволюция.

«Торонто стар уикли», 13 апреля 1922 г.

Перевод И. Кашкина

В апреле 1922 г. Хемингуэй в качестве корреспондента освещал работу Генуэзской международной конференции по экономическим и финансовым вопросам, в которой приняла участие делегация Советского государства.

В 1919–1920 гг. Италия переживала революционный подъем. В 1922 г. к власти пришли фашисты.

Судьба разоружения.

«Торонто дейли стар», 24 апреля 1922 г.

Перевод И. Кашкина

Советская делегация на Генуэзской конференции выступила с предложением о всеобщем разоружении.

Ветеран приезжает на места былых боев…

«Торонто дейли стар», 22 июля 1922 г.

Перевод В. Погостина

В июне 1922 г. Хемингуэй вместе со своей женой Хэдли посетил район в Северной Италии, где он в 1918 г. участвовал в боях на итало-австрийском фронте и был тяжело ранен.

Безмолвная процессия.
«Торонто дейли стар», 20 октября 1922 г.
Перевод И. Кашкина

В октябре 1922 г. Хемингуэй в качестве корреспондента выехал в Малую Азию, чтобы освещать ход греко-турецкой войны, развязанной империалистическими державами Антанты и проводившейся силами греческой армии против Турции. В сентябре турецкие войска разгромили греческую армию, в результате чего в Греции произошел переворот, король Константин был свергнут, на престол возведен крон-принц Георг, который заключил перемирие с турецким правительством. Результатом явилась эвакуация греческой армии и греческого населения из Восточной Фракии.

Беженцы из Фракии.
«Торонто дейли стар», 14 ноября, 1922 г.
Перевод И. Кашкина

Фашистский диктатор.
«Торонто дейли стар», 27 января 1923 г.
Перевод И. Кашкина

В конце 1922 — начале 1923 г. Хемингуэй находился в Лозанне на международной конференции по вопросам Ближнего Востока. Там он присут-

ствовал на пресс-конференции Муссолини.

Памплона в июле.
«Торонто стар уикли», 27 октября 1923 г.
Перевод Т. Тихменевой
В июле 1923 г. Хемингуэй посетил Испанию, где впервые увидел бой быков.

Из книги «Праздник, который всегда с тобой»
Перевод М. Брука, Л. Петрова, Ф. Розенталя

Из книги «Смерть после полудня».
Перевод В. Топер

Старый газетчик пишет.
«Эсквайр», декабрь 1934 г.
Перевод И. Кашкина

В защиту Кинтанилья.
«Эсквайр», февраль 1935 г.

Заметки о будущей войне.
«Эсквайр», сентябрь 1935 г.
Перевод Т. Тихменевой

Из книги «Зеленые холмы Африки».
Перевод Н. Волжиной и В. Хинкиса

Кто убил ветеранов войны во Флориде?

Перевод Е. Калашниковой

Маэстро задает вопросы.
Перевод И. Кашкина

Письмо И. Кашкину.
Перевод Б. Грибанова

Крылья над Африкой.
Перевод Е. Калашниковой

На голубой воде.
Перевод Т. Тихменевой

Писатель и война.
Перевод И. Кашкина

Испанский репортаж.
Перевод А. Старцева

Испанская земля.
Перевод Р. Райт-Ковалевой

Американский боец.
Перевод В. Топер

Обращение Хемингуэя к немецкому народу.
Печатается по тексту журнала «Интернациональная литература» 1938 г., № 2–3.

Испанский народ победит.

Печатается по тексту газеты «Правда» от 30 апреля 1938 г.

Мадридские шоферы.
Перевод В. Топер
Корреспонденция Хемингуэя НАНА. Впоследствии публиковалась им как рассказ.

Все храбрые.
Перевод Р. Райт-Ковалевой
Предисловие к альбому рисунков Кинтанильи, выпущенному в 1938 г. в Нью-Йорке. Название альбома взято из сонета английского поэта Вордсворта, посвященного Испании, разоренной Наполеоном, «опустошенная земля, где полегли все храбрые».

По поводу одной информации.
«Кен», 22 сентября 1938 г.
Перевод Т. Тихменевой

Письмо И. Кашкину.
Печатается по книге И. Кашкин «Для читателя-современника».
Перевод И. Кашкина

Последний командир.
«Американ дайалог», 1965, № 2.
Эта заметка была написана Хемингуэем для

брошюры «Испанские портреты». Во время испанской войны американский скульптор Джо Дэвидсон приезжал в Мадрид, где создал скульптурные изображения многих республиканских руководителей и командиров. Среди них был и бюст Милтона Вольфа.

Американцам, павшим за Испанию.
«Нью мэссиз», 14 февраля 1939 г.
Перевод И. Кашкина

Телеграмма в Москву 27 июня 1941 г.
Печатается по тексту газеты «Советская культура» от 22 июня 1965 г.

Приветствие Советской Армии в день ее 24-летия.
Печатается по тексту газеты «Советская культура» от 12 мая 1965 г.

Из предисловия к антологии «Люди на войне».
Перевод Б. Грибанова

Новогоднее поздравление советскому народу.
Печатается по тексту газеты «Правда» от 3 января 1943 г.

Рейс к победе.
«Колльерс», 22 июня 1944 г.
Перевод М. Лорие

Лондон воюет с роботами.
«Колльерс», 19 августа 1944 г.
Перевод М. Лорие

Битва за Париж.
«Колльерс», 30 сентября 1944 г.
Перевод М. Лорие

Как мы пришли в Париж.
«Колльерс», 7 октября 1944 г.
Перевод М. Лорие

Солдаты и генерал.
«Колльерс», 4 ноября 1944 г.
Перевод Т. Тихменевой

Война на «линии Зигфрида».
«Колльерс», 18 ноября 1944 г.
Перевод М. Лорие

Предисловие к антологии «Сокровище свободного мира».
Опубликовано в Нью-Йорке в 1946 г.
Перевод Б.Грибанова
На русском языке публикуется впервые.

Письмо К. Симонову.

Печатается по тексту газеты «Известия» от 2 июля 1962 г.

Перевод И. Кашкина

Из письма Хемингуэя Милтону Вольфу.

«Американ дайалог», 1965 г.

Предисловие к роману «Прощай, оружие!» (1948 г.)

Перевод Е. Калашниковой

Письмо молодому писателю.

«Марк Твен джорнэл», 1962 г.

Письмо написано Хемингуэем в 1953 г. с Кубы в связи с тем, что начинающий и еще никогда не печатавшийся автор прислал ему свой рассказ.

Интервью Дж. Плимптону.

«Пари ревю», 1958 г.

Перевод Г. Льва

Речь при получении Нобелевской премии.

«Марк Твен джорнэл», 1962 г.

Перевод М. Лорие

Хемингуэй не ездил в Стокгольм на церемонию вручения ему Нобелевской премии. По его поручению речь зачитал посол США в Швеции.

Беседа Хемингуэя с молодежью в Хейли (США).

«Зис уик», 1960 г.

Интервью о революции на Кубе.

Печатается по тексту «Литературной газеты» от 7 апреля 1959 г.

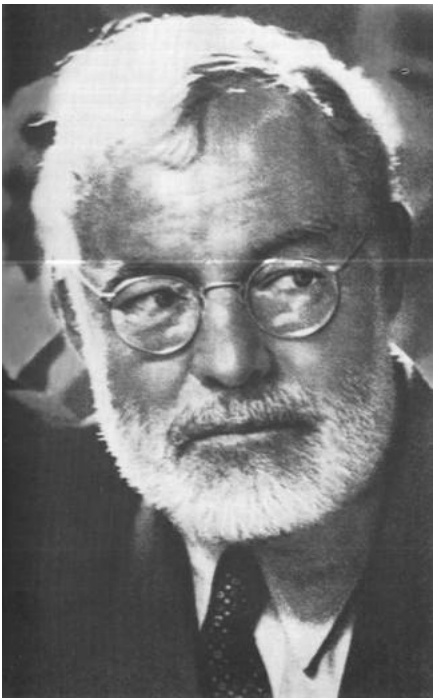
Интервью было дано Хемингуэем американскому журналисту Э. Уотсону для парижского еженедельника «Ар».

Лев мисс Мэри.

«Спорт Иллюстрейтед», 1971–1972 гг.

Перевод и комментарии В. Погостина

Иллюстрации





Хемингуэй в госпитале. Милан, 1918 г.



После возвращения в Оук-Парк. 1919 г.



Хемингуэй во дворе дома по улице Нотр-Дам-де-Шан. Париж, 1924 г.



Хемингуэй в Серенгети. 1934 г.



Хемингуэй с генералом Листером. 1938 г.



Ивенс, Хемингуэй и доктор Хейльбрун в окопах Университетского городка. Мадрид, 1937 г.



Во время работы над романом «По ком звонит колокол». 1939 г.

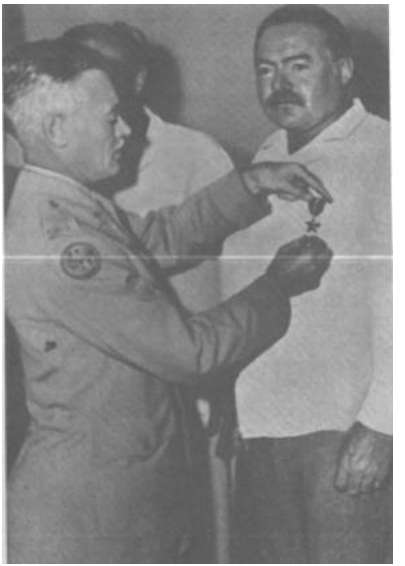


Хемингуэй перед боевым вылетом. Лондон, 1944 г.



Хемингуэй с полковником Ланхемом после про-

рыва «линии Зигфрида 1944 г.



Вручение Хемингуэю бронзовой медали за участие в боевых действиях во время второй мировой войны. 1947 г.



Сафари. 1953 г.



Хемингуэй на Кубе. 1952 г.



Вручение Хемингуэю рыбаками Кохимара памятной медали. 1956 г.



Любимая фотография писателя, сделанная в Испании. 1956 г.



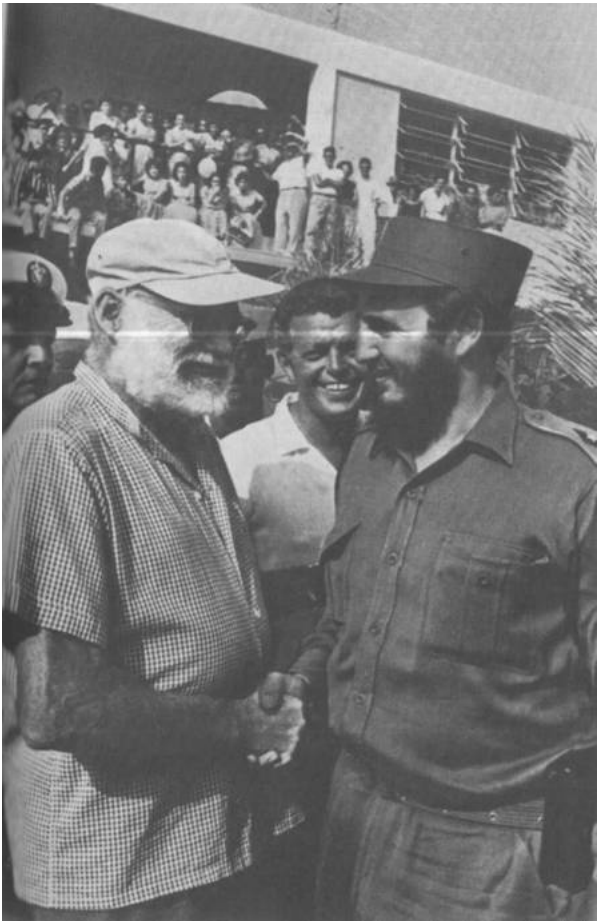
Спортивный катер «Пилар»



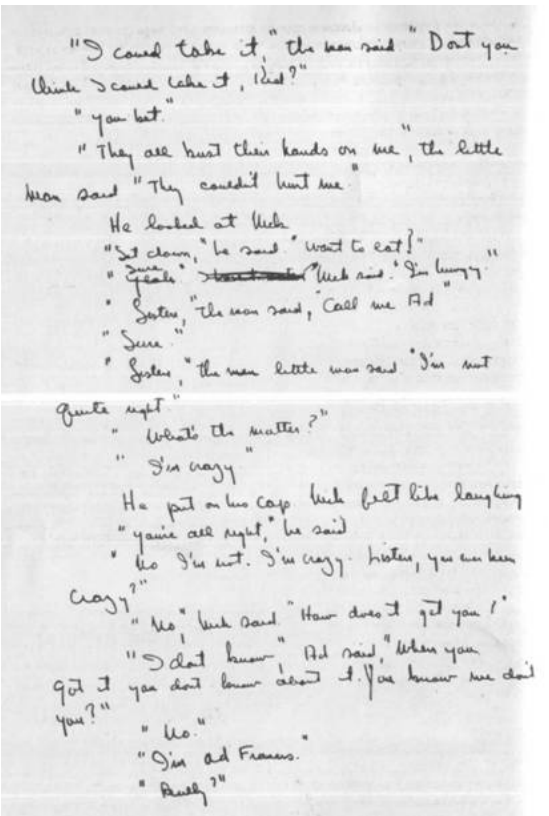
Жители Сан-Франциско-де-Паула встречают Хемингуэя. 1959 г.



Последний выход в море на катере «Пилар». 1960 г.



Хемингуэй поздравляет Фиделя Кастро, победителя конкурса «Эрнест Хемингуэй». 1960 г.



"I could take it," the man said "Don't you think I could take it, Kid?"

"You bet."

"They all beat their hands on me," the little man said "They couldn't hurt me"

He looked at Nick

"Sit down," he said "Want to eat?"

"Sure" ~~Yeah~~ Nick said "I'm hungry"

"Listen," the man said, "Call me Ad"

"Sure"

"Listen," the man little man said "I'm not quite right"

"What's the matter?"

"I'm crazy"

He put on his cap Nick felt like laughing

"You're all right," he said

"No I'm not. I'm crazy. Listen, you ever been crazy?"

"No," Nick said "How does it get you?"

"I don't know" Ad said, "When you get it you don't know about it. You know me don't you?"

"No."

"I'm Ad Francis."

"Really?"

Страница рукописи рассказа «Боец»